

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

7-8 (475)

2018

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Екатерина Симонова. Уехавшие, высланные, канувшие и погибшие
Цикл стихотворений.....3
Наталия Крупенина. Пейзаж с жилыми домами. *Повесть*.....22
Александр Кабанов. «Друзьям» *и др. стихи*.....82
Сергей Круглов. Про о. Филофила.....88
Мария Галина. Из цикла «Мертвый город».....95
Иван Макаров. Бедный Удодов. Барбос де Карабас. *Рассказы*.....97
Сергей Золотарёв. «Зевну я бабочку земную....» *и др. стихи*.....107
Дмитрий Лагутин. Сердце. *Рассказ*.....112
Александр Петрушкин. «Из камня видно птицу...» *и др. стихи*.....117
Надя Делаланд. Драконьи сказки.....126
Анна Голубкова. Женская лирика.....129
Родион Вереск. То самое лето. *Нон-фикшн*.....136
Евгений Стрелков. «Служба» *и др. стихи*.....165
Андрей Краснящих. О вас, читающих меня. *Глава из романа «О себе»*.....168

РЕТРОСПЕКТИВА

Сергей Боровиков. Пустая полка.....171

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Виталий Владимиров. «Между грязью и чудом»
Публикация, вступительная статья Георгия Квантришвили.....240

ПУТЕШЕСТВИЕ

Михаил Бару. Письмо бывшего князя.....246

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Юлия Подлубнова. И в кармане труп Гагарина
Ия Кива. Подальше от рая.....282

Сергей Трунев. В ритме вальса
Роман Михеенков. Упражнения на развитие беглости.....283

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Алексей Голицын. История ареста художника Ивана Щеглова.....285

© «Волга», 2018

Екатерина СИМОНОВА

УЕХАВШИЕ, ВЫСЛАННЫЕ, КАНУВШИЕ И ПОГИБШИЕ

I
9 ноября 1911 года Нина Ивановна Петровская
уезжает в Италию. Ее провожают:
Ходасевич (трезвый), Брюсов (с коньяком),
сам коньяк – последний здесь навсегда, прощание тоже навсегда,
ноябрьский газово-голубоватый воздух,
паровозный пар, запахи привокзального буфета, скорого снега,
слова «бедная, бедная, бедная»,
никем не произнесенные вслух,
потому что и так все ясно, и уже все равно.
Так заканчивается путешествие Нины Ивановны Петровской
по ее личной внутренней московской Монголии и
наконец начинается настоящая жизнь,
непочтительная дорога в почтительное небытие:
эти клоповные гостиницы с номерами на пятом и шестом этаже,
черное платье, протертое и лоснящееся на локтях,
цветущие каштаны в Париже,
шитье мужского белья ночами напролет,
алкоголь, много алкоголя, спасибо тебе, алкоголь, за то, что ты есть,
за то, что есть хотя бы ты,
белый порошок забытья,
золотой порошок наступающего утра,
Рим ликующий, похожий на разломленную кукурузную лепешку,
попрошайка-Варшава, вальсировать в стоптанных ботинках,
Подайхристаради, как я тебя ненавижу, помню,
как хочу увидеть, как не хочу больше встретить тебя никогда,
я пишу тебе, чтобы ты знал,
что ненавидеть тебя так же прекрасно, как и любить:
внутри становится горячо и багрово,
каждое письмо к тебе –
палец, истыканный ржавой булавкой,
нужно бы вымыть голову, выстирать бельё и чулки,
поесть, зачем поесть?, что такое – «есть»?,
засохший кусочек сыра, так и не заваренный чай, открытый газ,
спасибо тебе: за то, что ты был, спасибо тебе
за то, что меня наконец нет,
за то, что слов более не осталось, наконец все ясно,
поэтому уже все равно.
Февраль, похожий на влажную свежую гуашь на сухом языке,
на бедную фиалку в окне напротив.

Екатерина Симонова родилась в 1977 году в Нижнем Тагиле. Окончила филологический факультет Нижнетагильского педагогического института. Стихи публиковались в журналах «Воздух», «Новый мир», «Волга», «Урал», «Новый берег» и др. Автор пяти книг стихов. Живет в Екатеринбурге.

2
Давно придерживаюсь сомнительного мнения,
что самые важные путешествия – те,
от которых в биографии
остается одна строка:
год, место, факт возвращения. Например:
в 1905-1906 (не путать с путешествием 1903-1904 гг.) гг.
Софья Яковлевна Парнок жила в Женеве.
Известные факты можно считать неизвестными
(так их тоскливо мало):
- жила с какими-то скучными Плехановыми;
- несмотря на плехановскую скуку,
была со скучными Плехановыми в Италии
(подозреваю, что тоже скучной).
Меня же интересует:
пробовала ли она в Италии Pizza con le cozze, aglio e prezzemolo –
с мидиями, чесноком, оливковым маслом и петрушкой,
мучалась ли потом несварением желудка так же,
как мучалась от любви к Н. П. Поляковой,
купила ли во Флоренции перчатки
из флорентийской сиреневой кожи,
сколько писала писем в неделю,
когда ей бывало неинтереснее жить – утром или вечером,
а интереснее когда,
о чем она шепталась с Л. Плехановой, скучной дочерью
все тех же скучных Плехановых,
приносила ли домой марципаны в виде морковки и свеклы с праздника
Эскалады –
на память, а потом съесть,
а еще:
все-таки итальянки или швейцарки,
швейцарки или итальянки?
Отсутствие деталей и делает
пробел в биографии
многозначительным,
хотя –
ну что мы с вами не видели в этой Италии?
в этой Женеве? в этих женских дневниках
начала двадцатого века
(сплошь сушеные цветы и акации,
мечты о труде на благо всеобщего блага,
вера в то, что через сто лет все будет иначе,
а значит, ничего не изменится)?
...В апреле 2017 мы с Ленкой
ездили на Хайнань. За 50, кажется, юаней
она напилась крови живой (верней, уже неживой) змеи.
Я была так на нее зла за эту маленькую смерть,
что не успокоилась, пока в деревне народности Ли
не купила шарф ручной работы вдвое дороже.
Только тогда жизнь чисто по-женски победила смерть:

следующие два дня я жалела потраченных на шарф денег,
забыв про змею.
Не знаю, зачем я это пишу – наверное,
затем, что все пробелы должны быть заполнены,
затем, что это – сейчас уже совершенно не важно, а значит:
иначе бы этого текста не было.
И все же: итальянки или швейцарки,
швейцарки или итальянки?
И все-таки: московские девочки.

3
Иногда несостоявшееся путешествие становится
важнее случившегося.
Мы, к примеру, уже который год хотим съездить в Казань:
посмотреть на местный кремль, то-се, ну, в общем,
купить в подарок мамам по сувенирному прянику,
сродниться со своим историческим прошлым,
выпить бальзама «Татарстан» или водки «Старая Казань».
В конце концов, даже Иван Грозный там был,
а чем мы хуже Ивана Грозного?
Поэтому подбираем гостиницу,
распечатываем список достопримечательностей,
обсуждаем две недели вечером, как будет круто и...
летим на Кипр, как последние мещане.
И так уже четыре года.
Мне иногда кажется, что если мы все-таки доберемся до Казани,
то случится что-то действительно из ряда вон:
я начну делать ежедневный маникюр со стразами,
взорвется Йеллоустоун,
Комаров начнет писать верлибры.
Возможно, поэтому мы в Казань
до сих пор особо и не торопимся.
Но я отвлеклась.
1 мая 1911 года в Суворинском Малом театре
состоялась премьера оперетты Михаила Кузмина
«Забава дев».
Публике оперетта понравилась!
Кузмин получил крупный гонорар – достаточно крупный,
чтобы махнуть на него в Париж, да еще не одному,
а – с любовником-с. Ну, с Колей.
Ну, помните же Колю?
Только благодаря судьбе в виде театрально-литературной пьянки
по поводу того, что жизнь – удалась,
наше серебряновековое все не пропало
на бульварах Парижа:
гонорар то ли сперли, то ли пропили.
Сто семь лет прошло, а сперли или пропили –
так и осталось загадкой.
А представьте, если бы не сперли и не пропили?
Михаил Алексеевич в Париже, и все там – для него:

отцветающие каштаны в парке Тюильри,
ежедневный абсент сквозь кусочек сахара, французская болезнь,
Монмартр (произносится по-русски:
очень в нос и с понимающим закатыванием
глаз женщины бальзаковского возраста),
затусил бы, глядишь, и с Амедео Клементи
(извините, не помню, как по батюшке),
выпили бы там, семужкой закусили, поговорили, а закончилось бы все в итоге
парой рисунков Кузмину от Модильяни и –
и точно все.
Поэтическая история России перепахана напрочь.
Михаил Алексеевич и так с Анной Андреевной-с
друг друга недолюбливали,
а уж тут...
вместо одного – сразу два русских гения,
изображенные гением третьим нерусским,
русских стихов не читающим.
Какой пассаж.
Какая возможная схватка самолюбий и сопричастности
к вечности и искусству.
Вывод:
следите за своими карманами,
берегите деньги, не пейте, когда у вас в кармане деньги,
мечтайте съездить только в Казань.

4
В майском Киеве 1919 года было все,
что требуется приличному столичному богемному человеку на отдыхе:
джаз-банд (настоящий), изюмное вино (крепкое),
вишневое варенье (солоноватое), дома-ковчеги (шумные),
ночной клуб «Хлам» (почитать стихов, выпить чаю,
стараясь не стучать ложечкой,
пока другие тоже читают).
Не было, пожалуй, только двух вещей:
жареных каштанов (но они просто еще не созрели.
Правда, во Франции, но это уже мелочи)
и конфет «Птичье молоко» (но их, уж извините,
разработали и пустили в производство только в 1967 г.).
Что из идеального города можно было увезти
на долгую память?
Сами понимаете, только идеальную жену.
Видели ли вы когда-нибудь идеальную жену?
Чтобы все как по нотам:
в первый день она вся такая острогубая, острозубая и заинтересованная,
во второй день – с охапкой водяных лилий
и рядом с тобою,
а через сорок лет до сих пор помнит все твои стихи.
И прозу тоже.
Лично мне такие не попадались.
Они были идеальной парой:

Неаккуратная и рассеянная мамзель Зизи
(так называла Мандельштама мать Волошина)
и молодой человек в коричневом костюме и с сигаретой в зубах
(привет Наденьке от Ходасевича) –
все, что вы не хотели, но должны знать о гендере и
мифологизации образа.
Я к тому, что рядом с другим становишься самим собой,
лишь наконец осознав:
сильнее всего связывает не любовь преходящая,
а стокгольмский синдром привязанности,
стокгольмский синдром привязанности к этой привязанности,
небрезгливая страсть прогибаться под того, кто рядом,
тихое желание быть выдуманным им,
поэтому:
жизнь людей, сломанных вместе,
в итоге всегда почему-то становится идеалом.

5

«Неотъемлемое качество французов (а бретонцев, кажется, по преимуществу) – невылазная грязь, прежде всего – физическая, а потом и душевная. Первую грязь лучше не описывать; говоря кратко, человек сколько-нибудь брезгливый не согласится поселиться во Франции».

Я прямо-таки очень ясно вижу эту картину:
Александр Александрович Блок. Франция. Вечер.
Само собой, очередные траблы с женой,
сдержанное пожелание добрых снов в ее недовольную спину.
После чего Александр Александрович
надевает шляпу и, само собой, идет пить пастис.
Конечно, снимает нехорошую французскую проститутку,
не по-русски нехорошо вертлявую и вообще слишком нерусскую.
В общем: 1911, пастис, Франция, бабы –
сами понимаете, все как-то не так, как должно быть.
Не душевно.
Возвращается под утро, ложится спать на пару часов,
потом поднимается,
холодно принимает холодную ванну,
надевает свежую белую рубашку,
застегивает накрахмаленный воротничок
и садится аккуратно за аккуратный стол.
Открывает аккуратную записную книжку,
аккуратно обмакивает перо в чернила,
сдержанно и коротко вздыхает и –
сообщает, что все во Франции плохо.
Нимб его волос нежно золотится в утреннем французском свете.
Сами понимаете, через два года
Блок снова туда рванул. Пишут, что по совету врачей.
Вновь остался недоволен женщинами и французскими умывальниками
(про французских блох я уж молчу).
Думаю, именно французским блохам мы обязаны тем, что
Блок не оставил потомкам цикл «Французские стихи».

А ведь мог бы.
Мне иногда кажется, что наша Юлька Подлубнова –
частичная реинкарнация Блока.
Она тоже периодически ездит во Францию,
чтобы остаться ей недовольной.
Вот так и говорит:
«Страсбургский пирог во городе Париже оказался зело плох и суховат».
Не те страсбургские пироги нынче во франциях, не те
(печально в этот момент думаю я).
Потом Подлубнова аккуратно закидывает ногу на ногу
и очень сдержанно добавляет: «И Сена просто отвратного цвета,
и общественные уборные
полны нечистот-с».
После чего бросает искоса взгляд
на свое красивое колено в черном ажурном чулке
и добивает слушателя:
«И Эйфелева башня, тьфу, как бабская нога в ажурном чулке»
(с тихой нежностью оглаживая свое красивое бедро).
Нужно ли добавлять, что больше всего
ее в Париже бесила подруга,
с которой они туда поехали?
Не нужно, понимаю, но я не могла не добавить.
Как не могу не уточнить, что этот текст
не несет на себе никакой
смысловой нагрузки, кроме того,
что он написал по просьбе Юлии Подлубновой,
очень уважающей Блока,
а я никогда не могла отказать
красивой женщине,
тем более если она в черных ажурных чулках
(это же так легкомысленно, по-французски).

6
Иногда маленькое путешествие
приводит к большим последствиям.

Именно поэтому 22 ноября 1909 г. стреляются

Николай Степанович Гумилев –
В душе корсар и рыцарь, по совместительству –
русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик (спасибо Википедии)
и Максимилиан Александрович Волошин –
эллинско-коктебельский кудрявый бог
в парусиновом балахоне и веночке из васильков,
кроме того – русский поэт, переводчик, художник-пейзажист,
художественный и литературный критик.

Важная в своей нелепой пафосности деталь:

стреляются из старинных пистолетов пушкинского времени.

Конечно же, на берегу Черной речки,
поскольку с 1837 г. в России
любая поэтическая дуэль без литературных отсылок
изначально не имеет смысла.

Конечно же, все опоздали:
один застрял в снегу, автомобиле, шубе, смокинге и цилиндре,
второй потерял калошу.
Стреляться без нее отказывался наотрез.
(сами понимаете, защита женской чести в одной калоше –
Только друзьям «Аполлона» на смех).

Конечно же, все остались живы, иначе
автомобилю и калоше, завязшим в снегу
в районе этой клятой Черной речки,
специалистами по Серебряному веку
было бы уделено гораздо больше внимания.
Возможно, даже были проведены
какие-то мистические параллели
с предыдущими соответствующими событиями.

Впрочем, все это все равно не имело бы никакого значения
для истории русской поэзии начала XX века,
(кроме анекдотического),
если бы не одно маленькое уточнение,
о котором обычно забывают:

22 ноября 1909 г. Елизавета Ивановна Дмитриева
перестала писать стихи. На пять лет.

Переставали ли вы писать на два года, три, пять лет?
Когда понемногу перестают узнавать знакомые,
поскольку все, что вас действительно объединяет –
это литпроцесс и –
ничего человеческого.
Если да, то вы меня сейчас понимаете, если же нет,
то нет смысла и пытаться объяснить.

...Думала ли о чем-то подобном в мае 1909 г.
на пути в Коктебель
маленькая, круглощекая, пухлорукая, прихрамывающая,
зато с крайне печальными очами
Елизавета – Лиля?
Конечно, нет. И слава богу.
Иначе одной трагедией, а значит –
еще одной увлекательной историей – было бы меньше.

Впереди были: лиловое море, голубые, желтые горы,
запах сухой земли и жареной баранины,
долгие летние вечера и –
кажется, так много любви,

так много любви в этом удивительном мире.

7
Путешествие живой в страну мертвых
прошло удачно, с учетом всех церемоний и предосторожностей:
многозначительный стук ветки по бревенчатой заскорузлой стене,
шорох мыши под веником в углу,
пара белых бликов в стакане с водой,
немного страха и растерянности –
не слишком большая плата для билета в один конец.

6 мая 1913 г. отбыла из Новой Церкви во Небесный град
Элеонора Генриховна,
неприкаянная Елена,
урожденная Гуро с котиком беломордым на полосатых коленях,
поглядев на зрителя так неловко,
в последний раз, как и всегда,
отворачиваясь к окну,
ничего после себя не оставив – ни большой горечи,
ни маленькой могилы,
все, что имела при жизни, передав чинно смерти:
нос, похожий на деревянный широкий крестик,
светлыя бусики маленьких прегрешений,
финский песочек из стоптанной ботинки.

Так и легла поперек чьей-то случайной памяти –
простая, тихая и хорошая,
с недонежной недонеженной посмертной книжечкой на груди,
все, как полагается:

со столетним букетиком забвения в перстиках –
пока не рассыпался в прах.

...Все стесняются смерти,
наверное, потому так рядом с ней и назойливы:
на первый день дружно ужасаются,
на второй день становятся дружно друзьями покойника,
на третий день дружно говорят: «Гений покинул
нас, сирых, убогих, несчастных,
без него неприкаянных»,
на четвертый день хайпа уже не хватает.

Через год благопристойно начинают отмечать день смерти
вместо дня рождения –
с пышнотелой подборкой
и проникновенной статьей
в каком-нибудь весьма уважаемом
печатном или не очень издании.

Здравствуйте же,
мои прочитанные не по заказу и не по поводу,
вспомненные не к месту
и без причины,

чужие, нелепые, недорогие, бессмысленные,
бесталанные, ненавидящие, ненавистные, случайные,
но –
все, все до одного –
с забытыми и навсегда неважными

датами приезда и отбытия.

8
Немного о совпадениях:

1. Осенью 1791 года в румынский город Яссы приезжает
тот самый Григорий Потемкин – в лихорадке.
Съедает кусок ветчины, целого гуся, несколько цыплят
и неимоверное количество кваса, меда и вина,
затем требует везти его вон из Румынии в г. Николаев.
Не довезли – сами знаете.
Вот так вот, и больше ему ни зеркальных
петербургских зал, ни чижовского крыжовника,
ни юных напудренных племянниц в дареных им же жемчугах.

2. 27 июня 1905 г. Румыния (снова Румыния!) возвращает России
тот самый мятежный броненосец «Князь Потемкин-Таврический»
(опять Потемкин).
Матросы, не пожелавшие остаться в Румынии,
предстали перед судом. И никакой им революции
в следующие 12 лет, ни морских забав,
ни «Яблочко» на палубе в погожий день отхорнпайпить.

3. В ноябре 1920 г. в румынскую (все ту же клятую румынскую) Бессарабию
ночью, на веслах, самым контрабандистским образом,
с дочерью, женой и продирающей удивленно очи ностальгией
прибывает тот самый Петр Потемкин.

Следует ли удивляться тому,
что надолго он в Румынии не задержался?
И никаких ему в итоге ераней на окошке где-нибудь в Кишиневе,
знойных южных вечеров с баловством в шахматы с соседом,
ни холодной после кавермы,
ни горячих фаршированных баклажанов.

Иногда мне кажется, что вся жизнь –
маленькая Румыния,
идеальный транзит:

не миновать,

не остаться.

P.S. Каждый из нас, само собой, – немного какой-нибудь Потемкин.

9
Нравится ли вам, когда ваши любимые уезжают куда-то одни?
Мне, каюсь, нет: сидишь дома одна, ешь сладкого вдвое больше,
переживаешь: мало ли что,
вдруг там кто покусится на твою супружескую честь?
Недоверие и ревность, особенно беспочвенные, как понимаю –
первый признак скрытого абьюзера.
Ну что ж, со мной все наконец ясно.

К сожалению, в 1919 г. этого термина еще не существовало,
поэтому Марина Ивановна Цветаева
спокойно отпустила Сонечку Голлидей в Симбирск.
А зря. Могла бы отлично словесно поабьюзить напоследок.

Зря и то, что термина не существовало, иначе Марина Ивановна
точно написала бы крайне абьюзивное эссе или два
о том, как она презирает абьюьз.

Но забудем наконец про мои навязчивые мысли
об абьюзивности вокруг и вернемся в 1919 г.
Именно в этом году, если судить по общеизвестной «Повести о Сонечке»,
Марина Ивановна совершила ту самую большую ошибку,
которую совершает хоть раз в жизни
любая цисгендерная би- или гомосексуальная женщина,
если она склонна руководствоваться чувствами, а не разумом:
влюбилась в натуралку.

Можно, конечно, устроить большую дискуссию о том,
что мы влюбляемся в человека, а не в его ориентацию, и это правильно,
однако реальная жизнь, давайте честно,
это совсем о другом, в ней все несправедливо:

гетеросексуальный объект мнется, не забывая
сбирать все плюшки в виде внимания,
воздыхания, цикла стихов и последних коралловых бусиков на память
(снятых преданно с шеи и еще хранящих твое заботливое тепло),
а потом уходит к комбригу Красной Армии,
причем уходит, конечно,
в твоих бусиках и с твоим же циклом стихов в сумочке,
само собой, собственноручно тобой подписанным.

Обещая вернуться осенью и не возвращаясь никогда.

Ребята, это неправильно.
Принципиально нельзя
любить того, кто никогда не ответит тебе взаимностью,
уж извините.

Этот текст задумывался как текст о путешествии,
уезжая в которое, возлюбленная обещает вернуться
и напрочь не сдерживает обещания,

да и вообще о другом, однако
превратился в текст о практичности в сфере, хм, чувств,
поскольку:

сегодня 14 марта, весенняя депрессия,
как Слуцкий, всех хватает и лапает,
лапает и хватает,
поэтому одна моя подруга (обойдемся без имени – привет, подруга!)
в очередной раз влюбилась в натуралку.

На все мои резонные вопросы вроде:
«На кой ляд тебе это надо?»,
она грустно пишет мне вконтакте,
идеально подходящем для бытового нытья:
«Хочу страдать».

Дорогая подруга, обращаюсь к тебе без имен,
ты все равно поймешь, что я обращаюсь к тебе
(поскольку заранее послала стишок в твою личку):
знаешь, к сорока годам понимаешь, что любовь –
это взаимовыгодный бартер, поэтому
никогда не давай никому больше,
чем можешь получить в ответ,
не страдай, если не страдаешь исключительно
ради поэтической сублимации,

помни, что для тебя могут быть актуальными
только бессмертные строки Геннадия Каневского :
«Полюби безответно красивую лесбиянку»,
потому что ты красивая, панимаишь.

10
Немного о небесспорной поэтопатологической соционике:
всех поэтов, мне кажется, можно разделить на два основных типа:
поэт-Нельдихен и поэт-Ходасевич.

Поэт-Нельдихен: считается, что глуповат и счастлив,
но немного себе на уме (по причине внешней глупости, как ни странно),
может поддержать бытовой разговор,
похлопать по плечу, откровенно считает себя гениальным,
практику предпочитает теоретизированию,
ну и как вишенка на торте –
что-то типа всем известной морковки в жилетном кармашке –
детский оммаж детской экстравагантности,
легкое повседневное похмыкивание над Ходасевичем.

Поэт-Ходасевич: интеллектуальность
повышена до критической отметки, как содержание алкоголя в крови
после выпитых мной позапрошлой осенью трех литров
домашней вишневой настойки (извините, пилась как компот),
язва характера опережает язву желудка,

типаж сдержанно и показательно скромно несет тайное бремя
осознания собственной исключительности,
трагического несовпадения с неправильно себя ведущей эпохой,
а также вежливое, но плохо скрываемое
неудовольствие Нельдихеном
и совершенное непонимание логики его поступков.

К сожалению, в жизни эти типажи имеют
привычку соединяться в субъекте, поэтому
далеко не всегда определишь, в каких пропорциях
нельдихенности и ходасевичности намешано
в сидящем перед тобой,
из-за чего могут случаться казусы
невзаимопонимания и невзаимопроникновения
различных поэтических, географических, гендерно ориентированных,
возрастных и иных культур.

Именно поэтому интересно бывает наблюдать за тем,
как эти два типа вынуждены сосуществовать
в одном пространстве:

так, август 1921 года Сергей Евгеньевич и Владислав Фелицианович
(некоторая скрытая невзаимность обязывает к повышенной вежливости
даже со стороны рассказчика)
вместе проводят в творческой коммуне
в Псковской области, в имении Бельское устье –
с полутора тысячами яблонь в качестве
актуальной замены вишневому саду,
в доме с 12 комнатами и тремя кроватями,
Ходасевич: по-пушкински по-дворянски
почивая на сеннике,
Нельдихен: по-гоголевски устроившись на террасе
в длиннейшем ящике из-под яиц.

Промышляют на отдыхе:
удачным обменом столичных скатертей и одеколона,
неудачным – материй на брюки-с в неожиданную клеточку,
лекциями для крестьянства,
шарадами, эпиграммами, разговорами о высоком.

Одинаковая близость к пище
и возвращению в непищевой Петроград
расслабляет людей гораздо больше, чем может представить
никогда не голодавший, а значит

вечерами открываются все двери,
зажигаются керосиновые лампы,
устраиваются танцы:
призраки настоящего попарно вышагивают
под звук гармони,

под тихий свист ветра в дырявых окнах,
дружно отбрасывая колеблющиеся тени и мысли о завтрашнем дне,
ненадолго не споря.

Читая об этом, понимаешь,
что в итоге нас отличает друг от друга только одно –
время и место смерти,
остальные различия –

всего лишь шум времени,
Органное многоголосье,
Некрополь.

11
В отличие от даты выхода первой книги Георгия Иванова,
у литературоведов не возникает разночтений
по поводу даты знакомства Георгия Иванова с Георгием Адамовичем –
13 октября 1913 г. в круглой зале Тенишевского училища
на лекции К. Чуковского о футуризме.

Далее – известная история: Жоржики становятся неразлучны настолько,
что Адамович Жоржик-2 указывает
новую дату рождения – 1894 г., год рождения Жоржика-1 Иванова
(баян, если что, не мой, а Ирины Владимировны Одоевцевой).
Подоплека подобной близости вызывает у исследователей,
сами понимаете, серьезные вопросы,
но, в кои-то веки, это – для меня и в данном случае – не важно.

Следующие 25 лет они вместе злословят,
мельтешат, пишут, язвят, шебутят, портят и создают
свои и чужие поэтические репутации,
Иванов женится на подруге сестры Адамовича,
потом Адамович живет вместе с Ивановым и его второй женой,
потом они втроем, хоть и по отдельности, эмигрируют,
снова портят, злословят, пишут, ехидничают,
а потом ссорятся, по большому счету, из-за какой-то фигни.

На 15 лет.

Потом, конечно, мирятся, но это уже не то.

Не зря Жоржик-2 пишет больше Одоевцевой, а не Жоржику-1,
а Жоржик-1 в письмах к Маркову время от времени
проезжается по бывшему другу не без удовольствия,
как горячий утюг – по швам завшивленной
и жестоко простиранной рубашонки.

Сейчас я скажу ужасную банальность и пошлость, однако
дружба – это то же самое путешествие,
без компаса, но с картой страны нежности, отрицания и равнодушия –

почище приложенной к первому тому
явно зря забытого французского романа
«Клелия, римская история».

О, эти незабытые Рощи душевного отдохновения,
Пески забвения, Болота непонимания,
Реки слез, Ядовитые источники, Холмы непременных надежд,
Острова простодушного веселия,
я помню вас,
я всегда буду помнить, как вас открывала:

Кажется, 2003, Нижний Тагил. По воскресеньям Ленка Михеева,
Наташка Стародубцева и я собираемся у Гали Коркиной.
Эти вечера называются «Секс, тряпки и Кальпиди».
Мы разговариваем о мужьях, женах, любовниках, любовницах,
перемываем кости всем, кого знаем и нет,
читаем свое новенькое и Гатину, Костылеву, Русс,
Гейде, Фанайлову, Чепелева, Санникова, Кальпиди и т.д.
(спасибо наконец начавшемуся появляться интернету),
пьем дешевый вермут, называя его мартини –
на окраине маленького тюремно-заводского
уральского города за 1770 с половиной км (хочется сказать верст) от Москвы,
с одной стороны – заброшенный рынок и пустыри, с другой –
хлебозавод и хлебные запахи. Стародубцева скромно,
но многозначительно
сообщает, что ей написал Кузьмин – это серьезный повод выпить:
мы все уважительно понимаем,
что никому из нас
никогда в жизни
не напишет
САМ Кузьмин.
Вермут закончился. Дружно идем за пивом.

2005 г., на даче у Туренко:
Стародубцева, Сунцова, Баянгулова,
Катя Ермакова, ну и Туренко, само собой.
В какой-то момент я нажираюсь так,
что беспричинно иду рыдать в баню,
даже сквозь слезы и алкоголь вкусно пахнущую деревом,
сухими листьями, хозяйственным мылом и мочалом.
Все по очереди так же беспричинно
приходят меня утешать, неловко похлопывая по спине.
Начинается дождь. Туренко и Наташка
танцуют под дождем,
среди красных и розовых гладиолусов, голубых бочек для воды,
теплиц с помидорами.

2015 г., Питер, канал Грибоедова, почти пять утра:
Сунцова, Баянгулова (она же Елена Федоровна), я
сидим в китайской гостиной с огромным коричневым камином,

похожим на гигантский тульский пряник в сахарной глазури,
пьем уже теплое холодное белое сухое,
засыпаем с открытыми глазами,
потом просыпаемся, не переставая говорить
обо всем и ни о чем, выходим на балкон,
плеск воды, пресный ее успокаивающий запах,
розовые от утреннего света задницы белых львов
с ракурса, с которого я их более никогда не увижу,
Сунцова фотографирует нас с Еленой Федоровной на память.

Всему этому никогда более не повториться.

Это правильно, как сон, вода и воздух: есть вещи,
которые не должны случаться дважды,
просто должны оставаться в памяти, как занозы,
как широкое-тяжелое-серебряное кольцо на память –
холодное, когда его надеваешь,
понемногу согревающееся и согревающее,
и начинающее тревожить сердце.

То, что должно перестать быть собою,
перестает быть собой,
с радостью и печалью становится чем-то другим –

так уходит молодость,
так наконец заканчивается эпоха.

12
Чтобы быть вместе –
не обязательно быть вместе.
Чтобы расстаться –
не обязательно расставаться.

Животный страх будущего, точнее, его отсутствия,
костыли настоящего –
иногда я не понимаю, почему от любви
остаётся в памяти только непростительность слабости
вместо прикосновения к щеке –
одним-единственным словом,
вместо ощущения, что ты
стоишь позади меня, и стоит лишь обернуться –
как и не было всех этих бессмысленных лет разлуки, этой
горькой складки в углу рта – одинаковой у обоих, поэтому –
я никогда не оборачиваюсь.

Осень 1920 г. Севастополь.
Море шумело и билось за окнами севастопольских гостиниц,
ведро воды стоило сто тысяч рублей,
слезы, как и всегда, не стоили ничего.

К сожалению, до сих пор неизвестно, когда именно и как
Александр Николаевич Вертинский
познакомился с Адель С.,
непонятно какими путями оказавшейся в сентябре 1920 г. в Севастополе
и более чем неясно каким образом (согласно ее дневнику,
изобилующими подозрительными пробелами
за конец 1918 – начало 1921 гг.)
встретившей весну 1921 г. уже в Санкт-Петербурге –
пардон, в Петрограде,
однако,
так или иначе,
рано или поздно,
Вертинский встречает Адель С. –
с глазами серыми, голубыми и зеленоватыми,
как полуденная апрельская Нева,
не столько поэтессу, сколько красавицу,
не столько глуповатую (если вдруг верить дневникам И. А. Бунина,
ведь мы помним, что Бунин и умные женщины – это материя и антиматерия),
сколько молчаливую,
не столько умную (если верить уже письмам Г. Кузнецовой
американского периода),
сколько неожиданно тёплую,
вдвойне неожиданно – для указанных дат,
места действия, количество проливаемых вокруг отчаянных слез.

Неудивительно, что между ними происходит все то,
что обычно случается между героями сентиментального девственного
английского романа,
написанного позже, чем нужно, лет этак на сто –
долгие прогулки, кажущиеся диковатыми по причине, повторюсь, времени
и места действия,
разговоры, подходящие более
напудренным даме и кавалеру с нарумяненными яблочно щеками,
впрочем, на фоне французской аллегории то ли Свободы,
то ли Беззакония –
с обязательно обнажённой грудью, под глухие звуки
безостановочно
поднимающейся и опускающейся гильотины:

– В чем смысл простых чувственных удовольствий?
– В желании их бесконечного повторения.

Неудивительно, что эпоха, несмотря на наши бессмысленные желания,
всегда сама расставляет все по местам,
не столько желанным, сколько исторически правильным, поэтому
в тот день, когда Адель С., несмотря на ни что,
решает вернуться в Санкт-Петербург,
(снова пардон – в чёртов Петроград),
Вертинский обращается к своему знакомому капитану-греку

(чей корабль «Великий князь Александр Михайлович»,
на следующий день уходит в Константинополь) –
с просьбой взять его с собой, официальная причина –
подальше от семок, лузгаемых генералом Слащевым.
И покидает Россию на 23 года.
Об Адель С. мы не найдём у Вертинского ни одного упоминания –
ни в воспоминаниях,
ни в личных разговорах.

Удивительное совпадение:
именно в 23-м году Адель С. все-таки эмигрирует из СССР,
чтобы не вернуться назад никогда.

Больше они не встретились.

Все, что осталось от этих двух месяцев в Севастополе –
это две страницы ее дневника, полные умолчаний,
и две строки из стихотворения, записанного Вертинским
в его гостиничном номере за ночь до отъезда:

«Из всех объятий памятуем лишь последние,
А поцелуи только первые в цене».

Стихотворение он со стены переписать забыл.
Полный его текст не сохранился.

Неожиданное приложение:
стихотворение Адели С, датированное октябрем 1920 г:

Какая, говоришь,
Не ночь, а благодать:
Тебя не увидать,
Себя не потерять.

Молчишь и смотришь вверх
На звёздный ледоход,
Пока тоску, как жизнь,
Он мимо нас несёт.

13
Последний, тринадцатый:

Мне кажется, именно с 18 декабря 1912 г. история русской поэзии
(точнее, она всегда была такой, но любая официальная дата –
литературоведу только на радость, даже если является плодом
нервного писательского воображения),
уф, лучше повторюсь:
именно с 18 декабря 1912 г. история русской поэзии
наконец обрела свои реальные и катастрофически привлекательные
для персоналий формы,

которым она верна вот уже которое столетие
и будет верна и впредь –

СБРАСЫВАНИЕ С ПАРОХОДА СОВРЕМЕННОСТИ.

В 2016 году мы с Александром Маниченко
даже хотели придумать такую премию:
ежегодное осеннее сбрасывание в Миасс
во время фестиваля «Дебаркадер» портретов
проштрафившихся и/или потерявших актуальность
поэтов, культуртрегеров и критиков.
Но одумались (=протрезвели).
А то-то была бы рада (в кавычках) Наталия Санникова.

Однако вернемся к нашим баранам:
итак, в начале декабря 1912 г. в гостинице «Романовка» в Москве,
в номере Бурлюка, был отправлен за борт первый десант
в виде Пушкина (ну, этому не привыкать), Толстого, Достоевского и проч.

И все бы хорошо, но затем они покусились на дражайшего Кузмина,
а вот этого футуризму я простить не смогла и не смогу,
поэтому в качестве личного протеста и борьбы за справедливость
последние 15 лет перечитываю не футуристов,
а исключительно кузминские дневники.

А ведь правы, правы были они от кончиков желтых блуз
до молодечески грязных ботинок:
настоящий поэт должен
не уважать, не стараться понять, а лучше сразу сбросить
с несуществующего, но желанного, как и любой идеал, парохода
хоть одного – другого – поэта.
А лучше побольше.

Ибо только через презрение и эмоциональное насилие
мы можем определиться со своими
эстетическими идеалами и найти свою поэтику,
а затем поддерживать свою авторитетность
в авторитарных поэтических кругах
(иногда мне кажется, что девять кругов ада
явно были списаны с поэтических кругов).
И никак иначе.

Именно поэтому
Есенин навсегда и всегда презрительно улыбается
при упоминании имени Пастернака,
Ходасевич не перестает называть стихи Георгия Иванова
прикладным искусством,
Брюсов показательно считает мандельштамовский «Камень»
эпигонством,
А Бунин при каждом удобном случае чихвостит Брюсова

дураком и плебеем.
Впрочем, Мандельштама Бунин тоже не любит.
И всех остальных поэтов – тоже.

И я уже мудро не буду перечислять всех,
кого назвала бездарностью Гиппиус
(курящая ароматизированную папироску,
набеленная сверх меры
и в розовой шляпке к рыжим волосам –
душка ж, да?).

Именно поэтому нельзя не оценить, к примеру,
«Антологию русской лирики первой четверти XX века»,
собранную в 1925 г. И.С. Ежовым и Е. И. Шамуриным
и переизданную в 1991 г.,
где все вышеуказанные кидальцы друг друга
иронично навсегда собраны под одной обложкой.

Именно поэтому лента фейсбука для меня –
черновой вариант антологии 2025 или 2125 г.,
где наконец –
рука к руке, висок к виску –
честно навеки рядом,
не возмущенные больше друг другом:

поэты «Транслита» и Ах Астахова,
поэты премии Драгомощенко и Григорьевской премии,
традиционалисты и верлибристы,
столичные и провинциалы,
уехавшие и оставшиеся –

посмертный
слепок
времени,

иллюзия
путешествия.

Наталия КРУПЕНИНА

ПЕЙЗАЖ С ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Повесть

Глава 1. Утопия – это просто место, которого нет

Самое главное, что стоит в самом начале сказать про наш пятиэтажный район, – это что его нет. Мэрия много раз обещала, что к 2009 году в Москве не останется ни одной пятиэтажки, а сейчас как раз 2009 год, семь часов вечера.

Жизнь в несуществующем районе имеет некоторые особенности. Не думаю, чтобы они были серьёзно вредны для здоровья, но иногда смотришь в окно – ещё не осень, безвременье, межсезонье – и кажется, все больны. Еле волочат ноги по разбитому асфальту. Ещё не осень, но есть опавшие листья, и дворники с пылесосами обратной силы сдувают их в кучу. Покрашенные весной ограды вокруг газонов выглядят устало. Деревья поблекли, и за ними проступили контуры пятиэтажных коробок. Сверху висят низкие тучи, перечёркнутые проводами.

Дом справа от нашего то ли снесли, то ли нет, а детская площадка напротив мерцает. Иногда смотришь, и она как раньше: с двумя столами, штангами для сушки белья, паутинкой и каруселью. Иногда – как сейчас: с лавочками, фонтаном, новыми горками и мягким покрытием. Когда идёт дождь, газон на её краю превращается в болото. Бестолковый газон с невнятным беспорядком – какая-то трансформаторная будка, деревья, машины, постепенно отгрызающие кусочки болота под парковку.

Это пространственные навороты, но со временем тоже творится непонятно что. Рано утром – в сумерках или даже до них – чаще всего стоит зима. Можно проснуться от звука шагов по снегу, не удивиться, в следующую секунду удивиться. Июнь, перед сном был июнь. Может – катастрофа, кома, и так прошло полгода? Но зима пропадает, не было комы, продолжается июнь. С тем характерным скрипом, который бывает только от шагов по сухому утоптанному снегу, якобы дворник сметает тополиный пух.

Во второй половине любого дня может наступить осень – дорога мокрая, откуда-то лезут листья, и небо снова болтается прямо над низкими крышами. Вечером, в тот час, когда подростки и алкоголики на детской площадке открывают первые бутылки, часто стоит конец весны, и в оранжевых пятнах света фонарей видны резные тени наполовину выросших листьев. Лето у нас бывает редко, как и везде.

Но ладно – нет и нет, мало ли чего нет.

Наш район зажат между четырёх улиц: улица Профсоюзная, улица Гарибальди, улица Архитектора Власова и Нахимовский проспект. Все дома внутри четырёхугольника площадью чуть меньше квадратного километра относятся к какой-то из них. Жизнь здесь течёт с севера на юг

Наталия Крупенина родилась и выросла в Москве. Закончила факультет теоретической и прикладной лингвистики в РГГУ. Работала в нескольких интернет-компаниях – аналитиком, редактором, менеджером проектов. Была руководителем отдела текстов компании «Яндекс». Вела спецкурс по редактированию в РГГУ, читала публичные лекции. Знает пять языков, может собрать и разобрать парашют за 15,5 секунд.

и с востока на запад. От ближнего угла – между Профсоюзной и Нахимовским, где расположено метро «Профсоюзная», – к дальнему, между Гарибальди и Власова, где нет никаких остановок. Ближним и дальним углы являются по отношению к центру, если считать по времени в пути, а не по геометрическому расстоянию. Карта города в головах у всех нас развёрнута так, что метро «Профсоюзная» оказывается внизу, и из него вырастает весь остальной район.

В основном он состоит, понятно, из несуществующих пятиэтажек, построенных в начале шестидесятых. По три подъезда в каждой, по четыре квартиры на площадке – соседей не то что бы много, но они близко. Сквозь жилые дома рядами проходят маленькие двухэтажные здания. Раньше это были детские сады, а сейчас – всё что угодно. Магазины, сауна, опорный пункт милиции – в маленьких двухэтажных зданиях находится множество необходимых вещей. Вокруг некоторых ещё остались запущенные детскосадовские территории, с остатками беседок и дорожек. Кроме того, есть и несколько старых девятиэтажек – сейчас даже смешно называть их башнями – и несколько больших двенадцатиэтажных домов, ближе к улице Власова. В начале двухтысячных успели построить несколько бело-розовых семнадцатиэтажек. Есть и один действительно престижный дом, на первом этаже которого находится понтовый магазин «Интер-Оптика», а в подъездах сидят настоящие консьержки.

Приблизительный географический центр нашего района – большой пустырь, заросший травой. На пустыре стоят футбольные ворота, поэтому он называется стадионом. Справа от него английская спецшкола, и каждый будний день утром и днём к ней съезжаются вереницы мерседесов, лексусов и джипов, трясутся по нашим колдобинам. Слева обычная школа, и никто никогда не видел, чтобы какого-нибудь ребёнка забирали оттуда хотя бы на ауди. Бесспорный социальный центр нашего района – булочная.

Сейчас-то она, конечно, просто магазин «Продукты», а булочной была раньше, в те времена, когда ууу. Там тогда были такие деревянные прилавки, и такие лопатки для хлеба, привязанные верёвочками, и вдоль прилавков – ограда, так что получался узкий коридор, ведущий вдоль хлеба и заканчивающийся кассой. Хлеб – за двенадцать копеек, за восемнадцать, за двадцать четыре, чёрный буханками, круглый, а иногда даже французские батоны. Маленькие булочки – за три копейки, калорийные с изюмом – за десять, просто сдобные – за девять. Рогаликов там никогда не бывало, но могли быть сметанные лепёшки с дырочками. Очень много свободного места, для огромной толпы народу. Чтобы очередь за хлебом могла сделать четыре витка, прежде чем выйти за дверь, спуститься по ступенькам и выстроиться на улице, завернувшись в сторону сберкассы (недавно там были такие же очереди, как в те времена, когда – – известное дело, кризис).

В магазине «Продукты» помещаются три постоянных отдела и два эпизодических. Хлебный отдел – в котором хлеб, конечно, тоже есть, но более заметны торты, печенье, конфеты – в коробках и на вес, а также крупы и мука. В этом отделе бывает Анфиса, но чаще – Таисия Николаевна. Они всегда уходят раньше, потому что спрос на их товары практически замирает. Свежий хлеб к вечеру кончается, а без конфет ночью как-то все обходятся, ну или Оксана отпускает, если очень надо.

Колбасно-молочный отдел – помимо колбасы, сосисок и молочных продуктов к нему относятся почему-то консервы и всё, что лежит в холодильниках, даже мороженое, а теперь ещё и свежая рыба. Колбасный отдел самый популярный и самый бодрый. Там всегда две продавщицы – Аня и Оксана – и иногда ещё помогает третья.

Вино-водочный отдел – тут, очевидно, все напитки и сигареты, а раньше ещё и рыба – в силу территориальной близости и перегруженности колбасно-сырных продавщиц. Но в итоге втюхали им и рыбу тоже, потому что, в самом деле, несправедливо редким любителям селёдки стоять в огромной очереди страждущих, особенно под вечер. Работа в вино-водочном отделе нервная, и продавщицы там часто меняются. Сейчас вот Марина.

Марина умеет общаться с клиентами. Она смотрит на них без презрения, которое у всех остальных продавщиц вино-водочного отдела развивается за первые же две недели, и нормально

относится к любым просьбам. Пробить коньяк одним чеком, а яблочный сок – другим, достать красное вино с самой верхней полки, подсказать, что выйдет подешевле. Всё делает Марина – возможно, слишком медленно, но совершенно не меняясь в лице и даже не приподнимая бровь.

Иногда руководство булочной, озабоченное развитием бизнеса, ухитряется собрать прямо посередине магазина, в изгибе пространства, ларёк с шампунями и стиральными порошками. Долго он там не держится. Зато второй дополнительный отдел – уличный ларёк с овощами и фруктами – прижился.

Открытия булочной всегда ждёт кто-нибудь. Например, Афанасий – если он случайно не допил вчера, то ему уже очень надо. В прошлом году Афанасий сверзился с крыльца булочной и разбил голову. Об этом Аня и Оксана всегда рассказывают покупателям, которые оказались рядом в тот момент, когда Афанасий с чекушкой выходит из магазина.

– Ой, ну хорошо, что сейчас он вроде ничего, да? Да ужас же что было, – говорит Аня, – мы ж подумали сначала, что всё. Кровищи было... Ну ничё, подняла я его, сама стараюсь не смотреть, Оксанка скорую вызвала. А врач сразу говорит: чмт. Ну понятно, говорит, алкоголик. У меня, говорит, таких целый отдел. У них, говорит, черепно-мозговые что-то вроде профессионального заболевания. Хоть бы, говорит, шапочки носили.

Афанасий полежал пару месяцев в больнице и вернулся без видимых изменений. Только теперь перед тем, как сказать что-нибудь, немного заикается и брызгает слюной. Совсем немного. И действительно стал носить бейсболку – чтобы не было видно шрама на лбу.

– –

Утро в нашем районе начинается задолго до открытия булочной. Утро в нашем районе начинается с мусоровозов. Огромные машины со страшным грохотом едут по узким, совершенно не предназначенным для них проулкам. Время – что-то около пяти. Оконные стёкла начинают тоненько дребезжать, чашки и блюдца звякают, особенно если оставить на ночь полную раковину грязной посуды. Жители первых этажей слегка подпрыгивают в кроватях, одеяла съезжают на пол. Через открытые форточки в их сны проникают шум и грохот, наполняют до краёв и через несколько минут затихают. Все привыкли и не просыпаются, но так или иначе мусоровозы всегда присутствуют в наших снах, отмечают границу следующего дня.

После мусоровозов начинают ходить люди, сначала больше похожие на тени и по мере отступления сумерек обретающие плоть. В это время бывает сложно отличить современных жителей от случайно забредших представителей других эпох. Скажем, воспитательницы в детских садах. Им нужно быть на работе в семь, а дежурным – в шесть пятнадцать. В такую рань никакой истории просто не существует, все утра спрессовываются в одно.

Очень темно, из кухонной двери падает полоска света. Остальная комната и особенно улица за окнами выглядят от этого света ещё темнее. Бабушка уже встала и одевается на кухне, чтобы не разбудить меня раньше времени. Моя одежда заранее сложена на табуретке, бабушка за считанные секунды засовывает меня в неё, и мы выходим. Бабушкин детский сад находится через Профсоюзную от нас, в таком же пятиэтажном квартале. Нужно пройти мимо булочной, мимо двора, в котором местный энтузиаст устроил розарий, там так и написано – «Розарий». Если ещё не холодно, то он там и стоит, здоровается с бабушкой. Если холодно и из сугробов торчат колючие стебли, то пока мы никого не встретили. Через улицу сейчас нет никакого перехода, может, тогда был, а может, мы просто так переходили. Идём по другой стороне и по лестнице за магазином «Колобок» поднимаемся вглубь района. В магазине «Колобок» продаётся мечниковская простокваша в бутылках с полосатыми крышками. Но это на обратном пути. Слева от дорожки – голубятня, если повезёт, можно увидеть, как голуби раскрывают хвосты веером, будто павлины. Времени нет, но можно обогнать бабушку на лестнице, побежать вперёд, прижаться к сетке и смотреть на голубей, пока она не подойдёт. Потом налево, а потом уже детский сад.

Точно такой же дорогой бабушка ходила, пока меня ещё не было, и потом, когда я выросла и перестала ходить вместе с ней на работу, и ещё потом, когда я перестала к ней приезжать, и ещё потом, когда снова начала. И сейчас иногда её можно увидеть, в этот странный час, перед тем, как уже все проснулись, выпили с отвращением чаю, взяли свои рюкзаки и пошли в школу, а им навстречу – те, кому в офис к девяти утра и не опаздывать, у этих в глазах вообще пустота, а лица больше всего похожи на синюю смерть. Сейчас они зайдут в метро, протолкаются через турникеты, пропустят пару поездов и уедут-таки из нашего района в другую жизнь. Мы в курсе, потому что все они ходят мимо наших окон – воспитательницы, школьники, офисные работники, продавщицы.

Глава 2. Долгая счастливая жизнь

В необозримом, но прекрасном будущем наш квартал всё-таки снесут. Вместо дурацких пятиэтажек построят хорошие, годные семнадцатиэтажные дома; дворы и проулки зальют асфальтом, чтобы жителям было куда ставить машины, а от всех нас не останется даже воспоминаний. Последние годы – с тех пор, как объявили программу сноса, – это знание является определяющим для всех. Оно разделило небольшой, в общем-то, район на параллельные миры.

В одном мире находятся жители высоких домов, особенно новых, построенных по той же программе – стараются делать вид, как будто ничего не происходит. Как будто вокруг нет ничего неблагополучного и подлежащего сносу. Потому что когда здесь начнут сносить и строить, всё кругом превратится в облако пыли, и сквозь эту пыль они не скоро увидят синее небо. Так что они используют техники боевого солипсизма – общаются только с соседями, а на остальных смотрят сквозь, представляя себе, что их тут нет и быть не может. Эти техники везде отлично работают, кроме детских площадок – попробуй не пообщайся на детских площадках.

Блондинка из нового дома качает на качелях крошечного ребёнка – в зелёном шотландском берете и сопливого по самый помпон. Второй её ребёнок, чуть побольше, хочет качаться на других качелях, в противоположном углу площадки, так что у блондинки проблема. Она говорит девушке с таким же крошечным ребёнком в замызганном джинсовом комбинезоне:

– Мишенька, хочешь покачаться? А вы знаете, он всегда так близко к качелям подходит! И всё подходит и подходит, пока только взрослый не заметит и не скажет ему. Миша, покачаться хочешь? Ну садись рядышком. Покачаете их?

Девушка морщит нос, но, конечно, качает, пытаясь подобрать название для помады этой женщины. Кроваво-баклажановый?

Рядом с песочницей тем временем дети постарше находят дохлого голубя, и один начинает пинать его в кусты и бить палочкой, а его мама начинает визжать:

– Аааа, не трогай! Он же больной, заразный!

А мальчик говорит:

– Аааа, так тебе и надо, проклятая ворона!

А другой мальчик очень расстроился и говорит:

– Аааа, почему так и надо, почему ты его так?

А другая мама говорит:

– Это не ворона, это голубь, его, наверно, кошка съела.

Первый мальчик отвечает:

– А вот у меня ворона игрушку утащила и не вернула!

Второй кричит:

– А вот если бы, например, твою маму убили, тебе бы приятно было?

Второй мир представляют наиболее старые жильцы пятиэтажек, ветераны нашего района, которые, вполне возможно, уже не существуют вне его, рассеиваются, как пар, на расстоянии в

пятьсот метров – по крайней мере, никто уже очень давно не видел их в каких-то других местах. Они, наоборот, игнорируют любые новости и любые изменения. Жизнь коротка, а если ещё обращать внимание на новости, то совсем ничего не останется. Как будет, так и будет, чего уж там.

– Чё, правда что ли шестьдесят седьмой сносят? – спрашивает Аня у Оксаны. – Не слыхала?

– Да вроде чего-то сносят... Кто-то мне говорил, жильцы поехали квартиры смотреть. Ну, может, и снесут... Спроси Афанасия, он вроде ж там живёт. Или не там?

– Ой, да много он знает. Из-под него кровать снесут, он и то не заметит.

Афанасий и правда не в курсе. Бело-розовые семнадцатиэтажки, уже пять лет как построенные, но всё ещё новые, и их жителей, приехавших на блестящих машинах и теперь пытающихся припарковать их где-нибудь каждый вечер, Афанасий тоже никогда не замечал.

Последняя, крайне малочисленная группа жителей, которая, тем не менее, производит шума больше, чем две другие вместе взятые, и от этого вовсе не кажется малочисленной – это те, кто верит в чудеса. Раньше-то переселяли в новые дома, хорошие, и прямо чуть ли не в нашем районе. Ну, может, подальше, к Черёмушкам, но кого-то вон и сюда переселили. Прямо вот в эти новые дома. А если сильно постараться, то могут и две квартиры дать. А чё, нормы же. Вон, Антонина прописала к себе каким-то образом шесть человек, теперь ей жилой площади должны дать не меньше девяноста шести метров.

Активисты из последней группы печатают воззвания и раскладывают их по почтовым ящикам. С целью расшевелить равнодушное большинство. У которых работа, дети, запой и мало ли что ещё.

– Начался процесс расселения!!! – пишут они нам, обильно уснащая текст восклицательными знаками. – Несмотря на проект, представленный в декабре 2008 г. на публичных слушаниях, расселение началось от угла Нахимовского – Профсоюзной. Причём жителям предлагается или вторичное жильё, или другой район!

И вот мы все достаём эти бумажки с восклицательными знаками из своих почтовых ящиков и синхронно пожимаем плечами, не понимая, чего от нас хотят, и что мы, собственно, могли бы сделать, даже если бы понимали.

Вслед за бумажками приходит активная женщина Лиана и начинает тараторить.

– Ой, вы знаете, нам не надо соглашаться на снос, если вдруг что. Нам нужно соглашаться, если нам предложат нормальные условия! Вы знаете, что есть проект по надстраиванию пятиэтажек? Нам это совсем не надо, совсем. А вот ремонт фасада – да. Вы балконы видели? У нас как минимум два аварийных балкона в доме! Нам надо, чтобы их укрепили. Я с них не слезу, с гадов. Ничего, фасад сделаем, ремонт в подъездах... У нас такое местоположение!

– –

Местоположение у нас действительно такое. Не центр, не окраина, некоторая средняя полоса. Если в центре у всех работа, институты, бульвары и кафе, а на окраинах – сотни торговых центров и в них тысячи магазинов, кинотеатров и подземных парковок, то у нас – только наши пятиэтажки. К нам крайне редко приезжают по делам, разве кто ищет пенсионный фонд (прямо, потом через двор и слева увидите). Когда те, кто работает, уходят на свою работу, у нас остаются только постоянные обитатели.

Игорь выходит покурить на балкон третьего этажа. У Игоря бритая голова, на шее – цепь и татуировка, пониже – белая майка и тренировочный костюм. Внизу Игорь заканчивается чёрными кроссовками (на улице) или резиновыми шлёпанцами (на балконе). По утрам Игорь благодушен. Он медленно курит и разговаривает с проходящими мимо знакомыми.

Вот старушка Гераськина говорит ему:

– Ты гляди, какую у вас красоту сделали!

Это она про детскую площадку. Там только что выложили всё плиткой, посадили кустики, поставили скамейки и фонтан. На другую часть положили мягкое покрытие и привезли новые песочницу и горку – чтобы детям тоже стало веселее.

Игорь отвечает:

– Это какую же красоту?

– Ну вот, фонтан, лавочки поставили...

– Так это два года уже.

И ухмыляется. Пошутил.

По вечерам – вечер в данном случае стоит понимать как расплывчатый период между двумя часами после полудня и открытием булочной на следующий день – Игорь выпивает с друзьями. В основном они живут тут же, неподалёку. Его лучший друган Санёк – в соседнем подъезде. И у него жена Людка. Толян – в тридцать шестом. А вообще у Игоря много друзей, в хорошую ночь – не меньше двадцати.

Игорь плоть от плоти девяностых годов – со своей цепью и мутными занятиями, с пластиковым пакетом, в тренировочном костюме с надписью «abibas». Больше таких не делают. Только в девяностые он уже давно был бы мёртв, а сейчас ничего. Повезло.

Вниз от стадиона, расположенного в центре района, ведёт сквер. На лавочках там с утра до вечера сидят старушки, между ними прохаживаются другие старушки, пободрее. Туда же выходят гулять женщины с колясками. По субботам к каждой лавочке в сквере прилагается собственный пьяный, лежит на земле в расстёгнутых штанах. Поэтому в выходные старушки занимаются другими делами, а женщины с колясками гуляют в других местах. Но по будням здесь. По будням многие вообще проводят тут всю прогулку, так и ходят с коляской по скверу триста метров вперёд и столько же назад – несколько часов. Потому что тут относительно гладкая дорожка, не ездят машины и вокруг – деревья, символизирующие воздух. С утра до вечера в сквере мелькают разнообразные цветные коляски, и в каждой лежит важный толстый младенец, а за коляской идёт тётенька, как будто аист – за плугом и пахарем.

Больше всех гуляет Лена – она считает, что ребёнок должен как минимум пять часов в день проводить на воздухе. У Лены очки и растрёпанные волосы – на линзы и укладку у неё больше нет времени. У Лены решительный и бледный вид давно не спавшего человека. Также у Лены запоминающаяся коляска – тёмно-синяя, с яркими красными и оранжевыми цветами, на толстых колёсах. Филипп у неё всегда закутан, Лена боится, что иначе он простудится. Летом – в байковое одеяло, зимой – в шерстяной плед и пуховый конверт. Это вызывает диспуты на лавочках, большинство старушек одобряют.

Ходить пять часов по скверу – такое сложно выдержать. Лена начинает со сквера, а потом методично объезжает все детские площадки. Но надолго нигде не задерживается, потому что Филипп просыпается. С начала лета, когда начался её многокилометровый поход, Лена выучила все коляски в округе.

Есть маленькая розовенькая колясочка. С ней гуляет чаще всего представительный бритый мужик в пиджаке. Коляску он возит одной рукой, и возникает ощущение, будто она ему по колено. А как-то Лена видела розовую девушку – в белом тренировочном костюме, со светлыми волосами, она достала из маленькой розовой колясочки крошечную розовую девочку в белом комбинезоне и стала качаться с ней на качелях.

Жёлто-серая коляска – рискованное сочетание цветов. В ней обитает девочка с очень необычным лицом. Яркие тёмные глаза, чёрные-чёрные ресницы, чёрные волосы, ярко-красные губы – всё в целом очень красиво, но не вполне в том роде, в каком ожидаешь от человека нескольких месяцев от роду. Руки она всё время держит перед собой, как будто в них был бублик, а потом улетел.

Чёрно-белая коляска – с ней тоже очень много гуляют.

Ярко-красная, двойная, для близнецов. С очень узкими люльками – бессмысленный компромисс, двойная коляска всё равно не проходит ни в какие двери и не помещается ни в какой лифт. Красную коляску возит бодрая и решительная женщина с длинными волосами, в огромных тёмных очках, высокая и худая – всё немного чересчур, спокойная так, как и обычные-то люди не бывают, не то что родители близнецов.

Ещё одна двойная коляска – чёрная. С ней гуляют по очереди все, кроме мамы – мама, видимо, лежит без сознания в это время, отдыхает. Довольно часто гуляет бабушка, молодая и озабоченная, папа, совсем юный молодой человек с хвостом, прабабушка и прадедушка. В холодную погоду прабабушка и прадедушка гуляют надевают вместо обычных варежек прихватки – слегка обгорелые, в синюю и белую клетку.

Девушка с чёрно-белой коляской имеет обыкновение танцевать перед подъездом с орущим мальчиком на руках. Несколько бесконечно долгих минут проходит, прежде чем он соглашается лечь, глядя прямо в небо. Народ же кругом живёт сплошь общительный и готовый помочь советом.

– Может, у него ножки подогнулись! – говорит женщина с сумкой на колёсиках.

– Наверно, она мёрзнет! – говорит пожилой мужчина с палочкой.

– Живот болит! – кричит дворничиха.

Из подъезда выходит тётя Маша Еманова. Тётя Маша Еманова живёт прямо под Игорем. Когда-то давно, когда Игорь был ещё маленький, тётя Маша Еманова была наоборот огромная, и больше всего ей подходило слово «бабища». Когда она приходила жаловаться на Игоря, ему казалось, что её задница слева и справа упирается в стены – левую и правую. Многие удивлялись, как она вообще помещается в крошечных коридорчиках типовой пятиэтажки.

Время шло, и как-то постепенно тётя Маша разругалась со всеми окружающими. Может, с кем-то не успела, но тот, значит, умер. Дети давно уехали и предпочитали навещать её ненавязчиво, раз в пару месяцев. Сама тётя Маша драматически уменьшилась и стала наоборот совсем небольшой старушкой. Даже сложно себе представить, что человек может так уменьшиться. Теперь кажется, что даже если она ляжет на пол поперёк крошечного коридорчика типовой пятиэтажки, то еле-еле достанет головой и ногами до стен, левой и правой. Один глаз у тёти Маши не видит, она ходит с палочкой и стала молчалива. Палочка и молчаливость происходят от перенесённого инсульта и абсолютно чужеродны тёте Маше. Особенно молчаливость. Мысль у неё очень сильно опережает слова и крутится в глазу, не имея выхода наружу.

И вот, вышла из подъезда тётя Маша Еманова, и вся её фигура обозначила неодобрение. Она подошла и внушительно остановилась. Правый глаз осветился торжеством. Она хотела сказать тысячу разных вещей, но сказала только:

– Приучила!

А потом добавила:

– Кошмар!

Два раза в день можно видеть, как через весь район проходит женщина с собаками – афганскими борзыми. Она не гуляет на стадионе, как остальные собачники, а пересекает весь район по диагонали и исчезает где-то за гаражами. Собак три штуки, белая, рыжая и чёрная – конь белый, другой конь, рыжий, и конь вороной, только нет четвёртой борзой, бледной, имя которой – смерть.

Женщина высокая и худая, как и положено владельцу этих костлявых борзых – все они похожи если не на своих собак, то друг на друга. Но всё-таки вряд ли смерть – это её имя. Хотя ходит она всегда по какому-то бездорожью, рядом с асфальтированными дорожками, неожиданно вылетает из-за углов со своими борзыми, как призрак.

Все три собаки носят специальные шапочки. Чёрная – чёрную шапочку, белая – белую, рыжая – рыжую. Тон в тон.

Глава 3. Лучший вид на этот город

Два или даже три раза в неделю у нас происходит странное событие, привыкнуть к которому никто так и не смог, несмотря на его регулярность. Александр Сергеевич – из дома 34 корпус 1 –

проводит экскурсию. Прямо вот тут, среди пятиэтажек. Его обязательно сопровождает переводчик, потому что туристы исключительно иностранные. Местные жители смотрят на них так же, как смотрели бы на караван верблюдов, если бы он вдруг спустился по дорожке от метро «Профсоюзная» и пошёл нашими проулками, иногда останавливаясь посреди дороги.

Александр Сергеевич являет собой довольно впечатляющее зрелище. Фигура и выражение лица Александра Сергеевича вызывают такое ощущение, будто он хранит очки рядом с пистолетом, хотя ни очков, ни пистолета у него нет. Носит он, например, фиолетовые кроссовки, старые чёрные брюки со стрелками, заутюженными до такой степени, что можно порезаться, длинную белую рубашку и бирюзовую спортивную куртку. В каком-нибудь крайне модном месте недалеко от центра это могло бы выглядеть вполне уместно и актуально, но у нас, в краю жёлто-зелёных бордюров и поехавших крышей алкоголиков, такие прикиды вызывают скорее мысли о белой горячке, чем восхищение. Старушки в сквере синхронно качают головами – совсем сбрендил на старости лет. Ну хотя оно и понятно, столько пережил. Зато иностранные туристы не возражают, им нравится. Они воспринимают Александра Сергеевича как вполне органичного проводника.

Свою экскурсию Александр Сергеевич начинает с другой стороны Профсоюзной, от института научной информации по общественным наукам. Он ни слова не говорит туристам про общественные науки, его интересует не научная информация, а величественная картина запустения. Модернистское здание, построенное в 1974 году по проекту трёх архитекторов, должно было представлять собой соединение стеклянных и бетонных конструкций в эстетике брутализма. Первый и второй этажи нарочито простого фасада состоят из окон и солнцезащитных рёбер, третий этаж застеклён, в крыше – зенитные фонари. Стёкла в окнах не мыли лет двадцать, штукатурка потрескалась и пошла пятнами плесени. Прямоугольный бассейн, расположенный перед зданием, пересох и зарос мхом. Мост, по которому можно было перейти через бассейн и зайти прямо в окна третьего этажа, перегорожен заборами. Весной и осенью под ним живут бомжи, и всюду разбросаны пакеты с их пожитками. Из бетонных плит растёт трава. И только небо по-прежнему отражается в окнах.

Александр Сергеевич немного рассказывает про советский модернизм. Немного про то, что во время строительства здесь снимали некоторые сцены «Соляриса» (ну, вы наверняка слышали, Тарковский, великий режиссёр). И заодно о том, что до всякого института тут был пустырь, на краю которого стоял ларёк и вокруг него столики. И вот в этом ларьке продавали жигулёвское пиво, и рядом всегда толпился народ. Даже зимой в этом ларьке продавали пиво – подогретое, в жестяных чайниках.

Этот предварительный рассказ делает туристов, до того посещавших Красную площадь и гулявших по сверкающей Тверской, более восприимчивыми к местной культуре. Когда Александр Сергеевич чувствует, что вступление подействовало, то переводит туристов через дорогу по подземному переходу и приступает к основной части – осмотру пятиэтажек.

– Хрущёвки, – сообщает Александр Сергеевич, – названы по имени генерального секретаря СССР Никиты Хрущёва. Самые простые дома на свете. Ничего лишнего, вообще – не то что украшений или каких-то декоративных элементов, но и штукатурки, карнизов, всего. Собираются как конструктор, проще, чем лего! Один дом можно было собрать за неделю – и это не сейчас! Это в пятидесятые годы! Ну, обычно всё-таки за десять-двенадцать дней делали. Собирается из готовых блоков, монтируется без раствора. Видите, вот на этом фасаде особенно хорошо видно готовые блоки. Всего двадцать видов деталей – сплошной блок, оконный блок, дверной...

Из дырки в подвал вылезают бесконечные кошки разных оттенков чёрного. Их зовёт старушка Гераськина – кисоньки, кисоньки! Кошки собираются вокруг неё и на минуту замирают, пока она развязывает пакет с мясными обрезками. Воробьи на кусте сирени орут до разрыва сердца, но не улетают. Кошки, не отрываясь, смотрят на старушку Гераськину. Если она провозится с пакетом ещё немного, то плохи её дела. Старушка всё-таки развязывает, чёрные кошки набрасываются на мясо, за минуту съедают его и растворяются в кустах.

– Квартир несколько видов, всё типовое. Высота потолков два пятьдесят. Площадь кухни – пять с половиной метров. Внутренние перегородки – из фанеры. И всякого мусора. Я знаю, когда моя соседка ругается с мужем, она знает, когда я хожу в туалет. Лифта нет. Теплоизоляции, ну как вам сказать, – немного. Дует из всех щелей. Канализация не всегда выдерживает, так что у тех, кто живёт на первых этажах, обычно есть ключи от подвала – перекрыть воду если что.

Дорога перед детским садом аккуратно перегорожена двумя бетонными блоками. Между ними проход точно по ширине детской коляски, причём двойная уже не пройдёт. Это сделано для того, чтобы мимо детского сада не ездили машины, которые привозят детей в английскую школу – их слишком много. Бетонные блоки там уже давно, под них нагреблось грязи. На улице и на тротуаре перед детским садом опавшие листья лежат, пока не растают, – районные дворники считают, что раз положили блоки, то пусть сами разбираются, а сторож детского сада считает, что в гробу он это всё видал.

– Теперь я вам скажу неожиданную вещь. Эти дома – они прекрасны. А знаете почему? Потому что это отдельные квартиры. Молодые не застали уже, а я помню. Мы до шестьдесят первого года жили в коммуналке! Коммуналка – это значит одна квартира на восемь разных семей. Ну, на сколько угодно семей, у нас было восемь... Мне теперь вообще всё равно, что она там у себя в туалете делает, главное не у меня. Или что кухня маленькая. В коммуналке у нас была большая. Три плиты, восемь столов. Маленькая и своя гораздо лучше.

В низине между двух школ лежит стадион. Вся земля – за исключением одного маленького пятачка перед покосившимися воротами – в кочках и ямках. Никто много лет ни во что не играл на этом стадионе. Он зарос травой и кустами, летом воздух над ним гудит. Тут водятся кузнечики и стрекозы, а маленькая домашняя собачка во время прогулки может встретить колоссальную мохнатую гусеницу и получить психическую травму. Осенью над стадионом летают воздушные змеи, а зимой воздух здесь не гудит, а визжит – дети катаются с горки.

– Это всё часть района «Черёмушки» – исторического района. Именно здесь, у нас, появились первые пятиэтажки. Ну не прямо буквально вот здесь, но неподалёку, у метро «Академическая». Есть несколько серий хрущёвок, но все они отличаются незначительно. Где-то кухня на полметра больше, где-то туалет и ванная отдельно. Но в целом все они почти такие же, как та, первая. А вообще и в ту сторону, и в эту – ещё много, много кварталов пятиэтажек. Ну сейчас уже снесли что-то, но всё равно пока много. В честь наших «Черёмушек» называются районы во многих городах, хотя у них отродясь никакой черёмухи не было. Целая есть оперетта Шостаковича (ну, знаете, Шостакович), тоже так и называется – «Москва – Черёмушки».

В некоторых дворах остались штанги и верёвки для сушки белья. В основном бельё сушат на балконах, и некоторые до краёв переполнены разноцветными трусами и полотенцами. Но и верёвками во дворах кто-то пользуется – на ветру покачивается оранжевый рабочий комбинезон, прицепленный за лямки и от этого ставший выше человеческого роста, а рядом с ним – пугающе леопардовый пододеяльник. Раньше, до массового изобретения пылесосов, здесь же выбивали ковры. Сейчас никто, конечно, так не делает. Иногда могут вынести зимой, почистить снегом, освежить после пылесоса.

– Это был 1958 год. Первую хрущёвку построили в 1958 году. А наш квартал почти весь 1960-го, все вот эти дома. Несколько есть 61-го. Но в целом за несколько месяцев его построили, и мы все тогда же и переехали. Ох, что тут было. У всех новоселье, все счастливы. Никакая старая мебель не помещается, нужно доставать новую, под эти габариты. Какие-то вещи вдруг появились, которые женщины, оказывается, всю жизнь хранили. Салфетки, занавески. Тогда ещё в гости

часто друг к другу ходили, смотрели, кто как устроился. Почти каждые выходные – субботник. Деревья сажали, дорожки делали, дворы устраивали.

Все помойки обнесены аккуратными загородками, некоторые даже с крышей, и покрашены в зелёный, иногда – с жёлтыми цветочками. Собаки и бомжи, проводящие там много времени, даже как-то стали аккуратнее. Все заборы и заборчики, которых кругом очень много, буквально каждый клочок земли отделён от асфальта собственным заборчиком, тоже покрашены в два цвета, например, белый и фиолетовый. А на трансформаторных будках и других хозяйственных постройках нарисованы картины. С идиллическими сюжетами – море и корабль, или городской пейзаж, или какой-нибудь закат. Или вот озеро среди зелёных лесистых и травянистых берегов, из одного берега торчит труба, а под ней – ржавый подтёк. Получилась сатирическая картина про загрязнение окружающей среды. Диорама.

– Задумывалось, что каждый квартал будет самодостаточным. Никуда не надо будет ходить. Тут тебе и магазины, тут тебе и детские сады со школами, должна быть вся инфраструктура. Ну вся – не вся, вся не везде получилась, но что-то есть. У нас тут, значит, есть театр – серьёзно, называется «Бенефис», – есть детская поликлиника, ну, понятно, школы и детские сады – школ три штуки, детских садов ещё больше, гаражный кооператив, автошкола, практически все нужные магазины.

Верхняя часть района более культурна, чем нижняя. Как раз там находятся театр и поликлиника, а пятиэтажки натыканы не так густо, как внизу, так, что солнце даже зимой иногда падает на землю. Попасть из одной части в другую – если идти не по улицам, а дворами – не так просто. Между ними небольшой перепад высот и полоса бездорожья. Нужно либо карабкаться в горку, либо знать тайные тропинки за школами.

– По программе расселения всех нас тут должны расселить, а дома эти снести. Собственно, по программе их и нет уже, этих наших домов. Не верьте, так сказать, своим глазам. У нас тут все, конечно, только и ждут что этого расселения, прописали к себе по пятнадцать человек. Большие квартиры хотят, в новостройках. Чтоб кухня – десять метров! Ну не знаю, я в это не верю. Опять обманут, иначе ж не бывает.

Экскурсии Александра Сергеевича очень популярны. У него целая очередь из разных турагентств.

Глава 4. Те времена, когда ууууу

Александр Сергеевич, его жена Ирина и Валерка – которому было тогда всего полгода – получили квартиру в новом районе тогда же, когда и все. Где-то в шестьдесят первом году. Они были похожи на всех своих соседей – и ещё на персонажей агитационных фильмов. Молодые бодрые семьи, обычно с детьми. Они приезжали в кузовах открытых грузовиков, держа на коленях картины и горшки с цветами, тащили по лестницам узлы и коробки.

Саша и Ира не стали ставить обеденный стол на кухню – многие пытаются впихнуть туда стол и табуретки, и в результате не повернуться. Стол со стульями был в большой комнате, и там же сервант, диван и два кресла. А на кухне – только плита, раковина, стол для готовки и холодильник «Юрюзань». В нише над раковиной сделали полки для тарелок, на раму окна, ведущего в ванную, прибили крючки для поварёшек. На кухонное окно повесили две пары занавесок – обычные и маленькие, на пол-окна, на специальной перекладине. А в комнатах – шторы и тюль. Хрустальные люстры были бы велики, поэтому купили попроще, на пять рожков.

Ирина Евгеньевна каждый день ходила на работу в детский сад – сначала вдоль дома, потом ещё сто метров по тропинке. Жэк и сберкасса рядом, булочная тоже, остальные магазины – на перекрёстке Профсоюзной и Нахимовского, он тогда назывался улицей Красикова. По выходным ходили на рынок. Ирина Евгеньевна покидала Черёмушки не каждую неделю и даже не каждый месяц. Если когда в «Тысячу мелочей» на Ленинском или в дальнюю аптеку. Александр Сергеевич работал в нии с непроизносимым названием. На работу он тоже мог ходить пешком, хотя и подальше, конечно.

Второй сын, Сеня, родился только через десять лет. Они, конечно, очень отличались, Валерка и Сеня, а разница в возрасте не дала им толком познакомиться. Валерка неожиданно для окружающих решил во что бы то ни стало стать кинооператором. Никто не верил, что он поступит во ВГИК – это как-то далековато от наших пятиэтажек. Дети знакомых в основном кончали ПТУ, бывало – поступали в МГУ или ИнЯз, но чтобы во ВГИК – такого не было. Тем не менее, Валерка поступил и через какое-то время действительно стал оператором.

Он много ездил по разным городам, и хотя формально продолжал жить с родителями – в кладовке висела его одежда, а значительную часть маленькой комнаты занимала его кровать, которую Сеня всегда стремился завалить своими вещами, – дома почти не бывал. На каких-то съёмках Валерка и познакомился с этой девушкой, Полетт. Их свадьба относится к тем событиям, которые обсуждаются в нашем районе годами. Вполне возможно, что если сейчас спросить кого-нибудь, хотя бы старушку Гераськину, она скажет:

– Помню, как не помнить. Невеста у него, француженка эта, была не в белом платье, а в светло-бежевом. Простое совсем, без ничего. А как смотрится! Шляпка у неё была, а не фата. Шляпка с лентами. И перчатки такие длинные-длинные, по локоть. А Валерка-то! У него был такой лёгкий светлый пиджак, но не знаю, он как будто мятым выглядел. Я такое не очень понимаю. По-моему, всё должно быть отглажено, отутюжено. Окна, помню, все были настежь, и пили шампанское из таких высоких бокалов. И прямо отсюда они поехали в свадебное путешествие. Такси к подъезду приехало.

Валерка уехал во Францию. Это были уже восьмидесятые годы, никто никого не осуждал – но и не понимал, и даже не делал попытки. Он часто присылал открытки, и всегда звонил на Новый год и все дни рождения.

Сеня же ничего похожего. Дальние страны его не манили. Сеня сходил в армию – вполне благополучно, поступил в ПТУ – их к тому моменту переименовали в колледжи, так что он закончил колледж. Почти сразу женился на своей бывшей однокласснице Светке и буквально через три месяца у них родился мальчик.

Жили они, понятно, вместе с дядей Сашей и тётей Ирой. И все были довольно счастливы, несмотря на стеснённые обстоятельства.

– –

Наиболее распространённый вид ремонта, который делают в хрущёвках, – это превращение большой проходной комнаты в подобие изолированной. Подобие – потому что зачастую она бывает проходной дважды – один раз на кухню и другой раз в комнату. Если убрать кладовку и отпилить от проходной комнаты длинный узкий коридор, то по нему можно ходить в маленькую комнату сразу из прихожей. Но делать ещё один узкий коридор в кухню – как-то уже чересчур. Впрочем, сейчас по-всякому делают, в том числе объединяют кухню с ванной или вообще убирают все стены, чтобы получилась студия.

Ирина Евгеньевна и Светка периодически обсуждали, не сделать ли им ремонт, чтобы Сене и Светке не ходить через родителей, хотя ничего страшного, в общем-то, все привыкли. И если сделать, то какой. Но как-то не успели. То одно, то другое.

Когда Вите было два с половиной, Сеня и Света поехали с друзьями в гости, куда-то под Тулу. По пути остановились на обочине шоссе, одной девушке нужно было выйти. Погибли все, кроме неё – их машину буквально снесла потерявшая управление фура. Водитель заснул за рулём.

Ирина Евгеньевна после этого вроде как немного сошла с ума. Витенька, разумеется, остался у них с Александром Сергеевичем – Светкины родители и самой Светкой не особенно интересовались – и время от времени у неё в голове что-то сдвигалось. Как будто Витя – это Валерка, и сейчас не девяностые, а снова шестидесятые. В такие моменты она начинала, например, бояться зайти в ванную. Там за тридцать лет произошли наиболее заметные изменения – стены стали другого цвета, появилась стиральная машина. Ирина Евгеньевна не понимала, что происходит, и впадала в панику. Потом успокаивалась. В целом ничего угрожающего или опасного.

Александр Сергеевич очень сильно сосредоточился, так, что только краем сознания отмечал меняющийся мир вокруг. Каких-то бандитов, исчезающую зарплату, пустые магазины, внезапно начавших пить знакомых. Одно время куда-то пропали дворники, и всё постепенно замусорилось. Александр Сергеевич не ушёл из института совсем, но работой его больше не считал. В качестве работы он теперь чинил мебель и иногда телевизоры, менял краны, вешал люстры и прибивал полки.

Когда Вите было семь, а Александру Сергеевичу – пятьдесят семь, Ирина Евгеньевна умерла. Внезапная остановка сердца.

Александр Сергеевич сосредоточился ещё больше. Квартира, где они теперь остались вдвоём, как будто бы законсервировалась. В ней ничего не старело и не менялось. Раз в неделю они делали генеральную уборку, раз в месяц стирали шторы. Витя приходил из школы и звонил Александру Сергеевичу:

– Слушай, я тут купил морковку, луковицу и этих... Куриных рёбрышек. Нет, бёдрышек. Это всё сколько варить?

А Александр Сергеевич приходил с работы и говорил:

– Гляди, старый монитор отдали!

Они собирали для Вити компьютер. Корпуса у него не было, просто куча соединённых проводами деталей на старом письменном столе.

Кроме компьютера ничего нового в квартире не появилось.

Одновременно с этой консервацией часть разума Александра Сергеевича наоборот раскрылась. Ему вдруг стали интересны вещи, которые никогда не были интересны раньше. Некоторые книги и фильмы он первый раз читал и смотрел вместе с Витей. Он даже стал слушать музыку.

Удивительным образом у них всё сложилось хорошо – насколько это было возможно в предлагаемых обстоятельствах. Между ними не возникло никакого непонимания, даже в тот сложный момент, когда Вите исполнилось четырнадцать. Служба опеки ни разу не имела к ним претензий. Денег в целом хватало, ещё и Валерка немного помогал. Витя вырос внимательным и самостоятельным до крайности, дед для него значил столько же, сколько могли бы значить все люди, когда-либо жившие в этой квартире.

Как так получилось, что Витя уехал от него, Александр Сергеевич не мог достоверно восстановить в памяти. В последнем классе Витя выиграл какую-то олимпиаду по математике, ему предложили бесплатное обучение во Франции: год по специальной программе. Валерка и Полетт обрадовались, жить Витя мог у них. Всё так идеально сошлось. Даже Александру Сергеевичу было очевидно, что это наилучшее возможное будущее.

Глава 5. Пацаны вообще ребята

Санёк, друг Игоря из соседнего подъезда, купил кровать. Потому что его жена Людка очень на него взъелась. У них раньше была нормальная кровать – такая старая тахта. Ещё пару лет назад у неё треснул корпус, и Санёк всё обещал починить. Но вместо этого как-то они с Толяном разломали её чуть не на щепки, и кидались этими щепками друг в друга и из окна в прохожих. И теперь Санёк с Людкой спали на синем надувном матрасе. Людке всё вроде было нормально, а потом надоело. Она на Санька наорала и вытолкала его за дверь. Потом помирились, но начало уже было положено. Теперь чуть что Людке не нравилось, так она сразу про кровать.

Потому что Санёк, в общем, тоже понимал, что нужна кровать. Это было у него слабое место.

Ну вот, как-то Санёк звонит Игорю и говорит:

– Слышь? Алё? Мы тут кровать заказали. Помоги донести. А то чё-то насчитали дохуя за подъём на этаж. Лучше сами поднимем и на эти деньги накатим.

Игорь говорит:

– Так бля конечно. На пятый этаж кто тебе меньше насчитает.

В наш район доставка из Икеи дешёвая, потому что недалеко. А вот подъём на этаж правда дорого получается – лифтов нет.

– Звони Толяну, – Игорь говорит.

– Да позвоню.

– Ну я сейчас поем, зайду.

Игорь поел супа с курицей, посмотрел по телевизору Малахова. Потом какой-то старый советский фильм посмотрел, задремал. Тут Санёк ему кричит с улицы:

– Игааарь! Ну ты где там?

Игорь спустился. У соседнего подъезда стояла действительно кровать – четыре большие плоские коробки и огромный матрас.

– Вы чё бля, совсем? Куда вы её поставите-то?

– Да эт Людка. Все уши прожужжала. Хочу нормальную кровать, бля, надоел мне этот матрас. Ну куда. Матрас надувной. Его сдуем, кровать поставим. Какая нахуй разница?

– Так погоди, ты чё, ей на день рожденья что ли кровать купил?

– Ну, – говорит Санёк. – А чё? Ну чё, потащили?

– Надо Толяна подождать. Давай пока выпьём.

Санёк достал коньяк, выпили, не отходя далеко от кровати. Потом ещё выпили. Игорь говорит:

– Полбутылки ещё осталось, давай раскатаем. Толян не будет, ему на работу вечером.

Тут, понятно, пришёл Толян и возмущённо заорал:

– Это когда это коньяк мне мешал работать, ёпта?

Потащили кровать наверх. Игорь с Саньком взяли матрас, но он не прошёл в дверь. Пришлось его сгибать и просовывать согнутым, но тут матрас высвободился и застрял. Толян в это время стоял с коробкой сзади. Коробка была тяжёлая, килограммов тридцать. Толяну не пришло в голову её положить, так что он держал тридцать килограммов и медленно закипал. Именно в этот момент всем жителям подъезда понадобилось войти или выйти. Внутри ждали тётя Муся с первого этажа и её внучка, а снаружи стояли сосед Хорьков, его друг Василий и старшая по дому Лиана. Лиане не нужно было во второй подъезд, но если она видела, что где-то остановилось несколько человек, то тоже останавливалась и начинала выяснять, в чём дело. Тётя Муся изнутри кричала, что они опаздывают на музыку.

– Вот гляди, – сказал Санёк, – мы тут сколько стояли, пока Толяна ждали? Полчаса, не меньше. Хоть бы один человек зашёл. Никто не заходил. Никому ничего не надо было. А как только мы тут с этим матрасом застряли, так сразу толпы пошли. Как в кино массовка.

– Ну давайте быстрее, ёпта, – закричал Толян, – чё вы там? Потом поговоришь.

Ему уже очень хотелось на кого-нибудь наорать, но вроде как не на кого было. У Хорькова сын мент, тоже Хорьков, а с Лианой связываться – себе дороже. Так Толян и пыхтел под тридцатикилограммовой коробкой, пока не увидел почтальоншу тётю Аню. Она везла за собой тележку, на которую была поставлена картонная коробка с листовками, буклетами и каталогами. Тётя Аня ходила из подъезда в подъезд и аккуратно рассовывала всю эту рекламу по почтовым ящикам. Толян сразу возмутился:

– Так вот, значит, это ты мне всякую хрень в почтовый ящик пихаешь, ёпта? Да лучше бы на своей почте посылки доставляли, бля, ничего ж не дождёшься.

Он перехватил коробку со спинкой кровати поудобнее, а тётя Аня подумала, что он хочет её ударить, и заголосила:

– Ай, убивают! Да что ж ты творишь, ирод!

Хорьков и его друг Василий с энтомологическим интересом взглянули на Толяна. Лиана на мгновение замешкалась, выбирая сторону. Решила, что Толян перспективнее, и принялась визгливо успокаивать тётю Аню. Общая громкость при этом удвоилась. Толян попятился и чуть не уронил коробку. Прохожие уже начали останавливаться, где-то прозвучало слово «милиция». Но тут Игорь протолкнул всё-таки матрас и высунулся из-за него:

– Ну ты чё тут? Пошли.

Принесли кровать, посидели. Игорь вспомнил, что ему нужно встретиться со знакомым. Бывший его сослуживец несколько лет назад уехал в Латвию, а сейчас вот приехал на несколько дней, и Игорь собирался с ним встретиться.

Договорились у метро «Профсоюзная». Игорь купил коньяку, а знакомый пришёл с газировкой. Постояли у метро, дошли до двора, потусовались там. Игорь ел семечки, и к скамейке время от времени подлетали голуби – думали, что в очистках осталось что-то съедобное. Это почему-то очень рассмешило знакомого.

– Ну-ка, давай ещё кинь, – говорил он. – Вот глупые голуби, ну!

– Да ну ладно, хватит, – сказал наконец Игорь. – Чё ты голубей оскорбляешь?

Позвонили Саньку, решили пойти в гости к Мише. Толян тоже пришёл, забил на работу. Сначала пошли в булочную – купить клюковку. Жена Миши любит клюковку. Купили четыре бутылки. По пути к Мише ребята всё выясняли, как там дела, в Латвии.

– Ну чё, – спросил Санёк, – как там у вас в Литве, обижают русских?

– В Латвии, – сказал знакомый. – Да не, не обижают.

– Чё, ваще что ли не обижают? А чё тогда?

– Ну да ничего такого. Просто все дружно живут.

– Дружат что ли ёпта? – спросил Толян.

– Ну так. Общаются мало. Никто никого не обижает.

Подошли к девятиэтажке, где жил Миша, стали звонить в домофон, но никто не отвечал. То ли домофон не работал, то ли ещё что.

– Да не, – сказал Санёк, – Миша-то Катьку того, у Зелёного увёл. Так Зелёный к ним теперь всё время приходит и Катьку достаёт. Задолбал вконец. Вот они теперь не открывают.

Стали звонить Мише по телефону, но подошла Катька и стала долго выяснять, нет ли с ними Зелёного. А то будет как в прошлый раз. Минут десять убеждали Катьку, что нет Зелёного.

Миша и Катька оба были немного пьяные, но уже начавшие трезветь – так, что веселье перешло у них в раздражение. Все поздоровались со знакомым Игоря, сели на кухне.

– Чё, давайте что ли музыку какую-то включим?

– Да у него радио не работает, ёпта.

– Что ж ты радио-то не починишь, баклан?

Пришёл Женька, поздоровался со знакомым.

– Так чё, ты прям из Литвы? У вас там, говорят, русских обижают?

Толян каким-то образом починил радио, но не мог найти подходящую волну.

– Во, – закричал Санёк, – оставь! Это транс, это этот, Ван Бюрен.

Толян на минуту остановился.

– Да ну на хрен, – сказал Миша, – поставь что-нибудь нормальное. Во, во, вот это!

– Да ну, хрень какая!

– Сам ты хрень, это Диорама!

– Да ну на хрен.

– Поставь Макса Рихтера.

– Не, давай alt-J.

– Так чё, – спросила Катька, – ты что ли из Литвы? Как там, русских не обижают? А чё ты не пьёшь? Ты что ли сам не русский?

Тут зазвонил домофон, и Катька опять испугалась, что это Зелёный. Но это был брат Миши. Он ещё не успел нигде выпить и был самым трезвым – за исключением знакомого Игоря.

– Ну чё там, – спросил брат Миши, – русских не обижают? Да выключите вы нахрен это радио, ничего ж не слышно.

Катька и Миша тем временем ушли в комнату и там заснули. Женька распахнул окно, потому что воздух на кухне, где все курили, закончился. Знакомый стал вызывать такси, и все вышли на улицу его провожать. Постояли немного на тротуаре, глядя в привычно оранжевое небо. В свете фонарей под оранжевым небом дома вокруг казались совсем маленькими и не настоящими. За Саньком пришла Людка.

– Слышь, – сказал Игорь, – иди давай. Расскажешь потом, как кровать.

Глава 6. Шла кукушка мимо сети

Мало что Лена, накручивавшая по пять часов в день, держась за коляску в цветок, не любила так, как гулять с ребёночком. Год назад это показалось бы ей совершенно диким, но теперь она совершенно одурела от бесконечных одиноких прохаживаний. В нашем пятиэтажном районе Лена ориентировалась лучше всех. Она знала не только где что расположено, но и где какой лежит асфальт. Внизу у сквера, например, совершенно разбитый, как после бомбёжки, а слева от новых семнадцатиэтажных домов есть дорожка кольцом, выложенная плиткой. Отличная вещь – четыре, максимум пять кругов по плитке на высокой скорости, и Филипп засыпает.

Лена бы хотела гулять на детских площадках – там жизнь, дети, родители, все разговаривают. Но Филипп у неё был готов спать только в движущейся коляске, поэтому нигде не получалось задержаться надолго.

Одна из самых популярных детских площадок находится ближе всего к метро «Профсоюзная», почти на углу. Как раз та, где завели фонтан и кустики. Объяснить эту популярность можно только хорошей кармой, потому что ничего особенного там нет. Бывают в нашем пятиэтажном районе и поприятнее площадки – с огромными новыми комплексами из горок, лесенок и канатов и при этом совершенно пустые. А здесь по вечерам не протолкнёшься: в песочнице сидят малыши, как грибы, на каруселях и качелях гроздьями висят дети постарше, кругом стоят родители, оставшееся место утыкано колясками.

– –

Так, кстати, всегда было – и когда Лена была маленькой и приезжала на выходные к бабушке. Тогда эта детская площадка была раза в два больше, и на её северной оконечности располагались заповедные заросли лопухов и крапивы, где крайне редко ступала человеческая нога. Время на площадке проводили далеко не только дети.

Сбоку, между деревьями, стоял большой стол, обитый каким-то чёрным материалом, пачкавшим одежду. Если провести по нему ножом или спичкой, то оставался след. При этом стол был очень мало исписан и изрисован. За этим чёрным столом дедушки играли в домино. С небольшого расстояния чёрные костяшки на чёрной поверхности были не видны, и казалось, что мужчины просто так лупят по столу. Иногда – по праздникам – они покрывали чёрный стол газетами или белой бумагой и пили пиво.

С другого края, в зарослях шиповника, был вкопан другой стол, зелёный. За ним бабушки играли в карты и иногда пили чай. Бабушкинский стол был удобнее – там ничего не пачкалось, вокруг стояли скамейки со спинками, а у дедушек никаких спинок не было. Но за дедушкинским столом ещё можно было посидеть иной раз, а стол в зарослях шиповника был занят всё светлое время суток. К нему даже приближаться без надобности не хотелось, настолько ядовиты были некоторые из обитавших там бабушек.

Между столами были какие-то сложные отношения, детям недоступные. Дети только замечали, что в чёрное домино играют за чёрным столом, а у карт на столе в зарослях шиповника зелёные рубашки, и шли дальше по своим делам.

Песочница тогда не пользовалось особой популярностью – вероятно, потому что песок в ней бывал довольно редко. Когда его вдруг привозили, все окрестные хозяйки стекались к песочнице с небольшими ведёрками и кастрюлями и выкапывали себе часть песочной горки на разные нужды. Дети висели на паутинке или до полусмерти укатывались на карусели – тогда карусели тоже были ууу, не то что сейчас. А средняя часть площадки была плотно утоптана кучей мальчишек, игравших там каждый вечер в футбол. Зимой они пытались в хоккей – но без коньков, потому что залить каток ни разу не получилось.

В общем, всем хватало места, и никто не толкался локтями.

– –

Сейчас площадка большую часть времени совершенно детская – несмотря на фонтан и скамейки. Взрослые интересуются ей только в сумерках и в тёплое время года. В первой половине дня там затишье. Школьники ещё не пришли, а маленькие дети уже ушли. Тогда там только редкие дети со смещённым режимом и Лена с коляской, у неё тоже смещённый режим.

Вот пришли маленькая тёмненькая девочка лет трёх-четырёх с пожилой женщиной – няней или тётей, маленькая светленькая девочка лет трёх с толстой розовой мамой и два мальчика лет четырёх с очень молодой мамой. В мире детских площадок каждый ребёнок тянет за собой взрослого, как будто самосвал на верёвочке.

Дети между собой как-то общались, а тётеньки сразу расселись на лавочках и принялись бдеть. Больше они ничего не делали, даже телефонов не достали. Просто сидели и смотрели за детьми. Две девочки зашли в домик (а давай, домик на тебя напал!) и стали кидать камешки в стену. Тут обе сопровождающие их женщины синхронно закричали.

– Лена, Лена, не кидай камни, нельзя кидать камни! – кричала пожилая женщина. – В голову попадёт!

– Настя, Настя, нельзя так делать, перестань! – кричала розовая мама.

– Ну я аккуратно! Аккуратно! Аккуратно! – кричала тёмненькая Лена.

– А я тоже аккуратно, – крикнула светленькая Настя, выходя из домика.

– Нет, нет, в голову попадёт!

– Нет, нет, нельзя, сейчас домой пойдём!

– Ну разреши, ну разреши, ну тётя Мадина, ну пожаааалуйста, ну я аккуратно! – кричала Лена, подбежав к пожилой женщине и особенно напирая на слово «аккуратно».

Настя прицеливалась заплакать.

Лена тихо встала и поехала на следующую площадку, потому что от всего этого крика Филипп мог проснуться. Интересно, думала она, я тоже такой стану? И у меня тоже нужно будет просить разрешения покидать камешки?

Тайные дорожки, ведущие из нижней части района в верхнюю, находятся слева от стадиона рядом с обычной школой и справа от стадиона рядом с английской спецшколой. Правая дорожка очень приятная. Она проложена между старых деревьев, так, что их кроны смыкаются наверху, а корни разрушают асфальт. Вторая идёт просто по газону. С неё видно безумные белые бюсты, установленные во дворе обычной школы – Тургенев, Ленин и Сервантес.

По пути Лене встретилась старушка в коричневом пальто. Она спросила, скрипят ли деревья. Недавно был сильный ветер, некоторые деревья согнулись и, возможно, и в самом деле скрипели. Потом она спросила, как ей лучше идти. Если пойти по правой дорожке, то её может задавить деревом, а по левой бегает собака и может её укусить.

– Ушиб-то ладно, он пройдёт, а если собака укусит? Это уж, наверно, не так быстро, – советовалась она с Леной.

Лена рекомендовала правую дорожку, потому что она больше нравилась ей самой и потому что она сама боялась собак, но старушка только покачала головой, прислушиваясь к своим ощущениям, и пошла всё-таки по левой. А Лена пошла по правой, прислушиваясь к деревьям и раздумывая, укусила ли старушку собака, если ни одно дерево не упало.

На маленьком футбольном поле – рядом с той площадкой, где горка с эмблемой «Седьмого континента» – два маленьких мальчика играли в футбол. Одного звали Лёша, и ему было, наверно, года четыре. Второго звали Максим, и ему было, допустим, два с половиной. Лёша говорил:

– Слушай, очень тебя прошу, ты вот сюда не бей, понимаешь? Сюда не надо. Вот сюда бей... Хотя нет, сюда тоже не надо. Я тебе сейчас объясню. Это штанга. И это штанга. А тебе надо вот сюда попасть, в белое. Потому что это ворота. Ну ты понял теперь? Давай теперь бей.

Максиму было прекрасно, он бил, и иногда даже попадал в ворота – в основном, когда подходил почти вплотную и кидал мяч руками. Лёша ему благородно засчитывал за это гол.

Рядом с зелёной голубятней под табличкой «Клуб голубеводов. Питомник №7691. Голубевод: Яковленко» сидел мужик и ел семечки. У нас все едят семечки и очистки кидают на землю. Иногда подойдёшь к лавочке, а на земле рядом с ней – четыре аккуратные кучки. Это значит – четыре человека сидели. Мужик провожал взглядом девушку с младенцем в слинге, широко открыв рот. При этом обнаружилось, что во рту у него только один зуб – золотой. Он грыз семечки одним зубом, зато золотым. Когда девушка скрылась за деревьями, он подмигнул Лене и очень громко сказал:

– Вот всё-таки пришло что-то хорошее и от цыган.

И сплюнул.

На маленькую детскую площадку с единственной песочницей приехала на коляске маленькая-маленькая девочка в вельветовом сарафане, светленькая, с хвостиком на макушке. Она была с дедушкой – лет пятидесяти, в джинсах, полосатом свитере и очках. Больше на площадке никого не было. Дедушка достал её из коляски, поцеловал в щёчки и пустил бегать по площадке, как заводную божью коровку. Обычно, когда с детьми гуляют мамы, они с ними как-то возятся. То с горки катают, то камешки кидать не разрешают. А он явно не знал, что с девочкой делать. Поэтому просто стоял рядом с коляской, а когда она пробегала мимо, брал на руки, снова целовал в щёчки и ставил обратно. И она бегала дальше.

На детской площадке в конце сквера стоит качалка с двумя сидениями – надо сесть друг напротив друга и качаться. Прибежали мальчик и девочка в джинсовых курточках и с шариками «му-му» и стали визжать и качаться. Особенно девочка визжала. Она даже пыталась одна качаться, садилась то на одно сиденье, то на другое, и взвизгивала. Потом к ним пришёл дядька, такой толстый, как будто он рожал этих детей и с тех пор никак не мог прийти в норму. Он стал медленно-медленно раскачивать качалку и приговаривать:

– Качаемся, качаемся, культурно качаемся...

Лена шла домой.

Глава 7. Рассмотрим приличных славян

В распорядке дня единодушны практически все жители нашего района. Все встают достаточно рано и ложатся тоже достаточно рано – как-то, что ли, среда располагает. Те, кто продирает глаза, когда уже Игорь похмелился, надел тренировочный костюм и идёт по своим загадочным делам с полиэтиленовым пакетом в руке, а Аня и Оксана делают себе на обед бутерброды с колбасой и консервированными помидорами, – чужие у нас. Как, впрочем, и везде. Как, впрочем, и везде.

Вообще у нас довольно неплохо снимать квартиру. Четвёртая остановка от кольца, по сути – центр. И от метро недалеко. Максимальная дальность, которую позволяет наш район, – пятнадцать минут медленным шагом, буквально нога за ногу. Если дольше – то это уже не к нам. И недорого. Задорого квартиру в пятиэтажке не сдашь, и даже в девятиэтажке маловероятно, пусть она хоть трижды рядом с метро.

Но снимают у нас сравнительно немногие. Сильные духом. Менее сильных квартиры под сдачу отпугивают.

Вот, допустим, Петя и Юля, которые сняли одну из самых плохих квартир, какие только бывают. Однокомнатную – их вообще не так много в пятиэтажках, – на пятом этаже под периодически протекающей крышей, ремонта никогда не делали, общая площадь – тридцать один метр. Это была четвёртая квартира в нашем районе, которую они посмотрели, и от всех остальных у Юли захватывало дух. Хотя она, конечно, не показывала. Она повторяла про себя – никто не заставит меня здесь жить, если я сама не захочу. Но в целом вот это ощущение, что кто-то – конкретно их с Петей риэлтор Наташа, хозяева квартиры и риэлтор хозяев квартиры; никто сейчас не может обойтись без риэлтора и без того, чтобы заплатить ему месячную стоимость аренды, – на полном серьёзе могут предполагать, что она хотя бы теоретически может здесь жить, вызывало головокружение. На окраинах за те деньги, что у них были, предлагали что-то более приличное, а в Подмосковье – вообще нормальное, но они не хотели уезжать далеко от центра и потом часами ездить по бесконечным веткам метро.

Первую квартиру риэлтор Наташа оценила очень высоко. В объявлении хозяева упоминали ремонт, который сделали для себя, и, судя по всему, не врали. Двери из коридора в комнату и из комнаты в кухню были переделаны в арки, стены в кухне оклеены зелёной плёнкой, под малахит – это позволило добиться вполне реалистичного эффекта малахитовой шкатулки. В комнате потолок тоже был оклеен обоями. Значительную часть комнаты занимали шкафы – два пустых и третий, заставленный посудой. С торцов они тоже были оклеены плёнкой, но розовой, под мрамор. Такое можно было сделать только для себя.

– Выносить они ничего не будут, и вообще переделывать ничего нельзя, – предупредила Наташа.

Одновременно с ними эту квартиру смотрели другие люди – молодой человек с девушкой, другие молодой человек с девушкой, и ещё одна девушка сама по себе, все с риэлторами. Получалось тесновато. Риэлторы из квартиры не выходили, боясь пропустить начало схватки. Риэлтор Паша всё время доставал из кармана ключи и клал их обратно в карман. Одинокая девушка тихо слиняла. Юля с Петей тормозили, рассматривая панно на древнеримскую тематику в четырёхметровой ванной. Одна из пар решила перейти к активным действиям.

У них был к тому же приоритет – они первые пришли. Их риэлтор Паша пробасил:

– Ну всё, мои клиенты согласны, давайте договор писать.

Клиенты выглядели более испуганными, чем уверенными, и всё пытались постучать по прохладным батареям.

Это как-то подстегнуло вторую пару, и они принялись яростно шептаться со своей риэлторшей. Та отошла, тихо переговорила с риэлторшей хозяйки, потом с самой хозяйкой. Юля расслышала:

– У них, я слышала, маленький ребёнок... потом ни в жизнь не выселите... зачем этот геморрой... тихие, положительные... научные работники!.. ну подумайте, подумайте...

– Ну так что, – повторил громоподобный Паша, – все согласны, давайте договор писать.

– Хозяйка думает, – ядовитым голосом сказала риэлторша второй пары.

– При нескольких предложениях я советую повысить цену, – сказала риэлторша хозяйки. – Вы готовы на две тысячи больше?

На этом месте Петя и Юля скатились с лестницы. Поле битвы, кажется, осталось за второй парой.

Вторая квартира была на Власова. Двухкомнатная. Их встретила небольшая старушка в халате и бигудях (не думал, что бигуди ещё существуют, тихо сказал Петя Юле). Она пришепетывала и волновалась.

Вся квартира была заставлена вещами. В маленькой комнате стояли кровать с высокой спинкой, табуретка, трёхстворчатое зеркало с тумбочкой, два стула и полированный шкаф, задвину-

тый кроватью так, что нижние створки не могли открыться. Свободного места оставалось только на два шага от двери до кровати. Во второй комнате стояли диван, два шкафа, стол со стульями, кушетка, тумбочка с телевизором. На полу лежал ковёр, на стене висел ковёр, третий ковёр покрывал кушетку. Под телевизионной тумбочкой на большом ковре лежал отдельный маленький коврик.

Также в этой комнате обнаружился сын хозяйки – одутловатый мужчина за сорок, на диване и с бутылкой пива.

– Простите, а когда вы готовы сдавать? – спросила риэлтор Наташа.

– Да вот, – дребезжаще ответила хозяйка, – через недели две. С десятого.

– А вещи?

– Ну вещи, да... Вещи... Увезём...

В ванной на полу тоже лежал кусок ковра – обычного красного в цветах ковра. Юля ступила на него, и он чавкнул, как чёрная болотная грязь, прежде чем выпустить сандалию неосторожного прохожего. И в туалете лежал кусок ковра.

Кухню смотреть не стали.

С третьей квартирой – в большом доме точно на полпути между Профсоюзной и Новыми Черёмушками – управились ещё быстрее. Комната была застелена большим новым ковром, явно только что здесь оказавшимся. Видимо, местный фен-шуй не выдержал настолько существенных преобразований, и энергетические потоки закрутились не в те стороны. Из нестройных оконных створок дуло так, что паутина на карнизе подлетала к потолку. В унитазе мощным потоком непрерывно лилась вода. Под ванной, похоже, взорвалась граната. Между ней и стеной была двадцатисантиметровая чёрная щель, чернота из которой распространялась по стене. Кафель частично отпал.

– Ну мы, пожалуй, пойдём, – сказала риэлтор Наташа.

Пока ждали лифт, слышали, как другая риэлторша принялась пилить хозяина – быковатого мужика с синяком под глазом и щетиной.

– Ну я ж тебе говорила, ты так ничего не сдашь, ничего!

– А чё я? Ты сказала ковёр купить, ну я купил... – заныл тот.

На этом фоне квартира, которую они сняли, уже очень им понравилась. Ремонта в ней не делали, но убирались и чинили что-то по мелочам. У квартиры было два основных достоинства. Во-первых, в ней можно было делать всё что угодно. Покрасить стены, выкинуть всю мебель – тут было нечего терять, и хозяйка это понимала. Во-вторых, сама хозяйка. На протяжении двух недель, которые они посвятили поискам квартиры, это был первый человек, с которым можно было разговаривать, не переводя в уме его слова с неведомого языка на свой.

Так что они подписали договор, в том числе согласившись платить всю Юлину зарплату и ещё кусочек Петиной, получили ключи и на следующую ночь уже ночевали в снятой квартире.

– –

Петя был высок и бородат. Он писал диссертацию по философии. В свободное время работал на трёх работах – редактором, переводчиком и журналистом, а также немножечко преподавал философию. Диссертация давала ему возможность относиться к работе неразборчиво. Он редактировал корпоративные брошюры, переводил инструкции к стиральным машинам и этикетки на банках с краской, писал истории из жизни в журналы для девочек. Только следил, чтобы деньги платили и чтобы всё это не занимало слишком много времени.

Юля была, наоборот, маленького роста, но всегда носила обувь на платформе. Стриглась она по-разному, а также постоянно меняла цвет волос. Той осенью был красный. У Юли не было диссертации, поэтому она относилась к работе очень серьёзно. Она тоже была переводчиком – но не какой-нибудь фигни, а художественной литературы. В том числе переводила детские книжки.

Денег за это платили не слишком заметное количество, а времени требовалась пропасть. Но потом выходили книжки.

До этого они жили в Петином общежитии – в главном здании МГУ. Юля проходила туда каждый день каким-то чудом – не только без пропуска в общежитие, но и по студенческому билету другого вуза. Её всегда пускали – даже в Татьянин день, когда ни одна птица не пролетит над территорией МГУ без пропуска. Они классно жили в общежитии, вдвоём в восьмиметровой комнате аспирантского блока, а за стенкой – сосед, который пел в хоре. Так что они ещё от лифта знали, когда он возвращается домой.

Но с течением времени общежитие заканчивается – даже у Пети, которому его продлили, а потом ещё раз продлили. Тогда они и сняли эту квартиру в наших пятиэтажках – за всю Юлину зарплату и немного Петиной. Но уж с остатком Петиной делали всё, что хотели, – устраивали вечеринки, ездили в Питер или просто покупали сосиски. Ни на какой ремонт им бы не хватило.

Но они, конечно, сделали, что могли.

Ободрали в комнате обои и два дня читали газеты за январь 69-го. Потом покрасили стены – краска куда дешевле обоев, правда, видно, что стены неровные. Но это ничего, это называется – фактура. Пол в итоге тоже покрасили. Разваливающуюся мебель выкинули – кроме старого письменного стола – и купили надувной матрас и вешалку. Книги сложили стопками вдоль стен. Кухню завесили фотографиями из Армении. Книги и фотографии из Армении могут спасти практически любой интерьер. Ванную комнату – ну, ванную комнату просто помыли доместосом три раза. От этого она не стала выглядеть чище, но теперь они, по крайней мере, знали, что там чисто.

На новоселье друзья подарили им: покрывало, две табуретки, дорожный знак «обгон запрещён», табличку «Профсоюзная улица», стаканы, рюмки, два специальных бокала для коньяка и металлическую кастрюльку. Сковородка и так была. В общем, хорошо стали жить. Юле, может, иногда хотелось чего-то – чайных ложек или чашек в цветок, но она не собиралась предавать никаких идеалов. Ни одного.

Вот они были совершенно не похожи на жителей нашего пятиэтажного района, Петя с Юлей. И спали по утрам долго, и ложились поздно. Петя обычно уходил на какую-нибудь из своих работ или в университет, а Юля работала дома, а вечером куда-нибудь уезжала. Балкона в их квартире не было, так что днём она курила на подоконнике, свесив ноги за окно. Из соседнего окна выглядывал сосед и говорил что-то вроде:

– А я вот тут смотрел передачу одну, по телевизору, говорят ведь, что вредно курить. Там они в этой передаче сигареты трактором потоптали. Столько сигарет, ух... А вы, я смотрю, с таким удовольствием... Особенно женщинам вредно курить. Доказано, что это плохо влияет на следующее поколение. Вот я никогда не курил. Потому что независим, понимаете? И не пил я. Выпить-то люблю, конечно, и возможности у меня были, понимаете, ох какие возможности. Через меня и Молдавия прошла, и Армения. Но я знал: если выпью, то на следующий день работник никакой. И не пил. Ну в выходные только можно, понимаете. Я и сейчас себе позволяю – не чаще двух раз в неделю. Особенно сухое вино. Вино, которое английская королева пьет, думаете, плохое?.. Вот, то-то. А когда работаешь, головой особенно, голова ясная должна быть, понимаете? И надо понимать, что можно и что нельзя. Надо это очень четко понимать. Вот мы это понимали. У нас это было. Я всегда знал, что можно и чего нельзя. Ведь раньше не так, как сейчас, понимаете? Раньше мы знали, что можно и чего нельзя. Придешь, бывало, да в забегаловку, в любую, а там тебе икра красная, икра черная, рыба, все за копейки! За сущие копейки! Пиво откроют бочку новую, оно так пыфф, и запах такой. Раньше в клубах, это сейчас все ДК какие-то, раньше клубы... Ох, раньше такие клубы были, музыку послушать... Сейчас ведь не то. Дом музыки – разве тот сейчас? И вот, я иду в клуб, а чувствую, что тянет меня в забегаловку, понимаете. Ну я и сказал себе – всё. И всё. Мы другие люди, были. Я вот не сейчас, несколько лет назад, мне семьдесят было, встретились мне четыре чеченца тут, понимаете? Так я их как мышей раскидал. Одного подальше откинул, чтобы он, значит, вернулся нескоро, а трех других вот прямо тут и положил. И ведь молодые ребята, здоровые, ну лет, тридцать, самый расцвет, понимаете? Я и боксом занимался, в ЦСКА. Там такие

тренера были... Надо бить, иначе насмерть, понимаете? А я тут смотрел концерт по телевизору, соревнование этих... вокалистов. Так как они пели! Как они пели! Там такая девушка была, молодая совсем, юная, двадцать три ей, может. Так такой голосина, понимаете? Вот как надо. А ведь и могли бы, и лучше было бы, если бы Пугачихи не было. И ее питомцев, понимаете? Все эти фабрики-швабрики... Всё зло от Пугачихи. Телевиденье же Западом финансируется, и это не считая рекламы. А реклама сейчас жёсткая стала, понимаете, не такая как раньше. Они нас зомбируют этой рекламой, мозги нам промывают. Нам этого уже не понять, мы другие люди, понимаете? А сейчас вот даже в поездах курят, в тамбурах, не могут в электричке два часа потерпеть, я этого не понимаю. Ну вы замерзли уже?

Тут Юле удавалось вставить слово, и она отвечала:

– Счастливо.

Глава 8. Туда и обратно

Время, остановившееся в квартире Александра Сергеевича, пошло в тот день, когда Витя уехал. Девять лет между смертью Ирины Евгеньевны и Витиным отъездом прошли за несколько дней. На люстрах и в углах потолка повисла паутина. Книжный шкаф рассохся и заскрипел. Стены на кухне засалились и потемнели, линолеум в некоторых местах отошёл. Плита вдруг оказалась невообразимо старой, духовка перестала работать. Краска на оконных рамах и подоконниках потрескалась и начала осыпаться. В ванной потёк кран и отвалилось несколько кафельных плиток. Лампочки не то что все перегорели, но стали светить совсем тускло, как будто превратились в двадцативаттные. Ручка от двери в маленькую комнату оторвалась.

Александр Сергеевич даже не пытался бороться с накопившимися за девять лет разрушениями. В тот же день оказалось, что сосредоточенность скрывала его от всех страшных мыслей и переживаний. О смерти младшего сына и его жены – совсем-совсем молодых. Об отношениях, не сложившихся со старшим сыном. О ненадёжности жены, которая не всегда могла зайти в собственную ванную, и её неожиданной смерти. Он всегда считал, что умрёт первым. Не то чтобы он много об этом думал, но так всегда бывает.

Теперь сосредоточенность на их с Витей текущей жизни исчезла, как будто выключился защитный купол. Все мысли и чувства появились – разом, как и разрушения в квартире. Это было ещё хуже.

Александр Сергеевич в целом не очень любил спиртное, а за последние девять лет выпил только один раз одну рюмку – на поминках коллеги. Мысль об алкоголе не сразу пришла ему в голову, но примеров кругом навалом. Он вспомнил женщину с мутными голубыми глазами, которую видел как-то утром у магазина.

– Ууу, – говорила женщина своему спутнику, – помолчи, помолчи бля. Ты больно много думаешь, это нужно перестать. На вот, выпей сначала. Вот я перестала. А иначе всё, труба, и всё. А ты как думал?

Это принесло облегчение. Александр Сергеевич довольно быстро понял, что если не поддерживать какую-то постоянную концентрацию алкоголя в крови, то всегда наступает момент, когда становится ещё хуже. С другой стороны, если поддерживать, то всё становится если не хорошо или нормально, то хотя бы переживаемо.

Ещё он почувствовал, что проще не находиться дома одному, и стал ходить по району. Стыда он не ощущал, так что знакомых не сторонился, на осуждающие или сочувственные взгляды не обращал внимания. Он пил с Афанасием, Виктором и Колей, с электриками Димком и Ренатом, которые иногда ему подкидывали заказы, с Игорем, конечно, с Николаем с пятого этажа, с Нинкой из шестьдесят восьмого, со сторожем детского сада – с этим чаще по утрам, с бездомной женщиной Лидией со страшным спитым лицом и её другом Костиком, с незнакомыми студентами на детской площадке, с грузчиками из магазина обоев, с бородатым молодым человеком по имени

Петя, который пришёл смотреть квартиру в соседнем доме. Он пил всю неделю, кроме одного дня – четверга.

По четвергам он просыпался, брился, старался привести себя в порядок. Убирал наиболее вопиющие следы попоек, искал чистый угол и разворачивал к нему компьютер. По четвергам они с Витей созванивались по скайпу.

Так, в общем, могло продолжаться довольно долго. В моменты просветлений – по четвергам – Александр Сергеевич удивлялся, что на постоянное опьянение нужно, на самом деле, довольно мало денег. И что у его организма так много ресурсов. Что он так долго держится. Но про ресурсы – это некоторая иллюзия. В начале апреля Александр Сергеевич упал на лестнице в подъезде и разбил голову. Черепно-мозговая травма.

Когда его выписали, был уже май. Александр Сергеевич с содроганием открыл дверь своей квартиры и попятился. Мусора, пустых бутылок, притащенного кем-то с улицы хлама, засохшей блевотины и мух – ничего не было. Полы были помыты и продезинфицированы, выломанные паркетины аккуратно прилажены на место. Запаха, сопровождавшего квартиру все эти месяцы, тоже не осталось. Если приглядеться, то можно было увидеть следы катаклизмов, но Александр Сергеевич не приглядывался, он стоял на пороге.

Витины бывшие одноклассники, многие из которых жили в нашем районе, периодически упоминали, что вроде как дед стал пить, но это было настолько невероятно, что Витя пропускал мимо ушей. Ну и потом, он же с ним общался, ничего не выглядело особенно подозрительным. Но когда дед перестал отвечать на звонки, Витя попросил приятеля зайти посмотреть, что происходит – тот нашёл в квартире спящего Афанасия и узнал, что Александр Сергеевич в больнице.

Витя сразу решил вернуться. Дед был в больнице и, по словам врача, восстанавливался, так что оставалось время закончить дела. Вите не очень понравилось во Франции. Он думал о том, чтобы вернуться и учиться в Москве, хотя понимал, что с большой вероятностью потом всё равно уедет. И даже если не уедет – он уже стал взрослым, дед не сможет жить только ради заботы о нём. Деду нужно было занятие, и Витя его придумал. Что-то смутное долго бродило у него в голове, но он никак не мог сформулировать окончательно – пока не приехал обратно и не перешагнул через кучу говна в собственном коридоре.

Москва – не то что бы модное туристическое направление, но довольно много людей сюда всё-таки ездят. В Париже у двоюродной сестры Полетт было небольшое туристическое агентство, специализировавшееся на индивидуальных путешествиях. Они любили всякие необычные штуки. Нетуристический туризм. Сами по себе московские пятиэтажки никого не интересовали, в каждом городе есть уродливые жилые районы или живописные трущобы. Но если добавить уникальный взгляд, если показывать их как бы изнутри – это может очень хорошо полететь. Деду больше всего нравился тот золотой период времени, когда они были молоды и только сюда переехали. Он прожил в этом районе почти всю жизнь и знал его вдоль его поперёк. Он любил рассказывать и любил, когда его слушают. Идея казалась идеальной.

Прошло несколько недель, прежде чем они смогли поговорить об этом. Александр Сергеевич приходил в себя медленно. И их новым отношениям – в которых они по-прежнему оставались друзьями, но страшим теперь был скорее Витя – тоже требовалось время. Тем не менее, у них опять получилось.

За несколько месяцев, не торопясь, они сделали в квартире ремонт. Делая ремонт в хрущёвках, все и всегда пытались вписать их в современную жизнь, как-то расширить пространство. Витя и Александр Сергеевич наоборот, стремились вернуть всё к первоначальному состоянию. Обои пришлось переклеивать, но удалось найти достаточно старообразные бумажные, а не виниловые. Большая часть мебели ещё годилась, а что-то нашли на помойках рядом с расселёнными

домами – старое пианино и тумбочку на длинных ножках. У подруги Витя выпросил фикус. Александр Сергеевич реанимировал холодильник «Юрюзань».

Они придумали несколько экскурсионных маршрутов вокруг пятиэтажек и написали несколько вариантов текста. С помощью другой Витиной подруги, которая училась в Британке, придумали Александру Сергеевичу образ.

– Глядите, я составила лукбук. Это будет такой современный Советский Союз, не совок, нетнет. Мы сочетаем базовые советские элементы – смотрите фасоны брюк, рубашки – с яркими ультрасовременными вещами. Я предлагаю культовые кроссовки Луи Вюиттон в коллаборации с Канье Вестом, жилеточку Версаче... Вот Дольче и Габбана. Вить, ну не делай такое лицо. Во-первых, мы можем что-то купить из прошлых коллекций, это будет не так дорого. Во-вторых, я знаю, где взять напрокат для съёмки.

Наконец, зарегистрировали квартиру на Airbnb – проживание вместе с хозяином, сдаётся большая комната. Завели Александру Сергеевичу твиттер и фейсбук. msk_youveneverseen – так они назывались. Писали туда все втроём – Витя переводил на английский описания соседей и окружающего ландшафта, которые Александр Сергеевич писал по-русски, Маша из Британки постила фотографии. На них Александр Сергеевич в одежде известных брендов позировал на фоне прилавков, помоек, скамеек и подъездов.

Некоторое время ничего не происходило. Потом приехали первые постояльцы – историк из Финляндии с женой. Александр Сергеевич показал им все окрестности, даже сводил на улицу Гримау к самой первой пятиэтажке. Финн опубликовал несколько восторженных постов в своём блоге. Потом небольшое туристическое сми сослалось на твиттер Александра Сергеевича, а в блоге французского агентства вышло интервью с ним. Дело пошло. Через год в твиттере было около сорока тысяч подписчиков, для экскурсий пришлось установить расписание, а большая комната почти постоянно была занята.

Глава 9. Взгляд из ларька с мороженым

По пути от метро вглубь района есть небольшая асфальтированная площадка, врезанная в крошечный сквер. Там вроде как должно быть что-то, но никак не складывается. С начала восьмидесятых на этой площадке время от времени появляются различные ларьки – квас, или газированная вода, или просто прилавок с мороженым – но скоро исчезают. Иногда туда пытаются перенести доску объявлений, но и она явно лучше себя чувствует на привычном месте – буквально в трёх метрах, на повороте. Даже торговцы овощами и фруктами не любят там стоять.

Бывают такие места, которые всё отталкивают. В ларьках вдоль Профсоюзной улицы тоже такие встречаются. Допустим, в ряд стоят аптечный пункт, хозтовары, рукоделие и «Белорусские колбасы». У всех всё нормально, рукоделию вообще уже лет пять, только колбасам неймётся. То у них овощи появятся, то разливное пиво. Буквально за пару месяцев пиво обрастает грифельными досками, на которых написаны сорта, новыми крантиками, сушёной и вяленой рыбой, запах которой чувствуется ещё на улице. Колбаса всё скукоживается, и однажды приходишь – её больше нет, только пиво разливается.

Но и это ненадолго, пиво исчезает разом, пару недель в ларьке идёт ремонт, и прохожие кидают внимательные взгляды – может, что-то хорошее откроется, нужное. А может – ещё одна аптека, примерно сорок пятая. В результате оказывается магазин настольных игр. Через три недели он тоже исчезает – кому в этом месте нужны настольные игры? каким игрокам? – а в ларьке после следующего ремонта воцаряется вейп-шоп. Его сменяет мини-пекарня, потом – магазин ортопедической обуви, потом – магазин под названием «Мяснота». И так далее.

С аптекой, хозтоварами и рукоделием всё это время ничего не происходит. Просто место такое.

И вот у нас похожая ситуация. С одной стороны, вроде как есть пустота, которую нужно заполнить, с другой – каждый раз ничего не получается.

Текущая попытка представляет собой ларёк с мороженым. Ярко-ярко-розовый, цвета химических конфет, разрисованный рекламой Нестле – фрагментами больших счастливых людей. Глаз мальчика приходится как раз на замочную скважину, так что продавщица начинает свой день с того, что вставляет ключ в глаз.

В ларьке между трёх холодильников сидит Роза Петровна. Это она вставляет ключ в глаз каждое утро.

Внутри ларёк тоже абсолютно розовый с трёх сторон. С четвёртой – стеклянный, но витрины целиком заклеены изображениями мороженого разных сортов, так что у Розы Петровны остаётся только маленькое окошечко, через которое она смотрит на мир.

Через окошечко видно не очень много – примерно пять метров улицы. За ней зелёный заборчик и полоска сорняков, а дальше – отделанная кафелем стена пятиэтажки, которую то ли снесли, то ли нет. Этим ларёк с мороженым крайне невыгодно отличается от овощного ларька – оттуда можно наблюдать всю дорогу от метро. Да, пять метров – это совсем немного, и Розе Петровне требуется хорошая реакция, чтобы успеть хоть что-то увидеть в розовой рамке.

Например, как друг навстречу другу идут девушка с ярко-красными волосами и сгорбленная старушка в костюме того же оттенка. Точно напротив ларька старушка останавливается и спрашивает у девушки:

– Какой сейчас месяц?

Девушка отвечает:

– Август.

И они идут дальше, в разные стороны.

Какая-то толпа – человек двадцать в кроссовках и кедах. Это Александр Сергеевич опять проводит экскурсию. На углу они останавливаются, и кто-то из туристов решает купить мороженого.

– Плиз! – говорит Роза Петровна. – Рашн айскрим? Зе бест!

– Да, – говорит Александр Сергеевич. – Берите в стаканчиках. Оно больше всего похоже на тогдашнее.

За экскурсией идёт Лиана и ворчит:

– Ну шельмец! Это ж надо... Ещё бы помойки туристам показывал.

Или вот старушка Гераськина идёт из магазина. У неё две мохнатые чёрные собаки, одинаковые. Как будто Гераськина занимается клонированием прямо у себя на пятиметровой кухне. У одной собаки в зубах довольно длинный батон, в полиэтиленовой упаковке. У другой – буханка, тоже в упаковке. Сначала идёт старушка Гераськина с двумя поводками в руке, а следом за ней две собаки, с батоном и буханкой.

Или идут две девочки и два мальчика лет четырнадцати, девочки впереди, а сразу за ними – мальчики.

Одна девочка говорит:

– У тебя что, сиськи выросли?

– Ну да, – отвечает вторая, – на два размера, с прошлого раза ещё.

– Блиин, – кричит первая, – хочу сиськи! Почему у меня нет сисек?

Они идут по проезжей части близко к ларьку, так что Роза Петровна видит их только от поясов до шей, и как раз может оценить сиськи.

Когда Роза Петровна видит знакомого, то кричит ему из окошечка. Первое время знакомые так и подпрыгивали. Потому что идёшь себе домой, о чём-то думаешь, и тут вдруг голос из ниоткуда: Люда! Тётя Люда оглядывается, но ничего подозрительного – чахлый сквер, пятиэтажка, Афанасий идёт в булочную, розовый ларёк с мороженым. Люда идёт дальше, и тут снова голос. Она опять оглядывается, но заметить голову в маленьком окошке довольно сложно. Роза Петровна приноровилась открывать дверь и махать оттуда, тогда дело пошло лучше.

Ларёк расположен в таком месте, где пересекаются все пути к метро или в булочную, и воспринимается как обычная часть пейзажа, не имеющая ушей. Люди встречаются и обсуждают новости, совершенно не стесняясь, и Роза Петровна в курсе всего. Ей всегда есть, о чём поговорить – и о последних пьянках Игоря, и про Нинку из шестьдесят восьмого, и как себя чувствует Антонина, и что Александр Сергеевич-то совсем бизнесмен стал на старости лет. Так-то Роза Петровна не подслушивает, но люди разговаривают, а ей что, уши затыкать?

Конечно, она не затыкает. Работа у Розы Петровны и так очень скучная. Кроме мороженого в ларьке продаётся только газированная вода, а больше ничего. Роза Петровна пыталась намекнуть начальству, что хотя бы семечки нужны, но начальство не отреагировало. Так и остались – вода и мороженое. Желающих немного, очереди не собираются.

Летом клиентов побольше. Поэтому летом по вечерам ларёк должен закрываться не в семь, а в восемь. От этого клиентов становится ещё больше. Прямо перед восемью всем становится прямо-таки необходимо купить мороженого. Роза Петровна по натуре очень мягкий человек, добродушный, но этот лишний час работы злит её несказанно, а то, что между семью и восемью люди на самом деле покупают больше мороженого – просто сводит с ума. Она начинает думать про этот лишний час уже с утра, к обеду воздух внутри ларька сгущается, а вечером розовые внутренности становятся совсем невыносимы. И ведь главное, вся летняя прибавка – 500 рублей.

Но ничего. Когда раз в неделю, а когда и два, после обеда к ней заходит Люда со второго этажа и приносит бутылку «Московских каникул» или «Арбатского». И вот они сидят с Людой среди мороженого, чтоб оно провалилось, смотрят в окошечко и обсуждают всех, кто проходит мимо – от длины юбок до походки. И так, в общем, вполне сносно получается – дома-то делать особо нечего, а тут ещё и прибавка к пенсии.

Глава 10. Взгляд из овощного ларька

В булочную – которая давно уже магазин «Продукты», и хлеб там не самое сильное место, и уже мало кто помнит, что магазин «Продукты» раньше был булочной – не влезают овощи и фрукты. А это очень важно – овощи и фрукты. Каждое лето в нашем районе появляется множество прилавков, с которых продают помидоры, огурцы, картошку и какие-нибудь ягоды – базовый набор, а в некоторых случаях ещё лук, зелень и яблоки. Собственно, это даже не прилавки – две кучки ящиков, столик, весы и при них тётка. Иногда ещё зонтик. Их разбрасывают по району, как десантников. Если в сезон, например, черешни, рано утром идти вдоль улицы Профсоюзной, то можно увидеть газель, которая медленно едет прямо по тротуару. Раз в триста метров газель останавливается, водитель выходит, выносит стопку ящиков, раскладной столик, весы и ставит всё на тротуар, а продавщица выходит сама, поправляет шапочку и становится за весы. Так газель и едет от Академической до Новых Черёмушек, оставляя за собой след из черешни и продавщиц. Дальше, за Новыми Черёмушками тоже продают такую же черешню, но её привозит уже другая газель. В одну все бы не поместились.

Летом можно где угодно покупать овощи и фрукты, от этого люди не меньше ходят в булочную. Но зимой открытых прилавков нет, и за овощами и фруктами приходится идти через перекрёсток. Но если ты уже так много прошёл, и даже спустился в подземный переход и поднялся обратно на поверхность, то можно сразу там всё и купить, на другой стороне – и молоко, и колбасу, и водку, и ни в какую булочную не ходить. Примерно так рассуждают владельцы булочной, и поэтому уделяют много внимания овощам и фруктам.

Но оставшееся в магазине место жалко. Овощи, в общем-то, и на улице нормально, даже хорошо, а вот хозяйственные товары или даже мясо можно только в помещении продавать. Так что свободное место решили пока придержать, а для овощей и фруктов сделали специальный ларёк перед крыльцом.

Сначала это был фургончик. Продавали там только самое необходимое. Картошку, морковку, лук. Свёклу. В основном то, что нужно на суп. Чуть что – закрывали. Разрешения не было. Но по-

том получили, конечно, разрешение, разложили ящики кругом на асфальте, сделали деревянный помост, привинтили к козырьку галогеновые лампочки, стали продавать всё, что бывает. И хурму, и сливы, и редиску, а яблок – пять видов.

Продавщиц в овощном ларьке две – Фаина и Лидия Николаевна. Тут при всё желании одну не поставишь, на улице тяжелее работать, чем в магазине. Хотя они и заканчивают раньше, в десять.

Фаина молодая и очень приветливая. Когда она училась в школе, была очень популярна песня «Фаина» группы «На-На». От этого Фаина тоже стала очень популярной девушкой, и так и сохранила это ощущение – даже после того, как вышла замуж, родила ребёнка, развелась с мужем, который стал её бить, поработала уборщицей в поликлинике, гардеробщицей в бассейне, продавщицей цветов, и вот оказалась в овощном ларьке. Фаина пользуется помадой вишнёвого цвета, и её обычный монолог звучит примерно так:

– А вам? Говорите, пожалуйста! И вам добрый. Всё? Слив не хотите? Отличные сливы сегодня, вот эти жёлтые. С вас девяносто восемь рублей пятьдесят восемь копеек, пожалуйста! Кило и ещё триста – это будет шестьдесят два... Пожалуйста. Извините, пожалуйста, вы не могли бы отойти? Вы мне немножечко, самую капельку, но вот самую капельку мешаете. Абрикосов... Персиков... С удовольствием... С вас сто тридцать два рубля ровно, пожалуйста! А вы возьмите огурцов... Сейчас, сделаем. С вас восемьдесят шесть рублей сорок три копейки, пожалуйста. А не будет у вас рубль или шесть рублей? Здравствуйте, Антонина Вячеславовна. Нет, вы знаете, укропа нет. Весь укроп у нас кончился, вообще вся зелень у нас кончилась.

И так весь день. Овощной ларёк – это вам не мороженое. Фаина всегда сохраняет спокойствие, говорит очень вежливо, чётко выговаривая все слова, с интонациями, какие бывают у персонажей детских мультфильмов. Из своего овощного ларька она видит весь проулок и поворот на горку. Видит, как люди спускаются от метро и либо сразу сворачивают вглубь квартала, либо идут дальше, к булочной. Некоторые сворачивают в сбербанк, а остальные проходят мимо Фаины, и она им улыбается. Особенно Пете. Пете Фаина начинает улыбаться ещё издали. Она думает – вот приятный молодой человек. И так от всех здесь отличается!

Единственный, кому Фаина не улыбается, – это Зелёный. Но его это не обескураживает. Зелёный каждый день куда-нибудь зовёт Фаину. Он говорит:

– Слышь, пойдём вечером пройдёмся? Ну ты чё?

Фаина говорит:

– Нет, Паша, спасибо, у меня дела.

Или говорит:

– Нет, Паша, спасибо, я не могу сегодня.

– Нет, Паша, у меня родительское собрание.

– Нет, Паша, я занята.

Но Зелёный не даёт сбить себя с толку и ходит и ходит к Фаине. А она только вздыхает. С виду Зелёный слишком похож на её бывшего мужа, хотя и говорит, что нет.

Лидия Николаевна была продавщицей всю жизнь – с девятнадцати лет. Но раньше она работала в большом гастрономе на углу. От тех времён у неё остались высокая причёска и ощущение, будто к этой причёске по-прежнему приколота голубая пилотка, хотя никакой пилотки там уже несколько лет как не было.

Работа в ларьке для Лидии Николаевны серьёзное понижение. Отдел «Овощи-фрукты» – нормальный отдел, а не какой-то там ларёк, – всегда считался самым распоследним во внутреннем магазинном рейтинге. А тут вообще на улице. Очень сильный дауншифтинг. Но что делать – двое внуков, денег не хватает.

Лидия Николаевна работает день через два. Когда она смотрит из овощного ларька вдоль улицы, то видит не как люди идут от метро, а как перед поворотом расставляют свои столики другие торговцы. Они вызывают у неё малопонятное раздражение. На конкуренцию Лидии Николаевне наплевать – это же не её продукты. Её раздражают шаткие столики, подвинутые впритык

к дороге, то, что все продавцы чужие, непонятно откуда, и что они всегда стараются подложить что-нибудь гнилое. И ведь люди зарекаются там покупать, а потом всё равно нет-нет да и купят – ленятся пройти лишние пятьдесят метров. Именно поэтому те торговцы и ставят столики буквально на проходе.

Монолог Лидии Николаевны звучит примерно так:

– Это вы мне под расчёт, что ли? Двести семьдесят пять рублей. Готовьте сдачу. Помидоров нет. Есть огурцы луховицкие, очень вкусные. Это я что-то не соображу, сколько будет полкило. Я только что с выходных вышла. Сколько вам, шесть, семь? Вот как здорово, все под расчёт дают. Девяносто семь пятьдесят. А то только что сходила, поменяла деньги, а мелочь уже кончилась! Нет помидоров. Вот, берите три. Или для ровного счёта – четыре. Очень вкусные огурцы, это луховицкие.

У себя Фаина и Лидия Николаевна придумали усовершенствование. Некоторые овощи и фрукты остаются в мешках и ящиках, с ними всё в порядке. Но какие-то всегда должны лежать на витрине за стеклом – чтобы людям было видно, что, собственно, продаётся. Лежат они друг на друге, менять их неудобно, и часто оказывается, что они сгнили. Приходит покупатель, а на витрине одна гниль разложена. Ну и запах, соответственно, и мошки. Это у многих так, но Фаина и Лидия Николаевна придумали положить там пластмассовые фрукты, игрушечные. Как в детском саду. Руководство булочной любит всякие инновации, так что и правда купили игрушек, и теперь в овощном ларьке за стеклом разложены только муляжи. Зато всё чисто.

Да, овощной ларёк – это не то что мороженое, перед ним вечно толпятся люди. Например, девушка покупает бананы и яблоки, за ней – молодой человек, ему нужны две головки чеснока, полкило репчатого лука, пучок лука зелёного, укроп, кинза, всё это очень долго. За ним стоит господин лет шестидесяти – в жёлтых ботинках, мягком кожаном пальто, опирается на палку и курит сигарету. У нас такие люди редко встречаются – и перед овощным ларьком, и где угодно ещё. Больше похож на второстепенного персонажа из какого-то фильма – Данелии, Иоселиани или, может, Кустурицы, или из рассказов Маркеса. Такой у него нос, и такие седые волосы, и стоит он так, и курит помятую сигарету.

Подходит его очередь – а к ларьку нужно подняться чуть-чуть вверх, по мокрому асфальту, между деревянных прилавков, на которых летом лежат овощи и фрукты, а зимой – только если лёд, он замерзает на деревяшках неестественными горками. Господин с палочкой ругается. Он выглядит очень цельно, действительно законченным образом из какого-то фильма, а говорит совсем по-другому, и по-разному, как два разных персонажа или даже три.

Он выругался и стал ругаться на Фаину за то, что у неё тут скользко, а Фаина отвечала, что что же она сделает, у неё даже лопаты нет. Он сказал:

– Ну а у меня ноги нет. Так что надо посыпать.

– Ну я и посыпала солью, и всё растаяло, – ответила Фаина, – только сейчас опять замёрзло.

Он спросил, почём мандарины, и попросил три таких и два таких. Потом сказал:

– А вот те яблоки, красные... Вот тех яблок штуки три.

– По семьдесят пять?

– Наверно, я не вижу. А вот те, самые крайние, это какие? Розовые? Давайте два розовых и три красных.

– Вам пакет будет нужен? – спросила Фаина.

– Ну конечно... А груш нету? Конференс? Это те длинные? Ну, может, парочку...

Потом он попросил чеснока, ещё чего-то, ещё чего-то, ещё какой-то, что ли, зелени.

Отходить от ларька ему тоже было неудобно, он сказал:

– Ну ёб твою мать, пидарасы, – потом дотянулся до перил и аккуратно отступил к крыльцу булочной, – Пидорасы. Как зима так всё. Летом... Летом – хорошо.

Глава 11. День прошёл и к смерти ближе

Некоторые молодые матери иногда читают рабочую почту – в качестве свидетельства о том, что когда-то у них была другая жизнь. Ленины коллеги – бодрые и молодые в любом возрасте люди обсуждают, что подарить на день рожденья одному из них, примерно таким образом:

– Думаю, он будет рад слетать на выходные куда-то в Стокгольм, Берлин или Женеву, был бы крутой повод.

– Я за плеер. Плавать туда-сюда под музыку гораздо приятнее.

Лена внимательно прочитывает все письма из этой параллельной реальности, пока Филипп лежит на коврике и вертит новую игрушку. Это такой круглый деревянный барабан с бубенчиком внутри. Какое на фиг плавать под музыку? Прошло больше полугода с тех пор, как она в последний раз спала пять часов подряд, не просыпаясь. Европа на выходные тоже как-то прошла мимо. Сначала было слишком мало денег, потом слишком много работы, теперь маленький ребёнок, у которого постоянно что-нибудь. В новых вагонах метро есть такие места – одно сидение в углу. Садишься и закрываешь глаза. Во много раз круче Европы. Я думаю, она будет рада поездить по кольцу. Давайте подарим ей билет на десять поездок.

Лене кажется, что ей триста лет. Триста лет, полных творожка, детского кефира и овощей в блендере. Триста лет погремушек в самых неподходящих местах. Ни одной минуты беспечности. Иногда – очень редко, на Ленин взгляд, – идёт дождь. Настоящий дождь, проливной и достаточно долго. Достаточно долго и очень сильно, так что бы Лена могла разрешить себе не идти гулять.

С маленькими детьми связано много решений. Нужно решить, чем их кормить, где они будут спать, давать пустышку или нет. По неизвестной причине – а скорее, сразу по нескольким причинам – каждое решение превращается в крепость. В бастион, в последний оплот. Вполне разумные с виду люди – если вы только смотрите на них, а не читаете то, что они пишут в сообществах для молодых родителей, – доходят до угроз насилия и убийства, просто обсуждая, нужна детям пустышка или нет. Лена пока избежала публичных выкриков на каждую из важных тем, но отказаться от один раз принятых решений для неё было совершенно невозможно. Ленины решения были такие: грудное вскармливание, спит отдельно, пустышка, подгузники, как можно больше гулять.

Прогулки советовал врач. На них же настаивала Ленина мама. У всех должна быть по крайней мере одна навязчивая идея, связанная с младенцами. У Лениной мамы – а теперь и у Лены – прогулки. Это было ужасно неудобно. Всё время, которое Филипп спал и в которое Лена могла бы читать сообщества для молодых родителей, готовить еду или как-то отдыхать, она таскалась по району, составляя в уме его топографическую карту с точки зрения коляски –

полоса разбитого асфальта, высокий бордюр, десять метров ровного асфальта, огромная колдобина, краткий участок бездорожья, полоса среднего асфальта, пологий въезд на тротуар, длинная полоса новенького гладкого асфальта, вымощенная плиткой дорожка, высокий бордюр, промежуток с крайне разбитым асфальтом, высокий бордюр, узкий проезд между заборчиками, песок, мягкое покрытие, снова вымощенная плиткой дорожка, бордюр, колдобина, ровный асфальт

– или придумывая образ супергероя –

некоего чёрного колясочника, по аналогии с Чёрным Альпинистом, который постоянно гуляет по району с детской коляской, и если его взгляд падает на того, кто мешает маленьким детям и их родителям, то буквально через два дня с ним происходит какое-то несчастье. Сварливые старухи чувствуют себя плохо и остаются дома, у матерящихся и шумящих на детских площадках подростков начинаются проблемы с родителями, а те водители, которые своими машинами загораживают въезды на детские площадки, разбивают их

– или перечисляя всё, что ей нужно заказать вечером, когда Филипп заснёт, –

новые комбинезоны, новые носочки, стаканчики для хранения еды, калгель, пустышку от полугода, слюнявчики, гречневую кашу, подгузники, влажные салфетки, вату, масло для массажа,

прокладки для груди, жидкое стиральное средство для детского белья, шампунь, одноразовые пелёнки, детскую непромокаемую книжку и новую игрушку-висюльку для коляски

– и всё остальное в таком же духе. Даже если взять с собой ноутбук, то ничего особо не получается. А когда Филипп просыпался, они возвращались домой. Там она раздевала Филиппа, меняла ему подгузник, кормила, снова меняла подгузник, показывала ему погремушки, сидела рядом на коврике. Может – хотя и необязательно, такой режим и приносил какую-то пользу Филиппу, но абсолютно безусловно, что у Лены не оставалось ни минуты, чтобы перевести дух.

Только когда шёл дождь. В дождь весь наш пятиэтажный район вымирает, замирает так, как сложно себе представить. Никто не ругается под окнами, не орёт матом, не ходит по лестнице, не хлопает дверями. В дождь все алкоголики тихи, как мыши, все болтливые тётушки сидят дома, все любители погулять с маленькими детьми поздно вечером не гуляют с маленькими детьми поздно вечером. Дождь – как пауза. Все ложатся спать трезвыми.

А когда дождя нет, то всё как обычно. И Лена тоже идёт гулять.

Люди кругом кажутся ей совершенно сумасшедшими. Ну, кроме Кирилла, но его она видит только вечером. По идее, она и раньше видела его только вечером, но тогда этого было достаточно, а теперь нет. Сумасшедшие женщины с младенцами на детских площадках часто общаются по-другому, не так как все люди. Когда одна хочет передать другой информацию, то обращается не к ней, а к её младенцу. Младенец, однако, не отвечает. Вторая женщина оказывается в странной ситуации. С одной стороны – её как бы не спрашивали. С другой стороны, не ответить совершенно очевидно невежливо. Это как в ответ на «не могли бы вы передать соль?» ответить «могла бы» и ничего не сделать. Поэтому женщина отвечает на реплику, но обращается тоже к младенцу.

– Ну и где же ты сегодня гулял? – спрашивает незнакомая старушка у Филиппа.

– В сквере гулял, да? – спрашивает Лена в ответ тоже у Филиппа.

– Замёоооорз? – спрашивает старушка.

– Нет, скажи, не замёрз, – говорит Лена.

Первый признак безумия – это когда сумасшедшими кажутся другие люди.

– –

Каждый день Лена посвящала какую-то часть прогулки созерцанию идеальной женщины. Идеальную женщину звали Полина. Она носила огромные тёмные очки в молочной оправе – такие были модны в восьмидесятые годы. Она гуляла на площадке с большим газоном, которую Лена, раздавшая всем детским площадкам имена, называла «зелёной», и почти никогда оттуда не уходила. Постоянные обитатели нашего района, самые разные люди, довольно сильно к нему привязаны и могут месяцами никуда не ездить. Полина была ещё более статична, чем кто угодно из них. Возможно, именно она была центром нашего района – тем более что географически находилась вполне себе в центре.

Тому, что она практически не покидала детскую площадку, было очевидное объяснение. Полина гуляла с крошечными близнецами в ярко-красной двойной коляске и каждый раз успевала оказаться дома, прежде чем они окончательно проснутся и заорут. Лена никогда не видела их не спящими. Иногда Полина гуляла с близнецами и старшей дочкой, а иногда – с близнецами и старшим сыном, иногда – сразу со всеми четверыми. Когда Лена поняла, что у неё четверо детей, из школы пришёл пятый.

– Да знаешь, – говорила Полина на соседней лавочке своей очередной подруге, – я когда кормлю, мне даже не хочется.

– А когда не кормишь?

– А я уж не помню. Я, получается, восемь лет кормлю. Не кормлю, только когда рожаю.

Вообще Лена стала очень много знать о Полининой жизни, потому что та постоянно с кем-то разговаривала, сидя от Лены в двух метрах. Лене поначалу было немного неловко, а потом

она как-то привыкла. Тем более что Полине было совершенно всё равно. Она вообще мастерски игнорировала окружающих. Старушку, которая пыталась обсудить с ней поведение старшей дочки, пожилого человека, интересовавшегося близнецами, двух тёток, внезапно советующих пить больше чая с молоком, других мам с колясками – всех.

«Когда вырасту, тоже так научусь», – думала Лена, вечно вступавшая в разговоры о том, почему Филипп так закутан, или почему он в шапке, или почему он кричит, и что она делает не так.

Филипп был закутан, потому что родился на две недели раньше срока. Ничего угрожающего, но он долгое время мёрз. Даже дома до полугода спал в шапке и шерстяном комбинезоне, а уж на улицу Лена надевала на него пару килограммов одежды. С тех пор, как похолодало, одевание Филиппа на прогулку занимало у неё минут двадцать пять. Чистый подгузник, хлопковый комбинезон, носочки, шерстяной комбинезон, чепчик, шапочка, тёплый комбинезон, плед и меховой конверт. Филиппу категорически не нравилось всё, начиная с чепчика, и к тому моменту, как Лена сволакивала свою понтовую коляску вниз по лестнице, они оба уже были без сил.

На лестничной площадке Лене обычно встречалась соседка с ребёнком постарше, который ездил в сидячей коляске и научился смиряться с шапками.

– Уууу, – говорила она. – Видишь, как малыш кричит. А ты уже выросла, ты у нас уже не кричишь.

Лена отвечала, обращаясь, естественно, к Филиппу:

– Ну, здорово ты всех напугал. Молодец!

То есть как бы эта женщина показывала сочувствие Лене и радовалось, что у неё аналогичные трудности позади, а Лена как бы извинялась, но не сильно, потому что чего там, со всеми бывает.

Перед подъездом на лавочке сидела другая соседка, со второго этажа.

– О! – говорила она. – Гулять собрались! Куда ж ты его бедного опять так закутала!

Тут Лена мямлила что-то вроде:

– Ну так похолодало вон как, а мы долго гуляем.

Полина наверняка просто не заметила бы ни ту, ни другую, а покатила бы свою коляску дальше. У Лены был только один ребёнок, и этого ей хватало для полной дезориентации и пространственно-временных петель вокруг. У Полины было пятеро, и даже младенцев в два раза больше, чем у Лены, и она была спокойна и совершенно безмятежна. Лене в этом виделось что-то нечеловеческое.

Периодически к Полине подходили какие-нибудь знакомые. Для них у неё была другая модель поведения. Все знакомые наклонялись к коляске и после полуминутного рассматривания лежащих там младенцев реагировали одним из двух способов.

Они говорили:

– Ну они пооооохожи, да, очень похожи.

Тогда Полина говорила:

– Ну да, они же сёстры и вообще дети.

Или они говорили:

– А они разные, да, совсем разные.

Тогда Полина говорила:

– Ну да, они же не однояйцевые.

«Вот бы мне так уметь», – думала Лена, наблюдая всё это. Только где там.

Потом Филипп начинал ворочаться, Лена поспешно вставала и катила коляску вниз, мимо большого старого дома, мимо большого нового дома, мимо школы и дальше вниз, иногда слегка тряся головой, чтобы отогнать ощущение непрерывности жизни. Что вот это вот всё – это и есть жизнь, просто она теперь такая. И она уже её живёт, каждый момент. Минуты проходят – есть рядом кто-то или нет никого, просто проходят, и всё. Это как самолёт или поезд, как ни торопись, но придётся пролететь или проехать каждый сантиметр пространства, каждый миллиметр пространства, и что-то сомнительно, чтобы где-то там в нём были зазоры.

Если считать, что самые важные свойства, отличающие одного конкретного человека от другого (а не определяющие человека вообще) – это разум, память, окружение, внешность и характер, и оставить в покое душу, про которую никому ничего непонятно, то за последние месяцы два из них изменились полностью, а ещё два – очень сильно. От Лены ничего не осталось, только память. Получился какой-то другой человек, незнакомый, а ещё жить и жить.

Глава 12. При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна

В объявлениях о продаже и сдаче квартир наш район всегда называют тихим. Он и вправду тихий, насколько это вообще возможно в Москве. Жизнь у нас скорее тягучая, чем кипучая, а происходящие время от времени события совсем не того рода, чтобы о них написали хотя бы в интернете. Небольшие события, очень локальные. Антонина забыла перекрыть кран, когда уезжала на дачу, и затопила соседку снизу. Та подала в суд, и теперь они с Антониной не разговаривают. Нинка из шестьдесят восьмого допилась до настоящих чертей, бегала по подъезду с веником. Скорая приехала, вкололи ей что-то. Нинка говорит, черти на самом деле синие. За углом дома, где «Интер-Оптика», открылся ирландский паб. Жильцы со второго этажа очень жалуются, что у них под окнами теперь толпы подростков, все курят, матерятся, известно чем занимаются. Звонят в милицию каждый вечер.

В булочной с утра какой-то переполох. Уж и Лиана туда сходила – она старшая по дому, ей всё интересно знать, и тётя Люда. Тёть Маша Еманова тоже собралась. Ну хлеба надо купить, молока там. Оживление расходилось волнами. Даже внезапно вышедшая из-за дома женщина с афганскими борзыми – белой, рыжей и чёрной – на секунду задержалась у крыльца булочной, но собаки потянули её вперёд.

Лиана встала на углу. Новости распирали её, так что она чуть-чуть пританцовывала и подпрыгивала на месте.

– Слыхали, чё ваш-то учудил? – приветствовала она всех хоть сколько-нибудь знакомых жителей дома 32 корпус 2.

– Это кто ещё наш? – осторожно спрашивали жители дома.

– Ну Игорь. Сосед ваш.

Игоря видно не было – ни на балконе, ни во дворе.

– Э, да какой он наш, – отвечали жители дома, – глаза б не смотрели. А что он?

Игорь с утра был пьяный. Праздновали день рожденья Людки, начали что-то поздно. Под утро все кое-как заснули, но Игорь быстро проснулся, и ему понадобилось ещё. Деньги ночью кончились. Игорь явился в булочную и показал на пол-литра «Журавлей» – говорить у него уже не очень получалось. Ну, Марина послала его, конечно. Велела идти спать.

Это Игорю показалось очень обидным. Чё, Марина его что ли не знает? Он чё, сам не может решить, когда ему спать? Игорь стукнул по прилавку кулаками, а потом ещё раз. Марина почему-то пискнула и смоталась в подсобку.

Обычно во всех магазинах есть некий охранник. Мужичок в пиджаке и при галстуке, как будто пиджак и особенно галстук помогают ему выполнять свои обязанности, хотя – из общих соображений – скорее должны мешать. Тем не менее, все охранники всегда в костюмах. Некоторые при этом выглядят как в петле и одновременно в гробу, а некоторые наоборот – как директор магазина. Обычно они только тем и занимаются, что хмурят брови в адрес покупателей и строят кассирш. Кассирши кокетливо хихикают, а охранники говорят им что-нибудь покровительственное, напустив на себя вид петуха в курятнике. Не знаю, как у них на самом деле устроена субординация, но кажется, будто охранник всегда главный.

Так вот, в нашей булочной никаких охранников в костюмах отродясь не было. У нас там полный матриархат. И если какой-нибудь посетитель недоволен, то продавщицы с ним сами разбираются, а если агрессивно недоволен – то с ним разбирается Аня.

Аня высокая и очень полная, у неё пышные светлые волосы и короткий прямой нос. Руки у Ани как у некоторых алкоголиков ноги, и при взгляде на них сразу вспоминаешь, что грузчиков в булочной тоже не водится. Обычно Аня просто спрашивает, в чём проблема, и этого оказывается достаточно.

Оксана в этот момент держит в руках телефон и демонстративно вызывает милицию скрипучим голосом. Оксана, наоборот, очень худая, с длинным носом и каштановыми химическими кудрями. Вместе с Аней они составляют идеальную пару – хоть комическую, хоть трагическую.

Но это годится для обычных хулиганов, а к Игорю, утратившему дар связной речи, Аня не пошла. Покричала ему из-за двери подсобки, но Игорь её не услышал. Он дубасил по прилавку.

Милиция, как известно, никогда не приезжает быстро – хотя здесь им ехать метров двести. Пока они ехали, Игорь успел проломить стёкла у прилавка, и теперь методично молотил кулаками по леденцам, шоколадкам, пакетикам с орешками и сухариками, чипсам «Принглс» и спичкам. Так что милиция к нему тоже не пошла. Милиция подождала на безопасном расстоянии, пока Игорь приподнимет прилавок целиком и уронит его обратно. Это исчерпало его силы, буйство кончилось, и он, мирно засыпая, пошёл с ментами.

– Ну что, теперь ему пятнадцать суток? – с предвкушением спросила Лиана, хотя ей-то что.

– Да какое там, – сказала Оксана, – договорятся.

Глава 13. Ветер и ветер

В нашем районе Петя больше всего полюбил овощной ларёк. Последние пять с половиной лет он жил в общежитии главного здания МГУ. Там не совсем Греция, но тоже очень много что есть – столовая зоны Б, столовая зоны В, профессорская столовая, кафе, книжный, другой книжный – букинист, прачечная, продуктовый магазин, крыша, башни, подвалы, пустой этаж, музей, закрытые зоны, развалы с китайскими шмотками, прилавки с пирожными, пожарные, торгующие пивом по ночам, и многое другое. Но вот овощного ларька – ни одного.

А около ларька всё время что-то происходит. Один раз Петя видел, как кошка запрыгнула на деревянные прилавки с фруктами, аккуратно прошла мимо яблок и груш, залезла в окошко и легла на витрине в корзинку с игрушечной свёклой. В другой раз за ним выстроилась очередь из трёх собак. Иногда какой-нибудь мужик покупал семечки, мучительно долго выясняя разницу между семечками за тридцать рублей и за семь. Иногда ругались интеллигентные старушки в беретах – такой изощрённой заковыристой бранью, какую никогда и ни от кого кроме интеллигентных старушек не услышишь. В общем, именно около овощного ларька Петя, аспирант институт философии, оказывался способен воспринимать бытовую жизнь, которая до этого полностью проходила мимо.

И Фаина ему нравилась. Она всегда улыбалась, спрашивала, как дела, подкладывала пару лишних яблок. Петя даже думал подарить ей что-нибудь за все эти бесплатные яблоки, но не мог придумать, что. Цветы как-то не гармонировали с окружающими овощами. Может, шоколадку?

Вообще Пете и Юле было неплохо жить в нашем пятиэтажном районе. После восьмиметровой комнаты с зелёными стенами и занозистым полом, душа, в котором живут тараканы, постоянно собираются в мыльнице и жрут мыло, чем-то напоминая малолетних токсикоманов, общего с соседом по блоку туалета, кухни в сорока метрах по коридору, они относились к крошечной квартире примерно так же, как Александр Сергеевич. Комната казалась им огромной, а ванная была только их – что может быть лучше.

Хотя иногда устаёшь.

Пете надоели собаки. Я не упоминала этого раньше, но в нашем пятиэтажном районе очень много собак. Они так выглядят, что не хочется называть их бездомными – просто это взрослые, самостоятельные собаки, сами выбравшие свою судьбу, предпочитающие свободу и, возможно, отрицающие пошлую зависимую жизнь. Почему-то все они невзлюбили Петю и постоянно лаяли на него, где бы он ни ходил. Особенно часто собаки встречались ему за домом, где «Интер-Оп-

тика», – Петя возвращался из университета пешком и шёл мимо него. Как-то он встретил трёх собак. Большую белую косматую собаку. Рыжую собаку поменьше. Небольшую бежевую собачку, самую злую. Петя принял выражение «морда – ящик» и пошёл дальше. Сначала он прошёл мимо большой белой собаки. Ничего не случилось. Потом он прошёл мимо рыжей собаки поменьше. Она не двинулась. Но когда он пошёл мимо маленькой злой собаки, то поскользнулся и резко взмахнул рукой. Маленькая собачка зашлась в истерике, а две другие бросились на Петю.

После этого случая ему и надоели собаки. Теперь каждый раз на пути домой приходилось решать, как идти. Пойти по безопасному Нахимовскому проспекту означало признать трусость, слабость и поражение. Свернуть в арку дома, где «Интер-Оптика», означало, вполне возможно, встретить собак. Но они бывали там не каждый раз, так что могло и обойтись. Что делать Пете?

А Юля заболела. Она проснулась ночью, хотя вообще просыпалась только в крайних случаях. За окном, судя по шуму и грохоту, ехали танки.

На самом деле нет. Шум был от какой-то большой конструкции, ритмичной и неоднородной. Как будто полая гусеница с тысячей больших барабанов ползла мимо дома. Дёргалась на неровном асфальте, аккуратно подвязанные барабаны подскакивали на колдобинах и стучали, как поезд, только по-барабаньи громко и звонко. Механизм, приводящий гусеницу в движение, шумел и лязгал.

Звук направлялся мимо окна влево и двигался минуты три. Наверно, сначала он был тих, потом усилился, потом Юля и Петя проснулись, потом звук ещё усилился, достиг, наконец, пика и стал спадать.

– Это машина снов и любви к президенту, – сказал Петя, – вот если бы ты спала, тебе бы сейчас приснилось, что ты любишь президента.

Юля так обрадовалась, что не спит, что сразу заснула, а утром проснулась уже больной.

Вообще в болезни не было ничего страшного – просто простуда, хотя и какая-то злая. Юля стала спать по утрам, а ночью наоборот не могла. У неё поднималась огромная температура. Она совсем выпала из пятиэтажного ритма – засыпала в семь утра, просыпалась в три дня. Стояла такая погода, что рассветало не каждый день, а только примерно один раз из четырёх. Густое серое небо свисало до самой земли. Если открыть окно, то можно было его потрогать, но окно открывать не хотелось – ветер.

На пятом этаже тоже бывает ветер, хотя и не такой, как на шестнадцатом. Ветер веет, ветер веет, ветер веет. В общежитии они жили на шестнадцатом этаже, и вот там был настоящий ветер. Суровый северный ветер, всё гнёт в дугу. Окна они не заклеивали, конечно, никогда, один раз завесили пледом, пришпилили его по краям кнопками. Темно, но теплее. Тогда ветер долго не унимался, они несколько дней провели за пледом, как в норе. Но обычно он всё-таки переставал ночью. Ложишься спать, скрутившись в пружину, укрывшись всем, чем можно, и ещё с самого верха – Юлиной чёрной дублёнкой, потому что иначе вообще невыносимо. А утром просыпаешься – дублёнка съехала на пол, мышцы расслабились, тепло. Совсем тепло. Можно потянуться, выставить ногу, выпрямиться и всё тепло.

В квартире было холодно, хотя и не так, как когда ветер. Слесарь приходил, говорит – ну а чего вы хотели? им знаете, сколько лет, батареям вашим?

Есть ли более кретинский вопрос на свете, думала Юля, завернувшись в одеяло. Вообще-то я много чего хотела.

Жить у моря, и чтобы по ночам было слышно волны. Танцевать, тёплую погоду и гулять всю ночь. Услышать о себе что-то хорошее. Чтобы меня научили чему-то новому и так, чтобы мне это понравилось. Новую ванную и набор чайных чашек. Разливать лимонад и продавать тефтельки. Холодный разум и горячность в манерах.

Но что-то пошло не так. Получились только очень холодные руки и очень горячие глаза, и чувствуешь, как мозг вращается внутри черепной коробки, как земля внутри звёздной сферы, с запада на восток, а иногда – как черепная коробка вращается вокруг мозга, как звёздная сфера во-

круг земли, с востока на запад. Ступни выглядят огромными, такими, какой могла бы быть одна ступня, а не две – чтобы сохранить устойчивость ей пришлось бы быть гораздо больше. Кожа на пальцах будто бы собралась в складочки, как бывает после ванны.

Вечером Юля пыталась лечить свою болезнь глинтвейном, и он ударил её током. Она это поняла так. Глинтвейн стоял на электрической плитке на две конфорки, которая осталась ещё от общежития. То есть на такой плитке, которая согревает его непосредственно электричеством. Накапливает электричество в конфорке и стукает им в кастрюлю. Кастрюля металлическая, поэтому хорошо проводит. Она передаёт электричество глинтвейну. А глинтвейн, он жидкий, как вода, а вода тоже прекрасно проводит электричество. В результате оно всё собралось в глинтвейне и дёрнуло Юлю током.

После этого оказалось, что уже второй час ночи, и Юле срочно понадобилась газета «За Калужской заставой».

На лестничной площадке между этажами сидели две женщины и двое мужчин, причём двое из четверых – в красных пуховиках. Говорили только мужчины, главным образом Юлин сосед:

– Ну бери, бери, – говорил он, – все стеклопакеты бери. Мне двести рублей нужно и бери. Четыре штуки их там... Рамы... Как вторчермет сдавали... А то ещё когда высотки строили... Ручки ещё... Ванна тут чугунная, по четыреста рублей... Я тебе предлагал, ты не брал. Ну ты не брал, потому что денег у тебя тогда не было.

Наконец Маргарите Николаевне надоело слушать эту таинственную трепотню про украденную из гроба голову – – Наконец Петя померил Юле температуру, намерил 40,6 и вызвал скорую. И явились два амбала в синих одеждах, вкололи Юле анальгин и велели назавтра вызвать обычного врача.

– Ну, – сказал назавтра обычный врач, осторожно и со значением, – вообще-то при таком состоянии я рекомендую антибиотики.

– О, – ответила Юля, – отлично, давайте. Хочу антибиотики.

Пауза.

Пауза.

Врач сказал ошарашенно:

– Надо же... Обычно все отказываются. Я уж настроился, что уговаривать придётся.

И Юля выздоровела, как по волшебству, буквально на следующий день.

Глава 14. Маша идёт в единый расчётный центр

Александр Сергеевич и Витя решили расширять бизнес. Твиттер Александра Сергеевича становился всё популярнее, и количество туристов в его квартире тоже росло. Они снимали проходную комнату с возможностью свободно пользоваться кухней и ванной. Большую часть времени туристы не находились дома – всё-таки они приезжали посмотреть город или по делам, а не просто пожить в пятиэтажке – но по-всякому бывало. Кто-то долго спит, кто-то моется всё утро. Александр Сергеевич старался гостей без необходимости не беспокоить и ходить через них пореже. Он даже завёл у себя в маленькой комнате бутылку, чтобы не каждый раз идти в туалет. Витя в такие дни ночевал у друзей.

Поначалу это было нормально, но постояльцев становилось всё больше, перерывы между ними укорачивались, и Александр Сергеевич и Витя устали.

Туристам у него в квартире нравилось всё, кроме дивана. В комнате стоял классический раскладной диван-книжка. На нём предполагалось и спать тоже. Многим это было неудобно – старый советский диван не очень похож на ортопедический матрас. А поставить туда кровать или хотя бы заменить диван на более удобный Александр Сергеевич категорически отказывался. И Маша – Витина подруга – горячо его поддерживала.

– Вить, ну ты что, это полностью нарушит концепцию.

Если бы они сдавали квартиру целиком, то в большой комнате можно было бы оставить одну комнату в старом виде, а во второй сделать обычную спальню.

А ещё Александр Сергеевич давно хотел дополнить свою экскурсию недостающим фрагментом – посещением собственно образцовой советской квартиры. И просмотром документальных фильмов о пятиэтажках.

Это последнее соображение убедило Витю. Ему очень понравилось, что дед хочет развивать свои экскурсии. По правде говоря, он каждый день боялся, что тот снова начнёт пить.

Но как раздобыть ещё одну квартиру, они понятия не имели. Самая-самая дешёвая квартира, в самом плохом доме максимально далеко от метро, ближе к улице Архитектора Власова, на первом этаже и полностью убитая, стоила пять миллионов. За время своего предприятия Александр Сергеевич и Витя что-то накопили, но большей части всё равно не хватало. Кредит им не давали. Александр Сергеевич был слишком старый, а Витя слишком молодой. Пенсионер и студент, оба без значимых источников дохода. Занимать такую сумму у Валерки они не хотели.

Выручила их Маша. Она же тоже жила неподалёку, они с Витей учились в одной школе, только в параллельных классах. Маша им сказала:

– Ну вы даёте. Кто ж сразу покупает? Она у вас знаете, сколько будет окупаться? Вам нужно снимать. Мне как раз мама рассказывала, у нас в доме, на первом этаже девушка сдавала квартиру, ей от бабушки досталась, а сама уехала на Гоа. Сдавала какой-то тётечке, всё вроде нормально. А потом оказалось, что эта тётечка там устроила общежитие для таджиков! Восемнадцать человек там поселила. Вот уж не знаю, где они там поместились, посменно, что ли, спали. Представляете? Ну, восемнадцать или сколько-то там. Мама, пока мне рассказывала, до двадцати пяти дошла. И главное, из жильцов никто не заметил, сколько их там... Нет, Вить, слушай! Эта девушка снова ищет, кому бы сдать. Только квартира теперь раздолбанная вусмерть. И мне кажется, она будет рада по знакомству. Ну, чтобы больше так не попасть. И мне кажется, с ней можно будет договориться, что вы, например, делаете ремонт, но первые эээ два года платите половину суммы или треть.

Девушка – её звали Эля – действительно оказалась рада. Ей больше ничего и не оставалось, квартира теперь была в таком состоянии, что сдать её было невозможно. Она немного вздрогнула, когда услышала про ремонт в советском стиле, но Маша её быстро успокоила. По деньгам тоже очень хорошо получилось. Эля сдавала за тридцать тысяч плюс коммунальные платежи. (А предприимчивая тётечка брала по три тысячи с человека и получала пятьдесят четыре.) Договорились, что Александр Сергеевич снимает квартиру на пять лет и обязуется привести её в порядок. За это первый год платит треть стоимости, а дальше – две трети. Эле так было удобнее, чем более короткий период полностью бесплатно. Она жила на Гоа в основном на эти деньги, а теперь и так придётся какую-то подработку искать.

Так что очень скоро Александр Сергеевич и Витя стали практически обладателями ещё одной квартиры. Она находилась в доме 11 корпус 2 и отличалась от квартиры Александра Сергеевича в доме 34 корпус 1 только отсутствием балкона. На первых этажах балконов не бывает. Приведение её в порядок заняло немного больше времени, чем они думали сначала. Пришлось заново делать стяжку и класть пол, белить потолки, красить батареи и даже устанавливать дверные коробки – все двери вместе с косяками были почему-то выбиты.

На Нахимовском проспекте – вокруг дома, где «Интер-Оптика» и напротив него – находятся магазины с обоями. Не только, конечно, с обоями – с напольными покрытиями, кафельной плиткой, сантехникой, лампами, карнизами, плинтусами и вообще всем. Названия у этих магазинов довольно однообразные – в основном, миры, планеты и обои. «Планета стекла», «Мир дверных ручек», «Обои», «Обои», «Обои», «Мир обоев». Известное место, из других районов сюда приезжают, и даже не только из соседних. Для нас все эти магазины ощущаются как внешний по отношению к нашему району мир – Игорь, например, ни в одном из них ни разу не был, что ему там делать. Но всё равно приятно, что они так близко, какая-никакая достопримечательность. Опять-таки может пригодиться, если ремонт делать.

Александр Сергеевич и Витя немного скучнели лицами уже от вывесок «Обои», так что по магазинам ходила Маша. Она собиралась включить этот проект в своё портфолио – а пока оно было пустым. Маша всё тщательно зарисовала и написала списки покупок. Маленькую комнату

она решила сделать максимально простой – чтобы не отвлекать от главного, и чтобы туристам было проще расслабиться, и нарочито современной – потому что одно дело посмотреть на советский быт, а другое – жить в нём. Большая кровать, белые стены, яркое покрывало, абстрактный принт на стене, пара комодов. Кладовку решила переделать в гардеробную – туда даже ничего покупать не надо было, Александр Сергеевич сам мог сделать полки и штанги. Маша была очень ограничена бюджетом. Решили только кровать купить новую, а остальное искали на помойках и досках объявлений.

Сначала Витя выносил из квартиры весь мусор, а Александр Сергеевич смотрел ролики на ютьюбе и разговаривал сам с собой.

– Как делать стяжку своими руками, пять способов... Зачем мне пять? Мне бы один, нормальный. Нет, раствор лучше всё-таки готовый купить... С большими перепадами... Ну у нас, наверно, большие перепады... Куда ж ты столько... Так, ладно, а вот это посмотрим...

Потом Витя пререкался с Машей.

– Да ты видела, сколько твоя паркетная доска стоит? Давай ламинат.

– Мы не можем положить ламинат! Его тогда ещё не было.

– Ну давай линолеум.

– Линолеум тогда ещё дороже был, его не клали... Ну ладно, я сейчас поищу ещё, подешевле...

Потом они обзванивали людей, продающих подержанные вещи.

– Вы продаёте ковёр? Не вы? А что вы продаёте?

– Сколько у вас стоит диван? Скоооолько?

– Вы ещё про славянский шкаф спросите, – сказал Александр Сергеевич.

– О, давай посмотрим. Четыре предложения.

– Ого, я не думала, что он такой...

Всё происходящее казалось Маше компьютерным квестом, сложность которого растёт от уровня к уровню. Сначала ей нужно было только придумать общий стиль и нарисовать план, а потом оказалось, что она тащит старую тумбочку от Новых Черёмушек. Маша до такой степени погрузилась в этот квест и ощутила квартиру своей, что сама пошла оформлять документы на водные счётчики в едином расчётном центре.

Дом одиннадцать был написан над окном семь, а в окне семь сидела грустная пожилая женщина. Она сказала Маше, что ей с её домом надо идти в окно двадцать три. В окне двадцать три сидела молодая женщина, прекрасная. Очень резкая, но не как нате, а по делу. Чоткая, как говорит Игорь. И без ненависти к квартиросъемщикам, что странно в условиях единого расчетного центра. Она сказала, что сначала надо в дэз, это соседний дом.

В дэзе – охранник. Дал Маше ещё одно заявление, которое заполнить, сказал, как заполнять, взял акты, поставил печать, отксерил. Один акт Маше, один акт – дэзу, и ещё один – расчётному центру. Очень удобно, когда охранник это делает. Не надо ходить дальше порога, и никакой очереди. А над столом у него – портрет Путина в непринужденной позе.

Резкая девушка в окне двадцать три оформила Машины счётчики, но ей ещё нужна была справка, а для справки надо было погасить задолженность.

Поэтому Маша пошла в банк, через дорогу. В два окна с приемом платежей была очередь: старушка в красной куртке, пожилая женщина с мальчиком лет пяти и мужик с толстой задницей, который зашел прямо перед Машей. Когда она спросила, кто последний, он сказал – я, и гаденько улыбнулся. Он похож был на грушу, этот мужик. У окон с приемом платежей стояла девушка в черной куртке и еще одна старушка, с седыми кудряшками. Старушка в красной куртке и пожилая женщина разговаривали – что вот они уедут и надо заплатить. Старушка с седыми кудряшками никак не могла отсчитать нужную сумму, давала вместо тысяч сотни. Мужик с толстой задницей сел за стол и стал заполнять платежки.

Пришла огромная тётка, с другой тёткой, поменьше, и маленькой девочкой – тоже Машей. Огромной тётке нужно было окно с операциями по вкладу, а там никого не было – ни очереди, ни сотрудника.

– Ну если тут долго будет, я не буду, – сказала она, встав у этого окна.

– А чего долго-то, нет никого, – ответила тётка поменьше.

Эта тётка поменьше была, наверно, её мама, хотя они уже казались ровесницами. На самом деле она была не очень-то и поменьше, просто в огромной тётке чувствовались такие сила и мощь, что становилось тревожно, а в этой мощи не чувствовалось. Поэтому её огромность казалось какой-то обмякшей.

Потом пришла бабка в черной мохеровой кофте.

Потом пришла старушка в платке.

Потом пришла очень вежливая старушка с короткой стрижкой.

Потом пришел молодой человек.

Огромная тётка сказала:

– Ну надо же, потеряла карту москвича. Вот посмотри, потеряла.

И она отошла от окошка и стала показывать девочке и тётке поменьше то место в кошельке, где у нее раньше была карта москвича, а теперь ничего не было.

– Может, дома? – спросила тётка поменьше.

Они все втроём стали смотреть пакеты и искать там карту.

В это время бабка в чёрной мохеровой кофте подошла к окошку с операциями по вкладу, от которого отошла огромная тётка, и облокотилась на него. Тут стало видно, что на бабке кроме чёрной мохеровой кофты надеты чёрные колготы, очень плотные, плотностью, наверно, 90 ден, или даже 120 ден, но только колготы, немного к тому же растянутые, и через них просвечивает голая попа.

Огромная тётка опомнилась. Она ринулась к окошку и сказала бабке:

– Вы что это тут? Я тут стою.

Её голос потряс отделение сбербанка, хотя она не включила еще и четверть силы, а интонации отбросили всех куда-то в прошлое, где продавщицы овощных магазинов отказывались давать вторую банку консервированных помидоров в одни руки. Совсем другим голосом она до этого разговаривала с другой тёткой.

Бабка тем не менее оказалась вполне в состоянии дать отпор. Она сама была из тех же времён.

– А вот надо было подходиииить, – ответила она ужасно скрипучим голосом, не таким громким, но существенно более мерзким. «Кто последний» она спрашивала тоже совершенно по-другому.

– Да как же! Да что же! Да я же на минуту отошла! Нет, ну ты подумай только! – закричала тетка и стала вплотную к бабке.

– Да мне вообще без очереди можно, – заскрипела бабка.

– И мне можно!

– Вы инсулинозависимый диабетик? Я инвалид!

– И я инвалид! Это же надо, на минуту отошла!

– Тише, - сказал грушевидный мужик.

– Она правда тут стояла, – сказала девушка в черной куртке в защиту тётки.

– Нехорошо, женщина, уступите, – сказала вежливая старушка с короткой стрижкой в защиту бабки.

Огромная тётка попыталась задницей оттолкнуть бабку от окошка, но та держалась крепко. Огромная тетка стала показывать свою сберкнижку вернувшемуся сотруднику банка и сказала:

– Мне посмотреть только, быстро, можно?

– Паспорт.

– Посмотреть только.

– Нужен паспорт.

– А, ну ладно, – сказала огромная тетка и отошла. Паспорта у нее не было. – Нет, ну надо же, какая бабка.

Пришла женщина в красном плаще. Ей тоже нужны были операции по вкладам. Она спросила, кто последний. Молодой человек, не разобравшись, внёс сумятицу, сказал, что последний – он.

На самом деле, он был последний в прием платежей, а в операции по вкладам никого не было, кроме бабки в колготах и черной мохеровой кофте, которая победительницей стояла у окошка.

Прошло несколько минут.

Пришла пожилая женщина в куртке в цветочек и стала выяснять, кто последний. Никто не признался. Все стали с интересом выяснять. Тут пришла очередь грушевидного мужика. Он не успел заполнить свои платежки и пропустил Машу. Она оплатила задолженность и вышла на улицу.

В едином расчётном центре резкая экономист в окне двадцать три дала ей справку и сказала поставить печать в окне двадцать. Там сидела широкая спина, ела печенье и пила чай. У неё не было печати. Печать оказалась в окне девятнадцать.

Когда Маша наконец протолкалась по коридору к выходу, то почувствовала запах гари. Она подумала – надо же, настоящий ад. Но это всего лишь горела урна перед входом в расчетный центр.

На этом всё закончилось. Квартира была готова.

Глава 15. Романтика спальных районов

Игорь, он сначала жил с Тамарой. Тамара – шикарная женщина. Многие видели её пьяной, или под кайфом, или, допустим, выкидывающей из окна стул, но никто и никогда не видел Тамару без макияжа. Даже когда она ходила к соседям стрельнуть десятку на опохмел, на ней были массивные золотые серьги с жемчужинами.

И вот Тамара эта Игорю изменяла. Так их соседка рассказывала, тёть Люда. Что как-то она собиралась уже на работу, а ей во вторую смену, а тут в дверь звонит Тамара. Денег ей в тот раз не надо было, а надо было позвонить, потому что телефон у них с Игорем якобы сломался.

Ну сначала, говорила тётя Люда Оксане и Ане, а они возбуждённо кивали, она маме звонила. Говорит:

– Вот, да... Ну сходила в «Азбуку вкуса», да, купила там... Игорю... ну винограда, водки...

В «Азбуку вкуса» она, значит, ходит, прикиньте? Нет, чтобы молока и хлеба, гляди-ка ты, винограда и водки. Ну да ладно, значит. Потом она звонила подруге, это неинтересно, да я и прослушала. А потом – какому-то Максу! Что-то она ему такое таинственное втирала. Что-то про разъезды и переезды, про три дня и пять дней, что-то про Игоря, и что ей никто кроме Макса не нужен. Так и говорит:

– Да мне никто кроме тебя не нужен!..

И тут прикиньте – на этом месте тёти-Людин шёпот от возбуждения превращался в хрип – из-за двери раздаётся голос Игоря:

– С кем это ты там разговариваешь?

А она испугалась и сразу трубку повесила.

Игорь стоял за дверью, облокотившись о косяк. Он вежливо поздоровался с тётей Людой, приобнял Тамару и они побрели к себе, и от обоих страшно пахло перегаром.

Скоро Тамара перестала у нас появляться – видимо, бросила Игоря. Он совершенно не расстроился, и практически без паузы стал жить с Инной. Инна тоже была шикарная женщина, но в несколько более яростном стиле, чем Тамара. Серьги она носила ещё более крупные, глаза у неё всегда метали молнии, даже когда Инна улыбалась. Она работала в косметическом салоне на Шаболовской.

– Ох, не знаю, – говорила по этому поводу тётя Люда, – не знаю, какая она там парикмахерша, а я бы стричься у неё не стала. Такая и ножницы в шею может воткнуть, только и жди.

Из-за работы Инна чуть ли не каждый день не бывала дома. Уходила утром, приходила вечером. Это очень сильный дефект, с точки зрения Игоря и его друганов. Он, конечно, не проговаривается и не формулируется, но ощущается. Игорь и все ребята влиты в наш пятиэтажный район, как скандинавские тролли в поросшие мхом скалы, и органичны в нём, как гризли среди секвой.

Никто из них не покидает наш район надолго, а стремится – не покидать никогда. В других районах их облик искажается, возможно, что они даже не могут существовать на значительном отдалении от дома. Это не уникальное свойство Игоря и ребят, практически везде есть такие люди, духи места. Наша особенность в том, что у нас таких духов полрайона. Игорь и его друзья, тётя Маша Еманова, старушка Гераськина, Аня с Оксаной, мамаши с колясками – все они существуют только среди пятиэтажек и исчезнут вместе с ними.

Ну и понятно, что на мир вокруг они смотрят схожим образом. Уезжая каждый день на работу куда-то за пределы видимости, ты как будто уезжаешь из жизни. А она продолжается. Например, Игорь познакомился с Иркой.

Точнее, это Ирка с ним познакомилась. Игорь, несмотря на спортивный костюм, цепь на шее, облако перегара вокруг и неопределённые занятия, – а может, наоборот, благодаря всему этому – очень популярен на районе. Многие хотят с ним познакомиться. Вот Ирка познакомилась и стала приходить несколько раз в день к нему под окна – и заодно под окна всех его соседей и орать:

– Игаааааарь!

В таком детском непосредственном стиле. Так раньше поступали мальчишки, когда обладателя футбольного мяча не пускали во двор, потому что он ещё не доделал уроки. Вставали под окном и кричали – Кооооооляаа! Выглядывала его мама, и они ей – а Коля выыыыйдет? Она отвечала – ну вот уроки сделает и выйдет. И тогда они – а скиииньте мяаачик!

И вот Ира так же:

– Игаааааарь!

Игорь её как-то всерьёз не воспринимал. Как-то она ему была не очень. Она носила джинсы и куртку от тренировочного костюма, волосы заплетала в косичку, лицо у неё было какое-то оплывшее. Никакого сравнения ни с Тамарой, ни с Инной.

– Игаааааарь!

Игорь когда выходил на балкон, а когда нет. Все соседи её ненавидели. Она могла в любое время заявиться и начать орать, даже ночью.

– Ну чё, – говорил он, если выходил, – ты чё вообще куда делась-то вчера?

– Хыыы, – радостно смеялась Ирка, – так меня в мусарню забирали. Ты чё, не знал, что ли? В мусарне была.

Так и продолжалось некоторое время. Ира из кожи вон лезет под балконом, на балконе стоит Игорь, как некоторая Джульетта, и вся ситуация никак не сдвинется с мёртвой точки. Хотя друзья Игоря выражали озабоченность.

– Слышь, чё она до тебя доебалась-то? – спрашивал у Игоря Санёк.

– Да ничё она вроде. А чё?

– Да ну не знаю. Тебе Инна-то ничего не говорила ещё?

– Ну да что-то говорила. Да какая разница?

– Ну не знаю. Была бы у меня Людка такая ревнивая, как эта твоя Инна, пиздец бы уже.

Инна действительно говорила. Как-то Ира звала Игоря, а Инна как раз была дома. Она тогда очень спокойно спросила:

– Это что там ещё за манда с косичкой орёт?

– Ну эта, Ирка. Из шестьдесят восьмого.

– И чего ей от тебя надо?

– Да откуда я знаю, чё. Спросить, как дела, может.

Инна вышла на балкон и обложила Ирку таким матом, что Серёжа с пятого этажа записал себе несколько новых слов, и даже тётя Маша Еманова уважительно крякнула.

Но потом эта Ирка с косичкой никак не шла у Инны из головы. Если бы Игорь думал про Ирку столько же, сколько Инна, или даже в десять раз меньше, то Ирка была бы счастлива, а сама Инна уже бы его прирезала. У неё и без того стала крутиться в голове такая мысль – прирезать. Никаких чётких планов, просто мысль. И несколько образов – как она берёт в ящике нож с чёрной ручкой, как сжимает его рукоятку.

Со временем мысль не исчезла, наоборот, стала более навязчивой. Инна иногда доставала из ящика стола нож с чёрной ручкой, самый большой и единственный более или менее острый, и рассматривала его.

Так что когда она как-то пришла домой и увидела Иру, выходящую из подъезда, то ни на минуту не задумалась. Она зашла в квартиру, не здороваясь. Игорь смотрел телевизор. Инна прошла на кухню, привычно взяла в ящике нож с чёрной ручкой. Вернулась в комнату, позвала Игоря и ударила его куда-то в районе левой подмышки.

Игорь вскочил и заорал:

– Ты что, охуела?

И мгновенно засадил ей в челюсть. Он не сильно пострадал – сердце находится сантиметрах в пяти от того места, куда Инна попала. Но крови было много, лезвие прошло между рёбер. Скорая понадобилась обоим – Инне вправили челюсть. К счастью, обошлось без перелома.

Инна на следующий день съехала, а Игорь пару дней провёл дома, пытаясь понять, что это было. В голову ему пришло только пожать плечами, вздохнуть и сказать «Бабы!».

Ирка тоже вскоре куда-то делась, никто её больше у нас не видел.

Глава 16. Пусть всё лежит

Несколько дней назад на булочной повесили огромный плакат с красными восклицательными знаками на жёлтом фоне: «Скоро у нас появится мясной отдел! Мы приятно вас удивим!!!»

И действительно, появился мясной отдел. А кроме него – копчёная рыба (Оксана её всем рекомендует, она любитель копчёной рыбы) и ультрапастеризованное молоко. Это всё ещё не совсем молоко, но существенно лучше стерилизованного, которое совсем не молоко. Так говорит Таисия Николаевна из хлебного отдела.

Новый мясной отдел представляет собой два прилавка со свежим мясом, установленных в складке пространства посреди булочной. Там может поместиться что угодно, кроме овощей. Там помещался целый хозяйственный ларёк, а до этого – очередь за хлебом на пятьдесят человек. Если что, там и танковая дивизия может разместиться, только овощам там нет места.

У продавщиц в мясном отделе вид совершенно праздничный. У них новая красная форма, а у старых продавщиц – синяя. Хотя они тоже довольны. И форма у них тоже новая. Недавно в булочную зашли две женщины, продававшие одежду для продавщиц. Сорвали рабочий день, буквально. Старушка Гераськина сорок минут ждала кусок колбасы. Одежда для продавщиц – это такие как бы накидки, надеваешь через голову и получается, что спереди фартук и сзади фартук. Бывают мини – длиной до середины бедра, бывают по колено. И ещё такие шапочки, их можно невидимкой приколоть к волосам. Старая одежда у них была светло-голубая, из толстой ткани, а шапочки – вроде пилоток. Женщины продавали тоненькие нейлоновые тёмно-синие накидки, а шапочки – скорее как наколки, на твёрдом каркасе с оборкой. Ажиотаж поднялся невиданный, все мерили, спорили, выбирали нужный размер. Аня и Оксана взяли короткие, им в длинных неудобно. Таисия Николаевна и Марина взяли длинные. Лидия Николаевна тоже выбрала длинную, а Фаины не было в тот день, но ей, конечно, позвонили и тоже купили комплект.

В мясном отделе продаётся говяжья вырезка – длинные шматы тёмного мяса, говяжьи голяшки – вполне себе такие голяшки с круглыми косточками, светло-розовые эскалопы, изогнутые куриные шейки, мелкие куриные сердца, фарш – говяжий, свиной, куриный и отдельно фарш «Встреча», смесь говяжьего и свиного. Очень много всего. Вечером в первый день все праздновали открытие нового отдела и ели жареные куриные сердца, их под водку хорошо.

– Совсем другое дело, – сказала Таисия Николаевна, – а то что у нас до этого? Ну огурцы, колбаса...

Мясной отдел закрывается раньше. Бывает, придёшь в десять – а там уже всё закрыто чёрным полиэтиленом и не работает. С первыми продавщицами не очень удачно получилось. Все

остальные, кто работает в нашей булочной, – бывалые. Даже когда новенькие приходят, они уже отлично знают, что к чему. А те были какие-то чуть ли не студентки, им бы книжки продавать или хоть перчатки, а не мясо. Одна перекладывает куриные ноги из большой картонной коробки на прилавок и говорит:

– Ну разве это курицы, мутанты какие-то. Вот я видела куриц, сами из коробки выходят, сами в пакет заходят.

Выбивать чек умела только одна из них – совершенно недопустимая ситуация в булочной, где каждая продавщица – самостоятельная боевая единица. В общем, не прошло и месяца, как вместо трёх девушек стали две, но гораздо более профессиональные. Диана и Маргарита. Из Молдавии. Сразу со всеми познакомились, запомнили, что тётя Маша Еманова берёт куриный фарш, а Лиана – свинину, выяснили, что говяжьей вырезки много не надо, её мало кто берёт, дорогая.

А Оксана и Аня всё-таки вытребовали себе помощницу. У них постоянно собиралась очередь – потому что такой отдел. И колбаса тут, и сыр, и все консервы, и замороженные продукты, короче, всё, без чего не обойтись. Руководство всё время отказывало, а тут согласилось. Когда появились мясные прилавки, для очереди осталось маловато места. Так что взяли им Настю.

Это племянница Оксаны, Настя. Девятнадцать лет, только что закончила колледж. И так повезло. Работы правда много, получается с девяти до девяти, а два раза в неделю – до двенадцати. Но платят, в общем, нормально – больше, чем Настиной маме. Настя была очень довольна и отлично вписалась, хоть и без опыта.

Скажем, тётя Люда как-то пришла за телячьими сардельками.

– А не с сыром? – хитро спросила Оксана. Помнит, что Люда всегда покупает у них сардельки с сыром.

– Нет, – смутилась тётя Люда и стала оправдываться, – с сыром ещё есть, дома!

После неё осталась девушка и за ней две пожилые женщины. Вошёл коротко стриженный незнакомый парень с длинным носом, широкими плечами, в кожаной куртке, мотоциклетных перчатках и с пивом. Он неожиданно подошёл к колбасе – неожиданно потому, что мужчины в булочной редко покупают колбасу. Мужчины приходят либо в овощной ларёк, либо сразу к Марине, а хлеб и колбасу обычно покупают женщины. Днём – в основном пожилые женщины, общительные и сварливые, с активной жизненной позицией.

– Вы тут стоите? – спросил парень.

Тётеньки помычали в том смысле, что да.

– Вы тут в очереди стоите? – уточнил парень.

Этого тётеньки не смогли стерпеть и обрушились:

– Ну конечно, в очереди! Где мы ещё стоим? Что, мы тут просто так стоим? Чего глупые вопросы-то задавать?

Парень было стушевался, но после того, как они сказали про глупые вопросы, завёлся:

– Да чего вы разорались! Я, что, знаю, чего вы тут стоите, блядь? Может, вы просто смотрите. Так нет, сразу орать, ёпта. Я вот сейчас встану там и куплю всё без очереди, блядь.

Услышав «блядь» тётеньки сразу притихли и уставились в колбасу. Парень тоже уткнулся в колбасу. Ему и так было не по себе в незнакомом магазине, а теперь уж и совсем. Тут девушка купила ветчину и вышла, женщины стали брать по пятьдесят грамм того и сего, попробовать, и Оксана с Аней всё взвешивали и взвешивали. Настя тихо спросила у парня через прилавок, что ему, и обошлось без скандала.

Как-то вечером – была пятница, и шёл дождь, и уже стемнело – зашли мужчина с помятым лицом и женщина на шпильках.

– Гляди, и голени куриные есть, – раздумчиво говорила женщина своему спутнику, – Взять, что ли?

– Возьми, – неторопливо отвечал спутник. – Всё возьми. И потроха возьми, и сердце, и печень, и головы. Пусть всё лежит.

Глава 17. Плавное течение времени

Лена говорит своему мужу:

– Хотела написать пост про то, как ходила в парикмахерскую, а не могу. В голове какая-то пустота. В ушах звенит.

– Прикольно, – говорит муж, – ты сейчас про все важные события своей жизни пишешь пост. Сходила в магазин, сходила в парикмахерскую.

Это выражено несколько прямолинейно, но, в общем, практически правда. Хотя Лена не сказала бы, что это так уж прикольно.

Ленина жизнь стала состоять из миллиона мелочей. И эти мелочи стремятся стать ещё мельче, чтобы вся конструкция была более гладкой. Как манная каша – без комков. Филипп орал весь вечер. Собрала, наконец, шкаф и разложила детские вещи. Филипп поправился ещё на двести грамм. Купила новые комбинезоны. Купила детские клизмы. Почитала про слинги. Сходила, правда, в парикмахерскую. Жизнь течёт, почти нигде не застревая. Вот Лена открывает глаза и закрывает глаза, время выражается теперь в граммах, других измерителей нет, пространство образовало петлю вокруг неё. Остальные места – кроме нашего пятиэтажного квартала – как будто затянуты туманом.

Про все важные события своей жизни Лена пишет пост. Нассал под кресло. Хорошо. Что чувствует конь, которого остановили на скаку? Чтобы, значит, какая-то баба – – Бывают дни – и их не мало – вообще без событий. Где был ты, Адам? Я кормила ребёнка. А вчера? Кормила ребёнка и гуляла с ним. А позавчера? Кормила ребёнка и гуляла с ним. Кормила ребёнка и гуляла с ним. Кормила и гуляла. Кормила. И гуляла.

На ближайшей к дому маленькой площадке, где ничего не было, кроме старой горки и пары лавочек, сидели три ярко накрашенные девочки лет четырнадцати. Они ворожили на сигаретах.

– Так, – сказала одна из них в блестящей чёрной куртке, – сначала нужно написать имя.

– Кровью? – тихо спросила другая девочка, в полосатом пушистом пальто.

– Почему кровью? Карандашом пиши.

– А я читала в интернете, что нужно кровью...

– Ну и дура! Кровью знаешь как опасно!.. Написали? Теперь повторяйте.

Она прикурила свою сигарету и произнесла мрачным гнусавым голосом:

– Дыыыым, дыыыым, дымоооook... Затягивайтесь!

Две другие девочки хором повторили:

– Дыыыым, дыыыым, дымоооook...

– Сделай милость... Затягивайтесь!

– Сделай милость...

– Приворожи...

– Приворожи...

– Раба Божьего Константина... чтобы ел не наедался... пил не напивался... а думал... как утка об утёнке... как корова о телёнке... как мать о своём родном ребёнке... о рабе Божьей... Татьяне!.. так будет же слово моё... крепче камня булатного... аминь... аминь... аминь...

– И что теперь? – спросила девочка в полосатом пальто.

– Развеивай пепел! Теперь всё, напишет тебе через несколько дней.

На самой популярной детской площадке помимо прочих детей гуляли две девочки лет семи – после школы. Вика, в кожаном пальто и юбке, показалась Лене эмоциональной и неловкой, а другая девочка, в джинсах и розовой куртке – менее увлекающейся и более рассудительной. Они взбирались на горку, наперегонки. Вика, понятно, всё время проигрывала. Ей даже залезть не всегда удавалось, но она совершенно не обращала на это внимания. Кричала «на старт, внимание, марш!» и бежала. Её подружка, похоже, привыкла играть по более определённым правилам, и

лицо у неё было удивлённое и слегка насмешливое. Ей-то каждый раз удавалось залезть, но Вика могла крикнуть «на старт, внимание, марш!» совершенно в любой момент.

Потом пришли мама этой второй девочки и её младшая сестра лет трёх, тоже в розовых куртках.

– Как её зовут? – крикнула Вика и убежала, совершенно не интересуясь ответом.

– Оля, – ответила вторая девочка дрожащему воздуху.

Потом бабушка увела Вику заниматься музыкой. Вторая девочка, её мама и сестра стояли рядом с горкой, все в розовых куртках.

– Пока, пока! – крикнула Вика. – Пока, пупсичек! – это она крикнула Оле.

И ушла. Возникла некоторая пауза, потому что Вика занимала на детской площадке очень много места и создавала очень много шума, я бы сказала – около четверти всего шума.

– Слыхала, как Вика тебя назвала? – спросила вторая девочка у Оли с насмешливой и немного восхищённой интонацией. – Пупсичек...

На зелёной площадке в этот раз Полина не гуляла, и вообще было совсем мало народу. Воздух под серыми тучами ещё больше сгустился, и стало совсем пасмурно. Сиро всё и устало. Два конских ока огромных. Лена села на лавочку и осторожно достала ноутбук.

Сначала пришла симпатичная девушка в белой куртке и прикатила малыша в красной коляске. Достала из коляски и повела кататься с горки. Горка на этой площадке такая – посередине белая лестница, слева – синяя горка, справа – красная труба. Она посадила мальчика в трубу, а сама спустилась и села на корточки возле её окончания. Сидит, ждёт, а его всё нет. Заглянула в трубу, ещё подождала. Потом подошла к началу трубы и слегка малыша подтолкнула. Вернулась обратно, снова села на корточки, и он как раз выкатился.

Потом они пошли играть в мёрзлый песок, а на площадку приехала ещё одна женщина, с маленькой девочкой в коляске. Очень общительная.

– О, – говорит, – гляди, мальчик. Маленький мальчик. Видишь, ножками ходит. Ты тоже скоро будешь ножками ходить. Ну пошли знакомиться. Мы тут со всеми знакомимся. Я тут неделю гуляю и каждый день всё разных встречаю. Каждый день разных. Может, я в разное время гуляю?

Девушка вежливо улыбнулась.

– А сколько ему? Где-то... Год и два?

– Год и три.

– А нашей десять месяцев. А давно он ходить начал?

– Совсем сам, без поддержки, в одиннадцать месяцев, – ответила девушка.

– Ага... Девочки же даже раньше начинают... А у нас вот ленивая девочка...

Девушка вежливо засмеялась.

– Ну ладно, – сказала общительная женщина, – Мы поехали.

А к Лене подошла другая женщина, с ярко-голубыми глазами. Она сначала шла мимо, потом увидела на скамейке Лену с ноутбуком и внезапно приняла решение, быстро повернула.

– А вот можно я спрошу? Вот у нас есть программа, в Питере сделали, если ее на флешку записать и сюда вставить, то можно работать будет? А то я судья парусных соревнований. И главный секретарь. У нас специальная программа, финишку считает, очки, списки участников. А я как-то всё не могу... Это сидеть и долбить, долбить надо? Или несложно? Хотя вот если маленький такой. Как у вас. Я сыну закажу на день рождения. Это же несложно всё? Я смотрю, вы ловко так тук-тук-тук. Я пробовала как-то, но на большом, конечно. Что-то у меня не пошло. Как-то это всё мимо нас прошло, мимо нашего поколения. А мне так не хочется терять это. Ну секретарём парусных соревнований. А пришли молодые девчонки, они так раз-раз-раз, всё умеют. Я им финишку зачитываю... Внук у меня – вот такой – семь лет ему, в первый класс пошел, так уже всё умеет. Это что, поколение такое? В интернет заходит, в игры играет, фотографии может скачать, открыть. Мы в Египет ездили, сын фотоаппарат купил, Олимпус, у него объектив такой, выезжает, так я и

не знала, что там можно записывать, как на видео. А он мне показал. Значит, несложно? И такой маленький, его можно с собой в яхту взять и все, да? Ну спасибо. А вы в этом доме живете? Впрочем, советчиков-то у меня много. Это я себя пытаюсь ободрить. У меня в декабре день рождения, вот и закажу сыну.

Так и проходили дни, один за другим. Чтобы как-то сдвинуть время с мёртвой точки, Лена стала искать няню. Возможно, когда Филипп начнёт ходить, когда начнёт больше есть обычную еду, когда станет лучше спать – – Лена не очень хорошо помнила, что она делала на работе, но думала, может, получится выйти хоть на полдня.

Постепенно. Сначала она для тренировки уходила на полчаса, потом на час. Лена стремилась к далёким местам, но за час далеко не уйдёшь. А для магазина час – это чересчур. Так что несколько раз у неё образовывалось время, чтобы его просто провести. Хотя в Советской России не ты проводишь время, а время – –

– –

В один из таких разов Лена гуляла под дождём в каком-то странном состоянии, когда безумие ещё не пришло, но кругом уже магический реализм, и мир разговаривает с тобой. В булочной она долго вглядывалась в бейджик продавщицы мясного отдела. На нём было написано: Диана Мясина. Мясо ласкало мясо, думала Лена. У подземного перехода стояла старушка с плакатом в руках. На плакате было аккуратно нарисовано разноцветными фломастерами: Ты не одинок! Бог всегда с тобой!!!

В сквере ей встретились три разные женщины с колясками, и у каждой был фиолетовый зонтик. Лена недавно читала про девушку, больную шизофренией. Она узнала об этом уже в довольно зрелом возрасте. А до этого не знала. Что, например, по радио с ней не разговаривают, что если перед домом припарковались три синие машины, то это не значит, что быть беде, или что если её родители надели жёлтые ветровки, это не значит, что её посадят в тюрьму. Мир работает по каким-то правилам, и можно использовать общепринятый набор – с Ньютоном и яблоком, дуб – дерево, Плутон не планета. А можно какой-нибудь другой. Если твои правила работают, ты молодец. Если нет – безумец.

Примерно в таком состоянии Лена пришла в магазин «Морозко». Он находится уже среди больших домов, в сторону Академической.

Магазин «Морозко» – это такой слегка структурированный хаос. Их менеджера по закупкам страшно даже представить себе. У всех офлайновых магазинов в той или иной степени есть проблема соотношения площади и количества товаров. Все её как-то решают. На одном краю шкалы находится произвольный эпплстор – просторный белый зал и два айфончика посередине. На другом краю находится магазин «Морозко». Товары там навалены грудами, стоят друг на друге, осыпаются в проходы. Словосочетание «противопожарная безопасность» вызывает, наверно, у администрации истерику. В теории там наличествуют тележки, на практике к некоторым стеллажам с тележкой подойти нельзя. Она не пролезает. Двум покупателям невозможно разминуться в проходе. В общем, очень много товаров.

А Москва – наш любимый город – она же устроена на манер Трои, на месте которой Шлиман нашел девять городов. Только в Москве их больше, может – девятнадцать, и они все очень слабо пересекаются. Многие жители этих городов даже не подозревают о существовании друг друга. Они говорят: «все сейчас что-то» – пьют на Красном Октябре, смотрят «Золотой век», играют в танки, имея в виду пару десятков своих знакомых и элегантно расширяя их на все остальное человечество.

Помимо того, что у этих человечеств разное пространство, у них разное время. Принято считать, что тут у нас все бегут и спешат, и так правда делает немало людей. Но ещё больше людей никуда не спешит, а часть вообще впала в анабиоз. Просто те, кто спешат, слишком быстро мелькают, и кажется, будто их больше.

В магазине «Морозко» Лена оказалась как раз в другом времени. У неё был бесконечный час, и двигаться быстрее она просто не могла. В каждую секунду помещалось две или даже три.

Лена минуту смотрела на пакеты. Искала щипцы. Медленно накладывала в пакет булочки с яблоками. Нервная тётка в зеленой куртке вздохнула четыре раза очень громко, а потом взяла хлеб с отрубями и ушла, оставшись без булочек. Усатый мужик изнывал, пока Лена выбирала творожок «Агуша». Они в магазине «Морозко» кладут его кучей, а это же важно, с чем он. Персик и морковь с абрикосом не подходят, чернику можно, груша – лучше всего. Мужик шевелил усами, переминался с ноги на ногу. Лена искренне хотела уже взять десять штук и пойти себе дальше, но ничего не получалось. Другое время – это совсем не то, что другое пространство. Если на пространство еще можно как-то повлиять, то на время уже не повлияешь. Так она и ходила по магазину «Морозко» как в капсуле, а потом ничего, купила что-то, пошла домой.

Дождь уже почти прошёл, и слегка похолодало. На ступеньках подземного перехода стояла женщина в тапочках и смотрела на небо. Так естественно она стояла в этих своих тапочках на ступеньках подземного перехода, как стоят люди на крыльце своей дачи, люди, вышедшие посмотреть на небо, подышать немного перед сном. Лена уставилась на неё, на эту женщину в тапочках – ну женщины в тапочках на ступеньках подземных переходов вообще привлекают внимание – и увидела, что к кофте у неё приколот бейджик с логотипом метрополитена. Она работает в метро, живёт под землёй, ходит там в тапочках, и вот, вышла ненадолго взглянуть на небо.

Как там канарейка, ты приглядываешь за ней? Даёшь ей по утрам семя и немножко ванили?

Глава 18. Попытайся увидеть электрон

Юле заказали несколько миниатюр для сборника городских рассказов. Прозаических миниатюр. Идея сборника заключалась в том, чтобы описать и метафорически обрисовать жизнь в мегаполисе, где встречаются и расходятся разные люди, живущие бок о бок, но зачастую не замечающие друг друга. Он должен был состоять из небольших рассказов до 20 тысяч знаков, опубликованных на сайте и отобранных для печатного издания. Между рассказами редакция придумала вставить чёрно-белые иллюстрации, стилизованные под городские фотографии, и короткие тексты, не больше тысячи символов, посвящённые простым жителям города и их одиночеству в толпе.

Вот эти короткие тексты и нужно было написать Юле.

– Давай, – сказала Вера, редактор сборника. – Сама понимаешь, кого я ещё могу попросить? Ты и в теме, и напишешь быстро. И там гонорар!

– Гонорар? – скептически переспросила Юля.

– Ну кофе сходишь попить. Может даже – пару раз.

Юлины гонорары почти всегда были такие. На кофе, на книжки, на новый лифчик, на бутылку вина. Поэтому она, конечно, не за гонорары работала. А просто так.

А скоро солнце взорвётся

– А скоро солнце взорвется, – сказал человек с козлиной бородкой. Он был оптимист, этот человек с козлиной бородкой, он прочитал в журнале, что канадские астрономы доказали про солнце всё. Канадские астрономы – они клёвые ребята, всё рассчитали. И человек с козлиной бородкой мог всецело на них положиться. Жизнь его обрела смысл отныне, все шесть оставшихся лет обрели смысл, ему повезло, этому человеку с бородкой.

– Когда же, наконец? – спросила девушка с крючковатым носом. Красивая девушка, волосы длинные и распущенные, а брюки салатовые, и маечка пестрая, молодец девушка, мало ли у кого какой нос.

– И пакетик, пожалуйста, – попросила тощая женщина в магазине, она купила майонеза и крабовых палочек, а также растворимую лапшу. Она чувствовала себя нормально, нормально, да, нормально, всё в порядке, это прекрасно, это просто прекрасно, а вот за ней стояла девушка с сыром, зеленым луком и помидорами, так у нее на глазах были слезы.

Это рассказ об осознании.

– А тебе много таких нужно написать? – спросил Петя.

– Девятнадцать. А что, тебе не нравится?

– Да нет, очень здорово. Рассказ об осознании, и всё такое. Напиши ещё об апатии.

– И о движении!

– И о восприятии!

Дело было в субботу. Петя с Юлей давно не виделись, с прошлого воскресенья – только если мельком. Петя теперь рано вставал, а вечером неожиданно засыпал. Дату защиты уже назначили. Ему нужно было разговаривать с рецензентами, готовить выступление и постоянно, постоянно оформлять какие-то документы.

Утром Петя пытался побыстрее разделаться с текущей работой. Кое-как исправлял описания турецких отелей и новости для сайта фармацевтической компании, а потом принимался за свой доклад. Он плохо умел выступать перед публикой, поэтому решил выучить текст наизусть. Именно к числу таковых... Именно к таковым... Именно к таким... Именно к таким можно отнести проблему соотношения трансцендентальных и критических аспектов философии Канта. Именно к таким можно отнести проблему соотношения трансцендентальных и критических аспектов философии Канта.

Потом он уходил.

А Юля наоборот. Она просыпалась, когда Петя уходил, потому что ночью писала миниатюры для сборника. Для них ей нужно было что-то увидеть – какую-нибудь сцену, каких-то людей. Только тогда что-то получалось. Поэтому вечером она гуляла по району и старалась замечать необычные вещи. Или обычные вещи.

Например, соседа. Он вёл себя вполне обычно. Копался в электрическом щитке на лестничной площадке. Юля открыла дверь – а он там, ковыряется в антенных проводах.

– У вас телевизор работает? – спрашивает.

– У нас работает, – твёрдо сказала Юля, хотя никакого телевизора у них не было.

– А у меня вот нет. Это всё неспроста происходит. Это всё знаете для чего происходит? Чтобы я вызвал мастера, и придёт ко мне этот мастер, и незаметно уронит пакетик. Пойди потом доказывай!..

– Думаете, прямо так?

– А как же ещё? Они за мной давно охотятся. Но я ж не дурак. Я и сам починю. Ха, дурака нашли!..

Юля вышла на улицу и долго стояла у помойки за булочной, рассматривала собак. Собаки казались ей важной частью городской жизни. Одна из них – светлая, с круглым хвостом – всё время попадалась ей навстречу. Юля шла домой – навстречу собака. У помойки – снова собака. Юля обошла дом и, решив срезать путь, пошла через газон – собака поджидала её там, где она должна была пройти. Нерешительно двинулась к Юле и остановилась.

Жена человека с козлиной бородкой

Жена человека с козлиной бородкой ела рыбу, рыбу, приготовленную на костре, не очень-то и вкусную, подожженную, скрипящую и пачкающуюся сажей, но на костре, на костре. Жене человека с козлиной бородкой страстно хотелось измениться, в частности – не есть эту рыбу, но вместо этого она изгибалась дугой, чтобы не запачкать кофту.

«Сегодня гулял с А., видел Б., видел С.» – писал в дневнике спутник девушки с крючковатым носом, у него тоже были длинные волосы, светлые, длинные и собраны в сомнительный хвостик.

По телевизору шли неинтересные новости, поэтому тощая женщина разгадывала кроссворд, она была одна, одна, никто не имел к ней отношения. Существовали трое коллег по работе, но они редко вспоминали про тощую женщину. А ей было хорошо, хорошо.

Это рассказ о сопричастности.

Около метро Юля видела девушек, которые проводили социологический опрос. Три или четыре девушки с парфюмерными анкетами окружили дяденьку с портфелем. Они трагично потрясали бумажками и умоляли его заполнить, ответить, поучаствовать, всего пару минут. Дяденька согласился, и они стали спрашивать. Их интересовала марка зубной пасты, название геля для душа, цвет и аромат освежителя воздуха в туалете, производитель стиральных порошков и все остальные вещи, из которых он знал только, что шампунь у них такой, желтоватый. Дяденька мялся и мямлил, девушки настаивали. Потом выяснилось, что он не помнит, помадой какой фирмы пользуется его жена. Девушки посмотрели на него, как смотрят на умственно отсталых, и дяденька ушёл, совершенно оплёванный.

К Юле подошла другая девушка, работавшая, видимо, отдельно. Она была одета очень строго и смотрела настороженно.

– Я из церкви объединения, – сказала она, еле размыкая губы и не здороваясь. – Вы не ответите на несколько вопросов?

Юля согласилась.

– Как вы относитесь к сексу до брака? – спросила девушка.

– Замечательно отношусь.

В глазах её отразился ужас.

– А вы что, не считаете, что каждой женщине предназначен единственный мужчина?

– Нуу... Вообще-то нет, – честно сказала Юля.

Девушка посмотрела на неё с презрением.

– Вы что же, за свободную любовь??

– Нуу... В общем, не совсем, но...

– Всё ясно, - сказала девушка, глядя на неё, как на неприятного червяка. Прошипела «спасибо» так, что оно больше напоминало «собаку бешеную» и ушла.

Девушка с крючковатым носом

Девушка с крючковатым носом разбавила мартини компотом. Жизнь неожиданно завернулась вокруг неё, и даже время повисло в воздухе. Теперь она не знала, что с этим делать.

Солнце село, а окон зажглось так мало, что у старушки из двадцать седьмой квартиры заколотилось сердце, и пришлось пить атенолол.

У всех, кто печатал, от холода свело пальцы.

А многие предусмотрительные люди заранее побеспокоились о новогоднем отпуске и купили билеты еще в августе.

Это рассказ о синхронности.

– Я могу ударить, могу убить, – говорил молодой человек двум загорелым девушкам. Они стояли около витрины магазина с обоями и ждали кого-то. – Почему она этого не принимает в расчет? Она развернула одну ситуацию из ста возможных. Будто непременно события должны развиваться по ее сценарию. Я говорю, ты лучше другие ситуации разверни. Почему вы этого не принимаете в расчет?.. Если у меня нож, то возможны...

– Ну это потому что сила – двигатель прогресса, – кокетливо сказала одна из девушек. А другая всё время понимающе хихикала.

Около другого выхода из метро снесли все ларьки – с колбасой, хлебом, молоком, пивом, шаурмой и сигаретами. Остался только серый журнальный киоск. Освободившееся место было

завалено пустыми бутылками, мусором, заблёвано и заставлено веселыми людьми. Играет музыка, атмосфера курортная.

Юля снова свернула во дворы. Там рядом с лавочкой стояли два бритых плечистых мужика и вели светскую беседу, периодически пытаясь взять друг друга за уши:

– Ты пацан? Ты не пацан!

– Я не пацан? Ты не пацан!

– Ты под камаз попадал? Ты не пацан! Тебя пиздили? Ты не пацан!

– Ты сам не пацан, Толян!

– Ты под камаз попадал?

Они коротко примирительно помолчали.

– А чё ты меня пацаном называешь? Я мужик!

– Ты мужик?

– Я мужик! Ты вот, Зелёный, работаешь?

– Я не работаю? Да я пацан!

– Ты пацан, а я мужик! Ты пьёшь?

– Ты не пацан!

– Я мужик!

Женщина с афганскими борзыми

Женщина с афганскими борзыми неожиданно появилась из-за угла. Она обычно появлялась неожиданно, эта женщина с тремя борзыми – белой, рыжей и чёрной.

Мужчина с портфелем, опаздывающий на работу, увидел её отражение в луже. Он перешагнул через него и поспешил к метро, но успеть вовремя уже не было никакой возможности, даже если бы поезд шёл в два раза быстрее.

Девушка с тяжёлой сумкой неприязненно смотрела на коричневый портфель, лежащий у него на коленях. Утро только началось, а она уже устала, да, устала. У неё был цветной шарф и пышные кудрявые волосы, но сегодня это её не радовало.

– Какое удивительное лицо, – мельком подумала преподавательница английского, проезжая на эскалаторе вниз мимо девушки с цветным шарфом, которая ехала вверх.

Это рассказ о неизбежности.

– Знаешь, – сказала Юля в субботу, – тут по ночам не горят окна. В полвторого – ни одного окна. Один был человек на Таганке, никогда не спал, никогда не гасил свет. Третий сверху этаж. А тут совсем никого, вообще.

– А я видел складку пространства, настоящую. Представляешь, идёшь от метро «Академическая», спиной к центру, по левой стороне Профсоюзной, и смотришь на указатели. Там сначала написано – ул. Кедрова 300 м. Потом следующий указатель – ул. Кедрова 500 м. Это как раз изгибается пространство. И, наконец, ул. Кедрова 200 м. Это на выходе из складки. Классно?

– Ваще. А я зато видела бесконечность. Пойдём покажу. Хотя нет, лучше ночью покажу, ночью виднее. Мы идём к Кире в гости?

В магазине «Интер-Оптика» – огромные прекрасные витрины. В них манекены, старые пишущие машинки, парусники, надутые рыбы. Несколько раз в год их оформляют по-новому. Тогда на одной из витрин были – спаниели в корзинке, один мотает головой, другой кивает. Большой кот дёргает хвостом и слегка поворачивается, маленький котёнок лежит на спине с клубком на пузе и меланхолично двигает лапами – играет. Зрелище довольно безрадостное даже днём, но ночью вообще дрожь пробирает. Особенно от котёнка, как он лежит на спине, пустые глаза смотрят вверх, мимо клубка, и двигает, двигает, двигает лапами.

Похоже, будто он лежит там сквозь века.

Глава 19. Продолжение экскурсии

Александр Сергеевич наконец-то добавил в экскурсии новый кусок. После прогулки по району и рассказа про его общую планировку он приводил группу в свою квартиру и объяснял, как устроены пятиэтажки изнутри.

– Почему, например, нет лифта? Ключевая идея пятиэтажек – дешевизна. Всё должно было быть очень, очень дешёвым. Они посчитали, что на лифте можно сэкономить 8% стоимости дома. Поэтому, собственно, и пятиэтажки. Медики решили, что советский человек может подниматься пешком без вреда для здоровья только на пятый этаж, не выше.

Соседи Александра Сергеевича привыкли к толпам экскурсантов на лестнице. Они испытывали смешанные чувства. С одной стороны, гордость, как будто в пятиэтажках есть что-то замечательное, как будто это настоящая достопримечательность. С другой стороны – зависть. Александр Сергеевич буквально из ничего делал деньги. С одной стороны, эти его экскурсии особо никому не мешали. С другой – они стали проходить чуть ли не по два раза каждый день, а когда выходишь в шлёпанцах вынести мусор и должен пропустить двадцать галдящих туристов на лестнице, – это немного раздражает.

– Дальше. Высота потолков. Обычная высота – два пятьдесят, два метра пятьдесят сантиметров. До этого были как минимум два восемьдесят. Получается, на каждом этаже по тридцать сантиметров убрали – это значит нужно меньше стен, меньше лестниц, меньше труб, меньше всего. Ну и так далее. Двери устанавливали только гладкие, пол наиболее дешёвый, все материалы самые экономичные, всё посчитано и пересчитано.

За стенкой у Александра Сергеевича жила Антонина, которая тоже вошла в его предприятие. Каждый раз в этот момент она выходила из своей двери в цветастом халате и с платком на голове, здоровалась с Александром Сергеевичем, настороженно смотрела на его группу и демонстративно захлопывала дверь. Александр Сергеевич пытался уговорить её разыгрывать какую-то сценку, но Антонина пока не соглашалась.

– Теперь заходите. Заходите-заходите. Только постепенно, всем сразу не получится. Это прихожая, из неё вход в ванную. Ванная совмещена с туалетом. Так почти везде, и это ещё не самый плохой вариант. В некоторых домах устанавливали сидячие ванны и души, или бывают ванные комнаты ещё меньше. А вот ещё видите, тут такой длинный кран, общий для ванны и раковины – это тоже экономия. Вообще в наших квартирах каждая мелочь продумана, каждая.

После некоторой внутренней борьбы Александр Сергеевич решил, что обувь снимать не надо. Это, конечно, было сильным отступлением от правды жизни – Ирина Евгеньевна всем обязательно давала тапочки, даже сантехникам. Но когда двадцать человек пытались снять ботинки в трёхметровом коридоре, экскурсия сильно теряла в темпе.

– Это большая комната. Двадцать метров! Видите, у меня тут достаточно типичное расположение мебели, примерно так и рекомендовалось тут жить. Тут такая как бы ниша, тут стоит диван, это спальная часть. Здесь же стенной шкаф – его именовали гардеробной. Тут многие вешали карниз с занавеской, чтобы отгородиться. Тут стол, сервант, журнальный столик – это столовая, гостиная и всё остальное. Обязательно телевизор.

Телевизор тоже пришлось поставить новый, хотя у Александра Сергеевича был и старый. Дело в том, что в конце экскурсии он показывал несколько документальных фильмов на ютьюбе, а подключить компьютер к старому телевизору было невозможно. Но кроме него в комнате не

было ни одного предмета, выпущенного после девяносто первого года. Даже телефон на журнальном столике был старый, с диском.

– Какая у нас тут основная проблема – помимо очевидной. Ну то есть что тут очень тесно, это очевидно. Да! Шум. Я уже говорил про это на улице, но теперь вы можете убедиться сами.

Тут Антонина за стенкой начинала орать на своего мужа – теперь уже покойного – также, как несколько лет назад. Теперь ещё она подходила к самой стене и кричала в неё. Получалось очень эффектно.

– Видите, тут у меня висит ковёр? Это в том числе средство звукопоглощения. Вообще наша загадочная любовь к коврам отчасти объясняется именно этим. Ковёр – это и утеплитель, и звукоизоляция. Но, прямо скажем, не очень помогает. Теперь покажу вам кухню. Вы, наверно, слышали, что в России принято всегда сидеть на кухне. То есть когда приходят гости, даже если комната свободна и стол накрыт там, рано или поздно все всё равно собираются в этом самом маленьком помещении. Давайте проверим, сколько человек сюда влезает. Пока наш рекорд был – пятнадцать!

Заканчивалась экскурсия просмотром фильмов и фотографиями. Туристы фотографировались на фоне старого серванта, на фоне обоев в цветочек, со старым телефоном, со старым миксером. Александр Сергеевич просил всех упоминать его хештэг. В целом экскурсия стала настолько модной, что к нему стали записываться не только иностранные туристы, но и москвичи.

Глава 20. Немедленно выпил

Игорь сломал ногу.

Обстоятельства этого происшествия были покрыты туманом и тайной, как и многие обстоятельства, связанные с Игорем. Никто не знал, как он её сломал, где и почему. Ни тётя Люда, которая жила в квартире под Игорем и считалась специалистом по его жизни, ни Лиана, которая стремилась сунуть в нос в любое происшествие – мало ли, пригодится, ни Роза Петровна, которая вообще всё знала. Ни продавщицы в булочной. Несколько дней там все только и говорили, что об Игоре, но ничего не решили.

Сам Игорь – он вообще не особо разговаривал. Ну иногда приходилось, конечно, но в большинстве жизненных ситуаций он умел обходиться словами «чё», «ну» и их сочетанием, произнесёнными с разной интонацией. Хотя, конечно, говорил и простые фразы, и даже распространённые. Иногда, обычно в результате неожиданной внутренней вспышки юмора, он произносил что-то отвлечённое, какое-то соображение, которого текущая ситуация не требовала непосредственно. Но это происходило сравнительно редко.

На вопросы про ногу он и вовсе реагировал мычанием.

К тому же сразу после загадочного происшествия Игорь запил. Если до этого он почти каждый день выпивал, а иногда случались запои на несколько дней, то сейчас он почти каждый день пил, а иногда валялся в отключке. Игоря и в его обычной жизни нельзя было назвать разнообразным человеком, скорее уже – стабильным. Внутри запоя у него осталось всего четыре состояния. Первое – буйство. В таком состоянии он переворачивал помойки, громил ларьки и бил окружающих костылём. Этим он занимался ближе к Новым Черёмушкам, в дальней части района. У Игоря было сильно развито чувство дома, и что бы с ним ни случалось, он никогда не вредил ближайшим соседям. После буйного периода наступала целеустремлённость. В этом состоянии Игорь ещё мог объясняться и ходить, но недолго. В состоянии целеустремлённости ему нужно было либо вернуться домой – если оно наступало после буйства, либо ещё выпить – если оно ему

предшествовало. Третье состояние – беспамятство. Это, очевидно, сон или обморок. Просыпался Игорь уже с ощущением цели – ему нужно было выпить ещё – и сразу начинал идти к ней. Медленно, преодолевая вертикальный пол и колеблющиеся стены, поначалу придерживая голову руками. И, наконец, четвёртое, основное состояние запоев Игоря – медитация. В медитации Игорь сидел, обратив мрачный взгляд внутрь мира, и время от времени отхлёбывал из бутылки. Его друганы сидели и стояли рядом, тоже выпивали, грызли семечки. Санёк время от времени бросал на Игоря быстрые взгляды. Медитация заканчивалась каждый раз внезапно, и за ней следовало буйство.

Так проходили дни. Запой Игоря немного влиял на настроение его соседей и как-то ощущался на уровне атмосферы дома в целом. Как будто туча нависла над первым подъездом и детской площадкой, как будто появился неизмеримый угрожающий фактор, как будто открылся портал в другое измерение, полное чудовищ. Но на такую фигню никто, конечно, не обращал внимания. Единственные посторонние люди, которым запой Игоря был хорошо заметен, – это его соседи с первого этажа. Там жила какая-то молодая пара, снимали квартиру. Из соседей они ни с кем не общались, да и вообще дома бывали мало. Всё работали. Уходили утром, приходили поздно вечером. И в этой истории им пришлось поучаствовать только потому, что окно их квартиры на первом этаже выходило прямо к подъезду. И вот Игорь, приходя на костылях домой, сначала скользил по крыльцу и взбирался на него, искал ключи во всех карманах – в штанах, в куртке, в нагрудных и внутренних карманах куртки, снова в штанах, рассыпал мелочь, ронял ключи, каким-то образом поднимал их, упираясь одним костылём в асфальт и сползая по нему вниз, потом начинал тыкать ключом в домофон, а он почему-то не подходил. И тут Игорь, уже на последнем витке своей целеустремлённости, в нескольких минутах от того, чтобы упасть и заснуть, стучал костылём по наружному подоконнику окна, которое выходило к подъезду. Обычно оттуда выглядывала девушка, закатывала глаза под самый потолок, увидев Игоря, но, тем не менее, сердобольно шла и открывала ему дверь подъезда, шлёпая по лестнице домашними тапочками.

В остальном же ничего не менялось.

Только тётя Люда всё никак не могла успокоиться, так её заинтересовали эта травма и этот внезапный запой. Она попыталась подступиться к Саньку, но он сразу послал её куда подальше. Тогда тётя Люда перестала закрывать дверь к себе. Всегда оставляла небольшую щёлку, чтобы сразу слышать, как хлопает дверь у Игоря. Как хлопнет – Люда сразу шла на кухню и смотрела из-за занавески, кто это там вышел.

Вот Санёк и его жена вышли. Она жуёт семечки и говорит:

– Ещё семок хочу.

А он ей отвечает:

– А больше ты ничего не хочешь?

Она подумала немного и говорит:

– Ещё семок.

А вот Толян вышел. Толян обладает даже более внушительной внешностью, чем Игорь – ещё глубже складки на бритом затылке, ещё толще шея, ещё короче пальцы. Но Толян не такой титан духа, конечно. И у него до странности писклявый голос, совершенно не сопоставимый с внешними данными. Толян выходит и говорит в телефон:

– Да бля ты ему передай бля, что я завтра сам лично пойду к Шереметьевой, и ему пиздец.

Теперь Афанасий вышел. Афанасий – совершенно вездесущий. Если где-то пьянка, то в течение десяти минут там появляется Афанасий. Он ничего не говорит, просто выходит из подъезда.

Люда даже стала записывать, когда кто приходит к Игорю и уходит от него, и когда сам Игорь приходит и уходит. Она не могла бы объяснить, зачем это делает, но, к счастью, никто не спрашивал. Как-то незаметно её интерес к жизни Игоря увеличился до болезненных размеров.

Самому Игорю было наплевать, он даже не заметил, а ребятам надоело. Тётя Люда, может, думала, что она так классно и незаметно всё проделывает, как специальный агент, но вообще довольно сложно не заметить, что каждый раз, когда ты выходишь в подъезд, скрипит дверь на

четвёртом этаже, а когда выходишь на улицу, в окне появляется внимательная голова и сосредоточенно шевелит губами.

– Главное, чё её переклинило-то вдруг? – спросил Миша. Они сидели на лавочке, щурились на солнце и неторопливо обсуждали всё вокруг. – Нормальная вроде ж тётка была.

– Да хуй её разберёт, – с досадой сказал Толян. – Давайте я с ней поговорю, вот что.

– Не, – сказал Санёк, – ты сиди. Я знаю. Она хочет узнать, почему Игорь граблю сломал.

– Чё? Да уж месяца три прошло.

– Точняком. Так бывает. Я по телевизору видел. Она ещё может всех поубивать, если совсем с катушек съедет.

– Так чё, – сказал Миша. – Давайте ей расскажем, а чё?

– Точно! – сказал Санёк. – Мы ей расскажем. Я по телевизору видел...

Как-то Люда вышла из подъезда и услышала, как жена Санька Людка говорит ему громким шепотом:

– Ну ты слышь, того, осторожнее! Как бы и до тебя спецслужбы не добрались. А то сломают ногу, как Игорю.

Глаза у тёти Люды стали круглые, как оладьи. Что-то в этом духе она и подозревала. Спецслужбы! Люда, конечно, пошла в булочную, и, зыркая во все стороны, рассказала Ане и Оксане про спецслужбы. Они, к тёти-Людиному негодованию, не заинтересовались.

– Чёт чересчур для Игоря. Свалился откуда-то по пьяни, и всё, – равнодушно сказала Оксана.

На следующий день Люда по привычке выглянула в окно, услышав шум в подъезде, и услышала, как Толян говорит в телефон:

– Да бля а я чё. Это Игоря проблемы и долги бля. Ему братва уже сломала ногу, ёпта, а я тут причём?

Это Люда тоже пересказала Ане и Оксане, но они восприняли с ещё меньшим энтузиазмом.

– Ну да ладно, Люд, тебе показалось, наверно. Всё-таки уже не девяностые-то.

Третью версию тётя Люда услышала от Афанасия. Афанасий стоял у булочной и говорил какому-то незнакомому алкашу:

– Э-э-э-это ещ-щё что. В-в-вот у нас тут малый есть, И-и-и-игорь. Т-т-так он от н-н-н-несчастной любви с крыши спрыгнул...

Тут тётя Люда уже почувствовала какие-то сомнения. Она не стала рассказывать Ане и Оксане, а пошла поговорить с Розой Петровной.

– Слушай, Люд, – сказала Роза Петровна, – дался тебе этот Игорь. Ты как себя чувствуешь в последнее время? Не случилось чего? Вот девчонки в булочной беспокоятся...

Тётя Люда перепугалась. А мир вокруг неё продолжал сыпать версиями о сломанной ноге Игоря. Что он попал под машину. Что он пытался ограбить магазин. Что он свалил на себя холодильник. Что его похищали инопланетяне. Люда уже перестала ходить куда бы то ни было, сидела в комнате и пила валокордин. Больше всего она боялась, что раздастся звонок в дверь, она откроет, а там – Игорь. Он часто к ней заходил по утрам – стрельнуть полтинник или хоть десятку. И тогда – – Тётя Люда понимала, что этого не переживёт. Она уже предчувствовала гипертонический криз.

Но Игорь не позвонил. Он был занят.

Глава 21. Весна

Весной всегда бывает такой момент – когда она уже окончательно наступила и все более или менее оттаяли, но до лета ещё далеко. Момент настоящей весны. Обычно он очень короткий, ино-

гда – пара дней, редко доходит до двух недель. В нашем районе в эти дни или недели всё как-то сглаживается. Основные весенние обострения пройдены, соседи становятся вежливыми, и тётя Маша Еманова, когда выходит посидеть на лавочке, смотрит на окружающих почти без отвращения, даже на детей.

В первой половине дня на детских площадках полно младенцев, гуляют перед обедом. Собственно, не столько младенцев, скорее детей от года до двух. В сообществах для молодых родителей таких называют «подрощенный ребёнок» – у Лены это выражение вызывает стойкую ассоциацию со словом «рощеник» и мгновенный приступ тошноты.

Мальчик Аким, который в прошлом году был примерно как Филипп сейчас, вырос раза в два. Стал длинный и худой, и щёки, которые у него были не хуже, чем у всех остальных младенцев, исчезли. И он разговаривает. Это потрясающе. Чего Лена не может себе представить про Филиппа, так это что он будет когда-нибудь разговаривать – так же, как несколько месяцев назад не могла себе представить, что он будет ходить.

Девочка, которая всегда спала в розовой коляске, а гулял с ней в основном папа, по-прежнему гуляет с папой. Коляска обнаружилась только в самом конце их прогулки – сидячая и такая же розовая. Но девочку из без неё легко было узнать, это была самая розовая девочка на всей площадке. Другая девочка – из жёлто-серой коляски – вырастила целую чёрную косу и выглядит очень взрослой. Близнецы из чёрной коляски оказались Машей и Мишей, а Полининых девочек зовут Виктория и Анжела. Они носят полосатые гетры и шапочки с вышитыми коронами, а в остальной их одежде прослеживается влияние стиля «фьюжн», принятого в многодетных семьях.

Кроме малышей на детской площадке гуляли большие, гигантские дети, лет по тринадцать. Они крутились на карусели, громко ругались и вообще вели себя вызывающе, как люди, сразу готовые сказать, что просто алгебры сегодня нет, а не то что они вдруг прогуливают. К этим опасным подросткам пришёл Игорь. Он безошибочно выловил одну девочку, отвёл её в сторонку и сказал:

– Уже второй день ты кидаешь камнями в нашу дверь!

А тётя Люда сегодня очень кричала и спрашивала у всех встречных, даже у Лены, которая вообще в другом доме живёт, не видели ли они, как кто-то кидается камнями в дверь подъезда, какие-то дети. И тут же явился убедительный Игорь, Игорь с татуировкой на шее, и девочка бормотала что-то оправдывающееся, и кажется, она больше не будет.

Потом Игорь сел на лавочку и сказал Лене:

– Ну надо же, какой большой стал.

И Лена сказала:

– Ну да, вырос.

– Ну что, Игорёк, как себя чувствуешь? – это подошла старшая по неопределённому количеству домов Лиана. – Как дела?

Игорь всего две недели как вышел из запоя, и подозрительная Лиана хотела уточнить его состояние. Он помычал в том плане, что хорошо, но Лиана уже отвлеклась. Она заметила, что из первого подъезда осторожно вышли новые жильцы, только снявшие квартиру, и побежала к ним.

– Ой, а вы здесь живёте, да?

Молодой человек, похожий на пингвина, и девушка с длинной косой остановились, с опаской наблюдая, как к ним несётся женщина в дутой жилетке.

– Я Ляна, Ляна. Я у вас старшая по дому. Мы с вами ещё не разговаривали. У вас стоят счётчики?

Новые жильцы совсем стушевались. Они не знали, стоят у них счётчики или нет.

– Ой, вы не представляете себе, что творится! Что творится! Как они нам насчитывают! У меня полдома пенсионеров, что же они, по двадцать кубов льют? Ничего, я с них не слезу! Я с них не

слезу, гадов. Вот смотрите, как они делают. У них есть квота на дом. Они значит считают, что столько воды мы должны потратить. И всё время её вписывают! А у меня тут бабки да дедки, у них нет счётчиков... А у вас есть счётчики? А вы можете показать мне свои платёжки?..

В конце улицы мелькнула женщина с афганскими борзыми. Она надела лёгкое светлое пальто и бежевый шерстяной берет, на ноги – чёрные шнурованные ботинки. Она спускалась с горки, и впереди, рядом с ботинками, бежала чёрная борзая, за ней, почти сливаясь с пальто – белая, и становилось понятно, что берет – в честь третьей борзой, рыжей.

– –

Вечером Роза Петровна как обычно спустила жалюзи и повернула ключ в глазу, мороженое на сегодня закончилось. Домой ей было идти через детскую площадку, а потом по дорожке – справа дом, слева газон. На газоне – деревья. Рядом с одним колупался какой-то мужик, что-то непонятное делал. Роза Петровна мельком глянула на него, но тут её окликнула Антонина. Они постояли, поговорили. Когда Антонина ушла, мужика тоже уже не было, и Роза Петровна решила посмотреть, что он там делал. Он перерезал кору на дереве – кругом.

– Вот ведь гад, – подумала Роза Петровна, – сволочь какая. С виду приличный. И ведь прошёл мимо, ничего я ему не сделала.

Роза Петровна пошла дальше, мимо девятиэтажки. И около подъезда увидела этого мужика, всего в опилках.

Роза Петровна подбежала к нему и сказала очень злобно:

– Что это вы сейчас сделали с деревом? Да я сейчас милицию вызову!

Он остановился и с готовностью проговорил:

– Сейчас я вам всё объясню.

И дальше:

– Мы пять или шесть лет страдаем от этого дерева. Оно заражено тополиной молью. Наши женщины его уже и солью поливали – никакого эффекта. И неоднократные мои обращения не возымели действия. От тополиной моли нет средства. Я выходил в интернет – нет средства. Она откладывает яйца в листья, по двадцать-тридцать штук в каждый лист, бомбы. А сейчас они в коре, ждут, когда листья побольше вырастут. А у нас – видите, форточек нет. Нет форточек. Не понимаю, что они едят. Вот сейчас уже – несколько штук летает. Шерсть не едят и фрукты. Вокруг абажура летают, на свет, и к экрану телевизора. Пять или шесть деревьев тут заражено. Вот это, вот там большое дерево на углу, там еще два дерева, на детской площадке. Но те все дальше. К нам именно с этого летят. Я за ним наблюдал. Пять или шесть лет уже страдаем, никакого спасения нет.

Роза Петровна опешила, её злость исчезла. Она извинилась и пошла дальше, домой.

– –

Александр Сергеевич решил выйти посидеть во дворе. Витька пошёл гулять, у Маши были пары допоздна, а Александр Сергеевич что-то соскучился и захотел подышать воздухом.

На улице по-домашнему светили фонари. Все с радостью рассаживались по лавочкам – буквально первый тёплый вечер. На одной лавочке сидели Игорь, Санёк, Толян, Миша и Катька, а Людка стояла поодаль, катая коляску с младшим ребёнком, чтобы он угомонился, и с остервенением грызла семечки. Старший ребёнок носился вокруг. На соседней лавочке сидели электрики Димок и Ренат, которые начали ещё утром, за хорошую погоду. С ними же сидел Афанасий.

Александр Сергеевич остановился постоять с Игорем и ребятами. Игорь пил кока-колу, остальные – пиво.

– Глядите-ка, – сказал Санёк.

По улице мимо детской площадки прошли Фаина и Зелёный, возвращаясь из кино. Зелёный помахал ребятам, но подходить не стал.

– Ха, уломал её всё-таки, – сказал Толян,
– Ну а чё, молодец Зелёный, – сказала Людка.
А Катька ничего не сказала.

Александр Сергеевич кивнул электрикам, но сам выбрал другую лавочку, последнюю свободную. Он закурил и прислушался к разговору двух девушек на скамейке слева.

– Он одет вообще никак, – сказала одна из девушек, брюнетка, – ни одной марки. И когда в ресторан с ним, допустим, идёшь, он в марках вин вообще не разбирается.

– Это уже о многом говорит, – сказала блондинка.

– И часы у него никакие. Вообще никакие. Это уже о многом говорит, – продолжила брюнетка.

– Часы! – воскликнула блондинка. – Даже у меня Ролекс!

– Вот-вот.

Девушки пили джин-тоник и закусывали его печеньем.

Александр Сергеевич повернулся к другой скамейке. Там пили вино и ели колбасу.

– Да вы просто не понимаете суть философии. Она же не в том, чтобы мешать математикам или вообще любым учёным. Философия, как и любая наука, преследует истину...

– Да я не про это, Петя, преследуй, пожалуйста. Я про подход. Типа нужно попадать в тупик и тщательно изучать его. А мне неинтересно изучать тупик! Мне интересно придумать выход и двигаться дальше...

Глава 22. Каждому из нас

Возвращаться на работу после декретного отпуска

Возвращаться на работу после декретного отпуска, пусть даже он продолжался месяцы, а не годы – всё равно что медленно всплывать со дна, отряхивая ил, и одновременно с этим медленно погружаться на дно. Чем-то напоминает отрубание кошке хвоста по частям, хотя, по идее, обратный процесс. А также это как войти ещё раз в ту же реку. В общем, немного противоречивые ощущения.

Часть людей уволилась, и их больше нет. Другая часть за это время пришла, и они понятия не имеют, кто такая Лена. Ну и Лена – взаимно. Третья часть сделала вид, что Лены как бы нет, и перестала здороваться – это особенно приятно. Всё примерно то же, что было, только больше и не совсем, отец пасёт крысиные стада, мать безмятежно несёт яйца. То, что Лена должна, умножено на время, которое не стояло на месте, спрессовано в десять часов в неделю, когда она в офисе, и растянуто на всю жизнь, когда она нет.

Филипп съедает на ночь каши, а потом выпивает столько молока, что становится совершенно круглый. Он кричит и просыпается, Лена берёт его на руки, а потом – кладёт обратно, он выкатывается из рук и перекатывается на бок.

На работе обсуждают разные удивительные вещи – бюджеты, рекламу, ночные клубы, концерты. Лена старается говорить осторожно, чтобы никто не принял её за сумасшедшую мать. Быстро проверяет в интернете значения новых слов. Это называется – мимикрия.

Филипп вырастает из всего – не стремительно, но непрерывно. До этого он рос скачками – раз, и вырос из очередной порции одежды, раз, и вырос. А теперь каждый день оказывается, что он вырос ещё из чего-нибудь нового. Это увлекательно, но утомительно.

Здание, в котором Лена работает, кардинально отличается от пятиэтажек. Там стеклянные стены и внутренние перегородки, зелёный ковролин, трубки охлаждения прямо в стенах, а если поднять все жалюзи, то оказываешься среди фантастических декораций – красных домов, покатых крыш, труб и облаков под выгнутым бело-серым небом. И там есть лифт. Два. Два лифта и

над каждым – экранчик, который показывает, на каком этаже соответствующий лифт находится сейчас. Два лифта и два экранчика. Бывает, подходишь на первом этаже к лифту, над которым написано «1». Нажимаешь на кнопку, ждешь пару секунд. Полное ощущение, что лифт пустой, стоит на первом этаже и тебя ждет. Но тут двери открываются и оттуда выходит толпа народу. Как будто они все там сидят и ждут, пока их выпустят. Эти порождения лифта вызывают у Лены такую тревогу, что она предпочитает ходить пешком.

В сквере на лавочке сидят две старушки и увлечённо рассматривают банку сгущенки. И так её вертят, и эдак, и даже, может, пыхтят. Мимо идёт пожилой человек – но помоложе этих старушек. Он говорит:

– Цы, цы, цы!

И делает такой жест рукой, какой делают, когда приманивают кого-то и говорят не цы-цы-цы, а цып-цып-цып, только ладонь у него вниз, и говорит он – цы-цы-цы.

Но старушки его не видели, потому что уткнулись в банку сгущенки.

Когда он уже поравнялся с их лавочкой, то опустил руку и сказал:

– Добрый день!

Они синхронно подняли головы, но ничего не сказали. А потом снова уткнулись в сгущенку.

А на работе – два новых дизайнера. Такие, лохматые. Ходят исключительно вместе, опасливо смотрят по сторонам. Им дали неправильные мониторы. Все знают, что дизайнерам нужны специальные дизайнерские мониторы – все, кроме тех, кто отвечает за их наличие. Поэтому дизайнеры не работают, а как приходят с утра на работу, так начинают ругаться с хелпдеском, а потом с его начальником, а в ближайшее время собираются к техническому директору.

Внезапно Лена чувствует тревогу – резкую, как фотография со вспышкой. Без какой бы то ни было причины. Тревога как раз и отличается от, например, страха тем, что причина для неё необязательна. Потолок как будто стал ближе, и стены изгибаются, сохраняя приятный салатовый цвет. Медленно и глубоко вдыхая, Лена идёт на кухню за кофе, но не выдерживает и забирается под стол, прячет голову между коленей и закрывает глаза. Как там канарейка, ты приглядываешь за ней?

Петя защитил диссертацию

Петя защитил диссертацию. После этого он решил оставить философию в качестве хобби – вести курс в университете, может, какой-нибудь кружок или семинар. А ещё найти нормальную работу. Ему хотелось приходить в магазин и покупать что угодно, а не только сосиски, ходить в кино, приезжать в Питер в пять утра и не гулять до открытия метро, а ехать на такси.

Юля была настроена нонкомформистски.

– Ты что, серьёзно? Будешь работать на какую-нибудь из этих огромных компаний, ходить такой с пропуском и писать всякую хрень про нашу миссию и корпоративные ценности?

– Ну, может, я что-то другое буду писать, про науку или там технологии. В любом случае, это будет лучше инструкций к стиральным машинам.

– А философия?

– Ну я буду преподавать. И уже понятно, что вряд ли стану великим учёным.

Оформиться на работу в университет – на одну пятую ставки – было очень, очень сложно. Космонавтам, наверно, и то требуется меньше документов. Пете предлагалось принести:

1. Заявление с визами зав. кафедрой, декана, директора института
2. Учебную нагрузку, подписанную начальником Учебного управления
3. 1 фотографию
4. Личный листок по учету кадров
5. Автобиографию

6. Копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, ученом звании
7. Заверенный список научных трудов по утвержденной форме
8. Сведения о научной деятельности
9. Трудовой договор в 2-х экземплярах
10. Копию паспорта с регистрацией и визами (для иностранных граждан)
11. Копию страхового пенсионного свидетельства, ИНН
12. Копию документа о воинском учете
13. Трудовую книжку (для совместителей – справку с основного места работы или заверенную копию трудовой книжки)
14. Лист ознакомления с локальными нормативными документами
15. Заявление на разрешение обработки персональных данных
16. Анкету с данными для бухгалтерии
17. Справку по форме 2НДФЛ за текущий год с последнего места работы
18. Справку для расчета больничного листа за 2 года по форме с последнего места работы
19. Заявление-анкету физического лица об открытии картсчета и выписки карты+копия паспорта
20. Справку об отсутствии судимости

Всё это не простые бумажки. В листке учёта кадров надо перечислить все места, где ты работал за всю жизнь, и все командировки за границу. Анкета про научную деятельность на листе А3 содержит увлекательные вопросы типа «к какой научной школе вы себя причисляете?». В договоре есть пункт, согласно которому Петя обязуется постоянно повышать свой уровень. И, конечно, справка о несудимости.

В Москве есть одно (одно) место, где такую справку делают. Петя туда пришёл, посмотрел на тридцатиметровую очередь под зонтиками – видимо, из желающих нести свет – и ушёл обратно. Там висела бумажка, что можно заказать соответствующую услугу на портале госуслуг, – и Петя даже съездил в офис Ростелекома, чтобы лично получить пароль, но всё без толку. Соответствующая услуга на портале госуслуг не работала. Пришлось всё-таки выбрать солнечный день и провести два с половиной часа в очереди, придя за полчаса до открытия.

А вот найти работу оказалось гораздо проще. Это заняло две недели – тестовые задания, три собеседования, одно из которых – со службой безопасности, в первый день принести паспорт, диплом и трудовую книжку. Петя действительно устроился в большой офис с фонтаном в лифтовом холле и бесплатными обедами, где все ходили в пиджаках и раз в квартал обсуждалось – не ввести ли правило всем носить одинаковые галстуки. Юля приходила к нему обедать и смотрела вокруг с неприязнью.

Вскоре после этого как-то само собой получилось, что они переехали поближе к Петиным работам. Однокомнатная квартира на пятом этаже вошла в противоречие с его новыми костюмами.

Александр Сергеевич собирался во Францию

Александр Сергеевич собирался во Францию, в гости к Валерке. Его Витя и Маша уговорили.

Витя сказал:

– Дед, ты в отпуске последний раз был, когда я ещё не родился. Тебе ж не навсегда туда ехать. Просто погуляешь, посмотришь. Тебе интересно будет.

А Маша сказала:

– Александр Сергеевич, вы обязательно должны съездить. И побольше там фотографируйте. У нас сейчас в твиттере восемьдесят тысяч. Давайте до ста добьём? И ещё сейчас появился инстаграм, там вообще одни фотки. Я думаю, нам обязательно нужно завести ещё инстаграм.

Александр Сергеевич говорил им:

– Да у меня даже паспорта нет! Куда я поеду-то? Первый раз в семьдесят лет!

– Ну так вы сделайте паспорт, Александр Сергеевич. Вы вон, известным гидом стали тоже почти в семьдесят.

И Валерка тоже звонил чуть ли не каждый день. Он совсем по-другому стал относиться к Александру Сергеевичу. То ли после того, как тот чуть не спился, то ли после того – как всё-таки не спился и стал носить кроссовки от Канье Веста.

Александр Сергеевич сдался. Он скачал анкету на загранпаспорт и несколько дней медитировал над ней.

Среди прочего, там нужно было указать все поездки заграницу. Это было несложно – никаких таких поездок у Александра Сергеевича не было. И основное место работы у него было, по сути, одно. Иногда менялись должности, но институт оставался тем же самым. Места жительства в анкете указывать было не надо, тем не менее Александр Сергеевич задумался и над ними. Он жил сначала с родителями и бабушкой в коммуналке, потом женился на Ирине Евгеньевне и жил с ней там же, а потом они получили отдельную квартиру. То есть он почти пятьдесят лет жил в одном районе и работал в одном институте. Как будто пол века ничего не происходило.

Александр Сергеевич задумался о том, насколько это типично. Большинство его знакомых всё-таки меняло работу и переезжало с квартиры на квартиру хотя бы раз. Некоторые приехали из других городов. Сейчас уже многие ездили отдыхать в другие страны. В похожем положении были только некоторые соседи. Даже сравнительно молодые. Александр Сергеевич помнил, например, Оксану из булочной в детстве – она ходила в детский сад к его жене. В школе она тоже здесь училась. На минуту Александр Сергеевич усомнился – а была ли вообще Оксана в других районах Москвы? Видела ли она Кремль или станцию метро «Новослободская»? Впрочем, их, наверно, водили на экскурсию в школе...

Игоря он тоже помнил с детства. Игорь один раз отсутствовал – два года, пока служил в армии. Всё остальное время своей жизни он, похоже, провёл здесь. Или вот Афанасий. Александр Сергеевич не очень помнил, откуда взялся Афанасий – возможно, тоже всегда был тут. Афанасий производил впечатление человека, который не просто не менял место жительства или работы, но и ни капли не менялся сам. Только вот стал носить кепочку.

Но некоторые люди провели тут не меньше времени, чем сам Александр Сергеевич. Маша Еманова была с самого начала, и Аня Гераськина, и Антонина – они тогда носили ситцевые платья и халаты в цветочек. Может быть, это они настоящие духи места, мелкие локальные божки, которые должны были определять ход жизни здесь, только забыли об этом. Но в любом случае сейчас, наверно, уже подросли другие духи, и пришло время увидеть что-то ещё.

Тут пришла Маша.

– Александр Сергеевич? Вы заполнили анкету? Глядите, я вам чемодан принесла! Томми Хилфайгер! Вам идеально подойдёт. Только вы, пожалуйста, осторожнее, мне его надо будет вернуть.

Игорь сделался трезвым и от этого странным

Игорь сделался совсем трезвым и от этого странным. Сначала к нему приехала бабушка, и он ходил с ней гулять под ручку. Когда бабушка уехала, он продолжал гулять, только теперь в основном сидел один на детской площадке с кока-колой.

– Ты это чё? – спросил Санёк.

– Да ничё. А чё?

– Ну ты чёт всё думаешь, что ли?

– Да не знаю... Хорошо так... Тихо.

А в другой раз сказал Саньку:

– Я вот думаю, эта... Детей может?

– Ну давай, чё. У нас вон двое, нормально...

Соседи как-то притихли. После нескольких лет бурной личной и общественной жизни бездействие и трезвость их Игоря их пугали. Никто это, конечно, так не формулировал, но, может быть, это как цунами, думали они. После того как происходит землетрясение – а практически

любое событие в жизни Игоря в последнее время можно было бы считать землетрясением, хоть драки, хоть историю с Инной, хоть загадочно сломанную ногу и трёхмесячный запой – после того как происходит землетрясение, вода иногда внезапно отходит, хотя и не время отлива. Наступает тишина, потому что волны отходят от берега и шум прибоя исчезает. Морское дно обнажается до самого горизонта. В этот момент нужно очень быстро убегать, желательно на возвышение. Потому что за отливом после землетрясения приходят большие волны, разрушающие всё на несколько километров.

В Игоре было что-то от отлива перед цунами.

Как-то днём он вышел из дома, ощущая неясное стремление. Немного постоял перед булочной. Видел, как кошка украла с развала перед Фаининым ларьком помидор и стала его есть.

– Ишь, – сказал Игорь Фаине, – никогда не видел, чтобы кошка ела помидоры. А что, нектарины у тебя в ту же цену, что и персики?

Но купил в результате грушу – ярко-зелёную в жёлтых точках – и медленно пошёл к метро «Профсоюзная». Там никого не было, и Игорь спустился в переход.

Он очень внимательно осмотрел ларёк с косметикой: цветные пузырьки лака для ногтей, блестящие ножницы и пилочки, прочитал надписи на тюбиках с кремом. Следующим был ларёк с колготами, и Игорь углубился в созерцание колгот, чулок, гольфов и носков, нарисованных на упаковках и натянутых на трёх перевёрнутых ногах. Три ноги, думал Игорь.

Киоск с булочками Игорь пропустил, зато у следующего остановился минут на сорок. Это был ларёк невнятной направленности – со всякими мелкими вещами. Какой-то общий признак, по которому их отобрали для продажи в этом месте, найти не удавалось. Может быть, исключительно по размеру, а может – по предположительной привлекательности для индейских племён. Там продавались серьги и бусы, заколки, суперклей, игрушечные машинки, статуэтки, ножницы, нитки, кружки, перчатки, коробочки, блокноты, ручки, журналы, пластмассовые цветы, картины из янтаря, закладки, стельки, чехлы для телефонов, игральные карты и многое другое.

К этому моменту среди продавщиц возникло заметное оживление. Продавщица из чулочного ларька закрыла его и вышла покурить к окошку косметического, а косметическая продавщица высунулась из своего окошка, и обе они уставились в спину Игоря, обмениваясь замечаниями и периодически хихикая. Продавщица мелкой фигни неотрывно следила через стекло за Игорем, так что покупателям приходилось стучать, чтобы привлечь её внимание.

Игорь ничего не заметил. Он, наконец, оторвался от блестящих заколок и медленно поднялся из подземного перехода наверх, на другую сторону Профсоюзной улицы. Там тоже стояли ларьки, но только с едой – Вологодское молоко, Рублёвские колбасы. Игоря они не заинтересовали. Он спустился к Институту научной информации, где не был, наверно, несколько лет.

Он попытался вспомнить, когда был, но не смог. Когда они были совсем маленькие, учились в школе, то какой-то зимой пришли сюда кататься с горки. Тогда ещё нашли на помойке куски линолеума – они скользили лучше картонок, лучше санок и лучше вообще всего. А с тех пор, может, и не бывал никогда, что тут делать.

Игорь ещё медленнее прошёл по потрескавшимся бетонным плитам и остановился на бортике пустого фонтана. Прямо перед ним из трещин торчали ярко-зелёные листья одуванчиков с острыми, резко очерченными углами. В светло-сером бетоне выделялись выпуклые песчинки и крошечные впадинки. Игорь достал из кармана грушу и съел её.

В булочной затеяли модернизацию

В булочной затеяли модернизацию. Вот эта вся система с пятью отделами и девятью продавщицами – совершенно неэкономична. Тупиковая ветвь развития. Будет очень хорошо, если сделать в духе обычного супермаркета. На выходе одна касса – ну или даже пусть две, и шкафчики для сумок. Сумки обязательно нужно оставлять, иначе очень много будут воровать. А всё остальное место – для стеллажей. Если их поставить вот такими аккуратными рядами, то всё отлично

поместится. И даже много чего нового поместится. Можно, наконец, начать продавать гигиенические товары и даже бытовые.

Для весовых продуктов оставили один прилавок в углу. Там по-прежнему сидели Оксана и Аня, для них мало что изменилось. По-прежнему нужно взвешивать колбасу и сосиски, но только теперь можно на консервы и мороженое не отвлекаться. Одно время хотели их объединить с мясом, но так по правилам не положено. Мясо должно быть отдельно.

Овощи пока решили снаружи оставить. Для того, чтобы их заранее взвешивать и упаковывать, нужны были большие подсобки. Либо сокращать ассортимент. Решили подождать.

Настю собирались уволить, но оставили пока. Ей нужно было следить, чтобы всех товаров хватало, и докладывать, если чего не хватает. Таисию Николаевну и Марину посадили за кассы. Марина была не против, а вот Таисии Николаевне это совершенно не понравилась.

– Что я, кассирша что ли? – говорила она.

Всё это удалось проделать, не закрывая магазин. Булочная у нас гордится тем, что работает без выходных с 1993 года, и не закрывалась ни на один день. Примерно так же гордятся большие интернет-компании, что их ресурсы всегда были доступны – но даже если они правда ни разу не падали, им далеко до нашей булочной. В одну ночь вынесли старые прилавки, поставили стеллажи и подключили кассы. Продукты не все, конечно, успели расставить, в некоторых местах они просто кучами лежали. В следующие дни разобрались, ничего страшного.

Никому из жителей района сначала не понравилось. Тесно, много полок, корзинки дурацкие. Но потом, в общем, привыкли.

– Ну и что она в итоге выиграла? – обсуждали продавщицы заведующую. – Всё ж примерно так и осталось, только неудобно всем теперь. Чтобы туалетную бумагу что ли продавать, я не понимаю?

– Да она не хотела никого увольнять, на самом деле, – говорила Оксана. – Она не злая тётка, только неугомонная.

– Ну так если бы не она, тут, может, уже давно была бы «Магнолия», – сказала Марина. – С узбеками. У них, знаешь, другой подход к набору персонала.

– Для «Магнолии» у нас места мало, – сказала Аня. – Им хотя бы в два раза больше нужно. И подсобки нормальные.

– Для «Магнолии», может, и мало, – весомо сказала Лидия Николаевна, – но подсобки эти твои не нужны никому сто лет. Я вам скажу, как будет. Очень просто будет. Это всё снесут, останется один общий зал. И будут просто сдавать торговые площади. Вот как мясо сейчас – это же отдельный прилавок. Так и всё сделают. Как на рынке будет. Это и проще, и вообще. Компания, ну как это, например, мясо, сама всё предоставляет. Товар, прилавок, продавец. Всем проще. У нас-то в гастрономе так и сделали в итоге.

– Ой, ну да ладно, – подвела итог Оксана, – что будет, то будет. Мне-то в общем без разницы.

Глава 23. Последняя

В 2012 году мы уехали из нашего пятиэтажного района, и больше я никогда не видела никого из этих людей. Всё шло заведённым чередом. Женщины гуляли с колясками, мужчины пасли крысиные стада. Пацаны сидели на лавочках с бутылками, дети качались на качелях, кто-то снимал квартиру, кто-то спивался, на сквере построили новую детскую площадку, в булочной продавалось всё на свете. Тётя Маша Еманова умерла. Ей уже под девяносто было.

А потом всё действительно снесли.

Александр КАБАНОВ

Друзьям

Быть голосом, которым не поют,
и на него не отыскать управы,
быть голосом, который узнают
и подражают люди, звери, травы,

и птицы носят у себя внутри
слепые и надломленные зерна,
я голос твой, не слушай, а смотри
и вкус его прокручивай повторно.

Ни блогосфера, ни блатная тварь
не помешают твоему молчанью:
я голос, я буквальный, как букварь
пустых страниц в эпоху одичанья.

Я просто жил с тобой в одной стране,
в прекрасное мгновение распада,
и этот голос, знаю точно – не
для первого и для второго ряда.

***

Мише Квадратову

Что курит автор, автор курит ма
льборо, вокруг – империя, зима,
вода из крана медленно течет,
и всяк еврей поставлен на учет.

Что курит автор, автор курит при
му, желтоватую внутри,
крепка броня и лязгают слова,
вползают танки жить в чехослова...

Александр Кабанов родился в 1968 году в городе Херсоне – украинский поэт, живущий и работающий в Киеве, пишущий на русском языке. Автор 12-ти книг стихотворений и многочисленных публикаций в журнальной и газетной периодике: «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Континент», «Дружба народов», «Арион», «Новая газета» и др. Лауреат «Русской премии», премии Antologia – за высшие достижения в современной поэзии, премии журнала «Новый мир», Международной Волошинской премии и др. Стихи переведены на: украинский, польский, белорусский, английский, немецкий, французский, нидерландский, финский, грузинский, сербский и др. языки. Главный редактор журнала о современной культуре «ШО», координатор Международного фестиваля поэзии «Киевские Лавры», один из основателей украинского слэма.

А не пора ли автору в кабак:
смешался и рассыпался табак,
что автор пьет на пастбищах труда:
всё, что горит, не гаснет никогда.

***

Стрекоза ли вы или жук вы –
на одном не сяду аршине:
вы живете с маленькой буквы,
нам по нраву буквы большие.

Кот собачьей миски не просит,
цвет не принуждает к рычанью,
это бог людей произносит,
оставляя по умолчанью.

Как смешны они поневоле,
человечки – узкие плечи,
совершенства счастья и боли
и дефекты собственной речи.

***

Помню вкус оплавленной земли,
блеск фольги, фасеточный фасад,
как меня на саночках везли
мимо ленинграда, в детский сад.

Там индейцев гнали на расстрел,
там фашистов мучали в плену,
снег коленной чашечкой хрустел,
подражая богу одному.

От полозьев – вьется след двойной,
взят смоленск и позабыта луга,
что там в детском садике с войной,
не устали убивать друг друга?

Снег сошел и выжил из ума,
мы с тобой спустились к приднепровью,
это киев, детка, это тьма,
рыбий жир и витамины с кровью,

Это небо с деревянным дном
в солнечных пробоинах потопа,
это санки, смазанные сном,
и весны последняя синкопа.

Видишь, догорает детский сад,
превратив песочницу в пустыню,
и несет пластмассовый солдат –
оловянный прапор, как святыню.

***

Смешались капли и рабы – дождя небесные помои,
и по земле гребут грибы на остроносых веслах хвои,
в червивых шляпках парусов они тоскуют по безвизу,
без лифчиков и без трусов, а ветер поддувает снизу.

Им что-то ежик пропоет под полицейскую сирену,
где жук-олень и жук-койот закрылками взбивают пену,
штурвал привязан к колесу, чужие споры ближе к телу,
утопленники спят в лесу, зарытые по беспределу:

бандиты, воры, мужики, шалавы, мальчики-мажоры,
по ком звонят боровики, рыдают в рынды мухоморы,
простор отравлен новизной, грибы шатаются, косея:
луч перочинный, трюм резной, и возвращенье одиссея.

***

Был ангел, посланный добром на дальний хутор по феншую,
и выковыривал пером из-под ногтей он кровь чужую,
неординарный, не простой, пахан небесного застенка,
то бородатый, как толстой, то дивно лысый, как шевченко.

А дальний хутор нес пургу, соседствуя с погодой летней,
коровьи нимбы на лугу сияли в изумрудах слепней,
гусей шиповник у пруда, оракул в черных аквалангах,
и проступали здесь года, как перстни зэков на фалангах.

Росли и лопались клопы в гнилых матрацах одичанья,
языкобесие толпы и богоборчество молчанья,
был ангел – белая культя, похожий на армянский чечил,
одних – он убивал, шутя, других – любовью искалечил,
и только верилось двоим-троим, воскресшим после свадьбы:
мы за ценой не постоим, а постоять бы, постоять бы.

Мельхиор

Над колыбелью устрицы – замри волхвом позорным,
и свет полусухой в бутылочном стекле
покажется тебе опасным, иллюзорным,
подвешенным за волосы к земле.

Когда младенец спит, начни с другой страницы
библейское меню, укутанное в дым,
и выжатый лимон, как пение синицы,
не сводит скулы мне и спутникам твоим.

Не пьется песнь-песней, не согревает войлок,
и с кем-нибудь другим гуляет аппетит,
лишь сваренный лангуст мычит в соседских стойлах,
улитки блеют, а младенец – спит.

Библейское меню, еще одна страница –
десертный анекдот с кошерной бородой,
всё сбудется, когда спаситель пробудится,
в буденовке ночной с кровавою звездой.

***

Мы ползаем, как дети по земле,
окапываясь в мыслях о сезаме,
и пьем портвейн, и плачем в феврале
горючими и черными слезами.

Пусть будет нефть поэзии густа,
как чешуя днепровского налима,
и елочка – шестая часть куста,
на новый год горит неопалимо.

Плодитесь, размножайтесь на ветру
но в тихий час, впадающий в сахару –
мы отнесем зародышей к ведру –
на ужин ихтиандру и икару.

О чем поет на кладбище хасид,
кому откроет женщина скворешню,
но этот сад вниз головой висит:
кровь приливает – я люблю черешню.

Леся

Я поймал для тебя одинокую бабочку персии,
только знай, что она у поэтов ворует слова,
видишь, как я бесстрашно сжимаю ее в троеперстии,
днем – сплошной махаон, ночью – мертвая голова.

Знаю, ты не откажешься жить без простого кузнечика,
назови его, скажем, ашот или лучше – звиад,
будешь утром поить кузнеца из кустарного глечика,
по которому вьется бесшумной лозой виноград.

Вот еще – стрекоза, у нее затруднения с именем,
дело вовсе не в крыльях – казенные крылья ее,
а когда-то бродила козой с переполненным выменем
и в языческих штольнях жевала одно мумие.

Что сказать тебе, ласточка, девочка вольного киева,
не влюбляйся в поэтов, здесь каждый поэт – маргинал,
ничего не останется, даже последней строки его,
только боль от потери, пока я тебя не поймал.

***

В такой степи не звякнет колокольчик, дырявый напросвет,
спой, медсестра, еще один укольчик о том, что боли нет,
о том, что утро пахнет стекловатой, водой с воловьих кож,
на принтере меня перепечатай, на ксероксе размножь.

И снова, снова, и опять, и снова в чистилище твоем –
был страшен бог и похотливо слово и сладостно вдвоем,
спой, медсестра, убитая медбратом, воскресшая вдовой,
придет зима и мраморным халатом накроет с головой.

Бесплодна степь в плену своей полыни и воздух безъязык,
и в украине, и на украине – ты князь или мужик:
ткнешь посохом в поэта-эпигонца – и дождь заморосит,
и над тобою капельницей – солнце, ослепшее – висит.

***

Цветы – опасны виду моему:
гортензии, нарциссы, карамболи,
и тем страшней, что больше никому –
не могут причинить особой боли.

Как я люблю оранжерейный суд,
когда в цветах не сыщешь прежней силы,
что не они, а это их несут –
безногих и увядших на могилы.

Пускай живут, от влаги окосев,
пускай мечтают о лесах и рощах,
но я с тоской смотрю на львиный зев,
как будто шмель и пьяный дрессировщик.

Ab ovo usque ad mala

В галерее Уффици: картины, колонны, повторы,
а мне нравятся больше всего – эти лавочки и коридоры,
вот присядешь и смотришь, как вьется резьба к потолку,
как расписаны стены под яблоню в полном соку,
и трещат еле слышно все трещины дивной эмали,
и спокойно от краски, в которой людей отпевали.

А повсюду снуют опьяненные светом туристы,
как в бокале с шампанским, похожи на рой пузырьков,
здесь рассветы – сухие, а впрочем – закаты игристы,
но об этом – отдельно, при случае, без матюков.

Затекает плечо, чтоб бесшумную скрипку настроить,
и арабский смычок успевает губу раскатать,
возмутишься в душе: вот умели же сволочи строить,
да искусством своим православную кровь угнетать.

***

Лето и леторатура, чтенье из-под палки,
дети собирали книжки на соседней свалке,
новые еще обложки, чистые страницы,
их пока не съели кошки, не склевали птицы,

не снесли в макулатуру пьяные барыги,
дети морщили натуру: для чего им книги?
их учили понарошку тленью и распаду,
крошки смахивать в ладошку, вспоминать блокаду.

Облака хранят осадки самой высшей лиги,
что теперь, в сухом остатке, лучше всякой книги:
дом, звезда над головою, женщина в постели,
разговор с самим собою, тихий, еле-еле.

Сергей КРУГЛОВ

ПРО О. ФИЛОФИЛА

Однажды к о. Филофилу пришел совопросник века сего. И стал спрашивать: «А как вы, батюшка, относитесь вот к этим персонажам – священник украл у прихожан миллиард и благоденствует? архиерей растлил епархию и получил повышение? священник стал педофил и срок получил?..»

На это о. Филофил сказал, подумав: «Ну... есть заповедь: люби их как душу, тряси как грушу. А вы – как бы посоветовали поступить?»

Тут совопросник вдохновился и произнес речь на столько часов, что о. Филофил махнул рукой, взошел в клеть сердца своего, затворил дверь, сказал «ВЖЖЖУХ!» и стал жить по-старому, как мать поставила.

– Что за имя у тебя такое – Филофил? – раздраженно сказал епархиальный секретарь, заполняя анкету. – И в святцах не встречал... Кто у тебя ангел-то хранитель?

– Дед Мороз, – ответил о. Филофил, взошел в клеть сердца своего, затворил дверь, сказал: «ВЖЖЖУХ!» и, оседлав ёлку, как ракету, по-старому, как мать поставила, взмыл и помчался – к новому.

О. Филофил пощелкал в микрофон ногтем, откашлялся и сказал:

«Дорогие друзья!
Фейсбук работает на алгоритмах.
Мой медвежонок Паддингтон – на батарейках.
В Церкви всё работает Духом Святым.
В нашем с вами отечестве всё вековечно работает, увы, через... эээ... удаленнаго помощника.
А наш церковный сторож работает за спасибо.
Широк спектр сей зело!
О чем это говорит?
О том, что главное – работайте!
Потому что движение – это жизнь!
Каковая есть сущая награда сама по себе в самой себе!»

Сергей Круглов – поэт, публицист, православный священник. Родился в 1966 году в Красноярске, живет в г. Минусинске Красноярского края, служит в местном Спасском соборе. Стихи и проза издавались в антологиях и периодике в России и за рубежом в переводах. Автор нескольких книг стихов и церковной публицистики, колумнист интернет-издания «Православие и мир». Лауреат литературных премий Андрея Белого (2008), «Московский счет» (2008), Antologia (за книгу стихов «Царица Суббота», 2016).

В полном молчании (только микрофон еще с полминуты фонил) и под дикими взорами недоумеющаго президиума, о. Филофил покинул градообразующее собрание, взошел в клеть сердца своего, затворил дверь, сказал: «ВЖЖЖУХ!» и стал спать по-старому, как мать поставила.

Памяти И.В.

О. Филофилу приснилось, будто усы и борода у него совсем выпали, а вместо этого выросли чорные длинные курчавые бакенбарды.

И будто имеется у него в руке, придерживаемое ногтями, старинное гусиное перо, и оным пером пишет он какой-то даме в альбом:

«Мне сухарь
Не лезет в харь,
Винегрет
На ум нейдет,
Редькой постною дыша
На тебя, моя душа!»

И будто подымает он глаза на даму – а то не дама, а сам г-н голландский дипломат барон Луи-Якоб-Теодор ван Геккерн де Бевервaард, и лицо у него воблое, и еще блесое и мелкопористое, как бескислотная бумага, а глаза светятся как два фонаря крови...

Тут о. Филофил проснулся с колотящимся сердцем и весь в поту.

«Господи... помилуй мя... говорили же мне старцы: негоже Великим постом на ночь Пушкина читать...»

О. Филофил окинул взором клеть сердца своего, удостоверился, что засов на двери задвинут, перекрестился, повернулся на другой бок, взбил подушку, сказал: «ВЖЖЖУХ!» и стал подвизаться по-старому, как мать поставила.

Однажды о. Филофила послали в космос – освятить орбитальную станцию.

Готовя батюшку к полету, старый космонавт говорил ему, что наш ангел-хранитель Гагарин в космос летал и хотя Бога и не видал, потому в СССР и жили без Бога, но зато он, глядя оттуда на Землю, не видал также коррупции, инфляции, СПИДа, гей-парадов, биткойнов, синих китов и ЕГЭ, потому в СССР всего этого тоже не было, а видал родину-мать, дружбу народов, мороженое за семь копеек, стакан газировки за три, мирный атом, Деда Мороза, крепкие ячейки общества, билеты на самолет в профилакторий за бесплатно и колбасу из натурального мяса, потому все это в СССР, напротив, было и являло собой приметы золотого века.

Прихлебывая крепкий и душистый космонавтский чай из тюбика, о. Филофил слушал всё это вполуха, а сам думал о своей тайной мечте, ради которой, собственно, и согласился на совершение космической требы: увидеть так и оставшуюся, по преданию, летать на орбите знаменитую ясную улыбку Гагарина.

Взойдя в клеть сердца своего и затворив дверь, о. Филофил, применяя к себе космонавтское правило: «Давайте-ка, ребята, вздремнемте перед стартом, у нас еще осталось четырнадцать минут», сказал: «ВЖЖЖУХ!» и уснул по-старому, как мать поставила.

О. Филофил, помимо прочих дат, всегда отмечал двадцатое апреля. В этот день он всходил в клеть сердца своего, затворял дверь, наливал себе коньяку, садился у окна, раскрывал, как монах волосатыми пальцами – сентябрь, книгу стихов и читал в ней: «Париж-кораблик в рюмке стал на якорь...»

По апрельским ночам с двадцатого на двадцать первое ему неизменно снилось всякое; на сей раз ему приснилось, что он приехал в Питер, пришел на митьковскую выставку и увидел там на стене картину: «Митьки ловят Пауля Целана, падающего в Сену с моста Мирабо».

«Дык, ёлы-палы! Спаси их Господи!» – с теплом подумал, проснувшись, о. Филофил. Однако, вспомнив, что в апреле есть и еще одно двадцатое число, а еще есть и двадцать второе число, и так далее, он долго ворочался, кряхтел, скорбел, по-всякому поминал тех и других, и лишь под утро, решительно сказав: «ВЖЖЖУХ!», заставил себя уснуть по-старому, как мать поставила.

О. Филофил сидел в церковном дворе на лавочке и читал книжку, когда в соцсетях разгорелись срачи, из самого пекла коих выскочила воспаленная прихожанка и, кинувшись о. Филофилу в ноги, возопила:

– Батюшка, вот вы объясните!

– Что объяснить?

– Одни говорят, что нельзя ребенка грудью кормить в общественных местах прилюдно, а другие – что можно! Так как же правильно, если по канонам?

О. Филофил осторожно заложил книжку пальцем – книжка была старая, зачитанная, изданная каким-то левым издательством в девяносто каком-то году, плохо проклеенный блок ея распадался на листочки – и ответил:

– Можно, можно. Ибо вот тут (он поднял книжку повыше) сказано: вымя есть, а хересу нет.

Прихожанка раскрыла рот, чтоб возоплять и далее, но о. Филофил, поняв, что почитать уже не удастся, аккуратно стасовал книжечку, как колоду карт, сунул ее в карман подрясника, быстро взошел в клеть сердца своего, затворил дверь, сказал: «ВЖЖЖУХ!» и пораньше улегся спать по-старому, как мать поставила.

К о. Филофилу часто приходили прихожане, но не реже заходили и захожане.

Однажды в храм зашел один подающий надежды заслуженный писатель и сказал:

– Мне посоветовали обратиться к вам за советом.

– А почему ко мне?

– Ну как же. Это же ваша обязанность, по удовлетворению нужд. Вы же... ээ... божественный.

– А, ну если в этом контексте... – пробормотал о. Филофил. – И что вас интересует?

– Я заслуженный писатель, подал немало ценных надежд. И мне предложили вступить в Союз писателей. И вот прямо не знаю – как оно, если по-божественному? Что в Библии говорится?

– Сейчас... – О. Филофил раскрыл Библию и сделал вид, что читает. – Тут сказано: «Если кто позвал тебя вступить в Союз писателей, вступи с ним в два».

Затем, воспользовавшись паузой, быстро взошел в клеть сердца своего, затворил дверь, сказал: «ВЖЖЖУХ!» и по-старому, как мать поставила, оплакал тот день, когда научился читать и узнал, что на свете бывают писатели.

Путешествуя в летнюю жару, один из привалов о. Филофил обыкновенно делал у ограды Царства Небесного – было там одно уютное местечко: буйные лопухи в человеческий рост и тень от этих лопухов.

Лежал на спине, дремотно плыл глазами в горней сини... Вдруг – захрустел кто-то лопухами: апостол Петр запер КПП, зашел тоже в тени посидеть.

О. Филофил поднялся, испросил благословения.

– Да лежи-лежи, Филофиле... Филофиле-простофиле.

Шутка у старенького апостола всегда была одна и та же; посмеялись.

Петр утерся рукавом ризы:

– Ну и пекло сегодня... Хорошо хоть, посетителей нет пока... А то и не отойдешь. У нас тут сиестов нету... не Бразилия чай какая. Где в лесах много диких обезьян.

Это была еще одна и та же апостолова шутка; опять посмеялись.

– А ты чего? Всё путешествуешь?

– Ага.

– А у вас там как?

– Ну как... Пост.

– И как там они, постом-то?

– Да как... Всё так же.

– Бьются?!

– Бьются...

– И опять про пост?!

– Про что им еще... про пост. Каждый раз одно и то же... На этот раз война прямо какая-то. Инфоповодов других нету, лето ведь, мертвый сезон, вот и ярятся... Одни, как всегда, кричат, что искажение, изуверство и устарело, другие – что апостольский, и кто не постится – апостасия и кощунство...

– И мною, грешником, бьются?!

– И тобою, пост-то Петров...

– Господи... ахти мне, грешному!.. – Петр вскочил, всплеснул руками, заморгал, как ни за что ни про что обиженное дитя, закапали с воспаленных век частые ясные слезы. Отвел лицо, стал рыться в ризе, искать якобы платок, прокашливаться, не подавать вида:

– Да где ж оно... Вечно в этих карманах...

Вытащил платок, какой-то большой, как бы большое полотно, развернул, держа за четыре угла, посмотрел внутрь: увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц небесных. Свернул, сунул обратно, вынул снова – на этот раз платок был обыкновенный, носовой; сморкался нарочито долго, трубно, на о. Филофила не смотрел, хмуро, тщательно складывал платок в осмь раз. О. Филофилу стало жалко старика:

– Да ну, ничего... пусть их. Ну, бьются... до смерти не убьются. Наши, они такие, их об асфальт не расшибешь... Покалеченных, конечно, много будет, а так...

Петр только махнул рукой, ничего не ответил, полез через лопухи обратно.

О. Филофил шел по жаре, ярой, но все же доброй, какой-то галилейской, шел – улыбался.

Предвкушал, как вернется к себе в клеть, затворит дверь, скажет: «ВЖЖЖУХ!» и поставит токающие усталые ноги в тазик с холодной водой, по-старому, как мать поставила.

Рабочий день давно закончился, когда в запертые ворота храма требовательно постучали.

Старик сторож пошел отворять.

За воротами стоял средних лет лысоватый человечек с худым решительным лицом изжелта, в перемотанных изолентой роговых очках, в футболке с полинялой надписью «GLASNOST» и сандалиях «Скороход». На шее человечка имелся милицейский мегафон, а в руках он сжимал древко с приделанным к нему рукописным плакатом: «Позор кагэбэшникам в рясах!».

Сторож с минуту оценивал человечка особым взглядом, отчего тот стал часто сглатывать слюну и перехватывать пальцами древко то вверх, то вниз, словно мартышка – ствол пальмы, по коему вверх и вниз носит она на себе драгих своих блохастых мартышат. Наконец сторож перекрестился, цыкнул через фиксу слюной человечку под ноги и иронично просипел:

– Ты че, раб Божий? Рамсы, что ли, попутал? Тебе случаем не в лихие девяностые, не?

Человечек пару раз моргнул мультяшными огромными глазками сквозь мощные диоптрии очков, на всякий случай отступил сандалиями на шаг, лицо его стало трибунного окраса, и открыл он было рот возгласить, но тут в калитке показался отодвинувший сторожа в сторонку о. Филофил:

– В чём дело?

Увидев о. Филофила, человечек ободрился, приступил назад отступленный шаг и возгласил-таки:

– У попов под рясами погоны!!

О. Филофил непонимающе поглядел перед собой, потом, вдруг вспомнив что-то, просиял, заохал:

– Ох!.. Спасибо вам!.. Извините!.. Я и впрямь!.. Ох, голова садовая!..

Лихорадочно расцепив крючочки и пуговки, о. Филофил стащил с себя рясу. Под рясой у него и в самом деле были погоны. Погоны цвета были нежнолазоревого, маховые же перья первого-третьего порядков на них были жемчужные и как бы ровненько мерцали изнутри, а плечевые были кремовые с отливом в мягкое злато подпуши. О. Филофил поцокал языком, расправляя замятости: «Слежались за день... Всё беготня да суета, совсем забыл, а надо же следить...», подвигал плечами, потом осторожно подвигал погонами – погоны выросли и расправились. Блаженно улыбаясь, о. Филофил – ВЖЖЖУХ! – взмахнул погонами уже смелее, поднялся в воздух сантиметров на сорок, потом повыше, сделал осторожный круг по церковной ограде и, совсем освоившись, уверенно ушел ввысь, скрылся за колокольней.

– Ку... куда это он? – растерянно спросил человечек.

– Куда. На кудыкину гору, воровать помидору. Не дадите отдохнуть батюшке... Иди уже отсюда, раб Божий, да ложись спать по-старому, как тебя, сявку, мать поставила.

Сторож заложил ворота на засов. Подумал, снова вытащил засов, раскрыл ворота и хотел уже торжествующе выдать напоследок: «А вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют!», но не выдал – некому было.

Пусто уже было за воротами.

Только ласковый вечер поднялся, всколыхнулся всем собою во всю свою ширь и медленно опустился на мир, словно укрыл умотавшегося за длинный летний день, срубившегося не помывши избеганных ног мальчишку теплой и прохладной простыней: доброй тебе ночи, сыночка, спи посыпай да добра насыпай.

Кроша капусту на постныя щи, жена о. Филофила напевала: «Гляжу в озера синие...»

– А я так, матушка, в озера синие давно не гляжу... – сказал о. Филофил.

– Чего так?

– Там окна постоянно всплывают.

– И чего рекламируют?

– Да фигню всякую, прости, Господи... «Увеличим вашу джигурду на 15 см»...

Жена на секунду задумалась; нож завис в воздухе, потом опять бодро застучал по разделочной доске.

– Угу... Ну, идите уже с кухни с Богом, нечего тут...

О. Филофил вздохнул, быстро взошел в клеть сердца своего, сказал: «ВЖЖЖУХ!» и запустил в клеть осьмнадцать своих детей, чтоб в ожидании обеда поиграли по-старому, как мать поставила.

О. Филофилу приснилось, что идет он, а навстречу ему – Пригов.

– Здравствуйте, Дмитрий Александрович! – воскликнул о. Филофил.

– Еще как здравствую! – радостно отвечает тот.

– Ну как? Возлег Рейган с Милицанером?

– А то! Еще как возлег!

– Значит, удалось вам?

– Эх, батюшка, – смеется Пригов, – так мне ведь еще ТОГДА удалось!..

– А, ну да, ну да!.. А живете-то где? В Беляево?

– Так точно! Нет краше моего Беляева! Вон оно, внимательно только смотри! – и пальцем показывает ввысь, в самую синеву...

Проснулся тут о. Филофил – хороший сон, ясный! – вскочил с постели бодро, словно мать поставила, смотал ВЖЖЖУХ обратно в тугую спираль, растворил дверь, вышел из клети сердца своего, и всё улыбался, и смотрел, смотрел.

Очередная прихожанка завзыскивала духовного и пришла к о. Филофилу за наставлением, а там, глядишь, и в надежде выцыганить окормление – как беседа пойдет.

В том, что беседа таки пойдет, она не сомневалась: о. Филофил последние пару дней пребывал в благодушном настроении.

– Скажите, авва, а вот хульные помыслы – откуда берутся?

Напившийся только что холодного бодрящего настоя каркаде, сиречь суданской розы, она же в крещении гибискус, о. Филофил сидел в тени под яблоней, поглядывал в кучевое летнее небо, чая дождика, дождик вовсю обещал быть, а о. Филофил отвечал ему сердечной взаимностью, и по такому случаю проглотил «авву» не поморщившись.

– Ну, это просто. Это единственно от глупости сатаны.

– Неужто?!

– Конечно. Это когда он пытается нас совратить на грех, чтоб похулили мы самую дорогую для нас святыню в самую для нас святую минуту – а добивается только того, что возблистывает у нас внутри молния когнитивного диссонанса, а в этом возблистании его, идиота, моментально становится видно.

– Страсть какая!..

– Да какая там страсть. Неразличимость и маскировка – его главное оружие, а тут-то он сего и лишается. А нам нечего в данной ситуации особо переживать: чего нам из-за него, собаки, переживать, это его грех, а у нас своих полно...

– Спаси ж вас Господи, авва!

– Да не за что! – благосклонно отвечал о. Филофил, в голове которого эхо подхватило: «...есть за что!.. есть за что!..»

Беседа у них потекла своим святоотеческим чередом, а потному размаянному сатане, притутулившемуся с той стороны яблони передохнуть в ожидании того же дождика, стало чрезвычайно обидно.

«По глупости, значит?! Вот сволочь! Ладно!.. Перевернется, якоже рече народ, и на нашей улице телега с пряниками!.. Я тебе, засранцу, не поленюсь, устрою когнитивный диссонанс...Ты у меня хлебнешь каркаде...» – нехорошо усмехнулся печальный до того момента дух изгнанья, отряхнул кожистые крылья от травинок и муравьиного сору, покинул яблоню и пошел к Богу.

– Господи, ты слышал?

– Ну, слышал...

– Признаешь, что он сам напросился?

– Ну, признаю...

– Бинго! Ну, так я пошел?

– Ну, иди...

– Только, чур, не вмешиваться! – уставил сатана в Бога длинный, нахальный, с нестриженым ломким когтем, в заусенцах и в ободке расплывшейся наколки-перстня палец, которым, бывало, столько раз заключал он разнообразные пари.

Бог сдвинул брови:

– Но-но! Ты, однако, не забывайся! Чуркает он!.. Иди уже!

Сатана принял демонстративно смиренный, но понтовый вид – такой вид имеют перед вошедшим в камеру начальством сидящие на кортах, хотел было, зажав ноздрю, высморкаться себе под ноги, но все ж таки побоялся, прощаться не стал, засвистел «Мурку» и моментально выскользнул за дверь.

О. же Филофил тем временем, закончив душеспасительную беседу и благословив прихожанку именословным перстосложением, так и не дождался дождика. Заметив, что день уж вечереет, он отправился в клеть сердца своего, затворил дверь, сказал: «ВЖЖЖУХ!» и стал укладываться спать по-старому, как мать поставила. О. Филофил и представить себе не мог, какой длинной, длинной окажется для него эта ночь.

О. Филофил любил и почитал святителя Николая Чудотворца.

Все его праздники.

Особенно – Николу Осеннего.

Взойдя в клеть сердца своего и затворив дверь, о. Филофил топил маленькую кособокую печку, смотрел в огонь, слушал, как осенний ветер по-бабьи хлопает снаружи сырым бельем, как шумят, облетая, дерева, тихонько пел тропарь Николе Осеннему:

– Сквозь рощу рвется непогода,
Сквозь изгороди и дома,
И вновь без возраста природа,
И дни, и вещи обихода,
И даль пространств – как стих псалма

– и всё не говорил: «ВЖЖЖУХ!», всё ждал, что заглянет к нему кто-нибудь; но никто не заглядывал, и он всё ждал и ждал по-старому, как мать поставила.

Мария ГАЛИНА

ИЗ ЦИКЛА «МЕРТВЫЙ ГОРОД»

Каждый день мы подходим к городу все ближе,
Женщины из окрестных сел приветствуют нас цветами,
Каждую ночь белый огонь на дозорной башне
Виден все ярче.

Он горел там за тысячу лет до того, как
В город вошел последний завоеватель.
Женщины приветствовали его цветами,
Его солдаты относились к ним с исключительным уваженьем,
Их потомки теперь в числе коренных народов.

Он сошел с ума на второй год правленья.
Выколол глаза дорогому другу,
Сыновьям и внукам отрезал яйца,
Каждое утро требовал свежей крови,
Жил долго, умер своей смертью.

Его преемник, человек достойный и кроткий
На второй год вырезал полстолицы.
С тех самых пор им не везло, беднягам. Их перебежчик
Нам сказал, что ворота уже открыты.
Горожанки подмываются и готовы.

Белый огонь на башне, как посмотришь
На него, на душе становится чище.
Когда мы вступим в их город, мы обязательно спросим
Чем они подкармливают свое пламя.

*

Она предпочитает платья черного цвета,
И недолюбливает красный и синий.
В этом и состоит ее вклад в производство добра и света,
Исправление искривленных силовых линий.
Она точно знает количество кошек в этом подвале,

Мария Галина родилась в Калинине. Окончила Одесский государственный университет, кандидат биологических наук. С 1995 года – профессиональный литератор, автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат поэтических премий Anthologia и «Московский счет», а также Приза читательских симпатий премии «Большая книга». Живет в Москве. В «Волге» публикуется с 2000 года.

Где вчера украдкой выломала решетку,
И когда их город завоевали,
Ей осталось сунуть в сумку только зубную щетку,
Оставляя старый буфет и коврики с лебедями
Этим с их транспарантами и блядями.
Там, вдалеке, светится единственное окошко,
Серенький снег заметает сухие астры...
Кошек, конечно, жалко, но только кошек –
Остальные все какие-то пипидастры.
Гордо звучат, кричат, маршируют бодро,
Красный и синий полощутся в мелких лужах...
От военной музыки сводит горло,
Но танцевальная музыка много хуже.

*

Здесь нет вокзала, сказал старик.

Но я точно помню, что был. Я помню вокзальную площадь... торговок семечками. И яблоками. Яблоки продавали ведрами. Желтые такие яблоки с битыми боками. Я полагаю, это падалица. Их никто не брал, но торговки все равно сидели.

Возможно, сказал старик, вам показалось. Ложная память.

Что – и яблоки?

Яблоки – то, что склонно казаться людям в первую очередь.

Но как-то, возразила она, как-то я же сюда попала.

Есть некоторый шанс, что вы жили здесь всегда, сказал старик.

Все равно должен быть вокзал. В каждом городе должно быть место, откуда можно уехать. Совсем уехать. Иначе этот город никуда не годится.

Здесь нет вокзала. Возможно, когда-то был. Очень давно. Когда-то и аэропорт был.

Что – спросила она, – отсюда нельзя уехать?

Если хотите, я могу перевезти вас на лодке, - предложил старик.

Нет, спасибо, – сказала она, – спасибо большое. Не надо.

Тогда отойдите отсюда, – сказал старик, – это место хорошо простреливается.

Иван МАКАРОВ

РАССКАЗЫ

Бедный Удодов

(Из восточноевропейских историй второй половины XX века)

Бедный Удодов! Каких только мрачных чудищ не выводила его рука! И с двумя и тремя головами. С глазами и без глаз, с ушами и без ушей, с конечностями и без... Головоногих и голожаберных. Некоторые были совершенно бесформенны и совсем ни на что не похожи.

А по небу плыли облака. Хорошие. Как живые.

Удодов не видел. Он рисовал.

– Ну, давай, – говорил он себе. – Рисуй. Рисуй, пока не получится настоящий...

Удодов знал, что если ему и удастся нарисовать настоящего, как живого, инопланетянина, ничего хорошего ему от этого не следует ждать: достоверно изображенное чудо-юдо возьмет да и оживет, материализуется (такова уж их природа), а кто знает, что будет у него на уме.

Однако выбора не было. Удодов лучше согласился бы дать разорвать себя на куски, чем отказаться от дерзкого замысла.

Иногда бесчисленные линии на листах уже, казалось, готовы были ожить, но какой-нибудь неверный или лишний штрих – и надо было все начинать с начала.

Приходила Евдокия Андреевна, приносила пива.

– Попозируй немного, – просил Удодов.

Что-то таинственное и неземное виделось ему в иных изгибах ее плоти.

Он поворачивал ее так и сяк, заставляя принимать самые невероятные позы. Толстенькая Дунечка вздыхала, но терпела.

Работа с натуры продолжалась недолго. Все быстро кончалось грехом и постелью.

Удодов целовал ее большие белые груди, печально смотрел в бездонные серые глаза.

Евдокия Андреевна смотрела на Удодова с беспокойством: измучился, бедный, целые дни без света, без воздуха.

Работая в пищеблоке, Евдокия Андреевна отличалась от своих коллег чистоплотностью и человеколюбием. Кроме того, была простодушна. Немалые добродетели!

Она отдавалась ему охотно и радостно. Она б и больше ему дала, но больше у бедной женщины ничего не было.

Удодов не задумывался, любит он ее или нет: он никогда о таких вещах не задумывался. Может быть, просто не успевал.

Странный был у него характер. Кругом курорт, лень, дремота, а он все рисовал, рисовал.

Впрочем, он был человек незлой, и по-видимому бедный. Больше ничего особенного за ним замечено не было. Когда впоследствии у начальника местной милиции спросили, что за человек этот Удодов, он только рукой махнул: безнадежно благонадежен!

Дни шли своим чередом, сладкие, теплые, похожие один на другой.

Иван Макаров родился в 1957 году в Москве. Окончил химико-технологический институт и заочно Литинститут им. Горького. Работал инженером, слесарем, дворником, сторожем и т. д. Публиковался в журналах и альманахах «Новый мир», «Согласие», «Знамя», «Юность», «Поэзия», «День поэзии», «Плавмост», «Крещатик», «Топос» и др. В 2006 году вышла книга стихов. Живет в Калужской области. В «Волге» публиковался рассказ «Крокодилка» (2017, № 11-12).

В начале августа по корпусам и палатам пронесся слух, что по всем лечебным и профилактическим учреждениям края отбирают песочные часы из процедурных кабинетов.

Зачем? Для анализа воздуха – динамики изменения его состава. В запаянных часах идеально сохранился воздух прошлых лет, и его предполагалось сравнить с теперешним.

Удодов свои часы решил не отдавать, спрятать, утаить от науки свою часть насущного фактического материала.

Заперев дверь, он переворачивал часы и приступал к рисунку. Настоящее могло получиться лишь в том случае, если перо или кисть будут двигаться по бумаге не дольше трех-пяти минут. Дальше неизбежно начинались фальшь и умничанье.

В сентябре на другом берегу озера разбилась и взорвалась летающая тарелка. Был организован поиск, но, как всегда, никого не поймали и ничего не нашли.

Удодов усмехнулся: не знают, где искать...

Деньги у него кончились. Добрая Евдокия Андреевна дала двадцать пять рублей. Удодов купил вина, чаю и что-то условно-съедобное в отделе «Кулинария».

Однажды вечером (был очень странный вечер, Дуня решительно отказалась позировать стоя: устала на работе, а на хоздворе выла, вынимая душу, какая-то дурная собака) Удодов заболел.

У него был жар, потом его знобило, потом снова было душно, жизнь приобрела какой-то совершенно отвратительный вкус. Он пытался собраться с мыслями, нашел оставшийся у него с давних пор портвейн, но и это не помогло. Ему становилось все хуже, показалось даже, что он может умереть, стало страшно, хотя он давно уже старался приучить себя не бояться этого.

Ночами снилось, что он разгадывает ребус из журнала головоломок и не может никак разгадать.

Долгих три дня Удодов почти не вставал, Евдокия Андреевна преданно ухаживала за ним.

Еще навещала его Маша, дочь какого-то начальника из столицы, отдыхавшая по соседству в пансионате «Жасмин».

Она с большим интересом рассматривала рисунки и попросила дать ей что-нибудь для предполагавшейся выставки «нового», как тогда говорили, искусства.

– Хоть все забери, – разрешил Удодов.

Тронутая его щедростью Маша положила руку на пылающий лоб. Превозмогая слабость, больной поймал и поцеловал руку. Маша смутилась и покраснела.

Врач определил у него грипп, выписал антибиотики и на вопрос Евдокии Андреевны «Как он?» ответил:

– Ничего страшного, сильная слабость, и посоветовал быть осторожней в контактах с больным.

Удодов, однако, никого не заразил и сам вскоре поправился.

Уж не шаманская ли, подумал он, была у меня болезнь?

Удодов как будто совсем прописался на курорте. Настала зима, а он все жил, жил, жил.

Накануне Нового года был концерт художественной самодеятельности. Удодов вместе со всеми сидел в зале, время от времени рассеянно поглядывал на сцену и непрерывно рисовал в блокноте.

Какая-то старушенция спела цыганский романс, потом прочитала стихотворение о любви старшая школьница, и маленький мальчик сыграл на баяне тридесятый этюд Шопена.

А потом на сцену вышел маленький человек в шляпе. Он показывал дрессированную собачку. Собачка послушно умирала и оживала, ходила на задних лапах, складывала и вычитала в уме.

И когда собачка в ответ на три плюс два совершенно правильно прогавкала пять раз, Удодов, задумавшийся было, действительно ли считает собака, или это дрессировщик подает ей нужное количество условных сигналов, вдруг со всей ясностью понял, что перед ним на сцене как раз тот, кого он так долго пытался изобразить на бумаге.

Вороватые и в то же время виноватые глаза, усы, нос, пиджачишко. Голос... Может быть, ему потому и не удавалось правильно изобразить пришельца, что он не знал, как рисовать голос?.. Бред...

Удодов жадно схватывал и переносил на бумагу черты дрессировщика. Дрессировщик заметил и махнул ему рукой: не надо. Зачем?

Увы грешной душе...

Некоторое время спустя слегка выпивший Удодов уже сидел в аппарате цилиндрической формы и серебристо белого цвета. Вокруг него что-то светилось и мерцало, трещало и щелкало. Некая конструкция в углу навязчиво напоминала раковину умывальника, а сверкающая никелем труба над головой была точь-в-точь как на спинке его кровати.

Как и следовало на таком корабле, Удодов все, что ему говорили, понимал без слов, но совершенно по-русски и даже почти без акцента.

Кроме Удодова и дрессировщица в кабине была Маша. В ироническом освещении межпланетного корабля она выглядела загадочно и немолодо. Хотя была по-прежнему привлекательна.

– И вы тоже?

Маша кивнула:

– И собачка дрессированная – это тоже я. Перевоплощаюсь, по-вашему. Хотите попробовать? Скажите: Маша, умри...

Удодов вгляделся в ее милые черты. Почему он раньше не угадал этих линий, не разглядел, когда она приходила к нему во время болезни!..

– Ну что вы волнуетесь, – голос дрессировщика без звуков проникал в сознание Удодова, – вы что, милиционер, что ли?.. Ну, какая вам разница, с какой мы планеты, вы ведь все равно кроме Большой Медведицы ничего на небе не знаете...

– Я верю, друзья, караваны ракет...

Все дружно рассмеялись вместе с Удодовым.

– Вы меня возьмете с собою?

– Полетать хотите?

Удодов быстро кивнул.

– А если вы полетите вместе с нами, вы хотели бы вернуться назад?

Удодов быстро кивнул два раза.

Пока заводилась машина, что-то долго трещало и щелкало. Привязанный ремнями безопасности Удодов приготовился перенести перегрузки и все, что положено, чтоб преодолеть притяжение родной планеты.

– Господи, помилуй, – прошептал он.

Что-то грохнуло, всхлипнуло, и они полетели.

Долго летали над землей. Удодов хотел спросить, как им удается так летать, нарушая все известные на земле физические законы, но жаль было оторваться от иллюминатора.

Озеро внизу светилось мириадами звезд, далекие огни пансионатов, санаториев и рабочих поселков проносились под ними, возвращались, кружились немыслимым хороводом.

– До свидания, Земля! – это был голос Маши.

И долго-долго потом Удодов ничего не помнил. Только иногда всплывали перед ним ненадолго бездонные глаза, белые руки и плечи Евдокии Андреевны (Дуньки!), и звучал ее отчаянно ласковый голос:

– Милый, что ты еще хочешь?.. Скажи...

И нельзя сказать, что Удодову ничего не хотелось. Хотелось, хотелось и очень многого. Он только никак не мог понять, чего именно он хочет, не знал, как это выразить, объяснить хотя бы себе самому.

– Господи, помилуй, – прошептал он и еще несколько раз повторил: – Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!..

И может быть, только это его тогда и спасло.

Барбос де Карабас
(Осторожно! Злая собака!)

Такая уж у меня судьба негустая вышла. Объедение без сытости...
Громко, звонко, заливисто, храбро домашние собаки лают на диких. Но это пока...

Вы верите в переселенье душ?
Не верите? И я не верил тоже.
Юрий Смирнов

Трансспсихизьм. По-русски иногда переводят как переселение душ. По-моему, неправильно. Трансспсихизьм лучше. По крайней мере, понятней.

Некоторые в это не верят. Но это только пока. Потому что их самих пока не коснулось. То есть коснулось, конечно. Это всех коснулось, только некоторым лень вспоминать, кем они были, и кто был кто.

Вернее, тогда, прежде, в прежней жизни лень было запоминать, кто они есть. Может быть, так бежали, что запомнить не успевали, может быть, все время за ними гнались или сами они все время кого-то гнали.

Говорят, чьей-то веселой легкой душе случается переселиться, например, из дикобраза в пальму... Или наоборот... Или из скромного честного человека в рыбу. В акулу. Или в плотву... Или в какое-нибудь зонтичное растение... Или из медведя в цаплю... Или в крокодила, или в белку, или в енота или в стрекозу... Или... Или...

– Эй, куда вы?

– Мы в удавы!

А мне не посчастливилось. Не удалось. Как прежде был собакой, так и теперь. Собака, собака, собака...

И по гороскопу я крокодил.

А еще раньше что было, я не помню. Не исключено, что тоже собакой был. В лучшем случае, волком. В крайнем – шакалом...

Хотя шакалы тоже иногда хорошие бывают... Калила, например, и Димна... Только не могу вспомнить, кто из них был хороший, а кто похуже...

Хотя как знать, возможно, когда-нибудь очень-очень давно я и кошкой был...

Например, может быть, леопардом... Леопардом хорошо. Красиво. Уважительно. Но это если и было, то так давно, что в леопарда я не верю. И кошек из-за этого я люблю слабо.

Что я теперь делаю? Ничего. Лежу на коврике, кусаю блох. Просто так живу и одновременно жду дальнейшего перевоплощения и реинкарнации.

И еще я очень боюсь потеряться.

В прошлой жизни, кажется, все же лучше было. Хотя мучительней. И холодней. И голодней. И опасней. И даже совести у меня, кажется, тогда совсем не было. Теперь сахарно. Но как-то подушевному не вполне уютно. Все вокруг страшно чисто и запахи химические, гигиенические. Стерильность такая, не только не собачья, но и не человеческая даже. Змеиная. Пресмыкающаяся.

В лифте ездить скучно до слез. Все гудит, и свет неживой. В подъезде кафель и блеск, как ванной.

Или как в ветеринарной клинике. Я однажды был. По поводу порванного уха. Убегал в соседний квартал, и был там неправильно понят. В клинике мне вообще-то понравилось. Доктора забавные и заботливые. И всякого зверья полно: очередь. Собаки, само собой, кошки, какой-то хорек на веревочке. Я его загрызть хотел – не дали. Еще белка была и хомяк. Обезьяна и поросенок...

И пьяный укол укололи. Перед тем как рваное ухо зашивать. Хорошо. Только уж слишком чисто. И хозяин огорчался:

– Людей, – говорит, – нестерпимо дорого стало лечить, а собак вообще – чистое разорение...

Я его люблю, своего хозяина. И даже сам не знаю почему. То ли просто так, то ли по своему собачьему устройству, инстинкту и карме.

Я теперь живу у ученого. В доме. В семье. А в прежней жизни я бездомный был. Дикий.

Мой хозяин, Андрей Леонидович, очень хороший человек. И это не только я так думаю. Это все говорят. Это правда. И я с удовольствием за него кому угодно глотку перегрызу. А также, разумеется, за хозяйку, Марью Антоновну, и за их дочку Дашу.

Она взрослеет, и ее чаще других нужно охранять и оборонять, такие гадкие и глупые вьются порой вокруг нее кобели. Так что она даже иногда старается выходить на улицу без меня, до того они мне не любы. Что ж, я понимаю.

Очень жаль только, что хозяин недостаточно знает об этом. То есть о моей преданности, усердии и готовности за него на все. По крайней мере, на многое. Я полагаю, на многих из тех, с кем ему случается общаться, обнюхиваться и т.д., ему лучше всего было бы просто меня натравить...

Говорят, когда-то Леонид Андреевич занимался одной только наукой, какой-то химией, и тогда все на свете было совсем хорошо, но это было еще до меня, или когда я был совсем еще беспомощным и бестолковым щенком. Теперь как бы у них уже без этого никуда, ко всему добавились всякие «общественные связи», политика, экономика, идеология, бизнес – бр-р-р ...Затрудняюсь даже, как все это вместе назвать...

И в результате всего помимо обычной научной работы хозяин стал еще каким-то начальником или совладельцем. Притом каким-то «неправильным», непохожим, нестайным...

Я в ихней собачьей политике давно уже лучше их самих понимаю. Только вслух сказать не могу. Да и в нефтехимии кое-что. Мне это легко: от меня ничего не скрывают, говорят не таясь, я многое вижу и слышу. Тем более я люблю хозяина и неравнодушно отношусь, мне надо знать, что с ним происходит.

Я все понимаю. Мы ведь, собаки, совсем уже почти как люди стали. Не такие звери, конечно, но все же уже тоже почти ничего положительного не осталось.

У Леонида Андреевича есть добрый приятель, священник. Они, собственно, и познакомились на нашей собачьей почве. Нас вместе прогуливали. Священник, о. Герасим, без предрассудков, и у него тоже живет симпатичный дворняга. По-ихнему, на человеческом языке, его зовут Кузя, хороший парень, только слишком добрый и немного нескладный.

Одинокому трудно на свете. Это я еще из прошлой я жизни помню, но все равно, я еще и другое знаю: нужно от других подальше держаться, не совсем подальше, но все же не слишком близко, соблюдать расстояния. Не зря ведь говорят французы: «Между чужими предательства не бывает».

Но только я собака, и от инстинктов своих и привязанностей мне не уйти. Поэтому я верный и зависимый. Помню, в прошлой безумной бездомной жизни у меня подруга была, потрясающая сука, я ее, кажется, до сих пор люблю, у нее вообще судьба была страшная. До того как она потерялась, она в цирке работала, на задних лапах по кругу ходила и огромный шар надувной на носу носила – сама рассказывала и показывала. Кроме шара, конечно. Где нам, бездомным, было на улице надувной шар взять? Она теперь, наверно, в человеческую суку реинкарнировалась: очень хорошо приспособленная была. И людей любила. А уж как я ее любил! Два раза из-за нее меня чуть до смерти не загрызли.

Раньше мы с хозяином чаще всего по маленькому кругу гуляли: двор, подворотня, пустырь, переулок, другой двор. Редко, по выходным, устраивались большие, почти охотничьи путеше-

ствия. Это было замечательно! Но это только по выходным или когда хозяин брал бутылку. Тогда он по пути часто останавливался и с видимым удовольствием смотрел вдаль и в небо.

Обычно мы, собаки, не любим пьяных, и я терпеть не могу, но у Леонида Андреевича непротивно получалось. В глупое животное он не превращался. Гадостей не делал, и даже, кажется, сколько я могу по-ихнему понимать, не говорил.

А теперь вот две недели подряд он ходит каждый вечер в сквер имени Репина. Мой бедный друг влюбился. А мне что за радость в том сквере? Там и собак-то почти нет, то есть и поговорить почти не с кем.

Зовут ее Ида. Худая, не такая уж и молодая. Рыжая, лохматая. Ее дохлая болонка обнюхивает меня, скулит и вообще оказывает всяческое внимание. Но мне на нее даже смотреть смешно. Разве, может быть, когда у нее течка начнется...

А хозяин, хоть и замечательный, безусловно, ученый, некоторых самых простых вещей откровенно не понимает. Эта Ида его усердно обнюхивает и облизывает, но бескорыстием от нее совершенно не пахнет. Интересы у нее нехорошие. Не столько ее привлекает сам Леонид Андреевич, хотя, конечно, и не без этого, но больше ее волнует его «общественное положение», место и роль, и кто он есть в ихней человеческой стае. Для них это так важно, кто есть кто. Гораздо важнее, чем кто кем был... И кто кем будет... Об этом вроде даже и не заботятся... Не понимают...

А, главное, мне кажется, эта Ида просто шпионка и провокаторша. Но старым бедным и честным людям так нравится порой это ихнее сучье внимание. Вот и Леонид Андреевич попался.

Я всем своим собачьим сердцем сразу почувствовал: наведет она на него каких-нибудь злых кобелей. Если б я мог как-нибудь предупредить его об этом! Ничего не могу сказать! Ничего! Лай, не лай...

На Иду я не рычу – бесполезно, и терплю даже, когда она меня гладит. Она не должна знать, что я про нее знаю. Даже догадываться не должна.

Однажды они гуляли до самой полночи и, как я понимаю, договорились еще где-то встретиться. Я развлекал ее мелкую псинку, а сам ревниво следил за хозяином.

Похоже, они о чем-то там своем, человеческом договорились. Во всяком случае, два следующих вечера мы там не гуляли, и вообще хозяина не было дома до глубокой ночи.

Меня прогуливала Даша, вся в окружении юных, вертлявых и шумных человекообразных особей мужского пола, причем один подонок даже схватил меня за хвост.

Ох, не миновать ему быть в следующей жизни собакой!

А хозяин был в это время со своей новой Идой. Правда, он даже мне ничего об этом не сказал, но я-то все знал, я – собака, меня не обманешь. К тому же Марья Антоновна звала и гладила меня чаще, чем обычно, и каждый раз неспокойно спрашивала: Ну, что, Барбос, где-то наш хозяин? А?

А потом мы снова пошли в тот же самый сквер имени Репина, весь в человеческих следах и окурках. Снова Ида была с ее болонкой. Погуляли недолго, оба они были как-то неспокойны, прощаясь, обнялись так крепко, что я от удивления даже завыл громко, и как-то даже не по-собачьи.

Неспокойно было в доме, неспокойно было во мне. Как я тосковал, что не имею дара речи, красноречия и вообще ничего такого не имею!

На следующий день вместо Иды в сквере к нам подошла совсем другая дама, вообще даже без собачки.

Она тоже как-то возбужденно повизгивала, ласкалась к хозяину и виляла своим невидимым человеческим хвостом.

Два каких-то нехороших типа стояли за редкими кустами, будто прятались, и все время наблюдали за нами. За ними то есть. Я-то при чем?

И еще на лавке поодаль подозрительные двое сидели, притворялись, что они сами по себе, но это дураку ж ясно, что они все заодно.

Я на всякий случай подошел к ним и облаял. Нехорошие люди засуетились, заволновались, один нагнулся, будто поднял камень: Пошел!

Я «пошел», отбежал, озираясь, еще гавкнул. Что толку? Да еще Андрей Леонидович громко позвал меня: будто я нехорошо себя веду. Давно б ему пора знать, что напрасно я никогда голоса не подам.

Наконец хозяин с барышней стали прощаться, и она, уходя, отдала ему какой-то сверток, несъедобный, непонятный и неприятный. Бумаги или что-то такое.

Хозяин спрятал пакет, потом зачем-то снова достал, повертел в руках, его что-то смущало.

В это время двое из кустов пошли к нам, и с лавки тоже и машина остановилась рядом на обочине.

Я понял: беда. Громко предупредил хозяина, но он уже и сам все видел, как-то бессмысленно застыл со свертком в руке, явно не зная, куда его деть и как от него избавиться. Враги были рядом.

Не знаю, что на меня нашло, какая меня блоха укусила, почему я так поступил, трусливо, вроде, и подло, только я не стал защищать хозяина. Не знаю даже почему, я сам бросился на него, вырвал у него сверток и побежал со всех ног.

Темные люди пустились за мной:

– Стой! Стой, стрелять буду!

– Стреляй, дурак, что ты предупреждаешь, это же собака!

Что-то грохнуло сзади. И быстро свистнуло над головой. Потом еще раз. Я выскочил на мост. Снова грохот сзади и свист над головой.

Какие-то люди сзади поднимались мне навстречу и шарахнулись от стрельбы. Женщина впереди вскрикнула и покачнулась.

– Не стреляй, дурак, там же люди!

На самом верху моста, возле какого-то идиотского неживого дерева, увешанного металлическими предметами, я остановился. Укусил сверток: бумаги. Мордой и лапами я спихнул все это в воду и – будь что будет – побежал к хозяину, еще раз гавкнул, и встал возле, высунув язык и громко дыша.

Однако оказалось, без бумажного свертка врагам нашим хозяин был совсем не нужен, да и им самим уже было не до нас.

Подъехали еще машины с жутко сверкающими и мигающими огнями и такими страшными завывалками внутри, что меня охватил на миг самый неописуемый ужас, так что захотелось снова бежать на мост, за мост или куда глаза глядят. Или просто в воду броситься.

Не знаю как, я одолел себя и решился, если что, хотя бы умереть с хозяином.

Но приехавшие в страшных машинах люди, все одетые в одинаковое и неживое, сами напали на наших врагов и стали валить их на землю. Я тоже хотел было схватить одного за штаны, но хозяин удержал меня за ошейник.

– Не знаю, – объяснял им что-то хозяин, – догхагеры какие-то... По собаке моей стрелять начали...

Один из этих, приехавших, кричал над моей головой, прижимая ко рту какую-то черную штуку:

– Женщина ранена. Беременная... На скорой забирают... Удостоверение предъявляют, говорят: взятка, а взятки нет никакой... Вообще ничего нет... Улик? Никаких. Никаких улик. Даже приблизительно...

Я вообще-то, наверно, почти все человеческие слова знаю и понимаю, а вот это дурацкое «улик», даже по общему смыслу уразуметь не могу.

Улик? Что за улик? – Наверно, гадость какая-то...

Ох, что было дома! И на другой день тоже. Меня до полусмерти захвалили, закормили, заласкали и загладили.

Несмотря на мой собачий в текучем воплощении сюжет, я почувствовал себя значительным и важным. Эх, если б еще за город поехали и меня с собой взяли...

Только и слышалось восхищенное:

– И как это Барбос (это я) догадался!

Приходили гости, и выпивали, и некоторым тоже обо мне рассказывали:

– Колоссальная подстава была. А Барбос выручил.... Вот и говорите теперь, что у животных разума нет...

Только гулять выходить мне теперь трудно стало. Прежде чем открыть дверь, мне навязывали на физиономию что-то вроде намордника и не снимали до тех пор, пока не приходили в большой двор, где и без нас уже было полно собак.

– Терпи, – говорила Марья Антоновна, – терпи, иначе нельзя, а то это такие люди, они на все способны, отравят тебя и все... Что-нибудь подбросят, ты съешь и умрешь... Терпи... Они теперь тебя пуще всех ненавидят...

Через пару дней мы снова пошли в сквер имени Репина, где ему памятник.

Правда, к счастью, никакой Иды с ее мерзкой болонкой там не было, и этой другой человеческой суки тоже.

Пришел батюшка со своим Кузей. Хорошо все же иметь друзей. О. Герасим тоже меня погладил и похвалил. Кузя не ревновал...

Откуда я знаю, что о. Герасим священник? Очень просто: во-первых, я слышу их разговоры, во-вторых, запах – свечи, ладан, а, в-третьих, но это уже чисто собачье сужденье: мне совершенно ясно, что он знает что-то такое, чего другие люди не знают. У него и кот живет, и Кузя, хоть и собака, с этим котом дружит.

И еще какой-то тип с ними был. Тоже меня гладил. Я его обнюхал, вроде не особо опасный. Вроде и неплохой, только не то что бы пьяный, а так, как будто недавно совсем пьяный был, и ему теперь нехорошо от этого.

И из-за кустов за нами, кажется, на этот раз никто не следил. Я все же с Кузей особенно играть и бегать не стал. Не такое теперь время, не такая жизнь, чтобы скакать беспечно. Крутился возле людей: слушал, смотрел, охранял. Обоих теперь. И своего Леонида Андреевича и о. Герасима. На Кузю-то какая надежда?..

А у о. Герасима в жизни, похоже, не только трудностей и опасностей полно, но они еще и возрастают почему-то. Каждый раз он выглядит все грустнее и тревожней. Что за жизнь? Выходит, не только у собак она трудная.

Ох, сгущаются тучи над Родиной!

Незнакомый человек передвигался не очень уверенно, грустно и громко смеялся, подносил ко рту какую-то белую штуку и выпускал дым (курил).

– Эти идиоты, – говорил он так громко, что даже в немноголюдном сквере мне страшновато было – не услышал бы кто чужой, – они вообще без голов... Они не просто беременную женщину ранили, они попали в невестку депутата Государственной Думы Кобелькова... Но, конечно, они теперь постараются так представить, что это Барбос виноват: слишком ловко уворачивался от пуль...

Он почесал меня за ухом:

– Да, Барбос?

Я не знал, да или нет, и пожал плечами.

*

Слов нет. Никаких слов нет. Скучно. Грустно. Страшно. Опасно.

Банально, конечно, и предсказуемо, но все равно худо.

Я потерялся.

Так уже со мной было один раз, когда я был маленький. Но тогда меня довольно скоро нашли. А теперь вот пока нет.

Хожу, брожу, тоскую. И кушать уже хочется. Скверно. И мысли приходят грустные.

Бедные мы все же, собаки. Так часто (да, и всегда почти) мы оказываемся невольными жертвами скверного поведения себе подобных.

Слов нет, многие наши, собаки то есть, порой не очень хорошо себя ведут, и от этого страдают все остальные. Получается предубеждение против всех собак на свете. Нет нам доверия. И не только у людей, но и у других собак тоже. Везде гонят, нигде не принимают, да я и сам не хочу. Всем я чужой. Я домой хочу. К своим. К Андрею Леонидовичу и к Марье Антоновне. И к Даше.

А дело было так...

Я уже довольно взрослое животное.

И автомобилей не боюсь.

Даже более или менее различаю марки. Большие, громкие грузовики, почти неслышные и оттого особенно опасные легковые.

Конечно, я не принадлежу к тем глупым собакам, которые гоняются за машинами с лаем. Через это они, кстати, часто попадают под колеса... Машинам-то все равно: лай, не лай...

И зачем нам за ними гоняться?

У нас своя дорога, у них своя...

Так же, кстати, как и реинкарнация...

Да, машин я не боюсь. Но эту... Но это транспортное средство я боюсь не вовремя заметить, пропустить, продремать, подпустить слишком близко...

На умном человеческом языке это транспортное средство называется «живодерка».

Из них выскакивают люди в рукавицах, у них веревки и петли, они стараются перекрыть с улицу с двух сторон, чтоб некуда было бежать...

И еще... У них удивительные глаза... Они одновременно и мертвые, и бегающие, и сверкающие...

И еще... От них часто пахнет спиртом...

Я вовремя заметил эту машину с решетками, она затормозила на повороте, и из кузова послышался вой и стон пойманных в нее собак...

И я побежал... Побежал вперед, и вперед, сам не знаю куда, и дальше...

Ведь люди из этой машины не знают, что хозяин рядом, не далеко, в другом конце двора... Да и испугаются ли они его... Им все равно, что на мне ошейник...

Я долго бежал, пока совсем устал и забылся, и от одной только усталости, может быть, почувствовал себя в безопасности...

И – потерялся...

Улицы чужие, дальние, длинные и некрасивые. И люди дикие. И собаки все вражеские на них. А собаки для меня теперь часто даже хуже людей...

...Хуже всего, когда своры попадаются равные по росту и по масти, особенно если черные, все одного помета – братья. Такие рвут всех и вся на своем пути.

Вспомнить страшно и противно, каким мне приходилось притворяться большим и грозным, чтобы избежать решительного и ненужного общения, чтоб у них хватило соображения не связываться, а только полаять, порычать и дать мне своей дорогой пройти.

На остановках и перекрестках, и везде, где много народа, я высоко прыгал и громко лаял. Я немаленького размера, но почти никто не боялся: Понимали, я просто потерялся и ищу хозяина. Но и помочь, даже если б кто и захотел, ничем не могли.

...А может быть, это от того на меня все злые такие, что я сам весь злой изнутри, задумавшийся и потерявшийся?

Где б еще воды найти. На водобоязнь себя проверить. На бешенство.

Да, да, да... Исправляться надо... Постараюсь, если найдусь... Теперь, когда я потерявшийся и задумавшийся, это все равно: исправляйся, не исправляйся...

...А, да все равно, как своих ушей не видать мне хорошей, благоприятной реинкарнации.

Человеческой хотя б.

Хотя люди, я заметил, не очень-то своего человеческого звания (воплощения) ценят. И напрасно.

Конечно, превозносятся перед нами, собаками...

Да и то не всегда. Только когда не боятся. Мы ведь и укусить можем...

...А на всех прохожих местах, где проходят особо сердобольные женщины с вкусными сумками, уже с самого утра широкими полукольцами лежат, ожидая их, крепкие, глупые, не домашние и не дикие, сбитые в стаи звери...

Хожу, думаю. А что остается? Только думать.

Собакам, говорят, собачья смерть. Ладно. Пусть так. Но и реинкарнация собакам тоже, что ли, собачья?

Так, выходит. Верный, стайный, не очень злобный. Отчасти самостоятельный. Но все же и я когда-то, кажется, волком был...

...А собак, я точно знаю, мне это хозяин рассказывал, человек из диких животных раньше всех приручил:

– Как друга, и в качестве пищи... Ну, и для шерсти еще, может быть...

Он мне много чего рассказывал.

– Жаль, – говорил, – ты ничего не понимаешь...

А я-то все понимал, я теперь понимаю, только по-другому немного... По-своему.

Кушать хочется. Хотел птицу поймать, разорвать и съесть. Два раза попробовал, не получилось. Они летают, а я не умею. Даже голубя не поймал.

На помойках ужас сколько еды. Но или заперто наглухо, или местных свора. На соседней улице попробовал прорваться. Куда там! 5 штук. Из них трое больше меня. А один еще и по возрасту. Не одолел.

Кошку найти? Хорошо бы. Хотя кошка хоть и не птица, а тоже еще поймать надо. И чтоб глаза не выцарапала.

Какое все вокруг одинаковое! Чужое. Дома, дворы, люди. Собаки. Все домашние, все чьи-то и все мерзкие. Мерзкие, как собачья жизнь. Или – как собачья смерть.

Но не хочу я еще, други, умирать...

Кошку ищу. Кажется, похоже. Запах. Кошкин след. И людей немного вокруг. Дом, двор. Вот она! Не успел. С забора мне ее не снять. Ладно. Да и кошка худая, драная...

*

И тут я ее встретил... Нет, не кошку... И не суку. Хотя суку тоже надо бы, чтоб совсем с ума не сойти.

Встретил я Иду. Эту самую бывшую новую подругу хозяина. Мы с ней сразу друг друга узнали.

– Барбос? Ты что здесь делаешь?

Я не зарычал, не залаял, не укусил.

Раздумывал, не предательство ли будет пожрать взять, если она предложит...

– Барбосик... Барбосик... Это ты? Иди сюда... Хороший мой... Точно, ты... И ошейник твой... Но что ты здесь делаешь?.. Или ты за мной следишь? Охотишься? Посмотрим еще, кто кого...

Она хищно сверкнула глазами и исчезла за дверью парадного.

Сергей ЗОЛОТАРЁВ

***

Зевну я бабочку земную,
Как молодые вратари.
Коленной чашечки минуя
разрыв мениска изнутри.

Крестообразные. Не связки.
А все завязки вообще
По жизни – ждут своей развязки.
Всего-то нескольких вещей.

Ошибочных нелепых действий.
Потом реакции на них.
И милосердного судейства,
От мертвых бабочек моих.

***

Ни звука. По капле беззвучье скользит,
в молчанье мое совершая транзит.
Накапливаясь, копясь,
со звуконепроницаемым телом
наладив иррациональную связь,
молчание станет всецелым.
Мы вымолкнем вместе в подобной глуши
до нитки, до нотки...
В резиновых шапочках эдак «моржи»
не слышат гудка проплывающей лодки.

***

Когда меня закрыли в бездне,
Я начал развлекаться песней,
Но песня мне не помогла,
Ведь у нее одни крыла,

Сергей Золотарёв родился и живет в г. Жуковский. Автор книги стихов «Книга жалоб и предложений» (М.: Воймега, 2015). Публиковался в журналах «Арион», «Новый мир», «Новая Юность», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Урал» и др. Лауреат премии журнала «Новый мир» (2015). Предыдущая публикация в «Волге» – 2017, № 11-12.

а надо гусениц железных,
чтоб вынесло из этого котла.

Сотворение мира

Есть цветы весенние, осенние.
Есть красивые.
Депрессивные.
Растут они из камня Симонова,
названного Петром.
Отличаются зеленовато-синим
цветом и осыпающимся ядром.
Планета, в которой носят людей,
пакет – благодаря им.
Скрепив своими первобытными страхами
почву, они стали тем раем,
той новорожденною рубахою.
И то, что ранее смывалось ливнями,
стало еще депрессивнее.
Стало держаться прахом.

***

Рыбный промысел о боге
заключается в таком
положении безногих,
чтобы явное – тайком.

Искупительная жертва –
удивительный улов
с воскрешением из мертвых
с разделением полов.

Где морские хлопотуньи,
как ударною волной,
оплывают землю туне,
огибают шар земной.

Омулевой этой бочке
черноморские бычки
как затычки, в оболочке
из свечной своей тоски.

Потому молчит сейсмограф,
что в глазах глубинных рыб,
от отчаяния мокрых,
человек страшнее глыб.

Потому морские недра
ядра прячут под стекло,
что снимать земную цедру
по живому западло.

***

Земля мала березовым корням.
Есть все размеры до сорокового
включительно, а далее – стерня
какая-то, пропущенное слово.

Дороги нет. Ремонтные работы.
И в тридевятом царстве мэр Москвы
родительскую празднует субботу:
сносившим всю кожевенную квоту
уж не сносить сапожной головы!

Своя пятидесятница в размере
частицы – есть у каждого. Подошв
отпущено достаточно – по вере.
А не достанет – по миру пойдешь.

***

От зимы останется мокрое место.
Для кого его придерживают – не ясно.
Только явно, что не для местных:
у нас – Пасха.

И отсутствие – в нас вызывает радость.
И такую, что вашей зиме не снилась.
У нее – повышение тла на градус
означает смерть, бормоту, немилость.

Реки станут ремнями и кисти улиц
стянут до онемения клейковины...
Когда руки заломлены, легче брести, сутулясь,
как и быть ни в чем не повинными.

***

Так тихо, что слышно, каким крылом
работает мир активней,
когда нарезает круги над столом
и путает нити ливней.

И в этой мерцающей тишине,
обратной потоку света
и времени, гаснут в твоем окне
и альфа лучи и бета.

***

Еще солнце не встало, а всюду уже светло.
Это небо делает такое возможным,
проводя световые волны не как стекло,
но как брачное ложе.
Птичьи парочки, расстелив пальто
и наевшись перебродивших ягод,
с пьяных глаз теряют ориентацию в орнитологии что-нибудь на год.
Только брачные игры их – результат
тех же свойств материи проводящей,
что мороз и холод и конденсат
и писанье в стол и играние в ящик.

***

Один листок есть колышек – и дерево
вокруг него пасется, как коза,
на всю длину февральского доверия,
стремясь не попадаться на глаза.

Один, почти бесплотный символ, воткнутый
непостижимым образом в надел
ночного неба при больнице Боткина -
гарантия удельной массы тел.

***

Вот он – практический потолок.
Теоретически, дальше – пол
нового уровня как итог:
то, до чего ты себя довел.

Верхняя кромка. Из облаков
выделишь несколько кучевых.
Свистнул ли громко и был таков?
Или же нету тебя в живых?

Но оглядишься: лучи, рассвет
мелко покрошен на облака,

сердце разрезано, как пакет,
ибо – кормушка для молока.

***

Совсем обнажилась от крови
душа и лежит на столе,
одежд не имеющей, кроме
стыда находиться в тепле.

Сжимающей, как афедроном,
мерцающим взглядом круги
вокруг предпоследнего схрона –
телесной своей шелухи.

И думая: все может сжаться
до точки, как шашки такси,
тоскою, и так может статься,
что иже еси – не еси.

Тогда остается надежда
на геометрический круг,
в который и вписана между
вращенья двойных центрифуг.

И если представить, что точка
себя ощущает в силках
опорою всей наволочки,
то надобность в ней велика.

И как бы, на этом погосте
земной основав монастырь,
глядит, как заботливо в кости
врезают титановый штырь.

Дмитрий ЛАГУТИН

СЕРДЦЕ

Рассказ

Зазвонил телефон. Старик схватил трубку, зацепив локтем чашку с чаем. Раздался глухой стук, и по полу во все стороны брызнуло.

– Пап? – донеслось из трубки.

– Да. Что там?

– Еще делают.

– Почему так долго?

– Говорили с медсестрой, она сказала, что такие операции быстрее не делаются. Сказала, что надо ждать.

Старик свободной рукой провел по лицу, надавил на веки.

– Держи меня в курсе.

– Андрей может приехать, забрать тебя.

– Аня.

– Пап...

– Аня.

Короткие гудки.

Старик положил трубку. Посидел, глядя, как чай подбирается к краю серого, в ворсинках, тапка. Позволил коснуться подошвы, потом убрал ногу, наклонился, поднял чашку. Из нее со шлепком выпал пакетик. Старик оперся на стол, встал – и, переступив через бурую лужу, пошел за тряпкой.

Вечерело. Квартира плыла в сумерках. Старик, охая, опустился на колени и принялся возить тряпкой по луже. Закончив, он замер и некоторое время сидел на полу, глядя в стену и не выпуская тряпки. Потом медленно поднялся, отнес ее в ванную и вернулся.

В кухне уныло гудел холодильник, пахло чем-то кислым. Старик подошел к окну. Небо густело, кое-где проступали бледные звезды, но казалось, что еще светло. Во дворе бегали дети, гуляли с собаками взрослые. Между домами напротив сияла широкая вертикальная полоса – было видно реку, противоположный берег, небо бледно-зеленого оттенка, вплотную прижимавшееся к горизонту. За рекой загорались огни.

Ползла неспешно лодка. Показалась из-за тридцать девятого дома, темным пятнышком протянулась по почти белой воде, дав на себя полюбоваться, и скрылась за сорок первым.

Старик постоял, глядя за реку, потом дернул форточку – в кухню ворвался каскад голосов, гудков и прочих составляющих привычного уличного шума. Где-то заиграла музыка, где-то закричали птицы, старика обдало прохладой осеннего вечера, занавески заплясали.

Зазвонил телефон.

Старик рывком обернулся, кинулся к столу.

– Ну?

Дмитрий Лагутин родился в 1990 году в Брянске. Окончил юридический факультет Брянского госуниверситета. Лауреат премии «Всемирный Пушкин» (2017, номинация «проза»). Публиковался в журнале «Новый берег».

– Что «ну»? – переспросил хриплый мужской голос.
– А, это ты.
– Я. Не рад?
– Извини.
Старик опустился на стул.
– В конце месяца будем собираться. Ты как?
– Не знаю.
– Почему?
– Просто не знаю.
– Валя! – раздался с улицы женский крик. – Домой!
Голос в трубке запнулся, потом проговорил как-то неуверенно:
– Ну, как узнаешь – позвони, что ли.
– Да, конечно, – вздохнул старик. – Ты извини, день такой...
Помолчали.
– Все в порядке? – спросил голос.
– Да... Не знаю... – старик откашлялся. – Не хочу говорить.
– Конечно... – проговорил голос. – Конечно. Ты звони, не пропадай.
– Хорошо.
Короткие гудки.

Старик положил трубку, пошарил рукой по столу и зажег лампу. Потом встал, заглянул в чайник – есть ли вода? – и повернул ручку. Задрожало с готовностью синее пламя.

Старик повертел головой, дотянулся до завернутого в полиэтилен пульта и включил телевизор, темневший над холодильником.

В бело-голубой студии сидели двое – постарше и помоложе – друг напротив друга. За ними по широкому экрану плыли слайды. Старик прислушался. Говорили о Столыпине.

– Я глубоко убежден, – говорил тот, что помоложе, – что не погибни он, революции удалось бы избежать.

– Логика в этом, конечно, есть... – разводил руками тот, что постарше. – Но мы должны понимать...

– Валя! – снова закричала женский голос. – Домой!

Старик посмотрел на окно. Звезд стало больше – и сияли они ярче. Тридцать девятый и сорок первый были усыпаны пестрыми прямоугольниками окон.

Старик взял со стола чашку, повертел в руках, обдал водой. Потом отставил в сторону и сел.

Телевизор демонстрировал одну за другой черно-белые фотографии. Люди в мундирах, с орденами. Фуражки, бороды, здания с колоннами.

Старик постучал пальцами по столешнице, пригладил виски. Потом взял трубку, на мгновение закрыл глаза и, приложив ее к уху, набрал номер.

Гудки.
– Да, пап.
– Ну что там?
– Пока ничего. Ждем.
Старик помолчал.
– Ты там как? Может... Давай Андрей приедет.
– Аня.
– Папа, это же безумие какое-то. Ну, время ли... для всего этого?
Старик повысил тон:
– Аня.
– Как хочешь.
Короткие гудки.

– ...самую фигуру его, самый его образ, духовный и даже, я думаю, физический, как трудолюбивого и чистого провинциального человека, который немного неуклюже... – читал с листка тот, что помоложе.

Засопел, задрожал и, наконец, завизжал чайник. Старик встал, погасил пламя, кинул в чашку пакетик и, морщась, залил кипятком. Потом посмотрел на часы и подошел к окну.

Сразу за рекой небо мерцало холодным светом, выше тонуло во мраке. На том берегу вспыхнул и засиял самый яркий огонек из всех – похожий на маяк.

Старик снова посмотрел на часы, перевел взгляд на телефон. Покусал губы. Потом медленно подошел к столу, поднял трубку, зажал ее между ухом и плечом.

– Валя! – раздалось от окна.

Старик нахмурился, шумно выдохнул и простучал по кнопкам.

Занято.

Старик скривился точно от боли и с грохотом вернул трубку на место.

– Все это мелочи, – продолжал декламировать, не поднимая глаз от листка, тот, что помоложе, – но характерна их сумма. Он занят был всегда мыслью, делом; и никогда «своей персоной», суждениями о себе...

Старик глубоко вздохнул, что-то пробормотал себе под нос и сел. Поднес к губам чашку, но было слишком горячо.

Тот, что постарше, слушал внимательно, поглаживая бородку. Едва его собеседник закончил, программа прервалась – и экран замелькал рекламой. Старик сморщился – и выключил.

За стеной раздались голоса. Старик прислушался, попытался разобрать слова, но не смог. Встал, неуверенно прошел взад-вперед по кухне, постоял у окна, открыл и закрыл холодильник. Потом долго смотрел на телефон. Наконец, потер ладонью затылок и вышел в коридор, а оттуда в комнату. Свет он включать не стал, наощупь добрался до дивана и лег.

Но сон не шел. Старик лежал, глядя в потолок. По потолку тянулись, сталкиваясь и сливаясь, полосы света. Стрекотали на комоде часы. Старик лежал, сложив руки на животе.

За окном залилась истошно чья-то сигнализация, завыла надрывно, тонко, на все голоса. Потом стало тихо. Прогромыхали наверху чьи-то тяжелые шаги, показалось, что вздрогнула и чуть слышно зазвенела люстра.

Сна не было.

Когда старик вспомнил о чае, раздался звонок в дверь. Тут же – еще один. Старик подскочил, едва не упав, и зашаркал в коридор. Не посмотрев в глазок, зазвенел ключами и распахнул дверь.

Никого не было. Старик услышал, как гудит, удаляясь, лифт.

Он постоял еще с минуту – по ногам потянуло холодом, пахло сыростью – потом закрыл дверь, прошел в кухню, сел и включил телевизор.

В студии появилась женщина строгого вида, в очках, с огромными красными бусами на шее. Она назидательным тоном что-то говорила, а мужчины слушали и кивали. Тот, что помладше, порывался что-то вставить, но раз за разом осекался.

Старик одним махом опустошил чашку и откинул голову назад, коснувшись затылком стены. Потом дотянулся до телефона и проверил, хорошо ли лежит трубка.

Женщина договорила, удовлетворенно сложила руки на коленях – и передача снова ушла на рекламу. Старик встал и прошагал к окну.

Было темно. По двору в поисках места ползал автомобиль. Свет от фар блуждал, изгибаясь. Из-за тридцать девятого показалась луна. По реке, вздрагивая, тянулись огоньки. Промелькнула мимо окна тень – летучая мышь. Старик приблизил лицо к стеклу, подышал на него, тут же стер мутное пятно ладонью.

Потом вернулся к столу, сел, опустив подбородок на грудь, положил руки на колени и замер. Сперва он смотрел на свои ладони, потом веки сомкнулись, и со стороны могло показаться, что он спит.

Заурчал в подъезде лифт. Этажом выше кто-то запел. Потом стало тихо. Старик пошарил рукой по стене и выключил свет – кухня провалилась в темноту. От окна сквозь занавески вилось холодное неровное сияние. Загудел нервно холодильник, в комнате еле слышно стрекотали часы.

Старик сидел, не шевелясь. По пальцам пробегала тонкая дрожь.

На квартиру навалилось грузное, плотное беззвучие. Притих холодильник; стрекот часов становился все реже, истончался – и, наконец, выскользнул куда-то и исчез. Старик услышал биение собственного сердца. Раз удар, два удар, три удар... Громче. Еще громче. Сердце стало увеличиваться, заняло целиком грудную клетку, вышло за ее пределы. Сердце росло как воздушный шар, отбивая гонг – раз удар, два удар, три удар. Сердце заполнило кухню, ударило еще раз, другой, третий – и поплыло сквозь стены – в комнату, в подъезд, к соседям, за окно. Мир сотрясался и пульсировал – раз удар, два удар, три удар.

Старик боялся пошевелиться, пальцы дрожали.

И тут зазвонил телефон.

Все тело свело судорогой, он выбросил руку вперед – и трубка громыхнула, повалившись. Щелкнул выключателем и, щурясь от нахлынувшего света, схватил трубку, перевернул, прижал к уху.

– Слушаю! – воскликнул он хрипло.

– Сделали, пап. Все хорошо.

Старик уронил голову на стол, прижался к нему лбом.

– Что говорят?

– Что еще какое-то время будет здесь, а потом переведут. Угроз нет.

Старик тяжело дышал.

– Пап.

– Да.

– Приезжай, а? Она в сознание приходит... Ну сколько можно?

Старик замолчал, облизал пересохшие губы.

– Пап.

Старик не отвечал.

– Пап.

Он отнял лоб от стола, провел рукой по волосам.

– Не... Не знаю, Аня... Не могу.

В трубке помолчали.

– Папа.

– Да?

– Вы – плохие люди. Оба.

И она бросила трубку.

Старик сидел и слушал гудки. Сердце гремело, как молот по наковальне. Он медленно водрузил трубку на место. По телу разливалось какое-то тепло, в голове шумело. Старик встал, сполоснул чашку и поставил ее на полотенце дном вверх. Потом погасил свет, проверил газ – ощупав каждую ручку – и ушел в комнату. Там он, не раздеваясь, лег, укутался в плед и закрыл глаза.

Этажом выше кто-то запел.

Старику снилось, что он идет по берегу – к реке. Песок засыпается в тапки и скрипит. Река светится, над ней ползет неспешно луна. У самого берега качается лодка. Стучат о борт весла, от носа куда-то в песок тянется веревка.

Старик идет медленно, ежится от ночной прохлады, кашляет.

Наконец он добирается до кромки воды. Тапки тонут в мокром песке, от реки пахнет листвой. Старик делает шаг, другой – и ноги по щиколотку уходят в ледяную воду. Он охает, хватается за влажный борт, перевешивается через него и вползает в лодку, на дне которой хлюпает та же вода. Старик садится и озирается – река пустынна, противоположный берег прячется в тумане, сквозь белое марево моргают еле заметно огни. Он с большим трудом развязывает веревку и бросает ее

на берег. Потом кладет ладони на тяжелые весла и пробует грести. Весла спотыкаются, скребут по песку.

Лодка медленно трогается.

Старик шумно дышит и гребет, то и дело оборачиваясь. Но берега не видно, над рекой тянется туман. Хлюпает на дне лодки вода, ногам холодно. Слышны всплески – и вместе с веслами взмывают в воздух ледяные брызги – некоторые из них долетают до щек и обжигают. Старику тяжело и страшно, но он продолжает грести.

Туман окутывает лодку, и дальше старик движется будто в молоке. Воздух влажен, старику кажется, что он не дышит им, а пьет его. Далеко вверху появляются и тут же исчезают точки звезд. Старик оглядывается через плечо и видит далеко в тумане огни. Там берег.

Становится холоднее. Старик то и дело бросает весла и дышит на посиневшие ладони. Старается грести быстрее, но лодка ползет как ползла. Грудь точит кашель, зубы стучат. Сердце снова начинает грохотать – раз, два, три. Старик озирается, поджимает ноги, стучит ими по дну.

Когда он уже готов бросить весла, лодка врезается носом в берег. От толчка старик подается назад, изгибается, пытаясь удержаться – и падает вперед, на колени, едва успевая выставить руку перед собой. Не переставая стонать, встает, выпрямляется и, обхватив руками борт, вываливается на песок.

Но берега не видно. Вокруг старика – белая пелена, из нее выглядывает одиноко нос лодки. Старик щурит глаза, машет руками, чтобы разогнать туман. Кричит, зовет на помощь, изо рта при этом вырываются облака пара. Старик, чуть не плача, обхватывает себя руками и медленно, охая и останавливаясь, бредет в сторону огней. Они не приближаются.

Воздух становится все холоднее, в тумане сверкают то ли снежинки, то ли кусочки льда. Старик идет из последних сил, сцепив зубы, зажмурившись. Но идет не долго – ноги его подкашиваются, он оседает на землю и закрывает лицо трясущимися руками. Туман становится гуще, старик несколько раз негромко кого-то зовет – и тело его начинают сотрясать рыдания. Слезы катятся по щекам на ледяные ладони, с них падают на песок. Сердце гремит.

Вдруг он вскидывает голову – сквозь оглушительные удары он слышит что-то еще. Вытягивает шею. К нему приближаются тяжелые глухие шаги. От каждого – вздрагивает земля. Старик вжимает голову в плечи и ждет. Шаги все ближе – и старик видит сквозь туман исполинский силуэт.

Очертания становятся яснее и, раздвигая плечами пелену, перед стариком возникает могучая фигура в три человеческих роста. Белый мундир, ордена. На поясе – вся в вензелях – сабля. Спокойное, задумчивое лицо. Старику знакомо это лицо, он видел его в телевизоре, о нем говорили двое – помоложе и постарше. Потом еще вступила женщина с бусами и никому не давала вставить слово.

Столыпин смотрит на старика, потом наклоняется и берет его на руки, как ребенка. Старик прижимается к белому мундиру и молчит, по лицу продолжают катиться слезы. Столыпин делает шаг, еще один – и, не глядя на старика, идет вперед. Перед глазами старика мерцает какой-то орден, блики скользят по краям и тают в тумане. Старик успокаивается и согревается. Подносит ладони к губам и дышит в них. Веки сами собой смыкаются – и он засыпает.

Александр ПЕТРУШКИН

***

Из камня видно птицу
раздвинутую, словно
окно закрыть забыли
или, расслышав слово,
свет спицей птицу вяжет,
из молока и мрака
нанизывая слайды,
а всё, что есть, то клятва
нас возвратить обратно.

И ты дрожишь снаружи
и, связывая в стужу
узлы огня и камня –
как трещина обрушен,
из камня вынув птицу
несёшь её в ладони,
страшишься, что она
в огонь тебя уронит.
И если ты заплата –
сквозняк в огне и камне
всё возвратит обратно
в разомкнутые пятна.

Ключ повернёшь у птицы
зияющей полётом
и страхом высоты,
что обступает плотно,
и на себе несёт
её несущий воздух,
чтоб небо возвратить
в себя пока не поздно.

***

Мир упростив до слова снег,
сложив его в себя, как вещи

Александр Петрушкин родился в 1972 году в Челябинске. Автор нескольких книг стихотворений и ряда журнальных публикаций. С 2005 года живёт в Кыштыме Челябинской области. Куратор евразийского журнального портала «Мегалит». В «Волге» публикуется с 2009 года.

в бесформенный свой чемодан,
в потёртый сон, что будет вещим,
где чудом посреди снегов
стоит, у переезда стёртый,
смотритель – и глядит, глядит,
как пятый под откос уходит,
и, в маятник сложившись, ночь
черкает эшелоны, глыбы,
скелеты неживой воды,
паренье лыбящейся рыбы.
И нет в нём никаких причин,
но – пролетая над тобою –

он снова бел, как снег и снег.
Белее. Проще.

Рождение Гомера. Попытка эпоса

] циклоп сходящий, пока огонь,
как время, не настигает его,
вырывая у смерти из ржавого рта
язык чужой – отчего легко
ему теперь по кругам ходить,
и лакать трёхголовый и пёсий смех,
где земля округла, читай – черна,
рассыпается льдом из своих прорех,
где циклоп, восходящий – как будто крот
в ней нору для себя, как нарыв, прорыл
и теперь как звук из себя течёт,
обретая не жизнь, а холодный миф.

Он сойдётся с собою, вложив ладонь
в кровоточащий глаз, что взращён из мглы
и метели, и всадников – словно конь,
что теперь освещён из таких глубин,
где число едино, и как игла
протыкает надутый пейзажем глаз,
преломив, как ребро, его горизонт,
расширяя до неба горящий лаз,
там стоит циклоп у своей воды –
ни живой, ни мёртвой – а просто так
протекающей все жернова горы,
вместе с телом его размывая страх.

И отсюда уходит циклоп слепым,
уменьшаясь в размерах чтоб видеть всё –
и в руке у него, как Гомер, горит
белый взгляд, похожий на колесо.

***

В детстве раковина горы казалась мне переспелой.
Взойдешь на неё и слышишь: кровит спрятанный в её белом
мясе – пёс соседский, из кварца он извлекает лапой
море, которое изнутри обложено чёрной ватой
звука, стиснутого меж дном и лодки отплывшей щепкой.
те, что жили под этой корой, в дом относили ветки

словно бы руки живой горы, падающей за снегом.
Только не было в детстве горы и раковины, и тела.
Но разгибался воздух водой там, где садов коромысло
росло без меня, но одно за двух, и собирало числа:
звёзды и высоту, и лёд, печь и колун с дровами,
треск переклички сухары, сорок и ангелов с небесами.

Горло воды сокращалось, как ризница между небом
и шумом в раковине горы, где свет обрастает белым
или звезды водокачка в нырке своём возвращается в сани
и катится, там, где лежит астроном меж рождеством и яслями,
а хватишься и – теперь не болит, в метель проявляясь, ветка –
только на лбу у неё горит и индевеет метка.

Только ли [?] голос ветки высок или сквозная рана
смотрится в раковину углом слепым своего океана
или собака свернулась в связки и кров, и мышцы
света падающего узлом, о лес в себе оступившись,
и переносит в клыках своих звук и весло, и место
тех, кто уснул посреди горы, под воздуха тёмным весом.

Чаепитие

Ожидание вкручивает пустыню
во времени верхнюю чашу
вычитает из сухой зимы
висок, лодку и пашню.

Будем пить чай –
раз остальное неважно,
после сюда придут за тобой
только лодка и пашня.

Висок побелеет до кости самой
или пополнит чашу
нижнюю, вспаханную, как смерть
ожидания – и не страшно.

***

Прогнётся вспышка, словно бы
до глубины в себя спускаясь,
рукою дотянуться и
извлечь из нас всё, что осталось,
достать сиреневой рукой
из бездны сумерки и плечи,
где каждый, пойманный на речь,
что не случилось с ним щебечет.

Прогнувшийся, как мост, внутри
у диафрагмы листопада –
дрожащий, невозможный с ней,
он – кадр, которого не надо:
то вправо отплывёт, то львом
ощерит пасть перед впаденьем
в её горячую ладонь,
а то попробует поверить,

но не поверит до тех пор,
когда – разъяв его и слово –
польются воды из всех пор
у срамоты или улова,
сгущаясь в след поспешны. Вот
он чует прорастает болью
кто вспышки льёт в него, как йод,
а остаётся только долей

своей невероятной и,
сгибая вспышку, как закладку,
они идут, а мир сбоит,
но не становится утратой.

***

Подходишь к дому и сидишь, в ветвях
его умножась эхом каждой вещи.
– Ты есть ещё – тебе так говорят
они, расслышав голос человечий.

Их диалог прозрачен, будто смерть,
чей свет в окне намедни совершился,
и ты горишь у выхода внутри,
безмолствуя. И радость эта птичья.

Везде гнездо, родильня и роса,
которой ты, как берег, опечатан,

чтоб воздуха округлая коса
тебя роняла в небо, а не на пол.

О, счастие свистеть у дома, у –
не продлевая голоса пещеру –
дороги длинного печённого ау,
прияв своё бессмертие на веру.

***

У лампады или себя снаружи
обретаешь дом из отверстой стужи

и, свинтивши горло, выпускаешь голод –
от того, что ещё вероятен, молод.

Кто глядит в твоё зеркальце там, с изнанки,
не имея возраста или мамки,

как ворона или, скорей, воронка
что тебя износит на этой тонкой

часовой дуге, как на курской, или
златоносной, себя зачерпнувшей, жиле,

черепахой вспорхнувшей в сквозное небо,
расцарапав сквозняк, где светло и слепо.

Вся земля и небо туда, сквозь дырку
из тебя, сочится – про них чирикнуть

ты успеешь вряд ли и – в этом правда,
что письмо твоё возвратит обратно.

Никого нет в доме – и связан в узел
свет, в который ты белым мраком сужен –

от себя отшатнувшись в снопы, как стаи
всех словес, что тебе, словно Бог, внимают.

***

Ночью выпало море –
в остатке его будет ангел,
перевёртыш осадков размокших,
считавших арго

нашей местности,
множимой светом, на света овале,

там, где небо звенит,
оказавшись само себе дном.

И отрез полой ночи вернулся –
развёрнут из раковин слуха,
где отрезок из снега
всё занял от а и до б

а внутри его – ниша зияет
повсюду как будто
из побега от моря
остался ей вынутый бег.

Изымая из ветра пустоты,
как им же пропавшего сына,
кто стоит внутри моря? –
а) носит его на руках

б) его говорит,
оставляя всегда половину
в) сходя словно этот,
утерянный в нём, снегопад,

где троится, как зренье,
в земле перезревшая глина
или яблоко у снегиря
заржавело на белых висках,

у того, кто исчислил
из шумного моря пустыню
и оставил нам шум,
а за шумом – невидимый град.

Вот и сын возвращается
в света на свете прореху –
то подымет от моря дымы,
а то всё назовёт

или воды пожнёт –
хотя моря пожалуй что нету
а что есть – то окно,
и глаза занимающий Бог.

***

Пока ты жив ещё, а не здоров –
не щёлкнул над тобою полароид
бессмертья ангела [сомнительно] уста
и это всё тебя не беспокоит,

и трение из снов и скоростных
составов, прибывающих на сонный
вокзал, закрытый между век твоих,
не весит выдоха, которого не стоит.

И над тобой склонился тёмный свет,
и выдирает зрение из пасти,
к которому возможно ты привык –
как будто к смертности своей или напасти

любой другой, которая двоит
и повторяет место, то, что рядом
идёт с тобой, чтоб знал куда идти,
хотя идти ещё совсем не надо,

где наблюдатель покидает кадр
свой, вынутый из сна, из фотоснимков,
что зрением выкачивают нас
из времени, лишая его смысла.

Когда не жив, и зрения послед
сдираю в кожуру иного снега –
кто мне щебечет, что я оживу,
что верно – потому что неуместно?

***

Счастливы ль те, кто в нас преобразились? –
оставленные там, за поворотом –
они кусают тени в своих лицах,
как губы, а найти себе пилота
не могут, чтобы с ним пропрыгнуть в завтра
через заставу видимой им речки
нарезанной, как слово из бумаги,
сгорающей как мы, из каждой печки
из речи, проговоренной в них нами,
которые теперь от них далече.

В них шум от лип остался или липа
открыта им, как птенчик жёлтомордый –
и хлопает внутри её калитка,
и вопрошает небо: кто ты? кто ты?
внутри у них гуляют свет и стужа,
ангина или чай из бергамота
а если кто окликнет их снаружи –
узнают ли они, чья это нота?

Они счастливы – хоть того не знают –
перевернувши шёпот, как воронку,

в сквозняк, плетущий небу черепаху,
чтоб устоять на нити его тонкой.

***

Отвёртка зеркала, откручивает мир
и отпускает, как ракетка нёба,
слова слоящиеся в белый лабиринт,
из снега и бинта, и снега снова.

Кто там стоит с отвёрткой за стеной,
совсем один – со всем не одинокий –
качается, как снег, смыкаясь в винт,
соприкоснувшись с ангелом спиною?

Какая в нём сгорает пустота,
что вложена в перстов его воланчик,
когда сквозь зеркало играя в бадминтон,
он видит снегопад и бьёт иначе!

***

в животах у леса живёт гнездо,
из себя исторгая птиц
ну а птахи несут
огонь на плечах
как попытку гнездо избыть

выбирают из зренья его себя
по зерну – как тупик – по бревну
оставляют не лес а самих себя
как молчания тишину

***

Человека бумага размокнет и станет щелью –
прижимая зрачок к пейзажу, всегда оставляешь зазоры
между воздухом и морозом, которым взгляд леплен,
и любимой и смертью её, и за смертью такие просторы,
ледяные края, до которых – взор – долетевши,
обрастёт всей жизнью, как шерстью замедленной/влажной,
как немое кино о прибытии:

– поезд! поезд! – закричат мальчишки, становясь в снег влетевшей чайкой,
прижимай же взгляд, словно в стенку вгоняя кнопку
человечью – то, что успел он увидеть – вещи

вынимая, как плёнку засвеченную из тьмы – где кромка
его зренья – стоит один (потому безвиден,
как бумага) и трескается в снегопад, возвращаясь в лодку.

***

Вороне крутят хвост, как ключ,
внутри другая вечность,

а можно навзничь и вздохнуть
а после пусть излечат,

а можно время отпустить
и пусть летит, как шарик

сшивая в тело – отдохнуть –
из светлячков фонарик.

***

Всё происходит внутри – если это так,
то значит и свет, что ты видишь, тобой освещен,
вынут из щели, которая снегопад,
летящий сюда из времени, которому ты возвращён

прожектором бабочки, что снежинки любой кристалл
раскручивает, как дерево свой позвоночный столб,
вынув зрачок из годового кольца, сквозь который снег, словно пар,
вновь идёт на взлёт.

Надя ДЕЛАЛАНД

ДРАКОНЬИ СКАЗКИ
(в трёх рассказах – по числу голов:)))

Рассказ первый

Зайдёшь, бывало, к нему в скамейку поздороваться – здрассьте! – а он сымет с лысины парик и так улыбнётся. А если купишь у него чего – палой листвы там или высохшую травинку – и вовсе тебя не отпустит: заговорит своими рассказами. Благодарный старик. Вот и сегодня у него токшоу, у глухаря такого. И поди разбери – дурак он или мудрец. Поди, разбери...

«Жил да был на свете один дракон. Роста он был невысокого, но ладно сложен и с огромной жаркой душой в камине, который топился им мечтами о юных красавицах. От этого по ночам его глаза превращались в шесть оранжевых светящихся угольков (ну да, шесть, потому что одна голова – хорошо, а три – это ещё больше чем две), а из ноздрей дымились тонкие витиеватые струйки. В отношении пищи дракон был аскетом и, хоть и звали его Чвикодавом (от слова *чвикодавничать* – прищуривать глаза, радостно и быстро кивая головой и щелкая языком – так делают только попугаи и драконы, когда счастливы; ср. лат. hrucodavus и др.-греч. χρηκωδαβοζ), ни одной птицы он сроду ни одной головой не попробовал. Напротив, позволял крылатым парам по весне вить гнёзда и выводить птенцов на своих гостеприимных макушках.

И вот однажды утром, совершая будничный налёт на одну из деревень (он воровал в садах зелёные сливы), дракон заметил около колодца одну из тех юных красавиц, что являлись ему во сне. Спланировав в кусты и хлопотливо сложив перепончатые блесковатые крылья, он любопытной курицей процокал к узорному проёму в листве и высунул туда свою самую левую голову, которая была холериком (*средняя голова была флегматиком, правая – сангвиником, а меланхоликом, как вы понимаете, было сердце дракона). Остальные головы, терпеливо сопя ей в затылок языками синего пламени, ждали своей очереди. Юная красавица вблизи оказалась еще прекрасней и проще, и тем сложнее было Чвикодавчику помыслить о знакомстве с ней, сидящей прямо на траве и напряженно вглядывающейся в босую ногу. Конечно, подумал дракон, тут такие каменистые тропы, что даже мои чешуйчатые лапки чувствуют остроту и хрустящесть под собой. Напрасно босая красавица выбрала этот путь (и ужаснулся тому, что могла не выбрать).

Тем временем юная красавица (её, разумеется, звали Алёнушкой) отвлеклась на божью коровку, которая обстоятельно ползла по сочному листу подорожника, тихо о чём-то мыча. Синие глаза Алёнушки потемнели от восторга, поэтому она смотрела чёрными глазами, как пятнистое животное добралось почти до самого пика моста, соединяющего землю с небом, и, расправив целлофановый парашют, взлетело и исчезло. Надо сказать, что Алёнушка была красавицей настолько юной, что многие вообще считали её ребёнком (например, её мама, которая ну никогда не разрешала ей гулять допоздна, а вот Вере всегда разрешают, хоть она и младше на целый месяц и 8 дней).

Надя Делаланд – к. ф. н., преподавала в ЮФУ, окончила докторантуру Санкт-Петербургского госуниверситета. Работает в отделе интеллектуальной прозы издательства «Эксмо» и арт-терапевтом в психиатрической клинике «Преображение». Публиковалась в журналах «Арион», «Дружба народов», «Звезда», «Нева», «Новая Юность», «Литературная учеба», «Вопросы литературы» и др. Стихи переведены на итальянский, испанский, немецкий, эстонский и армянский языки. Родилась в г. Ростове-на-Дону, живет в Москве.

Но на самом-то деле она была уже большой и прекрасно помнила, что её ждут дома. Поэтому Алёнушка поднялась с чуть примятой травы, отряхнулась, взяла корзинку и ушла. Чвикодав практически сразу потерял красавицу из виду, потому что лес был очень густым. Глазами, полными слёз отчаяния, он смотрел в её простывший след и не решался сделать в него ни шагу. Его камин гас при мысли о том, что он никогда больше не увидит своей красавицы. И никогда она, всхлипывал он, не почешет ему ни одной шейки и не погладит ни по одной голове. И-и-и, подскуливал он, никогда не сварит ему манной каши (Чвикодав был хорошим мальчиком и всегда съедал всю манную кашу, что была в его тарелке). И никогда-да-да-да, ревел он, не скажет ему своим нежным, как серебряный ручеёк, голосом ни одного слова. Он так расчувствовался, что не услышал хруста веток за спиной. Кто-то подошел к нему босыми ногами, остановился близко-близко и поздоровался. О, этот голос! Дракон обернулся сразу всеми своими ста головами и устремил изумленный и счастливый взгляд на пришедшую к нему Алёнушку. Она улыбалась ему, она не боялась его.

– Здравствуй, дракон! – повторила она еще звонче».

Он замолк, а в глазах его дрожала и переливалась эта сцена: девочка с корзинкой и дракон, стоящие в чаще леса.

– Ну, – спросил Емельян, – и что дальше?

Старик очнулся от напавшей на него задумчивости, обвёл опустевшим взглядом толпу заслушавшихся его людей и ответил:

– Не знаю.

– Как это, ты – не знаешь?! – возмутились голоса.

– Не знаю. Ко мне сегодня ночью приходил мой дракон и тоже спрашивал меня, что дальше, – признался старик.

Он заметно погрустнел.

– Так тебе и надо, простолысина, – резюмировал Емельян, – нечего, понимаешь, придумывать всяких драконов. Чего ж ему не прийти-то, ежели ты его придумал?

– Да, – согласился старик, поднимаясь и собирая свой нехитрый товар в резной, как проём в листве, сундучок, – мое счастье, что я придумываю добрых драконов. Возможно, и я надеюсь на это, Чвикодав сам мне расскажет, что было дальше. Потом, когда опять придёт ко мне в гости...

И, размышляя о добрых драконах, побрел домой, хотя все знали, что дома у него нету. Перед самым поворотом он обернулся и помахал всем рукой на прощанье. Его глаза добро светились оранжевыми угольками.

Рассказ второй

Вот же незадача! да скорее же! он уже сидит в своей стариковской скамейке, держа у самых губ новый рассказ. Не успеешь – никогда не узнаешь как:

«От тихой нежности у него похолодело в животе, и две огромных прозрачных слезы, как две медленные улитки, наперегонки поползли пупырчатыми зелеными щеками к обрыву драконьей морды. Улыбаясь и жмурясь, Чвикодав протянул к Алёнушке свою правую переднюю лапку и дружелюбно потрепал хрупкое плечо. Девочка не вздрогнула и не отшатнулась, она просто ждала. Деликатно откашлявшись, дракон произнес бархатным баритоном средней своей головы:

– Здравствуй, юная красавица. Как хорошо, что ты не ушла. То есть... как прекрасно, что ты пришла... Я хочу сказать...

От счастья Чвикодав совершенно запутался, смутился, предательски покраснел и повесил на кончике своих раздвоенных языков по упитанному молчанию. Молчания бы так там и висели, покачиваясь в такт его выдохам и вдохам, но Алёнушка, с непосредственностью, свойственной равно детству и красоте, уже изучала Чвикодавские крылья, проводя по ним осторожной ладошкой:

– А ты – настоящий дракон? из сказки? – спросила она вдруг в самое крыло. Крыло встрепенулось, и из-под него вылезла левая голова (которая, как вы помните, была – холериком :-)

– Конечно, из сказки, самый что ни на есть настоящий сказочный дракон, – Чвикодав горделиво расплылся в улыбках (гы!) и стал похож на букет из трех тюльпанов, по замыслу художника склонивших свои рыжие подбородки в разные стороны. – Почему ты спросила, Алёнушка? Разве ты уже умеешь не верить? Я хочу сказать – не верить своему сердцу.

– Да нет же, я верю своему сердцу, дракон! Мне только хотелось уяснить для себя, знаешь ли ты то, что знает – оно.

Дальше можно было уже не слушать, о чем они болтают, взявшись за руки и шагая в сторону тропинки, вьющейся между невозмутимых деревьев».

– Почему, – удивился Емельян, и для убедительности на его нижней губе влажным блеском прочернела скорлупка подсолнечной семечки.

– Потому, что было достаточно посмотреть на них, чтобы понять, как они счастливы. А слова – вещь относительная и... второстепенная.

– Но твои сказки состоят только из слов, – настаивал Емельян.

– Да, ты прав, это всё, что мне теперь осталось, – глаза старика заблестели так ярко, что если бы была ночь, всем стало бы видно именно то, на что он смотрит. Старик смотрел в себя. Постепенно, насытившись его молчанием, слушатели разошлись. А он всё сидел и сидел, пока и впрямь не наступила ночь...

Рассказ третий

– Эй, старик, а что было дальше? Всем не терпится узнать конец твоих сказок!

– Разве это не грустно – конец сказок? Впрочем, воля ваша:

«Алёнушка дружила с драконом долго-долго, пока не поняла, что любит его. К тому времени ей исполнилось 17 лет, она была самой красивой девушкой на Земле, а бусы из грустных камней шли ей неимоверно. Да, так вот, как только Алёнушка поняла, что любит своего дракона, она поцеловала его. Он, естественно, превратился в прекрасного принца, молодые сыграли свадьбу и жили долго и счастливо. Но, когда пришло время умереть в один день, Чвикодав не умер, потому что ни один дракон не умирает своей смертью. И если никакой богатырь не приходит его убить, то вынужден он жить вечно. До сих пор он жив и одинок».

Старик тяжело вздохнул. Из его рта с сухим треском вырвался жаркий язык пламени.

– Здравствуй, дракон! – звонко догадалась белокурая девочка, юная красавица, пятилетняя дочь лесника, Алёнушка.

Дракон изумленно и радостно посмотрел в ее синие, такие знакомые, глаза, в которых, как полагается, совсем не было страха.

Остальные слушатели молча попятились, потом развернулись и пустились наутек.

– Здравствуй! – повторила она, сияя улыбкой.

_____

А что было дальше?

Не знаю...

Не знаю, но очень надеюсь, что мой добрый дракон придет ко мне сегодня ночью и сам все расскажет.

:-)))

Анна ГОЛУБКОВА

ЖЕНСКАЯ ЛИРИКА

***

Фаине Гримберг

она мечтала жить в маленьком домике
под островерхой крышей
с мужем, который будет
за все отвечать, и тремя детьми
в домике где все очень маленькое
и аккуратное
бронзовые ручки
на дверях и окнах
светильники с низко висящими
широкими лампами
похожими на раскрывшиеся цветы
низкие мягкие диваны
на полу выцветшие квадратики
старой керамической плитки
она стала вместо этого
железной бизнес-леди
и каждый раз возвращаясь
в свою огромную светлую квартиру
после рабочего дня в офисе
после того как несколько раз
перекусила горло врагам
и дотла разорила конкурентов
в квартиру где все включая мужа
трех детей, домработницу
и маленькую собачку
бегали перед ней на цыпочках
и боялись хоть чем-нибудь
не угодить
она думала о своем маленьком домике
где в ожидании строгого супруга
и убежавших гулять детей

Анна Голубкова родилась в 1973 году в Твери, окончила исторический факультет ТвГУ (1995), филологический факультет МГУ (2002), кандидат филологических наук, автор нескольких книг стихов и прозы, а также монографии «Литературная критика В.В. Розанова: опыт системного анализа» (Кострома, 2013). Публикации в журналах «Октябрь», «Знамя», «НЛО», «Новый мир» и мн. др. С 1997 года живет в Москве. В «Волге» публикуется с 2009 года.

она все чистила бы и чистила
эти бронзовые ручки
пока они бы
не начинали блестеть
невыносимым
дьявольским
блеском

***

девочка рисует на песке сердце
море стирает контуры
девочка снова рисует
море опять стирает
девочка отходит чуть подальше
старается действовать быстрее
и на этот раз успевает написать «лена»
внутри красиво изогнутой линии
нет, лена, сюда никогда не доплывут
корабли ахейцев
набегает большая волна
и опять смывает
нарисованное сердце
с буквами внутри
и пожеланием удачи
кому-то очень
дорогому и близкому
скорее всего
самой
себе

***

когда-то они пытались
быть вместе
сыграть слаженную
романтическую мелодию
еще раз безуспешно
повторить опыт
не сложившихся
не складывающихся
и никогда не могущих быть сложенными
любовных отношений

они спорили мирились
и опять ругались
занимались сексом
бросали трубки

писали друг другу
отчаянные письма
и выясняли отношения
многими другими
разнообразными способами

а теперь они просто стали
соседними вкладками
фейсбука

***

zwei Seelen wohnen, ach,
in meiner Brust

два сердца в моем теле
одно большое неторопливое
и не очень доброе
ритм его редко учащается
иногда оно пропускает удары
второе крошечное почти незаметное
частит стучит торопится
хочет жить и действовать
два, два сердца в моем теле
одно – сердце циника и скептика
ему уже почти на все пофиг
ни во что оно не верит
ни на что не надеется
а второе – новенькое, с иголочки
ничего еще не испытавшее
в нем одни только надежды
только вера в будущее
и сплошные радостные ожидания
да, целых два сердца у меня
и они такие разные
такие друг на друга непохожие
одновременно противоположные
и друг друга дополняющие
целых два сердца у меня в теле
ритм их складывается
в гармоническую мелодию
то размеренно и постоянно
то бесконечно куда-то убегая
два, два, целых два сердца у меня
и это сама жизнь
в ее крайних проявлениях
перестукивается
у меня внутри

12.05.2015 – 02.01.2016

***

подари жизнь
ведь это такая большая ценность
нет ничего ценнее жизни
так возьми и подари ее
сделай такой большой подарок
поиграй немножко в сверхчеловека
пусть это будет новая жизнь
прямо с иголочки
чисто отглаженная и выстиранная
жизнь с чистого листа
абзац начатый с красной строки
подари жизнь
и все вокруг умилятся
будут тебя поздравлять
говорить молодец
ведь это так прекрасно –
еще одна новая жизнь
на и так уже перенаселенной земле
совсем-совсем новая жизнь
еще один человек среди
нескольких миллиардов
какое счастье
какое невыразимое счастье
выполни свой долг подари жизнь
сделай свою жизнь осмысленной
подари жизнь
прими осознанное ответственное решение
и подари жизнь
такую же бессмысленную
как и твоя

30.12.15

***

мы не знаем
что нам делать с сексом
наверное от него нужно отказаться
ведь секс отнимает много времени
которое может быть потрачено
на благо общества
секс заставляет людей
подходить друг к другу
слишком близко
нарушать чужое личное пространство
секс мучает лишает покоя

создает зависимость
так что действительно лучше без него
тем более что мы сами-то уже старые
так что и забыли
какое это упоительное занятие –
двигаться в одном
все ускоряющемся ритме
проводить языком по теплой коже
прикасаться губами
дотрагиваться пальцами
и шептать всякие глупости
в ухо своему сексуальному
партнеру

***

чем может закончиться
попытка перестать быть объектом
просто не быть женщиной
что надо сделать
чтобы перестать быть женщиной
похудеть поправиться
побриться налысо
перестать носить
обтягивающую одежду
перестать накладывать макияж
отказаться от каблуков
надевать исключительно
удобную обувь
изменить походку на очень корявую
носить на лице на редкость
мрачное и весьма
нелюбезное выражение
и наконец состариться
но даже это, увы, не гарантирует
что вас перестанут рассматривать
в качестве объекта

***

можно больше не писать
стихи о любви
эти надоевшие стихи о любви
никому не нужные стихи о любви
насквозь бабские стихи о любви
о том как тебя никто не любит
или о том как тебя любят
но не те

или о том как ты напрасно
пытаешься полюбить
и у тебя это не выходит
или наоборот выходит
но тебе от этого делается
только хуже
ведь женщина не может без любви
ей просто нельзя без любви
помыслить себя нельзя без любви
любовь – это главный компонент
бабской личности
без любви тебя как бы и нет
а вот и неправда – есть!
только без любви я и есть
не пишу стихов
не думаю о любви
чувствую себя
абсолютно свободной

***

роман ханьи янагихары
маленькая жизнь
я читала совершенно спокойно
разбирая хитросплетения сюжета
прослеживая романтические мотивы
на основе авантюрного романа
и выявляя отсылки к нравоучительным
повествованиям викторианской эпохи
это хорошая книга думала я
это очень хорошая книга
она обязательно будет представлена
в будущих учебниках литературы
так продолжалось ровно до момента
когда появляется маньяк
с его пустыми невидящими глазами
и тут литературоведение закончилось

в девяносто пятом году
поздно ночью после выпускного
мы с однокурсницей шли по улице
и навстречу нам двигался человек
он раскинул руки и загородил проход
и у него были точно такие же
пустые прозрачные глаза
– дяденька не надо
пожалуйста не надо
просила моя однокурсница
я же не чувствовала ничего

у меня все отключилось
это не я а кто-то другой
легко отклонился
сделал два шага
оказался за спиной у мужика
и треснул его по голове гитарой
имевшейся у меня в руках
к сожалению плашмя а не ребром
мужик развернулся и ударил меня ногой
скользящий удар попал по плечу
я его даже не почувствовала
– я тебя ударила, ты меня ударил –
сказал кто-то моими губами
– в расчете
мужик отвернулся и ушел
куда-то в летние
засыпанные пылью дворы

еще один раз я видела такие глаза
когда после ссоры поздно ночью
ловила машину
на садовом кольце
остановилась какая-то тачка
открылась дверца и оттуда
на меня посмотрели
точно такие же бесцветные
пустые глаза
конечно, я не стала садиться
поскорее захлопнула дверь
и убежала
ведь после того самого случая
мне время от времени
в самых кошмарных снах
снился этот пустой бесцветный прозрачный
не выражающий ничего человеческого
взгляд насильника

Родион ВЕРЕСК

ТО САМОЕ ЛЕТО

нон-фикшн

Петров Камень

Когда я стал взрослым, мама рассказала, что меня зачали на берегу широкой реки. Она протекала под окнами, медленно пронося речные трамваи, баржи, катера и – до самого мая – льдины. Лёд шёл с верховьев – бесформенный, тяжёлый, блестящий.

В детстве я ничего этого не знал, но меня, как ихтиандра, тянуло к воде. В моё последнее дошкольное лето тётка позвала нас к себе на дачу. Тёмно-серый бревенчатый дом, окружённый малиновыми зарослями, стоял на высоком обрывистом берегу. Река подмывала его год за годом, вгрызалась в песок. Чуть ниже жили ласточки. Они нарыли в песке гнёзд, превратив жёлтый обрыв в гигантский муравейник. Постоянно кружились над водой, кого-то ловили на лету и забирались обратно в свои норы. Потом, когда на уроках русского в каком-нибудь упражнении попадались фразы про ласточек, я представлял себе именно этот обрыв и тёмно-серый дом над ним.

– Подтолкните её ещё чуть-чуть на меня! – Димка, вцепившись одной рукой в красный борт лодки, другой пытается распутать ржавую железную цепь, которой лодка примотана к береговому штырю.

Мы с Дашкой налегаем что есть мочи, и ещё через мгновение лодка скользит вниз, так что мы едва успеваем отскочить в сторону. Тяжело шлёпнувшись кормой о речную волну, она прилипает носом к узкому песчаному берегу, словно внюхивается в него, как огромная хищная рыба. Вода в реке сейчас высокая, почти вровень с мостками. Димка объяснял, это потому, что шлюзы открыты. Утром, когда они закрыты, берег широкий, вода низкая, и мостки парят над ней, словно настоящий мост. Я ещё долго не буду понимать, что такое шлюзы, и слово это будет означать для меня какую-то волшебную силу, способную укротить такую огромную реку.

– Девчонки сядут на корму! – командует Димка, скручивая цепь. – А Игорь на нос. Будет за дорогой следить.

– Ты уверен, что он сможет? – чуть не шёпотом спрашивает Дашка. Она, кажется, с самого начала понимает всю бесшабашность и рискованность затеи. – Давай лучше я сяду!

– Я сяду! – ору я, пытаясь отстоять определённое мне место штурмана.

– Тише ты! – шипит Дашка – Совсем спятил, что ли?

Она берёт за руку Ульянку и забирается с ней на корму, я запрыгиваю следом. Димка вставляет в уключины оба весла, затем толкает лодку и в последний момент запрыгивает в неё сам. Ласточки кружат и кружат над нами, вперемешку с чайками, которые долетели сюда с Ладоги. Чайки кричат, как маневровые локомотивы, и иногда зависают в воздухе, точно вертолёты. Димка садится на среднюю лавку и начинает грести.

– Подтабань ещё немного! – кричит Дашка. – Всё, хватит, а то там дальше уже фарватер!

Родион Вереск родился в 1984 году в Саранске, детство и юность провёл в Петербурге, окончил факультет журналистики СПбГУ. С 2005 года живёт в Москве. Публиковался в журналах «Нева», «Урал», «Сибирские огни», «Новая Юность», «Знамя», Homo Legens, на порталах «Сетевая словесность», «Ликбез». В «Волге» печаталась проза (2011, 2015, 2016).

– Да брось ты, фарватер! – хохочет Димка. – До него ещё как раком до Пекина!

Мы все прыскаем со смеху, хотя ещё много лет не будем понимать, что значит это крепкое выражение, которое Димка подхватил у своего деда. Повернувшись, лодка ложится на течение, и мы плывём вдоль берега. Отсюда он кажется ещё больше – настоящий песчаный замок с множеством бойниц. Ласточки влетают в норы и вылетают назад.

– Игорь, ты смотришь за дорогой?! – подаёт с кормы голос Дашка. – Мы же сейчас в бакен врежемся!

– До него ещё как раком до Пекина! – говорю я, хотя бакен действительно довольно близко.

– Будешь хамить, сейчас выйдешь на берег! – огрызается Дашка.

Димке, значит, можно, а мне нет...

– Игорь, ты не по сторонам смотри, а вперёд! – доносится до меня Димкин голос.

Димка здесь – взрослый, хотя ему недавно исполнилось десять. Гребёт как надо: спиной к носу, лицом – к корме. Отец у него моряк, и дед тоже. Научили. Меня никто не учил. Сколько я ни просил, в ответ только и слышал: «Подрасти!»

– А давай доплывём до *Адоги*! – говорит Ульянка. Букву «л» она выговаривать пока не научилась. Но в шесть лет это простительно.

– Ага, а может, сразу до Финского залива? – голос у Димки звонкий, так что он, пожалуй, даже чаек сможет перекричать.

– Ты знаешь, сколько тут до Ладоги? – усмехается Дашка.

– *Скоко*?

– Сорок километров, – подсказывает Димка, налегая на вёсла. – Ты чё, не помнишь, мы прошлым летом туда на моторке ходили с дедулей и бабулей? Час плыли – но это на моторке!

– Ааа, – мямлит Ульянка.

Они обе с Дашкой зачарованно смотрят на десятилетнего гребца: одна на брата, другая – на соседа по даче, который старше её на год, но уже умеет ходить на лодке, рыбачить и нырять за моллюсками. Мне кажется, я ещё долго не научусь делать всего того, что умеет Димка. Он однажды говорил, что хочет, как и дед с отцом, стать матросом, а потом штурманом или капитаном. И водить теплоходы – огромные, четырёхпалубные, такие, как вон тот, впереди, показавшийся из-за поворота.

– Четырёхпалубник! – кричу я, прикрываясь ладонью от слепящего солнца.

– Видим-видим! – отвечает Дашка

– Видим-видим! – вторит ей Ульянка.

Отсюда белоснежный теплоход как живой: с огромными глазами и вытянутой мордой. Он приближается медленно, потому что идёт против течения. Будто зверь, который пытается выпить реку. Мы проплываем последние деревенские дома. Дальше по берегу – лес, спускающийся почти к самой воде. Это дикий пляж, как называют его взрослые. Вон там, немного впереди, – Петров камень. Димкина бабуля рассказывала, что когда-то давно, полвека назад, ещё до войны, здесь утонул деревенский староста Пётр. Около этого камня – глубокое место, и течение там сильное и холодное: затащит – и не выплывешь!

– Жалко я удочку не взял! – говорит Димка, складывая вёсла. – Тут рыбы полно!

– Откуда ты знаешь? – поправляя волосы, спрашивает Дашка.

– Мы здесь с папой рыбачили. Он вот такую щуку поймал.

– Фу! *Тепеть* не могу щуку! – букву «р» Ульянка тоже пока не выговаривает.

– Там костей много, – вздыхает Димка, вытирая пот со лба.

Теплоход уже довольно близко, и с палуб доносится музыка. Около носа бурлит белая пенистая вода.

– Сейчас будут волны! – кричит Дашка.

– Ой, а нас не будет качать? – канючит Ульянка.

– Будет, конечно! Нужно только правильно повернуть лодку – носом к волне, чтобы она волну разрезала. – Димка гребёт одним веслом и разворачивает лодку поперёк реки.

– Ты слишком близко к бакену подплыл! Там же уже фарватер!

– Дашка, ты чего панику поднимаешь? Мы же *перед* бакеном. Главное – не заплывать за него.

Теплоход надвигается, как гигантский грохочущий дом. Кажется, даже земля вокруг дрожит от его тяжёлого хода. Волны, поднятые им, там, вдали, уже докатились до берега и, гремя, обрушиваются на песок, а потом и на Петров камень, доставая до самой его макушки.

– Красота! – говорит Димка, поднимая весло.

И в этот момент теплоход даёт оглушительный утробный сигнал, так что от страха я чуть не сваливаюсь в воду. Ульянка ревёт, Дашка прижимает её к себе, Димка снова берётся за вёсла и табанит к берегу, но лодка не очень-то слушается и толчётся на месте, и тут нас подбрасывает первая волна. Девчонки верещат, а Димка машет вёслами, как мельница, но это не помогает, и в какой-то момент меня окатывает водой. Я тоже ору, но мне кажется, я не слышу своего голоса. Зато отчётливо слышу рокот моторки, доносящийся со стороны деревни.

– Блин, это дедуля! – отчаянно кричит Димка. – Он меня убьёт!

Когда до нас добирается моторка, волны уже понемногу идут на спад. На дне лодки – лужица речной воды. Дедуля глушит мотор и хватается за наш борт.

– А ну живо вылезайте! – рявкает он, сжимает мою руку и тянет что есть силы, так что мне становится больно и хочется зареветь, глядя на удаляющийся теплоход, – от страха, от боли в запястье, от голоса этого сердитого старика в замызганной футболке, который, кажется, действительно готов нас убить.

Димка получает громкий подзатыльник и падает в моторку, ударяясь о мои колени. Следом за ним дедуля перетаскивает Дашку и взахлёб ревущую Ульянку. После этого берёт на буксир нашу опустевшую лодку и разворачивается против течения, туда, где, сверкая на солнце железными крышами, виднеется деревня. А волны всё ещё бьются о Петров камень.

Миска с молоком

– Юность – это то время, которое у тебя пока впереди, – говорит мама, укладывая меня спать.

Я чувствую, как пахнут её волосы: тем самым жёлтым шампунем, который папа привёз ей из-за границы.

– А потом ты вырастешь, и юность будет далекооо!

– А у тебя далеко?

– У меня ещё не очень, но уже далековато...

«Братья, поздно мы просыпаемся, поздно замечаем беду, когда дом наш уже горит с четырёх углов, когда тушить его приходится не водой, а своими слезами и кровью». Свежая газета, которую кто-то оставил на столе. Хоть я ещё не хожу в школу, меня научили читать. Правда, здесь, в деревне, книг почти нет. Зато через день приносят почту, и есть газеты, которыми иногда растапливают печь. И хотя сейчас лето, иногда бывает холодно – тогда папа или дядя Володя рвут бумагу, достают из сарая дрова, и печь трещит своим горячим нутром.

«Советская Россия», – читаю я огромные чёрные буквы. А дальше – мелкий текст про то, что «дом горит с четырёх углов». Как будто кто-то решил написать в газете сказку про Змея Горыныча и избушку на курьих ножках.

– Завтра Инна приедет, – слышу я под окном бабушкин голос. Бабушка печёт оладьи на летней кухне под навесом, и запах, наверное, уже разнёсся по всей деревне.

– *Завтра газве* есть подкидыш? – спрашивает бабушку тётя Аня. Она картавит, будто так и не повзрослела. Где-то рядом с ней хнычет годовалый Антон.

– Нет подкидыша. Приедет или автобусом, или мурманским поездом.

– А как мы узнаем, когда её нужно забирать на переправе? – шмыгая носом, спрашивает папа. У него аллергия на какие-то цветы, так что он целый день ходит с носовым платком.

– Как обычно. Будет махать белой простынёй! – ворочая оладьи, говорит бабушка. – Обещала муки привезти и макарон.

– *Макагоны* ещё есть, а вот мука... Тоша, *хогош капгизничать*! А то сейчас спать уложу! – картавость делала тётю Аню своей. Рядом с ней мне было не так стыдно, что я до сих пор неважно выговариваю букву «л».

Я сижу взаперти, глядя, как солнце цепляет верхушку ближней сосны, затем ныряет в её хвою, скрывается за рыжим стволом... Выловив из реки, нас с Дашкой до ужина заперли в соседних комнатах, и мы время от времени перестукивались, но я напрочь забыл придуманный Дашкой шифр, так что ничего не понимал и лишь беспорядочно стучал в ответ.

– В Дудники завтра вроде обещали хлеб привезти...

Это уже мама. Отсюда я вижу, как она, сидя на табуретке, режет в таз огурцы, помидоры, редиску, зелёный лук – всё то, что надёргала на грядке за низким палисадным забором, окутанным вьюнком.

– Это кто обещал? – шипя сковородкой, спрашивает бабушка.

– Я так поняла, Володе продавщица Любка сказала, когда он за молоком к ней ходил.

«Мы устремляем свой голос к художникам и писателям, по крохам создававшим культуру на развалинах разгромленной классики, добывавшим для народа образы красоты и добра, ожидавшим в будущем расцвета искусств, а обретшим нищету...» Я мало что понимаю, но меня притягивает это ровное полотно узеньких чёрненьких букв. Проведёшь рукой – и пальцы тоже почернеют.

– Ну, если Любка сказала, то, *навегное*, *пгивезут*...

– Не факт, – сморкается папа, – Говорят, на хлебокомбинате зарплату задерживают уже на два месяца. Так что до нас хлеб может и не дойти.

– Не дай бог, Серёжа! Как без хлеба-то? – вжик, вжик, – и горсть огуречных кубиков летит в таз.

– А как в войну люди жили? – кашляет бабушка. – Картошка скоро будет. А она, как известно, второй хлеб.

«Подумай о том, что всё могло быть необратимым!» – сказал папа, запирая меня в комнате. Однажды мама говорила мне, что время невозможно повернуть назад, поэтому юность необратима, как и вся жизнь. Когда говорили «вся жизнь», я представлял себе длинную дорогу, по обочинам которой поднимаются высокие вихрастые травы, а дальше начинается лес. Примерно так выглядит путь до соседней деревни Дудники, где есть магазин, причал для лодок, переправа. Если кто-то с того берега машет жёлтым, значит, хочет попасть в Дудники, если белым – сюда.

«Вы бы даже не заметили, как утонули», – сказал папа, захлопывая дверь и закрывая её на щеколду с той стороны. Я слышал, как он прошёлся по гулким пахучим полам свежевыстроенной веранды, спустился по ступеням крыльца и зашагал по траве. А у меня в голове всё вертелось и вертелось слово «необратимый».

– Тоня, ты всё стряпаешь на целое семейство?

Михайловна. Соседка из дома напротив. Её внучка Светка обещала нам с Дашкой, что позовёт нас к себе на чердак вызывать духов.

– Семейство кушать просит, вот и стряпаю! – хехекает бабушка.

– Да, было бы что кушать...

– Ждём завтра из города муки и макарон. А в Дудники хлеб обещали привезти. Ты слышала?

– Слышала от Любки. Значит, очередь будет с самого утра... А где ваши старшие?

– Наказаны! – вздыхает мама.

– Что, и Даша наказана?

– Оба наказаны! – бабушка поправляет рукой волосы, снимает фартук и несёт огромную тарелку с оладьями на стол. – Ты бы знала, чего они учудили!

– Ну?

– На лодке уплыли. И чуть под теплоход не попали! Хорошо Семёныч успел их догнать и в последний момент зацепить. Так бы утонули!

Тарелка грузно опускается на стол.

– Бгатцы, ну что, пога звать этих оболтусов?

– Это они вдвоём с Игорем?

– Вчетвером! С Димкой и Ульянкой.

– А, ну, Димка может! Хулиган тот ещё!.. Слушай, Тонь, у вас случайно не осталось молока? У меня собаке что-то плохо. Есть совсем отказывается. Я думаю: ну хоть молока ей, полезла в холодильник – а там шаром покати...

Вскоре она удаляется, держа в руках миску с молоком. Аккуратно переходит песчаную дорогу, стараясь не разлить. Если смотреть на неё со спины, то кажется, будто она несёт на руках ребёнка.

Родимое пятно

Что у мамы получалось хорошо, так это голубцы. Она тушила их с томатной пастой и сметаной, и они выходили слегка кисловатыми – именно слегка. Я разворачивал капустные листы, сгрызал их, часто обжигаясь, и добирался до рубленого мяса, которое в те времена ещё было чем-то обыденным, как глоток воды.

Светка открывает нам калитку, разворачивается и, поёживаясь от холода, идёт к крыльцу. Мы с Дашкой устремляемся за ней, задевая плечами кусты смородины с гроздьями красных ягод-бусин. В доме, как всегда, пахнет молоком и жареной картошкой.

– Чайка умерла, – говорит Светка, сбрасывая сандалии, и всхлипывает.

– Умерла?? – испуганно спрашивает Дашка. – Когда??

– Сегодня рано утром. Дедушка отнёс в заповедник, похоронил.

Я молчу, забывая стащить с себя одну сандалию, и соображаю, что сегодня, войдя в Светкину калитку, впервые не услышал собачьего лая. Рослая бело-серая Чайка свои кости и остатки супа отрабатывала старательно: лаяла заливисто и рвалась с цепи так, что та с грохотом колотилась о будку.

– Она же ещё не старая была... – бормочет Дашка. – Сколько ей было?

– Шесть.

Мы проходим в комнату, где перед телевизором сидит Михайловна.

– Бабушка, можно мы пойдём на чердак? – спрашивает Светка.

– Вы оттуда не свалитесь?

– Почему мы должны свалиться?

– Ты-то не свалишься, большая уже. А ребята?

– И ребята не свалятся...

Светке двенадцать, и у неё, почти как у взрослой, уже отросли груди. И ещё от неё постоянно исходит едва уловимый, луковый запах. Недавно мама объяснила мне, что это запах пота.

– Вон, идите, лучше ягоды поешьте! – Михайловна указывает на большой эмалированный таз, полный красной смородины.

Дашка со Светкой садятся рядом и набрасываются на ягоды. Я тоже ем, но медленно, неохотно. Не люблю я красную смородину. Вот малина с клубникой – другое дело.

– В деревне с начала лета уже пять собак умерло, – чмокая, говорит Светка.

– А у кого ещё? – спрашивает в ответ Дашка с набитым ртом.

– У Любки, продавщицы, – скрипит диваном Михайловна. – В начале июня сдохла. Но у неё дооолго жила! У Полшковых, соседей вашего Димки. У них тоже где-то в июне... Мрут и мрут – мор, что ли, какой?

«В действительности рынок сам по себе не определяет характера производственных отношений. Зато он был и остается с древнейших времен единственным механизмом, позволяющим объективно и в какой-то мере автоматически, без вмешательства бюрократии, изменить трудовой вклад каждого производителя...»

Изображение в телевизоре чёрно-белое, прыгающее. Говорит старик в очках. Перед ним – трибуна и микрофон. Дашка со Светкой уплетают смородину. Михайловна, сложив на груди руки,

откинувшись на спинку дивана, смотрит в экран. Очки у неё сползли на нос и немного поблёскивают, ловя стёклами отсветы от телевизора.

«Только через рынок выясняется, насколько его товар действительно нужен обществу и какова его истинная цена. А если производителей множество и они соревнуются за потребителя, то качество и изобилие товаров становятся дополнительной наградой каждому трудящемуся за его личный вклад в экономику...»

– Это кто? – спрашиваю я, теребя в руке смородиновую гроздь.

– Горбачёв, – взмахивает ладонью Михайловна и снова складывает руки на груди. – Ты разве не знаешь?

– Знаю... – мямлю я, чувствуя, что вру.

Старик всё говорит и говорит, но я почти не понимаю длинных и сложных слов, которые сыплются с экрана в эту деревенскую комнату с огромными часами, чёрно-белыми фотопортретами, рассохшимся шкафом, набитым рюмками и тарелками...

– А что у него на лбу? – спрашивает Дашка.

– Родимое пятно.

Лицо старика дёргается вместе с пятном и очками, и кажется, что весь он сейчас развалится или растечётся по экрану. Вдруг его обрывает шипение. Изображение пропадает совсем.

– Чего это опять? Гроза, что ли? – Михайловна поднимается с дивана, подходит к телевизору, и ударяет по нему кулаком. Старик появляется вновь. – Сегодня грозу обещали.

– Хватит обжираться, пойдём духов вызывать! – Светка встаёт со стула.

Для этого мы и пришли. Светка обещала показать, как вызывать духов на карандашах. Причём нужны были новые, ещё незаточенные карандаши, и Светка дождалась, когда их привезут в дудниковский магазин.

– Если гроза начнётся, сразу спускайтесь! – кричит нам вслед Михайловна.

На чердак мы забираемся по приставной лестнице. Первой лезет Дашка, за ней я, а Светка внизу придерживает и поднимается самой последней. Здесь, наверху, отчётливо слышно, как по крыше барабанит дождь. Видимо, он начался только что и пока ещё расходится. Капли падают редко, но вот начинают стучать чаще и чаще... Светка говорила, что здесь, на чердаке, раньше был сеновал. Ещё в те времена, когда бабушка держала корову. Здесь до сих пор ощущается запах сена, хотя вместо него навалены старые стулья, матрасы, ржавая продранная раскладушка и, кажется, какие-то запчасти от мотоцикла, на котором ездил Светкин дедушка. Мы разворачиваем один из матрасов и садимся на пол около низкого чердачного окошка. Отсюда, с этой верхотуры, виднеется заросшее иван-чаем поле, за которым начинается заповедник. Светка говорила, здесь было пастбище, а теперь сюда изредка забредают оставшиеся деревенские козы. С тех пор, когда говорили «поле», я каждый раз представлял себе именно это поле, на котором раскачиваются от ветра вихры иван-чая.

– Бери в руки два карандаша, – командует Светка, – и держи их параллельно...

Дождь ещё больше усиливается, а в окно врывается ветер и отгоняет лежащие на полу оставшиеся карандаши.

– Третий держи перпендикулярно им, так, чтобы получилась буква «П»... Духов можно спрашивать, чтобы отвечали только «да» или «нет». Если карандаши сходятся, это означает «да», если расходятся – «нет». Понятно?

Дашка утвердительно кивает головой.

– Ну, тогда спрашивай...

– Когда закончится дождь?

Светка крутит пальцем у виска. Я снова ощущаю её луковый запах, возможно, принесённый оконным ветром.

– Я имела в виду... дождь закончится сегодня?

Карандаши чуть заметно расходятся.

– Нет, сегодня не закончится, – цокает Светка.

– А как это они так? – таращит свои карие глаза Дашка. – Это они же сами, я не двигала!

– И я не двигала! Это духи!..

– А где они живут? – спрашиваю я, чувствуя, что немного дрожу – не то от холода, не то от страха.

Дашка фыркает. Светка меняет карандаши, дует на руки и отряхивает их, будто в чём-то испачкалась.

– Они живут везде, – говорит она со знанием дела. – Они вокруг нас. И их много.

Я представляю: духи населяют иван-чаевое поле, заповедник, реку с бакенами и омут около Петрова камня. Это, наверное, они вызвали дождь, который сегодня так и не закончится.

– Держи вот эти карандаши, теперь я буду спрашивать духов.

Светка с Дашкой меняются карандашами.

– Дух, Чайке сейчас хорошо?

Карандаши сходятся.

– Хорошо, – произносим все мы едва ли не хором.

Я спрашиваю у духа, научусь ли этим летом плавать, и он отвечает мне, что не научусь. Дашка спрашивает, привезут ли в Дудники зефир, который она не ела с начала лета, и он отвечает, что не привезут. Светка решает узнать, сошьют ли ей к сентябрю новое платье, и выясняется, что сошьют. А потом Дашка спрашивает, будет ли гроза, и прежде чем дух успевает ответить, раздаётся раскат грома, и потом ещё долго громыхает и громыхает.

– Эй, вы слышите? Спускайтесь вниз немедленно!..

– Бабуль, идём, успокойся!

Смородины в тазу ещё столько, будто к ней так никто и не притрагивался. Михайловна ушла на кухню и чем-то гремит оттуда.

– Света, иди хлеб нарежь, пока я чай завариваю!

Чай не горький, а какой-то светлый, травяной. Светка говорит, там и мята, и ромашка, и иван-чай – всё, что растёт на поле за забором. На кисловатый чёрный хлеб мы намазываем масло, а сверху кладём крыжовниковое варенье. Гром гремит и гремит, но уже тише, наверное, где-то за рекой, и в комнате сумрачно – только телевизор бросает на крашеный пол длинные сероватые отсветы.

«Вы, Михаил Сергеевич, должны понять, что люди ждут не только решительных заявлений – их было достаточно, – но, прежде всего, энергичных, последовательных действий во всех сферах жизни. Только так можно вернуть доверие коммунистов и поддержку народа. Коммунисты вправе поставить вопрос: имеет ли право нынешнее политическое руководство возглавлять партию...»

Старик сменился. Вместо того, с родимым пятном, на экране теперь другой, помоложе, без лысины и пятна. Но вот изображение снова пропадает, телевизор шипит и уже не поддаётся ни кулаку Михайловны, ни ловким Светкиным рукам, которые вертят антенну. Гром всё ещё гремит.

Разведчик

Папа расстегнул огромную молнию и распахнул чемодан. Мы с мамой смотрели на это так, будто перед нами открыли сказочный ларец. В глаза бросилась яркая коробка с нарисованным на ней самолётом.

– Держи! – сказал папа.

– Это какой? – спросил я, хватая трофей.

– Боинг! – ответил он, выуживая следом шелестящий пакет.

Я вывалил на пол и распаковал все запчасти: фюзеляж с горбинкой укороченного второго этажа, два крыла, четыре турбины, хвост и три стойки шасси. Где-то надо мной, наверху, говорила мама: «Рубашечка!.. Отлично!», «Туфли! ааах, какие туфли! Как раз такие, какие я хотела!», «Шампунь, наконец-то я помою голову шампунем!», «Аах! Духи! Серёжка, французские духи!..»

Боинг в моих руках был почти настоящий. «British Airways», – прочитал я. К тому времени я только начал учить английский.

– На! – сказала мама, протянув мне что-то в руке.

Я схватил розовый квадратик и сунул в рот. Он был кисло-сладкий, такого же вкуса, как какая-то ягода, только вот я всё не мог понять, какая.

– Это с чем конфета?

– Ежевика! – ответила мама с набитым ртом.

Димка достаёт со шкафа огромную модель корабля. Это не пассажирский, военный: с одной большой пушкой и несколькими поменьше. «СССР» – написано на борту – и рядом нарисован красный флаг.

– Ого! – говорит Дашка.

– Ого! – повторяю я. – Откуда это у тебя?

– Папа привёз, – гордо отвечает Димка, спрыгивая на пол с кораблём в руках.

Мы ставим его на стол. На корабле всё как настоящее: широченная палуба, капитанская рубка, иллюминаторы...

– Давай его в речку запустим! – говорю я.

– Да! Давай! – кричит Ульянка, – И он допывёт до Адоги!

– Вы что, совсем? – Димка крутит пальцем у виска. – Он же склеенный! В воде сразу развалится!

– Азвалится? – удивляется Ульянка.

– Ну а если в тазике? – подаёт голос Дашка. Она сидит на полу, оперевшись о диван.

– И ты туда же! – фыркает Димка. – Я же говорю: он развалится от воды – хоть в тазике, хоть в реке.

Дашка краснеет и поджимает губы, будто только что на ровном месте совершила досадную ошибку.

– Пускать можно было катер на радиоуправлении, – Димка деловито осматривает корабль, – но он сломан. Да, Ульянка?

Ульянка опускает глаза. Оказывается, это она постаралась: решила налить в катер суп для собаки. Она думала, это такая необычная миска.

– А папа у тебя куда плавает? – спрашивает Дашка, глядя на Димку исподлобья, не вставая с пола.

– В Хельсинки, в Калининград, в Таллин, в Стокгольм, в Копенгаген...

– Ого! – говорит Дашка. – Мой папа тоже был в Хельсинки.

– И мой! – кричу я.

– Этот корабль он как раз из Хельсинки привёз. А вон того Карлсона – из Стокгольма.

Карлсон с застывшим пропеллером висит на карнизе. Мне его почему-то жалко: как будто поймали и держат на привязи.

– Это мой *Калсон*! – скулит Ульянка.

– Твой, твой... – бормочет Димка, вытирая пальцем пыль с корабля.

– Димка, дашь подержать? – просит Дашка, поднимаясь на ноги.

Он осторожно берёт корабль со стола и даёт ей. Она держит его с таким видом, словно у неё в руках по меньшей мере жар-птица. Он придерживает корабль с другой стороны, и они так стоят вдвоём, как будто взявшись за руки.

– Можно мне тоже подержать? – прошу я.

Но Димка вдруг поднимает корабль над головой, а затем убирает обратно на шкаф. Обида сжимает мне горло. Я обзываю Димку дебилом и выбегаю на улицу. Слёзы заливают мне нос так, словно я нырнул и нахлебался воды. Я бегу мимо свежевыкрашенной скамейки, мимо груш, которые посадил Димкин дедуля, мимо теплицы с огурцами... И тут, перед самой калиткой, меня примечает пёс Штурман, вылезает из будки и начинает хрипло лаять. Я разворачиваюсь и забегаю за сарай, почти вплотную прижатый к невысокой изгороди, огибающей Димкин участок. И вот здесь, в этом узком пространстве, между изгородью и сараем, затаиваюсь, как разведчик. Но слёзы пока ещё текут и текут.

– Чего он там разлаялся? – слышу я где-то рядом голос. Это Димкина бабуля, ей отвечает дедудя:

– У него работа такая – как в том стихотворении: «лает, как положено, на каждого прохожего...»

Я задерживаю дыхание и вслушиваюсь. Где-то неподалёку блеет коза.

– На следующий год надо будет крышу ремонтировать, – после паузы говорит бабуля.

– Крышу – это раз, мостки внизу – это два. И веранду расширять, наконец, надо. А то мы всё никак не соберёмся.

– Собраться – только подпоясаться. Было бы на что...

Старческий смешок. Звон ложки о чашку. Кажется, у них здесь, за сараем, – летняя кухня, почти такая же, как у нас: столик, рассохшиеся стулья и вроде бы плита. Газовые баллоны стоят на веранде прямо у входа.

– До следующего года ещё как раком до Пекина. Скопим за зиму-то. Нам с тобой на что особенно тратить? Чёрную икру не едим...

– А я бы поела! Помню, ты привозил откуда-то с Каспия.

– Когда это было!

– Давно...

Пауза.

– Картошки зато в этом году много, – скрипит стулом бабуля. – Лето хорошее, тёплое. В наших краях такое не каждый год.

– Рыбы тоже много. Больше, наверное, только в Карелии.

– Так у нас, считай, Карелия. До неё – рукой подать!

Пауза. Голос дедули:

– Пока есть рыба и картошка, живы будем. Даже если хлеба нет... Так что крышу перекроем – куда денемся?

Я перебираюсь через изгородь, спрыгиваю в высокую траву и огородами выскакиваю на дорогу. На песке замечаю несколько капель крови – тёмных, густых, уже впитавшихся. До дома здесь – всего-то пару участков, засеянных картошкой. Войдя на веранду, я натыкаюсь на толпу. Тут все, включая тётю Аню с Антошкой. Как будто это не дом, а мясной магазин.

– Оох! – слышу я стон.

Дверь в комнату открыта, и стон доносится оттуда. Коза. Она напала на бабушку, когда та возвращалась от Любки с банкой парного молока. Коза шла с козлятами, а бабушка – им навстречу.

– Она на меня рогами, – тяжело дыша, говорит бабушка, лёжа на тахте, – я за один рог её успела схватить, а за второй – нет... Ох, у меня же банка была! И она мне рогом пропорола вену...

– Я схожу к Любе *скогую* вызову!

– Аня, не надо! – трогает её за плечо папа, – Сейчас перевяжем, и к утру должно быть легче.

– Главное – йодом смазать! – тихо говорит мама.

Моего хмурого вида и заплаканных глаз никто не замечает.

Лахта

Почерк у мамы – круглый, с сильным наклоном. Когда-то давно она показывала мне свои прописи, в которых писала ещё чернилами. Буквы там были тёмно-фиолетовые, с нажимом. И совсем не было клякс. Хотя, говорит мама, без них раньше не обходилась почти ни одна тетрадь. Сейчас мама, конечно, писала обыкновенной шариковой ручкой. Но почерк был всё тот же.

«Рубашки – 2 шт. для Игоря, одну для себя».

«Туфли чёрные или тёмно-коричневые – 1 пара».

«Шампунь для ломких волос».

«Колготки моего размера – 3 пары».

«Духи Шанель – если будут деньги».

Список уместился на большом разлинованном листе. Папа сложил его и сунул в карман рубашки, из которого всегда торчала ручка.

– Ложимся спать, – сказала мама, – Во сколько, ты говорил, у тебя завтра самолёт?

– В восемь с копейками.

Сегодня гребёт папа, и я даже не заикаюсь о том, чтобы он дал мне немного попробовать. Мы идём двумя лодками. В нашей – я, Дашка, мама с папой и бабушка, в той, что впереди, – тётя Аня, дядя Володя, Антон, а ещё тётя Инна, дядя Коля и Женька. Они, как оказалось, вчера приехали все втроём и привезли из города макароны, муку, тушёнку и несколько банок кетчупа. Одну папа уже почти съел...

Я поворачиваюсь и вижу справа Петров камень, который облепили чайки. Тётя Аня говорит, они летят сюда с Ладоги, а она большая, как море, и очень холодная. Здесь, в реке, вода теплее и рыбы больше на мелководье. Река сейчас такая спокойная, что бакены не раскачиваются, как обычно, а просто стоят на поверхности, словно кто-то разбросал огромные белые треуголки. Я опускаю руку за борт и зачерпываю прохладную речную воду, слегка коричневатую от глины.

– Игорь, ты в своём уме?! – орёт с кормы мама, и голос у неё пронзительно-громкий от испуга. На передней лодке все оборачиваются.

– Я сейчас отвезу тебя обратно и высажу, – спокойно говорит папа, продолжая грести.

У него это получается так, будто он всю жизнь только этим и занимался. Весло погружается в воду, проделывая в ней воронку, описывает полукруг и выныривает, поднимая брызги. Лодка движется вперёд, и там, сзади, за её кормой, тянется белый пенный след. Мы идём за грибами в бор на тот берег реки. Бабушка говорит, там много белых, которые в этих краях называют боровики. А ещё подберёзовиков, подосиновиков и лисичек. Недавно Михайловна приносила нам пакет лисичек, который Светкин дедушка, Егорыч, собрал где-то в заповеднике. «Ему можно, он лесник!» – усмехалась Михайловна, пересыпая рыжие ломкие грибы в миску. У них был немного сладковатый запах, какой иногда ощущается в лесу после дождя.

– Игорь, немедленно пересядь на лавку к маме! – командует с передней лодки бабушка. – Иначе это будет первый и последний раз, когда мы берём тебя с собой.

– Нет, я хочу с Дашкой сидеть!

– Немедленно пересядь! – повторяет бабушка недобрым голосом. – Серёжа, останови лодку!

Папа поднимает вёсла и кладёт их вдоль бортов. На дне лодки образовываются две маленькие лужицы.

– Игорь, все ждут одного тебя! – негромко говорит папа.

Лодка продолжает двигаться по течению. Откуда-то издалека – видимо, из-за поворота, доносится рокот приближающегося катера. Я вздыхаю и пересаживаюсь к маме.

И вот обе лодки пристают к широкому и плоскому пляжу, на который нехотя выкатываются речные волны. Пляж упирается в высокий обрыв, ещё выше, чем в деревне, и из него, словно огромные змеи, торчат сосновые корни. Тут же лежит иссохший посеревший ствол упавшей сосны. А там, наверху, над гладью песка и воды, сосны одна выше другой, и стволы оранжевые, будто кто-то их выкрасил. С тех пор, когда говорили «бор», я представлял себе именно этот сосновый частокол над большой водой.

– Я всю жизнь стояла в очередях, – говорит бабушка, выбираясь из лодки. Рука у неё перевязана. Сама она – в желтоватом пёстром платье, которое трепещет на внезапно поднявшемся ветру. – Раньше, как с работы придёшь, сразу берёшь сумки – и в магазин: в один, в другой, в третий, и везде пытаешься что-нибудь урвать. Если не пошехонский сыр, то, на худой конец, колбасный! Так чему ты удивляешься?..

– Антонина Васильевна, какой колбасный! – вслед за бабушкой из лодки выбирается тётя Инна. – У нас в стекляшке рядом с домом вообще полки пустые!

– А будет ещё хуже! – бабушка делает жест рукой.

– Уж куда хуже? – подаёт голос мама, опираясь о папину руку и спрыгивая на берег.

Бабушка хмыкает и оборачивается к своей лодке.

– Анька, давай Антошку подержу, пока вы из лодки выбираетесь.

– Мамочка, мы *спгавимся*!

Почти напротив нашего широченного пляжа, чуть наискосок, через реку, виднеется начало длинного извилистого залива. «Лахта» – называют его все здешние. Бабушка говорит, что по-фински «лахта» как раз означает «залив» и что тут, в округе, много финских названий, потому что совсем рядом, в нескольких километрах отсюда – Карелия. «Это страна такая?» – однажды спросил я у неё. «Хо, страна! – снисходительно бормотнула она в ответ. – Страна у нас называется – Советский Союз. А Карелия – это республика». – «Республика?» – «Да, республика, часть страны...»

Пока я прокручиваю всё это внутри себя, взрослые расстилают покрывала, ставят на песок корзинки с едой. Оттуда, от подножия обрыва, до меня доносится запах варёных яиц.

– Местные? – спрашивает тётя Инна.

– А какие же ещё! – деланно усмехается бабушка, разворачивая фольгу. – У Любки берём!

– У нас в стекляшке яиц уже давно нет... – машет рукой тётя Инна. – А если и привезут, то разберут ещё до того, как глазом моргнуть успеешь!

Я не хочу слушать про то, как тётя Инна моргает глазом. Я снова поворачиваюсь лицом к реке и смотрю на Лахту. Бабушка рассказывала, как в финскую войну прямо здесь, по воде, проходила линия фронта. На этом берегу стояли наши, а на том, с которого мы приплыли, – финны. Они хотели, чтобы по этой реке проходила граница Финляндии, они захватили всю Карелию и добрались до нашей деревни. До войны она была больше – дома стояли вплоть до нынешнего заповедника, на месте иван-чаевого поля. Была школа, в которую ходили из Дудников. Теперь всё наоборот. Вся жизнь – в Дудниках. Там – магазин, школа и переправа. Здесь – несколько деревенских домов с картофельными полями, гнёзда ласточек под обрывом, Петров камень невдалеке...

– *Бгатцы*, давайте *гасстелим покгывало*! – говорит тётя Аня, держа под мышкой Антона.

– Можно мы искупаемся? – кричит Дашка. Со вчерашнего дня она всё время с Женькой. Наша общая двоюродная сестра – почти взрослая, ей уже 14. Так что дружить с ней для Дашки – большая честь. Тут даже Светка отошла на второй план.

– Сначала давайте поедим! – отрезает бабушка.

– Мамочка, ну пусть они *быстгенько* окунутся!

Тётя Аня – единственная, кто умеет противостоять бабушке. Та поднимает брови и кричит:

– Но только быстренько!

– Я тоже хочу! – ору я и стаскиваю с себя футболку.

– Ну, я бы удивилась! – восклицает мама, размахивая огурцом.

И вот мы в тёплой, спокойной воде. Женька плавает как взрослая: и брассом, и кролем, и на спине. Дашка едва за ней поспевает. Я далеко позади, на мелководье, хожу руками по дну. Плавать я научусь через несколько лет, после того как чуть не утону, но сейчас я ни о чём таком не подозреваю и лишь грущу оттого, что девчонкам совершенно не до меня. Пытаясь себя преодолеть, я набираю воздуха под завязку и погружаюсь в воду. Потом, едва ли не щипля себя за запястье, открываю глаза. Кругом – мутное коричневатое пространство. Дно едва виднеется внизу, и там, у самого песка, снуют и снуют мальки, ловко увиливая от моих нерасторопных пальцев. Когда потом, на каком-нибудь уроке природоведения, я натыкался на словосочетание «подводный мир», я представлял себе именно это речное дно и этих мальков.

Высунув голову из воды, я отряхиваюсь, как пёс, и смотрю на взрослых. Отсюда уже почти не слышно, о чём они говорят. До меня долетают лишь отдельные слова: «приватизация», «политбюро», «дефицит». Я понимаю только последнее, потому что слышу его по много раз на дню.

«Мясо у нас – дефицит, а ты нос воротишь!..»

«Манную сварить не могу. Манка сейчас – дефицит!..»

«Ты понимаешь, что дефицит в стране?!»

Последняя фраза – бабушкина. Она смотрит недобро поверх очков. Руки у неё испачканы. Она что-то режет или варит у плиты.

Я поднимаю голову и смотрю на верхушки сосен, в которых мелькает солнце. Тёмно-зелёный переходит в жёлтый и обратно. Чайки орут над Лахтой.

– Серёжа, я нашла белый! – Дашка бежит к папе, размахивая грибом.

– Это не белый. Это подберёзовик, – говорит папа, вертя его в руках.

– У него же шляпка коричневая!

– У подберёзовика тоже коричневая. Зато ножка видишь, какая тонкая и в пятнышках? А у белого она толстая, массивная, как бочка.

– Как бочка! – хихикает Дашка и бегом возвращается к Женьке. У них на двоих одна большая корзина, и в ней уже довольно много грибов.

Мне выдали пакет, в котором пока лишь несколько сыроежек и один маслёнок. Жёлтый, с блестящей шляпкой, пахнущий так, как обычно пахнет в летнем лесу, и тогда все, принюхиваясь, повторяют: «О, грибы пошли!» Бабушка говорит, что маслята хорошо жарить с картошкой, а ещё их можно сушить, солить, мариновать. Только вот искать – одно мучение. По крайней мере, для меня. Я вечно наклоняюсь к прошлогодним листьям, корягам и даже ржавым консервным банкам, а грибы попадаются Дашке с Женькой, бабушке и папе. Тётя Инна ходит с ножиком. Она говорит, грибы рвать нельзя – нужно аккуратно срезать, чтобы они выросли в следующем году.

– Ничего себе, сколько тут лисичек! – слышу я за спиной голос дяди Коли. – Весь окоп!

Рыжие грибы, немного похожие на цветы, усыпают весь склон. Их тут не сосчитать – от совсем крошечных до огромных, как зонт.

– Игорь, такие не рви! – говорит папа. – Они перезрели уже.

Но мне всё равно хочется взять в руки этот вымахавший светло-оранжевый гриб. И как тут его никто не заметил до нас? Я вытаскиваю гриб из земли и подношу к носу, словно букет цветов.

– Игорь, выброси! – кричит у меня над ухом мама. – Тебе же сказали: перезрел уже.

Гриб падает на траву и прошлогодние листья. По нему начинают ползать муравьи, которых тут, оказывается, видимо-невидимо, и один уже забрался мне на ногу.

– Бабушка, этот овраг такой длинный! – говорит Дашка.

– Это не овраг, – отвечает бабушка, собирая в свой пакет лисички. – Это окоп.

– Окоп?

– Да, окоп.

– Его солдаты выкопали?

– Солдаты. И я сама копала окопы во время войны.

– Ты тоже была на войне?

– На фронте не была, но окопы копала. Как и все в Ленинграде.

– А сколько тебе тогда было лет? – спрашивает Женька.

– Столько же, сколько тебе: четырнадцать – пятнадцать. Я седьмой класс закончила, когда война началась.

– Давайте поиграем в солдат! – говорю я, размахивая пакетом с грибами.

Бабушка меняется в лице.

– У тебя в пакете вместо грибов каша будет. Не маши пакетом!

– Ну, так давайте поиграем!

– В войну не играют! – отрезает бабушка, складывая к себе в пакет последнюю лисичку. Дашка с Женькой молчат.

«Мамочка, ну пусть они *поиграют*, тебе жалко, что ли?» – могла бы сейчас сказать тётя Аня. Но её с нами нет, они с дядей Володей остались на берегу, вместе с уснувшим Антоном. Кроны сосен над нами шумят, раскачиваемые поднявшимся ветром. Я сглатываю слюну, всё ещё ощущая во рту вкус варёного яйца, огурца, помидора и сладкого чая из огромного термоса. Мы идём вдоль окопа, который всё никак не кончается. Местами он почти целиком зарос, но его направление всё равно угадывается, вот только лисичек здесь больше нет. Солнце пропадает за облаком, и на миг становится темно, будто мы попали в ночь.

– Не пора ли нам возвращаться? – спрашивает мама, которая идёт где-то сзади. – И вообще, вы дорогу-то помните?

– А чего здесь помнить? – усмехается папа. – Тут участок-то небольшой. Вон там – река, вдоль неё идёт окоп. Вон там, с другой стороны, – болота. Далеко не уйдёшь!

В моём пакете прибавляется ещё несколько сыроежек. Шляпки у всех у них разноцветные: красные, жёлтые, серые и даже фиолетовые! Некоторые оторвались от ножек и валяются отдельно. У бабушки грибов – полный пакет, у Дашки с Женькой – больше полкорзины. У мамы с папой пакет тоже увесистый, тётя Инна всё наклоняется и наклоняется, раскрывая свой перочинный ножик. У них с дядей Колей – даже не корзина, а какая-то плетёная котомка. Держа корзину с двух сторон, Дашка и Женька идут по тропинке, перешагивая через кочки и сосновые корни. Мой пакет кажется мне таким жалким, что я хочу забросить его куда подальше. Уж лучше вернуться вообще без грибов, чем с обгрызанными сыроегами. Мне вдруг становится так обидно, что от этого сводит горло, будто кто-то вцепился в него изнутри. «Надо заплакать, и станет легче!» – говорю я себе, но меня обрывает оглушительный раскат грома. Дождь начинается быстро и расходится так, что тропинка превращается в мутный ручей, в котором плывут травинки, листья, опавшие шишки, муравьи...

– Не становитесь под дерево! – кричит бабушка, мокрая насквозь. Очки сползли ей на нос, волосы растрепались, повязка на руке – тоже.

– А куда вставать-то? – плачущим голосом отвечает мама. – Тут одни деревья кругом!

– Лена, успокойся!

Папа берёт маму в охапку, и она роняет пакет с грибами. По нему отчаянно колотит дождь. Он, впрочем, колотит по всему: по сосновым стволам и хвое, по ручью на тропинке, по бабушкиным волосам, по моему лбу... А потом где-то очень близко, почти над самым ухом, снова раздаётся гром, и затем треск. Дождь колошматит и колошматит.

Две буханки хлеба

Эту фотографию я нашёл в каком-то конверте на дне ящика письменного стола. Я, Дашка и тётя Аня на переправе. За нашими спинами – река с куском ползущей по ней баржи. Мы стоим на самом краю дороги, в том месте, где она обрывается и почти нависает над прибрежным песком. Стоим затылками к реке, лицами – к лесу – и ждём, когда приедет Любкин Ильнур. Он поехал в объезд, по мосту, и вот-вот должен быть здесь. К нему в кабину фургона сядут тётя Аня с Антоном, а я, Дашка, мама и дядя Володя – уедем вместе с директором заповедника – начальником Егорыча. Папа с бабушкой останутся до завтра и выберутся отсюда последними.

– Смотри, что нашёл... – сказал я, подходя к маме с тряпкой для пыли в одной руке и с фотографией – в другой.

– Ничего себе! А я думала, она пропала с концами... То самое лето!

Очередь в магазине такая плотная, закрученная не то в змейку, не то в спираль, что понимаешь, как много народа в этих двух соседних деревнях. Вот идёшь ты по единственной песчаной улице, и кругом – одни козы – копошатся в полыни, пережёвывают травяную кашу, бездумно мотают косматыми головами... А втиснешься в тёмное деревянное нутро магазина – и понимаешь: люди – вот они, никуда не делись, их много, и они, как и козы, хотят есть. Пахнет свежим хлебом – привезли его только что, с опозданием на четыре дня. За рулём синего фургона с надписью «хлеб» – Ильнур, высокий усатый мужик, начавший седеть. Он же грузчик. Ильнур вносит за прилавок один ящик за другим. В каждом из них ровными рядами теснятся хлебные буханки – жёлтые, чуть золотистые, местами пригоревшие.

– Сегодня пекли! – шепчет спереди какая-то старушка, но её шёпот слышит весь магазин.

– Сегодня, сегодня! – бубнит себе под нос продавщица и при этом что-то записывает и считает на счётах. Это та самая Любка, которая продаёт нам яйца и молоко.

У меня дома тоже есть счёты. Детские, с железными перекладинами и пластмассовыми костяшками – синими и белыми. Бабушка учила меня на них считать, но я толком не научился, зато если этими счётами потрясти, то звук получается почти такой, как от погремушки. Вот интересно, какой будет звук, если потрясти этими огромными магазинными счётами?

– Так, хлеб отпускается не более двух буханок в одни руки! – кричит Любка, делая пальцами «козу рогатую».

Очередь начинает бурлить, словно река, натолкнувшаяся на камень. Боковым зрением вижу, как стоящая рядом тётка в фуфайке поправляет грязный платок.

– Как это две! – голосит она. – Нас не предупреждал никто!

– А меня предупреждал? – парирует Любка. – Распоряжение из райцентра!

– Вот пусть в райцентре и продают по две буханки!

Дальше голоса звучат, как скрипки в оркестре, – старческие, молодые, женские, мужские, хриплые и не очень.

– Да в райцентре хорошо, если хлебокомбинат ещё не закрыли! Там зарплату с мая не платят!

– Можно подумать, только там!..

– У меня у снохи сестра с марта ни копейки не получила!

– А вы что, не знали, что будут только по две буханки отпускать?

Мы знали. Именно поэтому пришли все, кто только мог: мы с мамой и папой, Дашка с бабушкой и дядей Володей, Женька с тётей Инной и дядей Колей. Дома осталась одна тётя Аня с Антоном. Позавчера он простудился во время этой налетевшей грозы, и теперь у него сильный жар. А откуда мы узнали? Вроде бы вчера вечером бабушке сказала Михайловна. А той шепнула Любка – Михайловна к ней с утра заходила за молоком.

Где-то сзади раздаются женские голоса:

– Вот вам и коммунизм: по сорок – пятьдесят лет в колхозе отработали, с финнами, с немцами воевали, а теперь даже хлеба не купить!

– Так это Горбачёву спасибо скажите!..

Я сразу же вижу перед глазами старика в очках и с родимым пятном. Он, чёрно-белый, что-то говорит с трибуны, и нос его вдруг вытягивается и начинает плясать, и всё на экране куда-то ползёт, дрыгается, а потом экран пыхает и начинает шипеть.

– Спасибо надо сказать Ленину, а не Горбачёву! Он капитализм уничтожил!

– И правильно!

– А если б не уничтожил, вы бы сейчас хоть весь магазин скупить могли!

– Да кто вам сказал?!

– Вон, посмотрите, как финны живут! У них всё есть!..

– Что у них там есть?

– Да вы съездите, посмотрите!

– Я даже в райцентр съездить не могу! Вся пенсия на жратву уходит!

– Капиталистические страны процветают, потому что у них – кон-ку-рен-ци-я! Они борются за клиента и за качество! А у нас всю жизнь государственная монополия была!

– У нас были соцсоревнования!...

– Тихаа! – рявкает Любка, и в душном деревянном пространстве, заполненном хлебом, маргарином и консервами, воцаряется тишина – глухая, мёртвая, прерываемая лишь чьими-то вздохами и сопением.

Любка – королева очереди... нет, императрица! Перед ней становятся такими покорными все эти люди из двух деревень, готовые убить друг друга за кирпичик хлеба. Любка – хозяйка всего этого богатства, уместившегося в крошечном магазинном домике с проваливающимися полами. Руки у неё – сильные, цепкие, безжалостные. Она хватает две буханки, шлёпает их на прилавок – и вот уже слышен стук деревянных костяшек счётов. Я стою рядом с Дашкой и держу её за руку. Так нам велели взрослые – ведь в этой давке потеряться в два счёта! Позавчера, в грозу, я тоже схватил Дашкину руку, рассмотрел лицо в свете молнии – бледное, но какое-то спокойное, как

будто уже со всем смирившееся. А потом Дашка выдернула руку, и я потерял её из вида. И когда всё уже закончилось и мы направились к лодкам, путь нам преградила огромная упавшая сосна. «Молния ударила!» – сказала бабушка, откидывая со лба мокрые пряди волос.

Сейчас рука у Дашки тёплая и немного потная. Несмотря на то, что со вчерашнего дня холод и дядя Володя растапливает печку. Но здесь, в магазине, жарко, как в предбаннике. Я расстёгиваю куртку одной рукой, чтобы не выпускать Дашкину. А то уйдёт к Женьке, которая стоит сзади. Женька с родителями должны уехать завтра, и я жду не дождусь этого, чтобы Дашка снова чаще была со мной.

– Давай играть в города! – говорю я.

– Да ну! Мы же вчера в них весь день играли...

Да, и правда. Вчера с утра и до вечера лил дождь – мелкий, безнадёжный, совсем осенний, хотя до осени ещё больше месяца. Мы втроём – я, Дашка и Женька – всё время просидели на веранде, играли в карты, ассоциации, города... Женька выигрывала. Я, по сравнению с ней, настолько безнадёжен, что, может, хоть сейчас с Дашкой немного отыграюсь.

– Ну давай поиграем! Всё равно же стоим без дела...

– Давай лучше в реки. Свирь! – начинает она.

– Ро.. ра... – бормочу я, понимая, что не знаю ни одной реки на «р».

– Ну, ладно, давай на «и»!

– Иртыш!

– Шу... ше... Шексна! – выкрикивает Дашка.

– Нет такой!

– Есть такая!

– Где?

– На севере!

Дашка, хоть и не такая умная, как Женька, но всё равно умнее меня. Бабушка постоянно мне об этом говорит. Дашка уже закончила второй класс, а я через месяц только в первый пойду. Младше меня – один Антон. Он ещё даже «мама» не говорит. Реки быстро заканчиваются, и мы переходим на города.

– Астрахань! – говорит Дашка.

– Новосибирск!

– Кострома!

– Опять а... Архангельск!

– Курск!

– Опять к... Копенгаген!

– Это не у нас, это за границей. А мы только наши города называем!

– Киев.

– Вильнюс!

– Вильнюс всё, не наш уже! – говорит сверху какой-то мужик.

– Как это не наш! – возражают ему.

– А так! Вы что, не слышали, что сегодня РСФСР признала независимость Литвы?

– Да она с прошлого года независимая!

Очередь снова гудит и шевелится, словно волна в реке после теплохода. Когда мы, наконец, забираем восемнадцать буханок хлеба, время уже подбирается к обеду. Дождь прекратился, и сквозь тугие облака пытается продраться солнце.

– Я же говорю, будет ещё хуже! – бабушка, крепко держа в руке авоську, возглавляет процессию.

До нашей деревни тут – не больше километра. Узкая песчаная дорога, по которой едва пройдёт машина, тянется через лес, а за ним, слева, местами просматривается река. После дождя песок мокрый и тёмный. Нам предстоит обойти огромную лужу, которая занимает почти всю ширину

дороги. И, если бы не буханки хлеба под курткой, крепко прижатые к груди, я бы обязательно остановился у лужи и посмотрел, не завелись ли в ней уже головастики.

– Мама, давай не будем о плохом! – хватает её под руку дядя Коля. – Лучше под ноги смотри.

– Смотрю не хуже тебя! – парирует бабушка. – Вот увидите: хлебокомбинат закроют!

Кажется, она говорит это с какой-то гордостью, будто ей важно, что каждый новый день доказывает её правоту. В бабушкином тоне нет ни грамма сожаления. Я надолго запомню её именно такой: шагающей с авоськой по просёлочной дороге, уверенно обходящую лужу, жестикулирующую свободной рукой... А за ней следом – её дети: папа и дядя Коля. Только тёти Ани не хватает.

Когда мы вступаем в деревню, там снова – ни души, даже коз не видно. Мы идём мимо разноцветного дома Любки, мимо длинной изгороди, скрытой почти целиком кустами крыжовника (это дом геолога, которого все так и называют «геолог», хотя, говорят, его зовут Герман), мимо тёмно-красного домика Димки и Ульянки (бабушка говорит «финский дом»), и вот впереди, у нашей веранды, видим машину «Скорой помощи». Дядя Володя бежит вперёд, потом я замечаю бледную растрёпанную тётю Аню.

– *Подозгевают* воспаление лёгких! – говорит она, залезая в машину. Хнычащего Антона забирают врачи.

– Какая температура? – спрашивает бабушка

– *Тгидцать* девять и шесть...

Зимовье

– В конце того лета я узнала, что жду Глебыча... – моего младшего брата мама, сколько я помню, называла только так.

«Глебыч отказался от соски! Мужик!..»

«Глебычу не понравилось. Придётся доедать самой...»

«Глебычу скоро два с половиной! Большоооой!..»

С Глебычем у нас разница восемь лет, но он сумел-таки перерасти меня на голову, отпустить рыжую бороду и волосы, как у викинга. Теперь кажется странным, что его можно было называть не Глебыч, а как-то иначе.

Мама выдавила крем и начала намазывать шею, при этом шлёпала по ней пальцами так, будто играет на пианино. Это чтобы крем лучше впитывался, – когда-то давно объяснила она. Выпятив вперёд нижнюю губу, мама напоминала обиженную девочку, которая зачем-то красится, как взрослая. Её мокрые волосы, придавленные ободком, были откинуты назад, а рядом на диване уже лежали, ожидая своей очереди, бигуди – разноцветные, словно детские погремушки.

– Помнишь, как мы всем скопом ходили за хлебом в соседнюю деревню?

Я кивнул.

– А ту грозу жуткую помнишь, когда нас чуть деревом не убило?

Я снова кивнул. В полной тишине было слышно, как мамины пальцы колошматят по шее, а потом по лицу.

– И всё равно это было очень хорошее лето. Одно из самых счастливых в жизни.

Входя в заповедник, дорога становится ещё уже и начинает зарастать подорожником, ромашкой и крапивой. Но Егорыч, Светкин дедушка, говорит, что по ней и машина может проехать. Или трактор. Или мотоцикл, в конце концов. Нужно же и в заповеднике иногда убирать сухостой или продукты подвозить к зимовью. А ещё дальше, на самом берегу Ладоги, есть наполовину заброшенная деревушка. Егорыч говорит, что сейчас там живут одни учёные, которые следят за птицами. Но это очень далеко, и дотуда нужно ехать на «козлике» или «ниве». От нашей деревни мы отошли уже километра два. Лес здесь густой, еловый, берёз почти нет. Егорыч ведёт нас втроём – меня, Дашку и Светку – к этому самому зимовью. Осталось ещё полдороги.

Уже август, и кругом, разлетаясь из-под ног, что есть силы стрекочут кузнечики. Прислушаешься – и кажется, что мир только и состоит из их трескотни. Галоши Егорыча шлёпают чуть

впереди. И хотя сейчас сухо, сюда всё равно нужно идти в галошах или резиновых сапогах, потому что дорога может совершенно неожиданно упереться в болото.

– Благодаря этим болотам мы и победили финнов, – басит Егорыч, – Они три года тут хозяйничали. Дядьку моего расстреляли...

– А теперь они возят нам жвачки, – усмехается Светка. На ней – высокие синие резиновые сапоги, которые дала ей Михайловна.

– Жвачки! – машет рукой Егорыч, – Дались вам эти жвачки! Лучше картошку с грибами ешьте!

Как же, ели! В тот раз мы привезли из бора несколько пакетов грибов, спасённых от ливня и грозы. Подумаешь – хлеба нет! Зато есть лисички, чуть сладковатые и в тарелке такие же яркорыжие, как и в окопе.

– А почему зимовье так называется? Там что, зимуют? – спрашивает Дашка. На ней, как и на мне, – обыкновенные резиновые сапоги, привезённые из города.

– Когда-то было охотничье зимовье, где ночевали охотники. Там обязательно был запас еды и воды. Зимой без этого никак! А потом, когда здесь сделали заповедник, оно осталось, как сторожка. Но по привычке говорят «зимовье».

– Дедушка, а ты же раньше часто охотился? – голос у Светки густой, грудной.

– Чаасто! – кряхтит Егорыч, – На кабанов мы с Семёнычем ходили в Карелию. Он, правда, больше порыбачить всегда любил, но со мной и на зверя ходил. Бывало, мы на несколько дней на охоту. Вот в зимовье и оставались на ночь.

– А кабаны здесь до сих пор водятся? – интересуется Дашка.

– Воодятся, а как же! – басит Егорыч, – У меня для этого ружьё.

Ружьё болтается у него на за плечом, покачиваясь в такт шагам.

– Здесь же нельзя стрелять! – ехидничает Светка.

– Что позволено Юпитеру, не позволено быку! – усмехается Егорыч. – Если мне стрелять запретят, я и домой могу не вернуться. Звери – они же не люди, языка не понимают.

Егорыч говорит, что здесь водится сорок четыре вида животных и двести пятьдесят видов птиц.

– А бабушка рассказывала, что двести шестьдесят! – гордо заявляет Дашка.

– Ну, бабушка у тебя учёная, ей виднее! Двести шестьдесят так двести шестьдесят!

Егорыч не учёный. Он работает в зимовье не то сторожем, не то лесником. Светка говорила – он раньше был механикам в совхозе, но потом ушёл на пенсию, а теперь и совхоза нет – закрыли. И вот он ходит каждый день до своего зимовья: четыре километра туда – четыре обратно. В любую погоду ходит: наденет галоши – и был таков. Иногда мы видим, как к вечеру он возвращается обратно: из-за вихров иван-чая показывается кончик ружья, затем лысина с остатками седины или замызганная кепка – и, наконец, уже весь Егорыч – неспешный, грузноватый – шагает посреди дороги как ни в чем не бывало. В своё зимовье он соглашается нас взять впервые. Светка говорит – была там когда-то давно и ничего там особенно интересного. Дашка предложила взять карандаши и вызвать духов. Но Светка сказала – их можно вызывать только на чердаке, а в зимовье чердака нет. Бабушка не хотела нас пускать. Но её уговорила Тётя Аня. Их с Антоном из больницы выписали почти сразу. Обошлось без воспаления. Правда, несколько дней Антона не выпускали из комнаты. В отместку он ревел и что есть силы колотил кулачками в дверь.

Оказывается, зимовье чуть больше деревянного домика – такого, какие обычно ставят на детских площадках. Ведёт к нему теряющаяся в траве тропинка, убегающая чуть в сторону от дороги. Тёмно-серый сруб стоит под толстой, прямой, как мачта, сосной, и входом почти упирается в ствол. Егорыч говорит – это чтоб ветер не задувал. Входишь, нагибаясь, и сразу утыкаешься в кровать. Рядом – маленький столик, за ним – печка, но пахнет тут не золой, а какими-то травами или мхом, щедро натыканным между брёвнами.

– Ни фига себе! Ты принёс сюда старый чайник! – говорит Светка, усаживаясь на кровать.

– Бабушка же выкидывать его собралась, пришлось отнять...

Я почему-то смотрю на ружьё, которое Егорыч поставил к печке. Прямо надо мной, в углу под потолком, висит огромная белая паутина, похожая на облако. Окошки здесь такие же маленькие, как в детских домиках, и от этого полумрак. Щёлк! – это Егорыч включил свет.

– А вы что думали? У меня тут электричество. В прошлом году провели!

– А раньше не было? – чуть не шёпотом спрашивает Дашка.

– А зачем оно тут? Это уж так, баловство. Мне директор заповедника говорит – мол, будешь как человек... А вообще тут и от дров горящих светло было!

– А сейчас здесь тоже ночевать можно? – я, наконец, решаюсь подать голос.

– Мооожно! Только осторожно! – хехекает Егорыч.

– А то медведь утащит? – подмигивает Светка.

Она сидит рядом со мной, и я снова ощущаю её луковый запах.

– Медведь не утааащит! У меня для него пули припасены! – Егорыч кивает на стоящее у печки ружьё.

Дальше мы с Дашкой не говорим ни слова. Только сидим и слушаем, прислонившись затылками к бревенчатой стене. Светка с Егорычем говорят неторопливо, как будто нехотя.

– И что, сюда даже медведь не заходил?

– Может, и заходил, да меня не застал... хе-хе...

– Значит, ты ружьем здесь так и не воспользовался?

– Воспооользовался, вернее, почти воспользовался.

– Да ну! И давно это было?

– В войну! Давай-ка чаю вскипятим...

Светка встает с кровати, берёт со стола чайник и ставит в нишу печки. Егорыч наклоняется, достаёт откуда-то два полена, суёт в печку и поджигает. От едкого синеватого дыма начинает щипать глаза.

– Ты от финнов, что ли, отстреливался?

– От финнов! Как же!

– А от кого?

– От кого... – хе-хе...

– Ты же не воевал, ты маленький был?

– Не воевал, не успел. Закончись война на год позже – забрали бы на фронт. Ни мамы твоей не было б, ни тебя не было б...

– Ну... был бы кто-то другой...

Чайник закипает довольно быстро, и Светка молча начинает разливать кипяток. Кружки здесь железные, с отбитой эмалью, с погнутыми ручками. Чай Егорыч достаёт из большого пакета за печкой, рассыпает по кружкам прямо в кипяток.

– Деревня раньше большая была... – кряхтит Егорыч, – Сорок дворов – не меньше. Школа была. Все дудниковские к нам ходили. У них-то тогда от силы дворов двадцать стояло. Магазина не было, переправы не было. У нас зато пристань была небольшая – там, где сейчас у Семёныча мостки...

– И что, теплоходы заходили? – отхлёбывая чай, спрашивает Светка.

– Теплоходы не заходили, конечно. Да и не было их тогда, были пароходы. Но они все мимо шли. Так, буксиры небольшие приставали. Лес сплавляли перед самой войной. А когда финны досюда добрались, первой разбомбили пристань. Потом школу... Это уже наши пальнули, с того берега. Сразу весь этот конец деревни, который у леса стоял, загорелся. Дворов пятнадцать сгорело – у нашего дома остановилось. Сосед у нас был – чуть наискосок, через дорогу, рядом домом Васильевны, тёть Тони, – Егорыч кивает на Дашку, – там, где сейчас малинник. Костя Шмелёв, в классе с ним учились, – голубоглазый такой, белоголовый... Финны его за своего принимали. Отец его, дядя Паша, тоже охотником был, как и мой. И мы часто тут, в зимовье, околачивались. И вот я однажды захожу сюда и вижу – вот за этим столом сидит Костик, и перед ним целая гора земляники. На полу корзина, в ней тоже ягоды. Я говорю, ты чего, варенье варить собрался?

Мать, говорит, отправила в лес, сказала – набери ягод, только осторожнее смотри, чтобы финны не засекли. А то отберут. Вот, мол, я решил – дождусь здесь ночи, и потом, в темноте, проберусь к дому. А пока тут ягоды переберу, хвостики оторву... Где ж ты, говорю, темноту найдёшь? Ночи-то сейчас белые. Ничего, говорит, всё равно ночью не так заметно. Ну, сидим мы, значит, хвостики у земляники отрываем, чистые ягоды в корзину бросаем, и тут Костик говорит: всё, так теперь и будем в Финляндии жить. Финны же хотят по нашей реке границу провести. Я молчу, ничего не говорю. Финский нас заставят выучить. Я, кстати, уже начал учить – пригодится... Помню, у меня ягода из рук выскочила и укатилась куда-то. Лучше б, говорю, ты русский подтянул. А то у тебя по русскому чуть пара в году не вышла. И дальше сидим чистим, в корзину бросаем. Ты видел, говорит, как у финнов грамотно всё? Какие у них мотоциклы – не то что наши. Дорогу подсыпали – хоть проехать можно. Скот держать разрешили. Правда, охотиться не дают и ягоды собирать, но потом наверняка тоже разрешат... Я беру стол за две ножки и переворачиваю его. Костик вцепляется мне в воротник. Мы катаемся по полу, перемазываемся в землянике. Ты дрянь, говорю, чухонская! – А ты кулак, говорит, недобитый. И вот тут на меня откуда-то сверху сваливается ружьё. Отец, когда на фронт уходил, здесь его и оставил, за печкой, и никому до него дела не было... Я беру в руки это ружьё и стреляю в потолок, после чего направляю ствол на Костика. Он поднимает руки вверх, пятится к двери и выскакивает в лес. Потом мать утопила это ружьё в реке...

Становится душно, как в бане. Я встаю из-за стола и выхожу в лес. Там начинается дождь, и тяжёлая жирная капля приземляется мне на нос. Но он что-то всё не может разойтись, и одиночные капли падают редко и почти бесшумно. Со стороны реки доносится громкий – как будто совсем рядом – и длинный гудок теплохода.

– И куда потом делся этот Костик? – слышу я через приоткрытую дверь Светкин голос.

– Уехали они отсюда сразу после войны, с матерью и сестрой. Отец ихний с фронта не вернулся.

Устье

Мама боялась этой детской площадки как чёрт ладана, и ни в какую не соглашалась туда идти.

– Ты там себе руки-ноги переломаешь. Или на гвоздь напорешься!

Когда я стал старше и мне разрешили гулять одному, я бегал на эту площадку тайком. К тому времени деревянный городок был ещё почти цел. Несколько теремков, соединённых между собой переходами, горки разной длины, верёвочная лестница, по которой можно забраться на самую высокую башню... Лестницу оборвали первой. Клочья от канатов ещё долго валялись по всей площадке – их находили в песочнице, под качелями, в кустах акации, которыми был засажен тот двор. Затем треснули перила – на одном крыльце, на другом. В теремках прохудились крыши и кто-то даже повесил красную ленточку, чтобы туда больше не забирались. Из горок торчали ржавые гвозди. Городок таял так быстро, будто был сделан не из дерева, а из снега. Один из теремков кто-то поджёг: вроде бы какая-то компания набросала туда бычков от папирос. Правда, большого пожара не было: обгорела лишь одна стена. Последнее, что осталось от городка, – частокол обструганных пеньков, по которым можно было ходить, расставив руки самолётом. Этот частокол, кажется, сохранился до сих пор.

Вечером бабушка берёт нас с собой за молоком. Мы идём на другой конец деревни. Солнце – ярко-оранжевое – светит нам в спины – и от этого на дороге вытягиваются три длинные тени – моя, Дашкина и бабушкина. Полынь по краям дороги запылилась настолько, что уже не изумрудно-зелёная, а какая-то серо-жёлтая, как придорожная грязь. Выдохшееся, застоявшееся лето... Бабушка держит под мышкой пустую трёхлитровую банку под завтрашнюю порцию молока. А сегодня мы заберём полную, тёплую и тяжёлую. Любкин дом – самый последний, стоит чуть в стороне от дороги, но виден отлично. Он как будто из книжки про какую-нибудь добрую волшебницу: жёлтый, розовый и светло-зелёный. Любку и её мужа Ильнура все называют «богачи».

Как только мы открываем калитку, где-то в глубине начинает тявкать собака. Она лает так, что, кажется, сейчас надорвётся.

– Дина, Динка! А ну уймись! – слышится сердитый женский голос, и на крыльце появляется Любка – в белом платке, красном деревенском платье и фартуке.

– Меня-то она уже знает, а вот к детям ещё не привыкла, – как бы оправдываясь, говорит бабушка, посматривая на собаку и улыбаясь во всё лицо.

– Такая громогласная – и тявкает, и тявкает, и тявкает. Никому мимо нельзя ни пройти, ни проехать!

– Молодая ещё, погавкать охота... – хехекает бабушка.

– Да, не говори, Васильевна, Хельга куда умнее была!

– Хельга хорошо пожила, – миролюбиво говорит бабушка про умершую в начале лета Любкину собаку. Я её уже не застал и знаю о ней только по рассказам.

– Золото была, а не собака! – машет руками Любка, – Ну, вы проходите, чего стоите-то?

Мы поднимаемся на веранду. Там, внутри – груда обуви: туфли, кроссовки, босоножки, резиновые сапоги, галоши... Мужские, женские, детские – какие угодно, сваленные в одну большую кучу. Тут же – не то стол, не то сундук с наваленным тряпьём, в котором можно различить фуфайку, пару футболок, какие-то рубашки, свитера, синие спортивные штаны...

– Тёплое ещё, – говорит Любка, вынося нам навстречу полную трёхлитровую банку. – Минут двадцать как подоила.

И только сейчас я замечаю чуть приметную красноту вокруг Любкиных глаз. Она ставит банку на низкий столик и исчезает за занавеской, закрывающей дверной проём. Вскоре появляется с пакетом яиц.

– Люб, у тебя там макарон не ожидается в ближайшие дни? Или хоть вермишели какой? – спрашивает бабушка.

Любка медленно качает головой и туже затягивает платок. Её смуглое лицо в сумерках кажется ещё смуглее.

– Консервы, – говорит она, – одни консервы: тушёнка, килька, сайра, бычки в томате, на которые я уже смотреть не могу...

В уголках глаз у неё снова проступают слёзы.

– Хлебокомбинат-то хоть не закрыли? – бабушка ставит пустую банку на столик и берёт полную.

Любка машет рукой.

– Закроют вот-вот. Говорят, там директор проворовался – коттедж себе выстроил. Да и муки в этом году мало.

– Неурожай, что ли?

– Одни говорят – неурожай, другие – что у комбината долги миллионные. А нам разве скажет кто-нибудь правду?

Любка вытирает слезу.

– Э, ты чего? – у бабушки такая интонация, какая бывает, когда она собирается нас ругать.

– Сил моих нет, Тоня! На натуральное хозяйство впору переходить, но сил моих нет...

– Сил сейчас у всех мало...

Любка снова вытирает слезу.

– Обе деревни думают, что я тут чёрную икру ем ложками. Как будто я в каком-нибудь валютном магазине работаю...

– Да брось, Люба! Кто это про тебя думает?

– Мне иной раз из дома страшно выйти. Дадут по башке – и пойди найди меня в лесу!

– Прекрати! Люди – они же не звери! У нас здесь кругом все нормальные вроде.

– Ильнура сократить могут. Что мы тогда делать будем? Не знаю...

– У вас же огород, корова, козы, куры...

– А кормить-то их чем? Раньше хоть из совхоза можно было зерна принести, а теперь всё – нет совхоза!

Я слышу, как подо мной скрипят верандные половицы.

– Уезжать отсюда надо, – Любка зачем-то переходит на шёпот, – хоть куда: в Лодейное поле, в Волховстрой, в Ленинград!..

– В Ленинград! – усмехается бабушка, – И что ты там делать будешь? На Апрашке торговать?

– Да хоть полы мыть пойду. Девчонок в город отправили, теперь самим пора... брать быка за рога. Или козу на худой конец.

– Я уже взяла, – хехекает бабушка, потирая руку.

Она говорила нам, что у Любки – две взрослые дочери. Обе уехали в город и приезжают редко, даже летом.

– Сиди, Люба, здесь. Молоко есть, картошка есть, мясо есть – вон, под забором бегает! – бабушка кивает в окно на курицу, которая разгребает землю около калитки. – Хлеб не всегда есть... Ну, картошка – это считай второй хлеб.

– Родственники Ильнура зовут к себе, под Казань. Посёлок Камское устье... Ильнур говорит: тут река – и там река, ещё больше. Я была там один раз – почти как море...

– Сиди здесь, – повторяет бабушка, – Финнов твоя мать, я знаю, пересидела – и это пересидим. Даша! Бери яйца и пошли!

Когда мы снова выходим на деревенскую улицу, солнце уже опустилось за лес. Ночи в августе не белые, темнота наступает быстро. Проснёшься вдруг затемно – хоть глаз выколи. Только в окно поддувает, да кузнечики стрекочут и стрекочут.

– Устье – это же конец реки? – спрашивает Дашка.

Она мотает головой – и её волосы, заплетённые в два хвостика, болтаются, словно огромные уши у собаки.

– Прекрати баловаться! – распоряжается бабушка, – Сейчас яйца разобьёшь!

Дашка хихикает, и я вслед за ней.

– Так это ведь конец реки? – не унимается она.

– Конец это, конец, – вздыхает бабушка. – Всякая река куда-нибудь впадает. Свирь – в Ладогу, а Кама – в Волгу.

– «Кама» – это же велосипед! – кричу я.

– Игорь, не кричи! У меня и так голова болит!

– Так «Кама» – велосипед? – повторяю я.

– Велосипед, – отвечает бабушка, перехватывая банку с другой стороны, – А «Волга» – машина.

Дашка снова хихикает. Где-то вдалеке, за чьим-то забором, кукарекает петух.

– Поздний какой! – цокает бабушка, – А «Днепр» – это магнитофон такой был. Всё это реки – самые большие наши реки.

– А Свирь – тоже большая? – трясёт хвостиками Дашка.

– Свирь – большая. Но Волга больше.

– А Кама?

– И Кама. Кама даже больше Волги.

– Как это? Ты же сказала, что Кама в Волгу впадает? Значит, Волга больше?

Дашка всегда была умной. Бабушка постоянно приводила мне её в пример.

– В том-то и дело, что по-хорошему Волга должна заканчиваться в том месте, которое называется Камское устье. То есть Волга должна впадать в Каму и там заканчиваться, а Кама – в Каспийское море. Потому что Кама несёт больше воды. Но так сложилось, что этот водный путь был главнее, страну объединил в своё время. Поэтому Волга – это Волга, самая длинная река во всей Европе.

– А там тоже есть шлюзы? – спрашивает Дашка.

– Конечно! Сколько угодно! Волга вся из шлюзов состоит.

– А зачем? – подаю я голос.

– А ты разве не знаешь, зачем нужны гидроэлектростанции? Вот мы проезжали одну из них в Волхове.

– Чтобы ток вырабатывать! – вставляет Дашка.

– Правильно! – бабушка открывает нашу калитку. – С помощью таких рек, как Свирь, Волга, Кама, Днепр, во всей стране есть свет.

Лампочка, подвешенная на проводе, освещает вечерние сумерки. В её робком свете роятся мошки. Чей-то петух ещё раз затягивает: ку-ка-ре-куу!

Гриша

– Сносят, – говорит мама с какой-то твёрдостью и почти без грусти в голосе, – всё сносят – подчистую!

Здание – вернее, то, что от него осталось, – окружено щитами, затянутыми зелёной сеткой. Но здесь, на углу улицы, щитовая стена расступается, открывая вид на груду битого кирпича, досок, погнутых балок и обломков мебели. Экскаватор зачерпывает очередную порцию мусора и вываливает в стоящий рядом грузовик. Чуть дальше, в глубине того, что когда-то было двором, ещё высятся этажи с раскрытыми комнатами, выдранными оконными рамами и стенами, крашеными изнутри зелёной масляной краской.

– Вон там была моя комната, – кивает мама.

– Где?

– Воон там! – показывает она рукой.

Я так и не понимаю, где. Цветная картинка кажется слишком непривычной – такие груды кирпичей и полдома «в разрезе» я обычно видел на блокадных чёрно-белых фотографиях. И, как правило, там была зима: сугробы и наполовину заметённые трамвайные рельсы... Сейчас – поздняя весна, но ветер с залива ещё холодный, северный, и мама поправляет свою вязаную шапку, набирает воздуха и говорит:

– А там, в другом крыле, была комната папы. Я ходила к нему через всё общежитие...

Плакаты на щитовой стене гласят, что здесь будет гостиница, апартаменты или что-то вроде того. «Панорамный вид на Эрмитаж и стрелку Васильевского острова», – приписано внизу большими винтажными буквами.

Мы переходим дорогу и упираемся в гранитный парапет. Там, внизу, плещется широкая река.

– Лёд идёт с Ладоги, – усмехается мама.

И действительно: на самой середине, на фарватере, поблёскивает отживающая своё бесформенная льдина.

Мы с Дашкой играем на дороге в самолёты: набрать в кулаки песка и разбежаться, пуская его по ветру. Получается – пыльный двойной след, как у самолёта в небе. Вдруг она застывает, как вкопанная.

– Это Гриша! О боже, бежим скорее!..

Мы несёмся мимо палисадника с калиной и акацией, пулей залетаем в калитку и прячемся в кустах за изгородью. Отсюда хорошо видно жёлтое песчаное полотно дороги с вихрами полыни по обочинам. Не то пошатываясь, не то прихрамывая, выходит человек в синей футболке, спортивных штанах и синих, в тон к футболке, парусиновых тапочках. С плеча у него свисает полотенце. Он останавливается и, странно скрючив руки, смотрит в нашу сторону, а потом лыбится и издаёт непонятный булькающий звук, отдалённо похожий на смех.

– Кто это? – шепчу я, чувствуя, как бешено колотится сердце.

– Гриша, сын Германа, – шепчет в ответ Дашка.

– Какого Германа? Геолога?

– Да. Я его жутко боюсь, этого Гришу!

– А почему он так скрючил руки?

– Он всегда таким был, сколько его помню. Он не умеет говорить – только мычит и смеётся. И всё время смотрит и смотрит.

Булькнув ещё раз напоследок, Гриша направляется дальше. Его сутуловатая фигура с синими тапочками медленно удаляется, но страх пока не отпустил меня до конца.

– А куда он ходил? – шепчу я, хотя, кроме Дашки, рядом больше никого нет.

– Купаться, наверное... – она тоже шепчет. – Он всегда ходит купаться на дикий пляж.

– А сколько ему лет? – зачем-то спрашиваю я.

– Не знаю. Лет тридцать...

Дашка стоит совсем близко от меня, и между нами – только длинная цепкая ветка акации с тёмно-зелёными листьями и жёлтыми цветами, которые можно жевать. Кажется, я слышу, как колотится её сердце. Хотя может быть, это и моё: мы оба запыхались, когда бежали сюда. В висках пульсирует: уть, уть, уть...

За обедом, ставя одну за другой на стол тарелки с супом, тётя Аня сообщает:

– Гегман пгиехал!

– Когда? Сегодня? – оживляется бабушка.

– Вчега вечегом. Сегодня в гости всех зовёт.

– Он заходил, что ли? – спрашивает бабушка, откусывая хлеб. Уже порядком очерствевший, из старых запасов.

– Мы его встгетили, когда с Антошкой гуляли...

Все рассаживаются за длинный деревянный стол: мы с Дашкой, мама, папа, бабушка, дядя Володя и тётя Аня. Антон сидит в высоком детском стульчике – кажется, его отдала Михайловна. Когда-то давным-давно в нём сидела Светка. Тётя Инна, дядя Коля и Женька уже больше недели как уехали. Тот конец стола, который они обычно занимали, теперь завален игрушками Антона.

– Кто такой Герман? – интересуется мама, прихлёбывая суп.

Стук ложек по тарелкам. Шипение сковородки на электроплитке. В сковородке – картошка с луком. Когда говорят «обед», я всегда вспоминаю этот запах, от которого сразу хочется есть.

– Геолог, – жуя, говорит бабушка, – изъездил всю страну – от Средней Азии до Кольского полуострова и от Карпат до Камчатки.

– У него ещё мальчик странный, – добавляет дядя Володя.

– Почему странный? – зачерпывая суп, мама ударяет ложкой по тарелке.

– Ну... – он больной, – тихо говорит тётя Аня.

Я смотрю на Дашку. Она сосредоточенно ест. Сегодня – лапша на курином бульоне. Мелкая, разварившаяся, уворачивающаяся от ложки.

– Так он с мальчиком приехал? – спрашивает бабушка.

– И мальчика пгивёз, и жену, и ещё каких-то аспигантов своих... Бгатцы, надо сходить к ним пгямо сегодня!

– Надо навестить! – чмокает бабушка. – Герман мне всегда нравился.

После обеда я чувствую себя так, будто мне предстоит лечь на операцию. Я даже подумываю о том, чтобы изобрести какую-нибудь боль в животе или температуру. Но решаю, что это может выйти боком. Припекает. Кажется, что сейчас не август, а самая середина июля. Нам с Дашкой разрешают выкупаться, хотя Ильин день уже прошёл. Но ни мостки, на которых можно рисовать водой, ни ласточки и голосящие чайки, ни теплоходы, проходящие один за другим и поднимающие высокие, почти морские волны не могут заставить меня забыть о том, что поход к Герману неизбежен. Наконец, нам напоминает об этом мама, которая спустилась к мосткам, чтобы прополоскать бельё. Я узнаю свою красную футболку, чёрные шорты, носки, которые бултыхаются в нагретой речной воде. Ласточки носятся под солнцем туда-сюда, не забывая залетать в свои песчаные норы.

– Последняя жара, – вздыхает мама, вытирая пот со лба, подхватывает таз и направляется по тропинке вверх. – Давайте вылезайте уже! Скоро в гости пойдём.

Герман оказывается невысоким усатым мужичком лет пятидесяти-шестидесяти, уже отчасти морщинистым, но ещё не седым. Он обнимает тётю Аню, затем дядю Володю, делает козу Антошке, после чего пожимает руку бабушке. Сама она улыбается во всё лицо – такое с ней бывает только при посторонних людях. Короткое знакомство с мамой и папой – и вот, наконец, доходит очередь до нас с Дашкой. Мы стоим у калитки, спрятавшись за спины взрослых, но где-то там, в глубине сада, я слышу уже знакомое бульканье, и вот на тропинку выходит Гриша, в той же синей футболке и парусиновых тапочках.

– *Здгавствуй*, *Ггиша*! – говорит где-то там, впереди, тётя Аня.

Гриша в ответ гогочет.

– Барышня совсем! – Герман трогает за плечо Дашку, а мне подмигивает и протягивает нам обоим по шоколадной конфете. Можно считать, что первый бонус за этот поход в гости получен.

Ещё дальше, под яблонями, выстроилась целая делегация: несколько парней и девушек в замызганных футболках. У одного бородатого парня на футболке огромное сырое пятно: вспотел. Я и сам чувствую, как по спине скатываются капли пота – не то от жары, не то от страха. Гриша стоит на тропинке и лыбится. Руки засунул за спину.

Стол у Германа – ещё длиннее, чем у нас. И не в доме, а на огромной открытой террасе с видом на реку. Берег здесь даже выше, чем наш. Река блестит, переливается. Бакены покачиваются на воде. Чай нам подаёт Германова жена: невысокая пухлая женщина с грустными глазами. Она ставит на стол сразу два чайника и скрупулёзно разливает кипяток по чашкам – примерно так же, как какая-нибудь воспитательница в детском саду. Дашка говорит, её зовут Наталья, и она всегда молчит. И сейчас не произносит ни слова. Только, похлюпывая, втягивает в себя из чашки горячий чай. Я представляю себе молодого Германа, ещё без усов, и такую же молодую, одного роста с ним, Наталью. Глаза у неё не грустные, и она улыбается, глядя с выцветшей чёрно-белой фотографии. А потом вижу такую же выцветшую фотографию Гриши: маленький ребёнок с нездоровой улыбкой, держащий в руках зайчика, медвежонка, пластмассовый грузовик... Есть в этом снимке что-то необратимое.

– *Игогюша*, *дегжи*! – слышу я над ухом вкрадчивый голос тёти Ани.

Поднимаю голову – и не верю своим глазам: она протягивает мне целое блюдце сгущёнки – настоящей, тягучей, в которой медленно утопает ложка. Сгущёнки у Германа – огромная банка, и он демонстративно водрузил её на стол. Даже бабушка смотрит на неё так, словно увидела живого носорога. Рядом с ней на стол приземляется такое же блюдце, полное сгущёнки.

– Где они столько достали? – тихо спрашивает мама.

– У него геологический паёк, – объясняет папа, отправляя первую ложку в рот.

– Друзья! Можно минутку вашего внимания? – произносит Герман так, будто ведёт концерт.

Все за столом, включая бородатого парня в потной футболке, замолкают.

– Друзья! Сегодня день археолога. А археолог у нас в стране – вторая по значимости профессия после геолога, – по террасе прокатывается коллективная усмешка. Бабушка улыбается во всё лицо, – Я хоть и никогда не занимался археологией, но геология – это что-то очень близкое. И мы копаем, и они копают. Мы в наш профессиональный праздник, в апреле, обычно поднимаем по стопочке, но так как сегодня у нас здесь дети, давайте поднимем чашки с чаем!

Все импровизированно чокаются.

– Просто водка сейчас – дефицит, – тихо усмехается бабушка.

Тётя Аня смотрит на неё укоризненно, но ничего не говорит. Гриша гогочет где-то в дальнем углу, и от этого гогота я вздрагиваю, словно меня вот-вот кто-то сожрёт.

– Ну и что там в Ленинграде? – спрашивает бабушка, хлюпая чаем.

– В Ленинграде очереди за колбасой! – молодцевато отвечает Герман, и вся компания его аспирантов почему-то дружно смеётся.

– А здесь – очереди за хлебом, – парирует бабушка.

– Ну, здесь хлеб и самим печь можно. Вон у меня Наталья умеет. Да, Наташ?

Не расставаясь с чашкой, она молча кивает головой. У Германа мне нравится всё: добротный деревянный стол, устланный голубоватой клеёнкой, сгущёнка, которую ел бы вечно, высокий берег реки, яблони в саду, крыжовник, укрывающий забор... Гриша опять гогочет.

– Сын, давай я тебе ещё положу, – понижая голос, говорит Герман.

Домой мы возвращаемся с трёхлитровой банкой сгущёнки. Нести её доверено папе как самому сильному и высокому из всех нас.

Революция

Музыка, которая доносится из распахнутой машины, такая громкая, что от неё подрагивает земля. Чуть подальше – другая машина, тоже распахнутая, но, кажется, без музыки. Трава около озера низкая, вытоптанная: один подорожник, ромашка и ещё что-то вроде осоки. Когда становишься на неё босой ногой, противно, как будто тебя кто-то щекочет. Скинуть футболку, шорты – и быстрее в воду. Недавно я научился плавать, и теперь понемногу забываю, что такое – ходить руками по дну.

Озеро совсем не холодное. В ряби отражается густо-синее небо и белые облака с серыми пятнами. Музыка гремит, и отсюда, с воды, машина с открытыми дверцами и поднятым багажником – словно сцена рок-клуба. В воду я погружаюсь сразу с головой. По телу сначала пробегает дрожь, а затем оно привыкает к обволакивающей воде. Я открываю глаза и вижу складки песка, маленькие подводные барханы, а ещё мальков, ринувшихся от меня в разные стороны. А там, вверху, – трепыхающаяся плёнка, граница воды и воздуха...

Вынырнув, я плыву вдоль берега. Вот, оступаясь и держась друг за друга, входят в воду две полнотелые дамы. У одной из них на голове – панама. Я плыву дальше, туда, где шелестящей стеной стоят камыши, и вижу впереди светло-зелёные листья кувшинки. Музыка гремит у меня в ушах, и солнце, вылезая из-за облака, печёт затылок. Решив, что пора отдохнуть, я встаю на ноги и ухожу с головой под воду. Подошвы с трудом нащупывают скользкое илистое дно. Я поднимаю руку вверх и подпрыгиваю, но дно притягивает меня, как гигантский магнит. Я пытаюсь бежать, но еле двигаюсь и лишь топчусь на месте. В этот момент вспоминаю ласточек над крутым песчаным обрывом. Кажется, они кружатся у меня над самой головой. Воздуха больше нет. В последний момент решаю лечь на воду и умереть. И начинаю всплывать.

Вынырнув, я плыву вдоль берега. Музыка всё так же гремит, а полнотелые дамы уже рассекают перед собой воду. Солнечные лучи подсвечивают панаму. Я доплываю до мели, сажусь в воду обхватив колени, и понимаю, что больше уже не утону.

Слово «отъезд» слышится всё чаще.

«Надо перед отъездом бельё выстирать...»

«До отъезда успеть малину сварить...»

«К отъезду убрать раскладушку на чердак...»

На днях к нам заходит Егорыч и говорит:

– Директор в Ленинград собирается. За рулём будет сам. Предлагает кого-нибудь подбросить. Я сразу про вас и подумал. Чего вы будете на перекладных?

– А это удобно? – спрашивает бабушка, улыбаясь во всё лицо.

– Удоообно, – машет рукой Егорыч. – А чего неудобного-то? Валентин Александрович – человек простой, не министр – хе-хе...

– А сколько у него мест? – интересуется мама, – Нас же – целая орава.

– Ну, человека четыре он в свою «Ниву» точно возьмёт...

– Ну, а нас-то – восемь...

В общем, решаем: я, Дашка, мама и дядя Володя сядем в «Ниву». Тётя Аня с Антоном уедут вместе с Любкиным Ильнуром. Он тоже едет в Ленинград по делам, и в кабине его фургона как раз есть лишнее место.

– Мы-то ладно уж, мы с Серёжей на подкидыше доберёмся! Первый раз, что ли? – говорит бабушка.

Склонившись над электрической плиткой, она мешает в большой кастрюле малиновое варенье, снимает пену и кладёт рядом на тарелку. Пахнет так, что я готов съесть хоть всю кастрюлю, если бы она не была такой горячей. Но единственное, на что мы можем претендовать, – это пена. И то после обеда и если только съедим всё дочиста.

– Главное, чтобы подкидыш ходил, – добавляет обычно молчаливый дядя Володя.

– А чего бы ему не ходить? Война, что ли, завтра уже? Или революция?

– Или завтра, или послезавтра... – усмехается дядя Володя, – По-моему, всё уже необратимо.

– Детей на машинах отправим, а мы на подкидыше, – повторяет бабушка.

Подкидыш – трёхвагонный поезд, на котором нужно доехать до станции Волховстрой, а там уже пересесть на электричку до Ленинграда. В Волховстрое на вокзале стоит огромный чёрный паровоз. Когда мы ехали сюда, бабушка рассказывала, что он вёл первый состав, который привёз в Ленинград продукты после прорыва блокады. И потом долго ещё говорила про блокаду.

– Как вы тут вдвоём спгавитесь? – качает головой тётя Аня.

– Нормально справимся! – папа переминается с ноги на ногу на ступенях крыльца. – Алексей Егорыч перевезёт нас на переправу. Перевезёте, Алексей Егорыч?

– Перевезууу!

Из деревни уезжают почти все. Мы первые. За нами – Герман с семьёй и со своими аспирантами, после этого – Димка с Ульянкой. Их заберут родители. Светка тоже уедет. Останутся только Егорыч с Михайловной, Любка с Ильнуром и ещё пара старушек. Димка говорит, зимой в деревню бывает даже не проехать: дорогу заметает. Раньше её чистил совхозный трактор, но теперь совхоза нет, а трактора распродали на запчасти.

К Димке мы с Дашкой бежим после обеда. Мне было немного стыдно за историю с «дебилом», но Димка, кажется, не придал этому значения.

– Мы с Ульянкой шалаш строим на берегу, – объявляет он, как только мы входим в его калитку под хриплый лай Штурмана.

Шалаш они строят вокруг дерева, которое стоит почти у самой воды. Несколько веток-рогаток уже подпирают ствол, и сверху накиданы какие-то листья, трава, кусок плёнки от теплицы...

– Вот тут у меня будет жить *кука*, – говорит Ульянка, засовывая под ветки длинноногую улыбающуюся барби.

– Тут мы сами будем жить, – деловито заявляет Димка.

– А со мной будет жить *Баби*! – настаивает Ульянка.

Димка не спорит. Он говорит, что нужны ещё как минимум две большие ветки, и мы отправляется на их поиски вдоль берега. От реки уже тянет холодом. Первую подходящую ветку находит Дашка. Длинную, берёзовую. Димка помогает сдвинуть её с места.

– Ломать надо. Слишком большая.

– Ну вот, разломаем – и будет как раз две.

Но как мы ни стараемся – и прыгаем на ней, и гнём об колено, и налегаем с разных сторон, – ветка не поддаётся.

– Топор нужен, – вздыхает Димка, вытирая пот со лба.

Чуть вдалеке Димкина бабуля спускается к мосткам с тазом белья. Она недавно рассказывала, как когда-то на месте этих мостков был причал, и сюда приставали буксиры.

– Бабуль! – кричит Димка. – Можно нам взять топор?

Даже отсюда видно, как бабуля меняется в лице.

– Что?! Ты головой-то думай! Топор ему! А ружьё не хочешь?!

Димка понуро склоняет голову и молчит.

– Ружьё, спрашиваю, не хочешь?! Лодку он уже угонял – теперь ему топор! Нет, ну вы подумайте!

– Ну дай хоть покрывало какое-нибудь, – кричит Димка исподлобья, нахмурив брови.

На это бабуля кое-как соглашается. И вот мы накрываем стоящие ветки огромным пёстрым покрывалом, дырявым в нескольких местах, и снизу прижимаем камнями. Большую ветку мы так и бросили. Шалаш оказывается таким маленьким, что туда с трудом помещаются двое. Первыми залезают Дашка с Димкой, а мы с Ульянкой стоим снаружи и требуем, чтобы нас тоже пустили. Наконец, нас пускают.

– Посидите здесь, – говорит Димка, – а мы с Дашкой пойдём на охоту. Мы же на необитаемом острове!

«Остров» ещё как обитаем. Бабуля до сих пор стирает бельё на мостках, вниз по реке, поднимая волны, проползает баржа, лают собаки, кричат петухи. Ульянка прижимает к себе куклу и говорит:

– А *бабуя сказаа*, что будет *евоюция*...

– Какая ещё революция? – не понимаю я.

– *Евоюция*. Как семьдесят *ет* назад!

Слово «революция» для меня – такое же длинное и далёкое, как «КПСС» или «политбюро». Здесь, в тесном шалаше, я точно не представляю себе никакой революции, а лишь наблюдаю за Дашкой и Димкой. Вот Димка карабкается по обрыву наверх и подаёт руку Дашке. Она берёт его за руку, забирается к нему, и они садятся на край обрыва, свесив ноги. Ласточки летают туда-сюда, но уже не так резво, как месяц назад. Снизу по реке поднимается теплоход, а дальше за ним – ещё один. Сейчас они будут расходиться с баржей, так что волны пойдут крест-накрест. Димка что-то показывает Дашке, вытягивая руку в сторону теплоходов. Может, это они так высматривают зверя? Или птицу? Димка рассказывал, как они с дедулей ходили на охоту и как нужно долго высматривать цель, а потом прицеливаться, иначе промажешь. Дашка тоже всматривается вместе с Димкой, делая ладонью «козырёк», и вдалеке слышно, как шумят волны, которые успели докатиться до берега. Я опускаю голову и смотрю на Ульянку. Она возится со своей длинноногой куклой, кутая её не то в шарф, не то в какое-то полотенце. Интересно, Ульянка уже доросла до того, чтобы вот так же сидеть на краю обрыва и смотреть на приближающиеся теплоходы, если бы рядом с ней, скажем, оказался я?

– Кем ты хочешь стать, когда *выастешь*? – вдруг спрашивает она, отложив куклу. Вопрос застаёт меня врасплох. «Штурманом» – приходит мне в голову наспех. Теплоходы все ближе и ближе.

– Машинистом, – почему-то отвечаю я тихо, будто стыдясь.

Докатившиеся до нас волны захлёстывают берег. Теплоходы идут друг за другом. «Надо заплакать, и станет легче...» – говорю я себе и понимаю, что не заплачу.

Переправа

Квартиру мы сняли в районе с длинным и звучным названием Каласатама. Несмотря на схожесть с «Фудзиямой» и «Тоямой», ничего японского – даже суши-баров – здесь и в помине не было. Я залез в гугл и узнал, что в переводе с финского Каласатама означает «рыбная гавань». Гавань и правда была где-то неподалёку, она угадывалась по заводским бетонным трубам, тёмно-красным промышленным зданиям и временами острому рыбному запаху моря. Судя по всему, раньше это была неуютная промышленная окраина Хельсинки, а теперь – почти центр города, как сообщали путеводители.

– Хлеб здесь вкусный, – говорит мама и кладёт в тележку пакет с какими-то булками, – а вот сыр не очень. Хотя вот, французский...

Глебыч берёт пачку макарон и швыряет сверху на хлеб. Я хватаю сметану, сок и какую-то воду.

– Куда вы столько набираете на полтора дня? Мы же завтра уезжаем.

– А что, до завтра не съедим, что ли? – басит Глебыч. – Сделаем вечером макароны с тунцом. Игорёк, пощи там тунца где-нибудь!

– Сыр тогда другой нужен, твёрдый, – бормочу я, топчась у полки с сырами.

– Кефира папе возьми! – напоминает мама.

Здесь, в Скандинавии, Глебыч выглядит абсолютно своим. Длинные рыжие волосы, короткая борода, серые глаза. И ещё эта искусственно затёртая косуха. Как будто только что сошёл со сцены, на которой орал тяжёлый скандинавский рок. В магазине огромное окно – даже не окно – стеклянная стена от пола до потолка. Там, снаружи, льёт дождь – мелкий, безнадёжный. Настоящий северный дождь, к какому я привык с самого детства. Люди входят, откидывая назад капюшоны дождевиков, ставя у входа зонтики. Пахнет не то кофе, не то хлебом, не то и тем и другим.

– Погода как у нас, – говорит мама, – только луж нет.

Вдалеке, в той стороне, где находится рыбная гавань, по мосту проносится оранжевый поезд метро.

– Рыбы здесь сейчас – навалом, – говорит Семёныч, выводя моторку на фарватер, – Я с утра целый таз наловил.

Димка рассказывал, что его дедуля Семёныч как неисправимый рыбак привык мерить рыбу тазами. В крайнем случае – вёдрами.

– И какая рыба? – перекрикивает мотор мама.

– Всякая... окунь, щука, лещ, плотва...

Деревня вместе с ласточкиным обрывом медленно остаётся позади. Размашистый белый след тянется за моторкой. Семёныч ловко огибает бакен, уходит с фарватера и аккуратно идёт вдоль берега, на котором непробиваемой стеной стоит бор.

– А почему мы медленно плывём? – спрашивает Дашка.

– На мель сесть можем, – деловито отвечает Семёныч. – К тому же осадка у нас – вон какая! Девять человек в одной лодке!

На лавке рядом с ним лежит пачка «Беломорканала». Димка говорил, что сам канал – тут, не очень далеко, в Карелии. И многие баржи, проходя здесь, потом идут как раз туда, через шлюзы, к Белому морю. На своей моторке Семёныч, наверное, мог бы и сам доплыть до этого Беломорканала. Лодка у него – большая, широкая, с тремя скамьями, с лобовым стеклом, защищающим от брызг.

– Быстро доберётесь, – говорит Семёныч, вытаскивая из пачки беломорину. – К вечеру в городе будете.

– Слава богу, не то что на подкидыше, – усмехается мама.

– На подкидыше ещё что – часов пять-шесть вместе с электричкой? – Семёныч берёт беломорину в зубы. – А теплоходом – сутки. Сухогрузом ещё дольше.

Переправа – прямо по курсу. Выходящая из леса дорога обрывается у самой воды. Вернее, над водой. Здесь тоже обрыв – только невысокий и без ласточкиных нор. Семёныч глушит мотор, и оставшиеся несколько метров моторка преодолевает сама, в конце концов упираясь в пологий песок. С тех пор каждый раз, когда говорили «переправа», я представлял себе именно эту переправу, с чернеющими деревенскими домами по ту сторону широкой реки.

– Ветер уже осенний совсем, – бабушка, ёжась, вылезает из лодки. – Какое сегодня число?

– Восемнадцатое! – кричит Дашка.

– Ещё две недели – и осень, – подмигивает ей папа, – пойдут дожди, наступят холода, цветы завянут, листья опадут...

– Неет! – куксится Дашка.

– Серёжа, не измывайся над ребёнком! – по-матерински велит бабушка. На руке у нее краснеет уже сильно побледневший полукруглый шрам.

Мы поднимаемся по тропинке на дорогу. Бугристый асфальт по диагонали пересекают глубокие трещины, будто это не кусок шоссе, а чей-то морщинистый лоб. Берёзы, которые оказываются по соседству с корабельными соснами, уже начали желтеть, и у цепких корней, подбирающихся к дороге, валяется несколько опавших листьев.

– Я хочу есть! – заявляет Дашка.

– Мы же только недавно пообедали! – цокает языком бабушка, – Горе луковое! Аня, там у тебя, в сумке, бутерброды в дорогу.

Не просто бутерброды, а бутерброды с докторской колбасой! Позавчера Любка продала полпалки бабушке из-под полы, и теперь мы знаем, что колбаса всё ещё существует. Семёныч там, внизу, у самой воды, раскуривает свой «Беломор». И даже оттуда до нас долетает крепкий, пробирающий запах. С Ладоги, в сторону Беломорканала против течения, поднимается баржа.

– *Бгатцы*! А *сфотоггафиговаться* напоследок! Володя, доставай *фотоаппагат*!

Я фотографируюсь с мамой и папой, потом с Дашкой и тётей Аней, Дашка отдельно с тётей Аней, дядей Володей и Антоном, который крепко держит Дашку за палец. Потом фотоаппарат берёт Семёныч, а мы всей толпой становимся на самый край дороги спинами к реке, слыша сзади размеренный шум мотора проползающей баржи.

– Мамочка, если *вдгуг* вы не доедите всю *кагтошку*, отнесите Михайловне с *Егогычем*. В *гогод* тащить не вздумайте!

Бабушка молча кивает.

На следующий день она разбудит нас в семь утра настойчивым телефонным звонком. Будет кричать в трубку «вы живы?!», сообщит, что в стране государственный переворот, а в Москву идут танки. Мама, стоя у телефона в одной ночнушке, поначалу будет долго зевать, а потом слушать с каким-то отрешённым видом. Бабушка объяснит, что они с папой звонят от Любки – ведь у неё один телефон на всю деревню. А в конце скажет – громко, так, что даже я расслышу, стоя рядом:

– Гриша вчера утонул. Ниже по течению, за деревней, у Петрова камня.

Май – июнь 2017 г., Люберцы

Евгений СТРЕЛКОВ

Служба

Служба в соборе.
Пение дьякона всё выше и выше.
За октавой октава,
И для каждой – ниша:
колоннада зала,
лоджий пазухи,
подкупольный барабан,
основание купола,
кольцо люкарн.
Самая узкая нота
сочится из фонаря, исчезает в небо
сквозь рёбра малого купола.

Мгновенная тишина – и вступает
хор с клироса,
облако звуков округлых,
пышных как сдоба, всходящих под паруса
свода. Женские голоса
выше не рвутся, оседают
прохладными волнами
словно сугроб.
Мороз в позвоночнике.
Как на подсвечнике
воск – так оплывает звук
хора, подолами приглушен,
платками укутан
эхом припорошён.
На прихожан склонённые плечи
звук как тюль.
Июль.
Рождество Иоанна Предтечи.

Евгений Стрелков родился на Урале в 1963 году, окончил радиофизичесий факультет университета в Нижнем Новгороде. Художник, литератор, редактор альманаха «Дирижабль». Публикации в журналах «Неприкосновенный запас», «Звезда», «Урал», «If» (Марсель), «Missives» (Париж), «Дружба народов», «Октябрь». Автор книги стихов «Молекулы» (2015); книги эссе «Фигуры разума» (2015), соавтор (вместе с Эдуардом Абубакировым и Вадимом Филипповым) книги краеведческих этюдов «Ниже Нижнего» (2014). Живёт в Нижнем Новгороде. В «Волге» публикуется с 2009 года.

Кинешма

Смена курса, вираж, рывок
и – открывается панорама.
Хватаешь орудие лова,
дрожит зрачка поплавок
Леска взгляда вибрирует, обвивая
линию берега: купы ив, колокольня, ажурный мост.
Эфемерный лов.
Вытащенная из воды, Кинешма
Блестит чешуёю крыш, и ма-
тово стекленеет
выпуклый глаз пологого купола,
подсыхает на влажном листе.
Тянет на сто, нет, на все двести
А на ее месте
Свивается новая канитель:
Причалы, лестница, церковка на юру
Явно не жерех, не ёрш, не чехонь
Редкая рыба Решма
Ложится в твою ладонь...

Озёрный участок

Шлюпка, спасательный круг,
леера, шезлонг, полотняные сени.
На палубе ты под защитой, это внизу, в трюме
Скрипы, стуки, шорохи, трески, тени
Сети бликов на потолке каюты
как прописи, того и гляди вскипят
слова: взвешен и найден слишком лёгким.
Не то на палубе где сверху семь тысяч футов
по сторонам же мили и мили.
Мы вплыли в самое сердце озера
Полный штиль. Мы, наконец, развили
Минимально возможную скорость
Судно того и гляди замрёт
Магнитным якорем в беспокойном роторе мира
Солнце светит так, что вот-вот замкнёт
Контакт – и услышим шифры депеш эфира.

Рыбинск

Рыбинска портики, колоннады, русты
мокнут у берега, арочный мост и
купы дерев, что вспоены Волгой
В бытность красоткой
теперь раздобревшей тёлкой,
Полной, пухлой даже, уже нездоровой
слишком морем нагруженной
Перезапруженной,
Медленной, но всё же живой, подвижной.
Весной, бывает, простуженной,
Сейчас же причальной и мостовой
Утро. Колокол часовой
На колокольне соборной
отбивает восемь
Август? Тогда
девятым ударом
– осень.

Андрей КРАСНЯЩИХ

О ВАС, ЧИТАЮЩИХ МЕНЯ

Глава из романа «О себе»

Самая смелая мысль, в которой воспаряет филолог – это мысль об убийстве жены.
Э. Канетти, «Ослепление»

Ну вот, мои маленькие поросята, теперь речь пойдёт непосредственно о вас – о ваших щёчках, глазках, носиках и алых губках.

Вы приходите ко мне в девятнадцать лет – я для вас царь и бог. Одного моего слова достаточно, чтобы весь мир перестал дышать, постоял бездвижно на месте, а потом задышал снова. Я рассказываю вам всякие страшные, интересные и страшно интересные вещи, и вы слушаете меня, широко раскрыв глаза и широко раскрыв рот, чтобы ничего не пропустить и побольше удержать в голове. И это у вас в высшей степени хорошо получается. Моя дырявая память завидует вашей – цепкой, глазастой, не утруждающей себя понапрасну раздумьями и сомненьями, мои глаза – когда с прищуром, когда просто так – смотрят на вас, пытаясь запомнить вас такими и понять, какими вы станете потом, другими, мои руки ничего не имеют против того, чтобы похлопать таких, как вы, по попе и другим частям тела, но не вас, вас – никогда. Между вами и мной стоит, разлёгшись, то, что я – преподаватель, а вы – мои ученицы, студентки. Это, конечно, не табу, табу – это совсем другое, это то, что уже есть и от чего надо прятаться. Я же от вас не прячусь, вы от меня – тем более. Наоборот, вы все – мои, моее не бывает, и я знаю, что в любой момент вы можете стать моими полностью, от крашеной в белый цвет глупой чёлочки до последнего пальчика на ножке тридцать шестого размера.

Я гляжу на вас и вижу, как вы прикасаетесь к другим мужчинам, а другие мужчины прикасаются к вам. Для вас это ещё род игры, но игры серьёзной, и вы хотите её сделать ещё серьёзнее. Именно для этих целей вам и нужен я. Не только, конечно, – я учу вас мифопоэтике. Пока вы будете воспринимать меня мужчиной, лучшим мужчиной в мире, мои слова о Фолкнере и Джойсе, Вулф и Беккете быстрее и легче войдут в ваши души и разместятся там, давая ростки и плоды, – а мне только этого и надо. Я же ваш преподаватель и преподаватель вообще, и обязан в первую очередь заботиться о вас, а потом уже – услаждать себя всякими мечтами о ваших хорошо пахнущих шейках. За которые, если по-честному, можно отдать или сжечь всех-всех джойсов и фолкнеров, стоящих у меня на книжных полках, – их от этого не убудет, они ещё напишут, как и я, массу гениальной фигни, а вы, мои маленькие – пока что маленькие – поросята – скоро, не успеешь оглянуться, отцветёте и постареете (вы что, не знаете, что после двадцати семи женщины во сне стареют?).

Андрей Краснящих родился в 1970 году в Полтаве. Окончил филологический факультет Харьковского госуниверситета. Сооснователь и соредактор литературного журнала «©юз Писателей». Автор многочисленных журнальных публикаций, сборника рассказов «Парк культуры и отдыха» (2008, шорт-лист премии Андрея Белого). Лауреат «Русской премии» (2015), премий им. О. Генри «Дары волхвов» (2015), журнала «Новый мир» (2015), Дмитрия Горчева (2017) и др. Живёт в Харькове. В «Волге» публикуется с 2015 года.

Но прежде чем отцвесть, вам предстоит ещё расцвести. И вы это начнёте делать прямо сейчас, на моих глазах. Для меня. Да-да, девочки, вы расцветаете для меня – в этом я нисколько не сомневаюсь и смотрю на вас, любуясь вашим цветом и вашим цветением.

Сколько же вас было у меня? По три цветка каждые три года на протяжении последних пятнадцати лет – пятнадцать девочек. Плюс ещё иняз, хотя иняз никогда не считается: иняз, уж простит меня Беляев, не тот факультет, чтоб считаться. Пятнадцать роз, кто-то из них – гербера, кто-то – бегония, кто-то лютик, кто-то – дай бог памяти – антуриум: красивый, но бесполезный и чуть ли не искусственный цветок. Все разные и все одинаковые.

Роман – полотно и пространство, и у него есть центр. Но когда центра нет, полотно может быть исчерчено параллельным линиями, как штаны в полосочку, – они тянутся от начала и до конца и говорят об одном и том же, только каждый раз выбирая предметом разговора что-то иное, важное. Деньги – важно? Важно для всех. Кровь важна? Важна. Любовное томление? Тоже общечеловеческий удел. Секс? Секс – тоже часть нашей жизни. Город снов? Безусловное да. Вздорные несуществующие изобретения, улучшающие жизнь? И это бывает и есть у всех. Разные, расширяющие наши представления о мире города? Ну, вот видите. А детство, отрочество, юность – это только направления полосок. Полосок. Они не сходятся и не должны между собой сходиться, многое в нашей жизни не сходится, и так и должно быть, это правильно. Зачем вытягивать в одну толстую жирную – не опачкайте рук! – фабулу, когда можно проживать жизнь заново в каждой из параллельных вселенных, не особо себя утруждая поиском сходств и различий между ними? Зачем?

Вот и вы – мои расцветающие студентки – одна из полосок, только теперь детство, отрочество и юность будут не моими, а вашими, а я постою в стороне, покурю и посмотрю на вас глазами не автора, не рассказчика, а так – постороннего для романа человека, главного героя одной-единственной главы. Я ведь не вру себе сейчас и не обманываю вас, правда?

Неправда. Соврать для меня – это как «с добрым утром!», весь мой никогда-не-дописанный-роман состоит из лжи и фантазий, и я временами завираюсь до того, что и сам не знаю, что в нём святое, а что – грешное, что – божий дар, а что – яичница, что – было, а чего – не было и быть не могло.

Вы ещё – несмотря ни на что – совсем маленькие, вы ещё ходите по парку, держась за руки – и это нормально – и уступаете дорогу мамашам с колясками, которые уже выполнили свой супергражданский долг и идут в шеренгу, гордо, по двое-трое, ни на кого не обращая внимания и никого не видя, требуя от жизни только одного – чтобы им все и всегда уступали дорогу, узнавая в них продолжательниц жизни и своих матерей. Вам ещё далеко до них – холодноглазых, презирающих всё живое, кроме того, что лежит у них в коляске, и если чем ещё и интересующихся в жизни, то так – самую малость и всегда одним и тем же. Нет, вы пока не такие, и если я хорошо постараюсь, никогда такими не станете, а я постараюсь очень хорошо и сделаю всё возможное, чтобы ваши мысли как можно дольше оставались заняты Прустом и Хёйзингой, «Золотой ветвью» и «Белой богиней», а не пелёнками, сосками, распашонками, детскими болезнями – помните, мы говорили о цели? Не превращайтесь в мамаш, поросята, и вы дольше протянете в этом мире выполненного животного долга и связующих нас со смертью уз. К чёрту смерть, поросята, – я научу вас бессмертью и никогда не сделаю из вас мамаш.

Cultura contra natura – я осеменю вас по-другому, бессмертьем: хотите вы того или не хотите, важно чтобы всё – и стиль, и сюжет, и заложенные, как бомба, в подтекст идеи – говорило между собой на одном языке, это и будет – получилось. А чтобы у нас с вами всё получилось, давайте-ка откроем пятьдесят третью страницу, прочитаем, что там написано, и вооружившись знаниями, займёмся семантическим прощупыванием мифотворческого тела текста.

Я хочу, чтоб вы представили на этом месте несколько пустых страниц, соответствующих трём летним месяцам – с четвёртого на пятый курс. А теперь представьте такую картинку: я вхожу в аудиторию и вижу: вхожу и вижу: вижу: кто это? Нет, я знаю, что это вы, но кто это передо мной?

И почему в глазах этого зверя теперь какая-то новая радость? Что это? Что это проклятое последнее наше лето вам нашептало, напело из ваших наушников, насквозило в уши морским ветерком, муссоном или бризом, – и кто вам сказал, что я такая же гадская сволочь, как и все мужчины? Нет, поросята, я другая сволочь, и я никогда не обману вас и не предам. И никогда вас не брошу – в этом можете быть уверены. «Докажи», – просят ваши глаза. И я доказываю.

Жизнь – род игры, то, что мы с вами сидим и смотрим друг на друга – это тоже род игры, всё – род игры. Даже самые важные и серьёзные вещи в человеке – мораль, честь, совесть, достоинство, долг – не более чем игровые ситуации выбора и риска. А игра, как и деньги, как и слова – материя воздушная, к ней нужно относиться необязательно, легко, без жадности и проклятий, так, как вы относитесь к глупости близкого родственника, мамы или папы, и прощаете им всё заранее.

Вы знаете, поросята, в голове вечно приходится держать тысячу вещей. А хочется одну – главную. Пусть не самую главную, но самую важную. И ради неё, поверьте мне, стоит позабыть остальные девятьсот девяносто девять – от них не убудет, убудет от вас, если вы отдадите им свою жизнь на саморастерзание.

А главное... вы требуете, чтоб я рассказал вам о главном? О главном? Вы знаете, мои поросята, я всё время говорю вам об этом. Вам и себе. То одними словами, то другими, и так и не знаю, рассказал ли уже или нет, или только на подходе. Так бывает, что твой трамвай или троллейбус слишком долго стоит на какой-то остановке, и ты, замечая это, думаешь: «Чего он не едет? Чего он ждёт?» А ведь это он ждёт тебя. Тебя – который уже сидит внутри него и думает: «Чего он не едет? Чего он ждёт?» – и сердится, и сетует на это.

Щелчок. Вспышка. Фотофиниш.

Сергей БОРОВИКОВ

ПУСТАЯ ПОЛКА

Было время, когда писатели дарили друг другу книги. Особенно много книг дарили критикам. Еще более книг дарили редакторам издательств и журналов. А больше всего презентовали книг главным редакторам, ну, а если главный редактор еще и критик...

Разумеется, я получал книги и до того, как сделался главным редактором журнала, но после на меня обрушился прямо-таки девятый вал продукции советских, особенно волжских, прозаиков, поэтов и критиков. Пока я занимал обширный редакторский кабинет, книги эти заполняли одну за другой полки в шкафах. Но настал момент, когда журнал временно скончался, и помещение пришлось освободить. Места в двухкомнатной квартире маловато и для близкой сердцу и необходимой литературы, а уж держать все подарки коллег по Союзу советских писателей было негде. Пришлось последовать давнему совету историка С., который при получении от меня, молодого и глупого, книги, сказал, что в виде исключения её сохранит, хотя обычно поступает с подарками так: рукою он показал, как вырывает титульный лист, сохраняя его, саму же книгу отправляет в мусорное ведро.

Выкидывать книги вместе с дарственными надписями я не хотел. Помню неприятное впечатление, когда поднял книгу Николая Палькина из кучи мусора на полу кабинета главного редактора «Волги», когда его покинул Николай Благов. На титульном листе была надпись: «Тёзке от тёзки до последней берёзки». Так что, выкинув книги, титулы или другие страницы с надписями я оставлял. Надо ли оговаривать, что самые необходимые и дорогие сердцу книги я оставлял.

Итак, у меня есть немало воображаемых полок, которые могли бы занять те подаренные мне книги, от которых сохранились листы. Перелистывая уцелевшие автографы, я вспоминаю их авторов, кого с симпатией, кого с раздражением, кого и вовсе не могу припомнить.

Из привитой на филфаке библиографической щепетильности привожу автографы и выходные данные полностью, несмотря на то, что они бывали неупорядочены.

Итак, по алфавиту.

А

Адрианов Юрий

Уважаемому Сергею Григорьевичу Боровикову,
От нижегородского поэта, вставшего на прозаическую тропу.
Ю. Адрианов
16-1-85 г.
P.S. Наверное, половина этих страниц прошла через «Волгу»!
(надпись на форзаце, книга неизвестна)

Дружески и сердечно – Сергею Боровикову от нижегородского поэта. Поклон Соколовой горе от Часовой горы. Старый «Волгарь».
С памятью Ю. Адрианов, 1987 (нач. даты оборвано) *Н. Новгород.*
На титульном листе книги «Отъезжее поле. Стихи». М., Современник, 1987.

Дорогому Сергею Боровикову с поклоном от стен кремля нижегородского, дружески и сердечно – это подобие «избранных» стихов на память и встречи.
Юрий
Янв. 1987. Н. Новгород

На обороте мягкой обложки книги под названием «Прощание славянки» с очень скверным и можно даже сказать самодеятельным рисунком, боюсь как бы не самого поэта – он этим баловался. Наверху бородатый мужик дерёт веревки колоколов, похожих на дамские шляпки конца 20-х годов, внизу, отделённая красно-сине-желтым полукружием, встреча солдата в каске с женщиной неопределенного возраста с винтовкой.

Сергею Боровикову дружески и сердечно, от «ходившего за равнинные реки» Юрия Адрианова.
19-IV-89.
Н. Новгород
(Надпись на внутренней стороне форзаца, книга неизвестна.)

Сергею Григорьевичу Боровикову – эту книгу тревожных лет России. Памятно.
Нижегородский литератор
Юрий Адрианов.
1996 г.
На титуле книги «На вечернем перепутье». Стихи 1991-1993 годов. Издательство «Марина», г. Нижний Новгород, 1993. На обороте титула «автор и издательство выражают признательность президенту Нижегородского акционерного общества «Россия» Анатолию Николаевичу Марченко за финансовую помощь в издании книги». В выходных данных не указан тираж, но есть довольно подробная справка об авторе.

С давней дружеской памятью Сергею Григорьевичу Боровикову от «волгаря» с 1966 года.
Сердечно
Юрий Адрианов.
Май 1996 г.
На титульном листе книги «Листопад над Печерской обителью. Две тетради». Издательство «Марина», Нижний Новгород, 1995.

Сохранилась у меня книга Юрия Андреевича, которого в Горьком часто называли Юрочка, «Светорусье. Стихи», 1991 г., сувенирная, малоформатная, с цветными картинками автора, с надписью на титуле:

Дружески и памятно Сергею Боровикову – в пору рождения новой «Волги», с надеждой, что не забудут и старого (с 1966) автора. Поклон от Нижнего!
Ю. Адрианов.

Книг его много, но встречались-то мы всего несколько раз. Адрианов в Горьком был этаким принцем – его, как никого другого, рано приняли в СП, он был пригож, несколько женствен, волоок, приятен в общении. И, натурально, пьяница. Однажды мы несколько часов провели вдвоём, он мне показывал Нижний, тогда ещё Горький: Адрианов был ходячей краеведческой энциклопедией. Вспоминается тот яркий весенний день апреля 1989 года с резкими переходами от слепящего света к глухой тени. Тогда едва только откуражилась горбачевско-лигачевская кампания по борьбе с пьянством. Заходя в недавно открывшиеся «точки», мы дошли, простите уж, само просится, почти до точки. Ярче всего помню поразившее меня вдруг возникшее косоглазие Юры; я, конечно, знал и по собственному опыту, что такое двоение в глазах, но тут мой спутник и собутыльник совершенно окосел, так что никакими усилиями не мог вернуть глаза в изначальное положение.

Антипьев Николай

Сергею Григорьевичу Боровикову с уважением автор
3.XII.81 Дубулты
На титульном листе книги «Наедине с совестью. Критические очерки о творчестве иркутских писателей». Иркутск, Восточно-Сибирское книжное издательство, 1981. На обороте выходные дан-

ные, оглавление и аннотация: «первая книга иркутского критика Н.П. Антипьева содержит очерки о творчестве А. Вампилова, Г. Машкина, В. Распутина, Е. Суворова, А. Шастина».

Самый серьёзный человек в моём семинаре молодых критиков.

Была неловкость в том, что угрюмоватый семинарист был на восемь лет старше руководителя семинара. А что было потом? Посмотрел в Сети: стал мой семинарист доктором наук, профессором Иркутского университета, и наконец: «Пропал Антипьев Николай Петрович, 1939 года рождения. Профессор литературы, ветеран труда. Последний раз его видели 8 декабря в Первой клинической больнице на Байкальской, 118. По словам врачей, ему стало плохо на улице, кто-то вызвал скорую. Его обследовали и выпустили. После этого его никто не видел. Последние 2 месяца проживал в Урике в своем доме. Если у кого-то есть хотя бы какая-нибудь информация, сообщите по телефону 89501262699. Заявление в полицию подано, больницы обзвонили, не поступал».

Арясов Игорь

Боровикову Сергею Григорьевичу на добрую память и дружбу от автора. И. Арясов.
14/X-85 г.
г. Тула
На титуле книги «Генеральная репетиция. Повести». М., Молодая гвардия, 1984.

На обороте титула аннотация, из которой узнает, что автор – молодой литератор, живет и работает в Туле, что данная книга у него вторая. Справился в Сети – писатель, моих лет, много книг. Но я даю честное слово, что никакого Арясова Игоря я в глаза не видел и не слышал о таковом, книга же скорее всего из разряда тех, что рассылались бойкими молодыми, да и не только молодыми, людьми, по редакциям, прежде всего главным редакторам. «На дружбу»! Надо же.

Асанов Леонид

Сергею Григорьевичу – очень дружески.
Л. Асанов. 21.9.89
На обороте цветного форзаца абсолютно забытой мною книги.

Случай, можно сказать, совершенно противоположный Арясову – с Лёней Асановым я был коротко знаком в течение лет пятнадцати. У меня сохранилась книга Кришны Крипаолан «Рабиндранат Тагор». М., Молодая гвардия (ЖЗЛ), в переводе Асанова с куда более характерной для наших отношений надписью:

Серёже – накануне Пасхи без лишних слов от знакомого тагороведа.
Л.А. 13.4.85

Леня был сыном успешного писателя Николая Асанова, знакомого моего отца ещё по Казани 20-х годов. В архиве отца сохранилась открытка 1947 года, где Асанов жалуется, что безродные космополиты тормозят постановку пьесы «Алмазы» к 30-летию Октября. Однако космополитам Николай Александрович оказался явно не по зубам: в том же году вышел не только спектакль, но и кинофильм с Санаевым и Алисовой в главных ролях. Спектакль пресса разгромила, а по поводу участия отца в фильме «Алмазы» Елена Санаева вспоминала: «...не выдержал, когда потом увидел, что за фильм получился. После просмотра с трудом поднялся на наш четвертый этаж, позвонил в дверь и рухнул с сердечным приступом маме на руки».

В 60-е годы благодаря единомыслию с Анатолием Софроновым длинные романы Николая Асанова печатались с продолжением из номера в номер в журнале «Огонёк», а потом издавались вожделенной, но малодоступной мечтой совписцев – «Роман-газетой».

Я познакомился с Лёней в бытность его заместителем зав. редакцией критики издательства «Современник» моего друга Саши Карелина. Лёня был человеком, я бы сказал, задумчиво-иронического склада.

Однажды я ездил вместе с Лёней и Карелиным на дачу Асановых в престижном вблизи Москвы посёлке «Заветы Ильича». То был разгар перестройки, по телевизору без конца показывали встречи Горбачева с трудящимися, и Сашка предложил переименовать «Заветы Ильича» в «Советы Горбача». Дача была построена в огоньковско-роман-газетный период и насчитывала столько комнат, что Лёне составляло большого труда её содержать. Там он вспомнил, как отец любил кутить на даче, приглашая из Москвы цыган.

Б

Баженов Георгий

Сергею Боровикову – на память о встрече в Переделкино.
Подпись – январь – 83.
На авантитуле неизвестной книги.

Знаю, что моих лет благополучный писатель, но ничего не читал. И встречи не помню.

Батурина Татьяна

Уважаемому Сергею Григорьевичу с благодарностью! С надеждой на дальнейшее сотрудничество и товарищество. Автор Т. Батурина. Август 1985
На обороте обложки книги «Полдень», М., Молодая гвардия, 1985.

Уважаемому С.Г. Боровикову с неумирающими надеждами, с пожеланием счастья и еще раз счастья!
Автор Т. Батурина.
На титуле книги «Счастливая мета. Стихи». М., Молодая гвардия, 1986.

Сергею, имя которого свято для земли Русской со времен первоигумена Сергия. Всегда празднуй свои именины (по святцам) Всех благ, всех сроков, всех надежд! Автор ТБ.
На форзаце неизвестной книги с изображениями куполов.

Сергею – с давней памятью, сердечно! С нами Бог. Т. Батурина (наберись терпения до конца книги...)
На титуле «Избранное. Стихи и поэмы». Волгоградская областная организация общества книголюбов. Волгоград, 1994.

С Т. Батуриной я общался, когда она, комсомольский работник, училась в Саратовской Высшей партийной школе и приходила в «Волгу». Потом, судя по стихам и дарственным надписям, перестроилась с КПСС на РПЦ.

Баимов Роберт

Сергею Боровикову с уважением и благодарностью.
Твой Роберт.
10.X.80
На титуле книги «Поискам нет конца. Современная башкирская проза», М., Современник, 1980.

Сергею Боровикову за его любовь к башкирской литературе. Твой Роберт. 10.X.80. Уфа. 1980
На титуле книги на башкирском языке, где по-русски слово «повесть».

Это конечно юмор моего милого друга: о башкирской литературе я понятия не имею.

С Робертом мы жили в одном номере в Доме творчества писателей в Дубулты в 1972 году. Редкой прелести был человек. Был, потому что узнал сейчас из Сети, что умер мой товарищ в 2010 году. После Дубулт так и не свиделись. Я как-то передал ему привет, когда по какому-то поводу пи-

сал в журнал «Бельские просторы», где он был членом редколлегии. Был Роберт Нурмухамедович, при том, что и романы писал, не критической обслугой местных классиков, а серьезным ученым. «В последние годы жизни Р. Н. Баимов исследовал истоки тюрко-арабо-фарсиязычных литератур. Результатом деятельности в этом направлении стало издание им монографии “Великие лики и литературные памятники Востока”».

Я очень хотел побывать у него в Уфе, да так и не собрался.

Бердинских Виктор

Сергею Григорьевичу с глубокой благодарностью от автора. 29.V.91 г.

На обороте обложки книги «Судьба поэта» о первом переводчике «Илиады», вятиче, поэте, пьянице Ермиле Кострове.

К сожалению, я не знаком с автором, а слышал об этом вятском ученом литературоведе и краеведе только хорошее.

Бирюлин Виктор

Поперёк титула: *Дорогому Сереже Боровикову с серьезными чувствами, уважением, восхищением и с благодарностью за доброе ко мне отношение. Автор. 12.02.83*

На авантитуле неизвестной книги.

Дорогому Сереже в печальные минуты его жизни[1] *с уверенностью, что он подчинит себе обстоятельства, как это не раз делал герой моей книги – и победит!*

Твой, подпись – 29.12.86.

На титуле книги «Душа обязана трудиться. Литературно-критические статьи». Москва, Молодая гвардия, 1986.

Дорогому Серёже Боровикову с лёгким сожалением о совместно прожитом, где было и немало хорошего. 28.10.92. ред. ж-ла «Волга»

На титуле книги «Человек, которого обманули. Ещё раз о Чапаеве». Саратов, Слово, 1992.

Когда я с ним познакомился, он работал в комсомольской газете «Заря молодёжи». Симпатичный парень, тянется к литературе. В «Заре» я изредка печатался. И я уговорил его перейти служить в «Волгу» в мой отдел, где он скоро освоился, стал пописывать критику, ездил на семинары молодых и т.д. Когда я перешел заведовать отделом прозы, Витя надолго сел на моё место в критике и всё больше тянулся к саратовским совписцам, которые приняли его как родного и наконец избрали своим секретарём. А заведовать критикой я пригласил острую на перо и язык Анну Сафронову, что, как показало время, было очень разумно.

Собственно о Бирюлине, исключая застолья, где он вёл себя воистину редко, но метко, вспомнить особо нечего, кроме двух обстоятельств. Первое – хорошая иллюстрация к тому, как можно сделаться писателем.

Были годы, когда я нечаянно сблизился с редакцией знаменитой серии книг «Жизнь замечательных людей». Сперва я познакомился с Сергеем Семановым, завредакцией, а когда он стал гл. редактором журнала «Человек и закон», с его преемником Юрием Селезнёвым. К тому же во главе издательства встал мой земляк и приятель Коля Машовец (о нём см. мой очерк «Как я не стал москвичом»). Кроме того, я сумел начать в «Волге» публикацию текстов, написанных для ЖЗЛ, начав с «Державина» Олега Михайлова. Словом, в престижнейшую (и хорошо гонорарную) книжную серию был зажжён зелёный свет. Но у меня было лишь два имени для серии.

Но монополию на первое – А.Н. Толстого, в те годы держали: у «почвенников» Виктор Петелин, у «либералов» Вадим Баранов, а второе имя – А.Н. Вертинского – в редакции сочли бы

[1]Положительному Вите так показалось, а просто я развёлся с женой.

шуткой. А когда я предложил Бориса Кустодиева, Селезнёв ответил, что уже заключён безнадёжный (знали, что не напишет) договор с прозаиком Вячеславом Шугаевым, и предложил написать о Николае Добролюбове, от чего я отказался, может быть и напрасно.

А затем на смену умершему Селезнёву пришёл Толя Афанасьев.

Был он приятный человек, хоть и стал потом завотделом культуры МГК КПСС. До нашего знакомства расхвалил мою книгу об Алексее Толстом в журнале «Москва». Я же написал о книге «Почему мы вернулись на Родину», не зная, разумеется, о причастности Афанасьева к появлению сборника воспоминаний эмигрантов, как и вообще о его службе в весьма специфических изданиях – газете «Голос Родины» и журнале «Отчизна». Естественно, что тогда он одним из первых начал писать о русском зарубежье.

И вот однажды Афанасьев предлагает мне срочно, под договор, написать книгу о Василии Ивановиче Чапаеве. Я конечно отказался, но придумал автора. Жил тогда в Саратове прозаик Виктор Сафронов. Уроженец саратовского Заволжья, старинного уездного Новоузенска, знавший многих земляков-чапаевцев и даже что-то написавший о Чапаеве.

Афанасьев согласился, а Сафронов обрадовался. Но зная о его большой нелюбви к труду, чувствуя долг перед Афанасьевым, первое время я пытался как-то подгонять земляка, пока тот со слезами не признался, что не в состоянии справиться с работой. Тогда у меня, уж не знаю как, возник перспективный план: соединить ленивого ответсекретаря Союза писателей Сафронова с трудолюбивым и мечтающим стать членом того же Союза Бирюлиным. Оба тёзки обрадовались предложению, но, как и следовало ожидать, за работу принялся один. Он делился огорчениями из-за безделья соавтора, и уж не знаю, как с ЖЗЛ, но Бирюлин с тех пор стал чапаеведом. Однажды «Волга» напечатала его недурной очерк о комдиве. Вскоре мне пришлось объясняться аж с ЦК, куда на публикацию нажаловалась по советскому обычаю Клавдия Васильевна Чапаева.

А всё текло и изменялось, и активный малопьющий Бирюлин сделался уже не только членом СП, но и ответсекретарём, и тогда случился меж нами небольшой конфликт, в котором был прав он.

В 1991 году после известных августовских событий и начавшейся в Правлениях СП СССР и РСФСР гражданской войны мне вдруг позвонил Евгений Евтушенко и предложил подписать открытое письмо, суть которого сводилась к нежеланию условно говоря «либералов» состоять с условно говоря «патриотами» в одном общем СП, руководители которого не желают в стране перемен. Письмо было опубликовано в «Известиях».

Сюрприз был в том, что стоявшие в конце списка имён моё и главного редактора журнала «Урал» В.П. Лукьянина, сопровождались уточнением: «По поручению Саратовской (и соответственно Свердловской) писательской организации. Эта отсебятина организаторов письма в отношении меня, думаю, и Валентина Петровича, была неправдой вдвойне: во-первых, никто меня в Саратове подписывать письмо не уполномочивал, а во-вторых, я давно даже не бывал в СП ни на собраниях, ни просто так, став врагом саратовских совписцев, когда «увёл», по их выражению, журнал. И в Москве, и в Саратове они требовали меня снять с должности. И на телефонный вопрос Бирюлина, кто меня на письмо уполномочил, я прямо сказал, что это приписка организаторов акции.

Последняя информация о Викторе Бирюлине имеет несколько комический характер. Она относится к тому времени, когда я после закрытия «Волги» и двух лет безработицы оказался в редакции газеты «Новые времена в Саратове», учреждённой саратовским, по общему мнению олигархом, Л.Н. Фейтлихером.

Как-то Леонид Натанович спрашивает меня, знаю ли я Виктора Бирюлина, который работает в Областной думе? Про новую работу Вити я не знал, но отозвался о нём, разумеется, положительно. Фейтлихер пояснил свой вопрос: «Алимова просила помочь, книгу его хочет издать». Витя, как оказалось, поступив в обслугу депутатского корпуса по связям со СМИ, для души стал сочинять заметки. О том, как живёт на даче, какой там у него сад, какое вино он сам изготавливает из своего винограда, как внуку на даче летом хорошо. И, пожелав издать их книгой, обратился за финансами к депутату от КПРФ, которая в свою очередь обратилась к Фейтлихеру, с которым была в дружбе. Знают ли Витины товарищи по патриотическому СП, что его книга издана на деньги олигарха-еврея?

Блинов Геннадий

С. Боровикову – Г. Блинов с уважением, подпись, Москва 16.V.74.

На титуле книги «История болезни № 689. Записки врача-психиатра». М., Московский рабочий, 1974.

С автором не знаком, книга, видимо, прислана по почте, но почему? Учитывая сюжет: «Драма молодого учёного, принесшего в жертву алкоголю любимую работу, ум, честь, здоровье, семейное счастье...», не будь авторского автографа, я бы счёл «Историю болезни» подарком друзей с намёком на моё пагубное пристрастие. Подарили же мне книгу «Алкоголизм» (1983), на которой мой верный друг по жизни и алкоголю Валера Лисенков оставил автограф: «От читающего, выпивающего, эту книгу не покупающего...»

Богатырёв Вениамин

Серёже Боровикову, который ныне – Сергей Григорьевич – на добрую память от одного из «стариков».

Подпись, Хвалынск, 22-У-78.

На титуле книги. «Прочти мое сердце: стихи, поэмы». Саратов: Приволжское книжное издательство, 1978.

Вениамин Сергеевич был легендой Саратовской писательской организации, правда, легендой специфической.

Кто в Москве, поиздержавшись, узнал в СП адрес Константина Симонова и, не застав его дома, развёл на деньги Валентину Серову?

Кто, выйдя на ж.д. станции из вагона и не обнаружив у пивного лотка продавца, стал доставать из ящика пустые бутылки и не спеша разбивать их о перрон?

Кто, приехав для выступлений в санаторий Пады в компании поэта Тобольского, устроил дебош и в милицейском протоколе подписался секретарем обкома партии по пропаганде Ключниковым?

Про былые подвиги *Богатыря* я ещё в детстве слышал от отца, но уже в 70-е годы сподобился пить с ним коньяк в кафе «Юность», и Вениамин Сергеевич в дозах ничуть мне не уступал.

Борис Дедюхин на мой вопрос, за что он так откровенно не любит Богатырёва, рассказал, как тот заманил его в компанию картёжных шулеров.

А ведь был 1908 г.р., инвалид. Не знаю, как называется это заболевание позвоночника, при котором человека сгибает в три погибели, так что лицо обращено к земле и для общения ему приходится что есть сил задирать голову.

Жил Богатырёв в Хвалынске. Для получения квартиры в Саратове требовалось продать хвалынский дом, чего он не хотел.

Исай Тобольский говорил, что в молодые годы едва не пропал, сойдясь с Богатырёвым и Николаем Корольковым. Он же утверждал, что лучше Богатыря стихов о Сталине никто не написал.

Сколько бы он ни выпил, оставался в обычном состоянии сонной задумчивости.

Бойко Владимир

Сергею Боровикову – с искренним уважением к критике и критикам (нелицеприятным) автор.

Подпись – Саратов июнь 1982 г.

На шмуцтитуле книги «День начинается с птицы», выходных данных нет.

С Владимиром Фёдоровичем мы сидели несколько лет в одном кабинете «Волги», где он сменил уехавшего в родной Ульяновск Благова на должности завотделом поэзии. Он явно наслаждался ролью командующего поэзией, комичным было его обыкновение при стуке в дверь (а стучались только робкие стихотворцы), взяв в руку телефонную трубку, облокотиться на стол к двери задом.

Если я вспоминаю этого неплохого мужика, с которым я был на *ты*, но не называл, как многие помоложе, Володей (он на 14 лет был старше), невольно приходит на ум анекдот, где жена говорит мужу: «Если будет конкурс мудаков, ты займёшь занял второе место. – Почему второе?! – Потому что ты мудак». Можно назвать это и невезучестью, но окончившему МГУ, сверхначитанному Бойко, обладавшему исключительный памятью и литературными способностями не меньшими, чем большинство саратовских поэтов, ну, никак не удавалось пересесть с задних рядов поближе к сцене. Даже там, где первые места ему были как бы гарантированы.

Как-то он всерьёз увлёкся конкурсом газеты «Книжное обозрение» на знание русской поэзии. Его день проходил в поиске и уточнении цитат, сочинении и оформлении ответов в редакцию. Никто, думаю и сам, не сомневался в его победе: Владимир Фёдорович невероятно был сведущ в русском стихе. И он получил премию. Поощрительную.

Неожиданной была его женитьба на молодой женщине. Расскажу о том, что было на моих глазах.

В наш кабинет стала наведываться Оля Зарецкая. Вроде бы ко мне, потому что писала критику. И вдруг однажды Бойко сразу после её ухода спрашивает: «Ты как, не собираешься за ней приударить?» Вопрос удивил: я не собирался, но Бойко-то что за дело? Вскоре стало ясно, что он влюбился. Дело обыкновенное. Удивительнее, что и Ольга в него тоже. Вообще Владимир Фёдорович не очень годился в герои любовного романа и внешне и возрастом. К тому же – оттолкнусь от собственного роста в 176 сантиметров – Бойко был ниже меня сантиметров на 15, а его избранница сантиметров на пять выше. И оба, выражаясь по-старинному, уже связаны узами брака. Скоро их чувства стали известны, а если новость и вызывала улыбку, так разницей не в возрасте, а в росте. Не знаю, как Ольга справилась с препятствиями, а вот Владимиру Фёдоровичу достались неприятности.

В тот год Палькин собрал очередную выездную редколлегию, т.е. с приглашением иногородних членов и москвичей из Правления СП РСФСР, с пленарными заседаниями, выездом писательских групп на предприятия Саратова и в районы, с общегородским поэтическим вечером. О нём-то и расскажу.

Собрались в филармонии, зал был полон, на сцене гости, приглашённые местные писатели, начальство в лице заведующей отделом пропаганды горкома Маргариты Петровны Дмитриевой. Палькин, созданный для таких мероприятий, легко, с шутками и прибаутками ведет вечер, представляя в стихах каждого выступающего. Я сижу там же, не слишком реагируя на происходящее – за годы работы попривык. Но не могу не обратить внимания на волнение сидящего рядом Бойко. И отнёс на счёт масштаба события – всё-таки поволжская конференция, почёт. И чем дальше, тем больше он дергался, при том что человек был не слишком эмоциональный, сдержанный. И наконец ведущий закрывает вечер. Честное слово, не задним числом, а сразу огорчился за Бойко. А он ринулся к Палькину, который завертелся, но что-то объяснил.

Причина оказалась проста, была она такая, партийно-бабская. Разъясню: партийная потому, что разводы членов партии весьма не поощрялись, но этого было мало, Маргарита Дмитриева запретила участие Бойко в вечере, так как дружила с его женой, работавшей на саратовском телевидении. А Палькин? Палькин никогда и никакому начальству перечить не мог, за что оно его так и любило. Может быть, сыграло роль и то, что отец Ольги был секретарём горкома, не знаю.

А Бойко вскоре ушёл из «Волги».

Болкунов Иван

Боровикову С.Г. Серёжа, когда все мои знакомцы резво двинули в писатели, я стал терпеливо ждать конца социалистического реализма. И вот дождался. И книгу состряпал. И, стало быть, дарю её тебе с пожеланием удач и всего доброго.

Только сделай милость – не читай из неё ни строчки. С приветом Иван Болкунов, г. Самара – 20.09.99

На титуле книги «Хождение в “земледелку”. Рассказы. Очерки. Интервью. Из блокнота». Самара, изд-во «Самарский дом печати», 1999.

Сайт самарской газеты «Волжская коммуна»: «В декабре двухтысячного “ВК” с прискорбием сообщила своим читателям, что двенадцатого числа скончался журналист Иван Болкунов. Без всякой натяжки можно сказать, что это был один их самых ярких очеркистов за вековую историю газеты. <...> Ему было только пятьдесят пять».

Разделяю всё сказанное. С Иваном я учился на филфаке СГУ. Он пришел к нам не то на втором, не то на третьем курсе, потому что его с первого забрали в армию, и он вернулся доучиваться. В армии, поскольку был очень высок, пригож и правильного крестьянского происхождения, определили его в Кремлёвский полк, но ничего о том мы не узнали, Иван сказал: жили взаперти, весь день был отдан муштре.

Потом он работал в «Заре молодёжи». Редактор газеты В. Колчин так ценил перо Ивана, что, зная присущую русским талантам слабость, в случае важного задания запирал его в своём кабинете, снабдив кофе, бутербродами и сигаретами.

Ивана мы редко называли Ваней, что свидетельствует о нечастом в студенческой среде пиетете. Ведущей чертой Ивана Болкунова была нравственная опрятность.

Был он мастером деревенского очерка. Его тексты отличали хороший язык и отсутствие беллетризации, присущей провинциальным журналистам, которые, прав Иван, благополучно вливаются в ряды совписцев, подобно его сопернику по сельской теме в «Заре» Ивану Корнилову, оставившему злорадную дарственную надпись на изданной в Москве книге, которую мне показал Болкунов: «Мне снится соперник счастливый...»

Однажды он зашёл ко мне в «Волгу»... но здесь необходимо кое-что сказать про его брата.

Болкунов Николай

Гале и Серёже Боровиковым с самыми добрыми и нежными чувствами.
Подпись – ноябрь 1984

На титуле книги «Годы и люди. Сб. очерков». Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1983 (Коллективный сборник саратовских журналистов).

На сайтах, где упоминается Н. Болкунов, почему-то не сообщается, что служил он довольно долго в обкоме КПСС. Коля и сам не любил об этом вспоминать. А когда укрепилась «перестройка», изо всех сил пытался откреститься от бывшей службы и даже напечатал где-то подобие мемуара про то, как было ему в обкоме трудно среди бездуховных своекорыстных людей. Когда я в 1990 году вышел из партии, меня пригласила в обком Зоя Ларионова. У неё была Александра Петровна, или, как её все называли за глаза, Шура, Шляхтина, секретарь Фрунзенского райкома. Говорили мы очень мирно, к моему поступку они отнеслись вполне равнодушно, а вот мемуар бывшего инструктора ОК возмутил: «Не ожидали от него, не ожидали!» – повторяла Шляхтина.

Здесь вернусь к прерванному заключению своего рассказа об Иване. Он тогда жил в Куйбышеве, а его брат уже был моим заместителем. Как-то Иван входит в мой кабинет. Я естественно обрадовался, помню даже, что подумал: куда пойдём? какие дела у меня на сегодня? Словом, обычные разбегающиеся мысли человека, которому предстоит неожиданная выпивка.

И тут гость спрашивает: «У тебя переночевать можно?» Я удивился вопросу, потому что через комнату сидел его родной брат, у которого неподалеку была хорошая двухкомнатная квартира рядом с Троицким собором. Но Иван, предупреждая мой вопрос, рассказал, как Коля однажды, ещё работая в обкоме, настоятельно попросил старшего брата больше не приезжать, так как пьянствуя с саратовскими журналистами, он позорит младшего в его высоком положении. Вскоре экс-обкомовец вошёл ко мне и чуть не силой увёл Ивана.

Бывая в отделе культуры обкома, я встречал Колю Болкунова, которого знал по филфаку, где он учился на курс младше меня и Ивана, вместе с будущими крупными литераторами – Машовцом и Масяном. Он очень хотел дружить, к этому времени и относится подаренный сборник. Когда я заявил в обкоме, что с Ю. Зверевым, моим замом, более работать не могу, встал вопрос о преемнике. А поскольку мы с Колей были давно знакомы, и был он на той же должности, что до «Волги» Зверев, естественно, Коля мечтал стать моим замом. Его пыл дальновидно охладила начальница,

З.Т. Ларионова: «А писатели как к этому отнесутся? Журнал их орган, им нужен писатель». Правда, Зоя Тимофеевна не своим умом дошла до такого мнения, а вынесла его из беседы ЦК, куда ездила ещё до моего назначения с обкомовским планом утвердить главным Зверева. На её слова Коля оптимистично заявил, что тоже будет писателем.

А у меня выбор тогда был невелик, а Болкунова, хоть и не близко, я знал.

И стал Коля моим замом. Поначалу вел себя прилично, был вежлив со всеми, на обсуждениях текстов выступал без ожидаемой всеми от него партийной твердолобости. Мне же очень не по душе было его своеобразное представление о собственном месте в журнале, нет, в литературе, а главное, что он своё место полагал в равнозначности и слиянности с моим. Он принёс собой обкомовскую привычку вместо *я* говорить *мы*: «мы тут посоветовались и решили». В своём варианте *мы* он понимал так: Боровиков и Болкунов – вершители судеб русской литературы.

И вроде не озвучивал прямо, про себя полагал, но в силу невеликого ума проявлял наглядно и так, что порой оторопь брала. К концу рабочего дня завёл привычку заходить ко мне в кабинет и вести литературные беседы. Но как, скажите на милость, я мог отнестись к следующему: как-то задумался Коля у моего огромного окна, вздохнул и говорит: «Я вот о чём думаю: с прозой нас плоховато, вот бы нам роман типа Льва Николаевича или Фёдора Михайловича...»

Как вы думаете, мог я такое придумать? Кто-нибудь может такое придумать?

Неприятна в нем была подозрительность. Особо неблагонадёжной, по его мнению, была Аня Сафронова, зав. отделом критики. Как-то говорит: «Анна Евгеньевна испытывает наше терпение». Поначалу я подумал, что имеются в виду опоздания на работу, постоянно толкущиеся в её кабинете приятели и т.п., но Коля пояснил, что в одном письме она написала какие-то не такие, как надо, слова. На мой вопрос, откуда информация, Болкунов спокойно объяснил, что читает все письма, исходящие из редакции. Я сказал, что чужих писем не читаю и ему не советую. И Коля стал мне объяснять, какая на *нас* лежит ответственность. Это был первый открытый конфликт.

И всё же было терпимо до тех пор, пока не стал Коля директором. Тогда вышел воистину революционный Закон о печати – лучшее, что сделал Горбачев, и Володя Потапов, самый креативный в редакции человек, стал меня тормошить, чтобы по новому Закону редакции обрести самостоятельность. Подготовили мы документы, съездили с Потаповым в Москву, где правозащитник, ставший замминистра по печати Михаил Федотов нас зарегистрировал. А поскольку стала «Волга» МП, нужен был директор. Был опыт других редакций, где директором становился главный редактор. Я и стал. Но по мере разнообразных новых сложностей, прежде всего добывания бумаги, Болкунов проявил к хозяйственной деятельности куда большую, чем я, склонность.

Тогда я придумал, а общее собрание решило разделить руководящие должности и избрало директором Николая Васильевича.

И вскоре я вживую, а не в кинокомедии, наблюдал, как преображает человека служебный пост. Всё чаще от Коли можно было услышать: «Я, как директор...» Что это за волшебное слово *директор,* если так могло преобразить гражданина? Или наружу полезло всё то, скрываемое до поры?

Колиных подвигов не перечислишь, но результат был тот, что восстановил против себя всех, не только независимого Потапова, но даже идейно близкую Шульпину. Из их диалога: Он: «Я тебе как директор приказываю!» Она: «Не буду я этого делать!» Он: «Мужу дома так будешь отвечать!» Таких слов и интонаций я в «Волге» не слышал не только при Шундике, но и при Палькине. И настал момент, когда моё терпение лопнуло. Я предложил Коле мирно уйти, так как против него настроен весь коллектив. Самоуверенности ему было не занимать, ответил, что я всё выдумываю, а коллектив его любит и уважает. Не оставалось ничего другого, кроме как собрать этот самый коллектив. В исходе собрания я был не вполне уверен, зная обычай русского человека размахивать кулаком на кухне, а перед начальственным ликом тушеваться. Но собрание было ещё решительнее меня, никакого шанса Болкунову не оставив. Он бегом убежал из редакции, но очень скоро проявил свою выживаемость. Сначала пришел и попросил уволить по собственному желанию, а не по недоверию коллектива, и я конечно пошел на встречу обиженному. А через день-другой Болкунов принял участие в конкурсе на должность начальника областного управления печати (сейчас минпечати), и занял это место. И приехал в редакцию похвастаться на черной служебной «Волге». Вероятно, кон-

курс вершили те чиновники, которым по душе было обкомовское прошлое конкурсанта. Всё было бы смешно, если бы не наша зависимость от Управления по печати. И Коля как мог гадил «Волге» при распределении бумаги.

Про дальнейшую его жизнь знаю, что на какой-то срок он сделался главным (наконец!) редактором созданного на деньги обладминистрации журнала «Волга-21 век», в который я не заглядывал, но верю Арбитману: «болкуновская “Волга” – это бессмысленное и безнадежное создание аяцковской администрации, которое не нужно никому, кроме тех, кто в нее пишет...» Да и финансово, сидя на дотации, бывший директор МП «Редакция журнала “Волга”» сумел провалиться. Да и чего другого можно было ожидать от бедного Коли?

Борзунов Семён

Дорогой Сергей Григорьевич! Примите эту маленькую книжицу о большом писателе и человеке – Вашем земляке, с которым автор дружит с Курской Дуги 43 года.

Москва, подпись, б.д.

На титуле книги «Михаил Алексеев. Встречи. Книги. Размышления». Московский рабочий, 1963.

Никогда автора в глаза не видел, не переписывался и даже по телефону не разговаривал.

Бугаенко Павел

Сергею Григорьевичу Боровикову с дружеским приветом от родной кафедры.

На титуле сборника «Проблемы развития советской литературы». Выпуск четвёртый. Изд. СГУ, 1972.

Кроме Бугаенко, подписи Я. Явчуновского и ещё кого-то неразборчиво.

Должен уточнить – кафедра советской литературы не была мне родной: был я в спецсеминаре у Геры Владимировны Макаровской, у неё же и диплом защищал, а это кафедра русской литературы. Великая Гера, став кандидатом филологии в 27 лет, потом не была даже доцентом, благодаря интригам коллег и независимому нраву.

Сергею Григорьевичу Боровикову в знак дружбы и с надеждой на внимание.

На титуле книги «Проблемы развития советской литературы». Межвузовский научный сборник. Выпуск 2(6). Издательство СГУ, 1975.

Почему 2-й выпуск издан через три года после четвёртого? Надо думать, потому, что этот сборник межвузовский.

И ещё, но уже без Павла Андреевича, под тем же изысканным титулом «Межвузовский научный сборник», с подзаголовком «Эпические жанры. Идейно-эстетические искания. Эволюция художественных форм».

Дорогому Сергею Григорьевичу Боровикову с лучшими пожеланиями от университетских филологов. Надпись сделала и первой подписалась Л.Е. Герасимова, правда, её нет в редколлегии, а фамилия Бугаенко в траурной рамке.

Здесь же уместно вспомнить:

Дорогому Сергею Боровикову с самыми добрыми пожеланиями. 16.12.88

На титуле сохранившейся книги «Русская литературная критика. История и теория». Межвузовский научный сборник. Изд-во СГУ, 1988

Автограф В.В. Прозорова, его же подпись, а первой подписала несравненная Алла Александровна Жук.

Вернёмся к Бугаенко.

Сергею Григорьевичу Боровикову дружески и на добрую память.

На титуле книги «Романическая трилогия К.А. Федина. Учебное пособие для пед. ин-тов. – М.: Высшая школа, 1981.

С.Г. Боровикову от составителя. Август, 1981

На титуле книги: «К. А. Федин. Основные даты жизни и творчества. 1892-1977». Изд-во СГУ, 1981.

Уважаемому Григорию Фёдоровичу и Сергею Григорьевичу в память о Павле Андреевиче с искренним пожеланием творческих успехов. Семья, июль 1985

На авантитуле забыл какой книги.

Павел Андреевич Бугаенко при сухой внешности и несколько чопорном стиле общения был простым и душевным человеком с богатой биографией. Непролетарского петербургского происхождения, он в 30-е годы сделался педагогическим чиновником. Потом воевал, был в плену, с обязательными, думаю, последствиями. Тогда, по рассказам, крепко пил, но ко времени нашего общения не брал в рот ни капли. В 50-е сделал научную карьеру, стал профессором, филологом, заведовал кафедрой советской литературы, одно время был и проректором и и.о. ректора Саратовского университета. Более всего писал о Федине, а главной его привязанностью был Луначарский. Павел Андреевич рассказывал, как в тридцать каком-то году сопровождал кумира как представитель крайоно в поездке по Нижне-Волжскому краю и в Астрахани нарком (или уже бывший нарком) закрутил роман с местной красавицей и исчез из поля зрения на несколько дней.

Я не был его студентом, курс советской литературы читали у нас два доцента. Василий Черников, которому куда ближе и понятнее филологии были его охотничьи байки, и фанатик жанра рассказа и охранитель партийных идеалов Александр Огнёв. Оба были фронтовики. Впрочем, в то время редкий пожилой мужчина не был фронтовиком. Книг Черникова не знаю, а от книги Огнева «Из истории советской литературной критики. Учебное пособие». Калининский государственный университет, Калинин, 1979, остался титульный лист с надписью: «Сергею Григорьевичу с самыми добрыми чувствами. 7–XI–79 г.»

А долг памяти Павла Андреевича я как мог отдал, напечатав в областной газете о нём воспоминания.

Будаков Виктор

Сергею Григорьевичу Боровикову с пожеланиями мира и творчества, в надежде на встречи на воронежской, саратовской – на российской земле. 1985

На титуле книги «Осокоревый круг». Воронеж, Центрально-Черноземное книжное издательство, 1985

Сергею Григорьевичу – о полевом донском крае – с самыми добрыми чувствами.
Апрель 1982

На книге «Молчание». Воронеж, Центрально-Черноземное книжное издательство, 1982.

Сергею Григорьевичу Боровикову – в надежде, что колодцы на нашей земле не иссякнут... апрель 1982 Воронеж

На обороте титула книги «Миронова гора: Рассказы» Предисл. И. Акулова. М.: Современник, 1982.

Сергею Григорьевичу Боровикову – на недолгом и долгом пути от Дона до Волги...
Август 78

На обороте титула книги «Дождаться осени». Центрально-Черноземное издательство. Воронеж – 1978.

Я не был знаком с Будаковым. Знаю его как преданного родному Воронежу издателя, основавшего серию «Отчий край», где впервые с 20-х годов в СССР был издан Евгений Замятин.

Булгин Павел

Сергею Боровикову с уважением к таланту от автора
На титуле книги «Гордая наша работа. Стихи». Приволжское книжное издательство, Саратов, 1981.

Поэт. Много лет работал экскаваторщиком на цементном заводе. Скромный, без присущих провинциальным стихотворцам «понтов».

Буханцов Николай

Соратнику по критическому фронту, с пожеланием успехов в творчестве – на добрую память. 17.5.75
На титуле книги «Испытание жизнью». Изд-во «Современник», 1974.

Дорогому Сергею Боровикову с искренним чувством уважения и пожеланием новых творческих удач! 6.5.85
Надпись сделана под фото автора на обороте мягкой обложки книги «Донник – трава пахучая».

Сергею Боровикову – самобытному русскому критику. На дружбу. 6.5.85
Надпись на титуле книги «Продолжение подвига (о характере советского воина в современной русской прозе)». Нижне-Волжское книжное издательство, Волгоград. 1984

Никогда я в глаза не видел этого «соратника», несмотря на его «дружеские» надписи. Тексты присылаемых им в «Волгу» критических статей оставляли настолько гнетущее впечатление, что когда я дал почитать его статью сидевшему со мной в одной комнате завотделом поэзии Николаю Благову, он даже возмутился: «Тут уж не сорок шестым годом запахло, а тридцать седьмым!» А вот отзыв Виктора Астафьева: «Буханцов, критик, уже написал о главах в “Литературной России”, но так умно, как будто речь идёт о передовом методе производства больничных костылей, а главное – преподаватель ведь, словесник! Кандидат наук – и читать не умеет...»

В

Вардугин Владимир

Сергею Григорьевичу Боровикову с пожеланием творческих успехов и благополучия! С уважением автор.
На титуле книги «Тайна огня». Документально-художественная повесть о выдающемся советском учёном, Герое Социалистического труда, лауреате Ленинской, Государственных и Нобелевской премии, директоре Института химической физики АН СССР Н.Н. Семёнове, уроженце города Саратова.

Никогда не мог понять, что означает определение «документально-художественный». Может его употребляют, когда не достаёт фактического материала и автор восполняет нехватку художественным вымыслом? Нередко этим злоупотребляют авторы книг ЖЗЛ, щедро разбавляя повествование описанием чувств и настроения героя, пейзажами, обширными, как бы в пьесе, диалогами.
Вардугин недолго работал в «Волге». Очень активный, без явных пороков и талантов.

Васильев Владимир

Сереже Боровикову на дружбу и обоюдную поддержку в жизни. Вл. Васильев 1.VIII.77 г.
На титуле книги «Сопричастность жизни». М., Современник, 1977.

Сергею Григорьевичу Боровикову на память о совместном саратовском «сиденье» в «Волге» и с неизменными дружескими чувствами и симпатиями. Вл. Васильев. 4.III.1988
На титуле книги «Достоинство слова», М., Современник, 1988.

Чтобы не повторяться о Васильеве, адресую читателя к моему очерку «Как я не стал москвичом», который обещали напечатать в октябрьском номере журнала «Урал». А ещё он послужил моделью персонажа моего романа «Крюк» критика Выменева.

Винникова Ида

Сергею Боровикову – с лучшими пожеланиями. 27.IV–79.
На титуле книги «Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования, материалы». Межвузовский научный сборник Выпуск 8. Под редакцией профессора Е.И. Покусаева. Изд-во СГУ, 1987

Очень мало знаю об Иде Андреевне, только то, что прежде моего прихода в «Волгу» она была там завотделом критики, потом вернулась в СГУ, и то, что она специалист по Тургеневу.

Воронов Василий

Пану Сергею Боровикову старый долг. Обнимаю В.В. 7.10.87
На титуле книги «Юность Шолохова. Страницы биографии писателя». Ростов-на-Дону, 1985.

Почему пану? Потому что мы с Васей встретились в редкой для меня поездке от СП за границу – в Польшу, на симпозиум о проблемах литературы нон-фикшн. Там были главные редакторы: Воронов – «Дон», я – «Волга» и, забыл его эстонское имя – «Таллинн». Руководил группой тяжёлый человек и критик Владимир Гусев. И познакомились мы с Вороновым в станице Вёшенской в 1985 году.

Было очень большое сборище по поводу 80-летия недавно почившего Шолохова. О каких-то тогдашних впечатлениях я уже вспоминал, а сейчас о том, как с Васей купались в холодном (11 мая!) Дону, напротив шолоховского дома. Естественно, хотелось выпить, но с алкоголем благодаря Горбачёву-Лигачёву были большие проблемы, и тут биограф классика сказал: «Пошли у Шолоховых возьмём». И мы поднялись от воды к дому, и Вася вызвал Марию Михайловну, и она вынесла нам поллитру и закуску.

Та поездка, в каких я успел (перестройка!) побывать немного, вспоминается мне светло. Очень понравились земляки Михаила Александровича, которых я ожидал увидеть агрессивными, а встретил радушных деликатных людей.

Г

Гамазина Фаина

Сергею Григорьевичу Боровикову с уважением автор.
На обороте мягкой мрачно цветной обложки книги «Ломаются льды. Повести и рассказы».

Справился в Сети: ярославская писательница, с которой я не знаком.

Гришин Владимир

Сергею Боровикову с искренней сердечностью и добрыми пожеланиями хорошего творчества. ВГ. 7.05.86 г.
На форзаце неизвестной книги.

Владимир Семёнович Гришин, поэт, был главным редактором Приволжского книжного издательства. Отношения у нас были не близкие, но добрые.

Горохов Николай

Сереже Боровикову, как и обещал, на добрую память. На дружбу. Ник Горохов б.д.
На титуле книги «Соловьиное иго». Москва, Советский писатель, 1979.

Сергею Боровикову – на знакомство и в знак давней симпатии к имени отца его. Москва, май, 87 г.
На титуле книги «Мета. Книга лирики». Современник. 1986.

Однажды он зашел в редакцию познакомиться, держался почему-то свысока. Я слышал его имя от Илюши Петрусенко, который в середине 60-х, вместе с Борей Фаликовым (оба писали стихи) ходили в литобъединение молодых поэтов при газете «Заря молодёжи», где звёздами были Николай Горохов и Каледин (разумеется, не автор «Стройбата», а какой-то саратовец). Прелесть первой надписи в словах «как и обещал». Глагол «обещать» требует исполнения желания того, кому обещано; неужто он полагал, что я желаю получить сколько-то сотую книгу от незнакомого стихотворца?

Гнутов Александр

Боровикову Сергею Григорьевичу! В знак искреннего уважения и дружбы. От автора в кавычках – вроде как «Радости». А. Гнутов 10.08.89
На титуле коллективного (97 авторов) поэтического сборника «Семиречье», Саратов, Приволжское книжное издательство, 1989.

Развязный графоман, стал печататься, поступив в издательство, какая там «дружба»! Любимое, замечу, слово во многих дарственных автографах – сколько же пишущих тогда желали быть друзьями главного редактора!

Горн Виктор

Сергею Боровикову с душевной симпатией. 12.12.85
На титуле книги «Наш сын и брат. Проблемы и герои прозы Василия Шукшина». Барнаул, Алтайское книжное издательство. 1985.

Этнический немец Горн тоже был в моём критическом семинаре в Дублутах. Один из ведущих исследователей творчества Шукшина. Из Сети узнал, что стал Виктор, как положено, доктором наук, профессором, а в 90-е уехал на историческую родину.

Горшенин Алексей

Сергею Боровикову на добрую память о встречах в Дубултах Автор. 12.3. 86
На обороте обложки книжечки «Требуется лидер!».

Тоже мой семинарист, серьёзный, моих лет, работал в журнале «Сибирские огни» завотделом критики. Справился в Сети: живёт по-прежнему в Новосибирске, автор многих книг, авторитетный исследователь: его энциклопедия «Литература и писатели Сибири» стала там первым изданием такого рода.

Д

Данильченко Анатолий

Боровикову Сергею Григорьевичу с уважением от автора. Апрель 1988.
На титуле книги «Метелица. Роман». М., Современник, 1988.

Знаю, что он был в Волгограде ответсеком у совписцев, и м.б. там или в Саратове встречались, не помню.

Дворянсков Владимир.

Сергею Григорьевичу Боровикову на память, с пожеланием всего самого доброго. Вл. Дворянсков, 27.12.93

На титуле книги «Поклонение родникам. Книга о святых, целебных источниках. Ульяновск, Изд. «Дом печати», 1993.

Знаю лишь то, что автор ульяновский поэт.

Дедюхин Борис

Дорогому Сергею Боровикову в знак того, что я ничего не забыл. Дружески Б.Д. 23.V.88

На титуле книги «Глубины памяти народной». Саратов, Приволжское книжное издательство, 1987.

Дорогому Сергею Боровикову, вспоминая молодость. 5.12.89

На титуле книги «В братстве без обиды. Роман». Саратов, Приволжское книжное издательство, 1989.

Борис Васильевич Дедюхин сыграл в моей жизни большую роль. Когда я пришёл в «Волгу» в 1971 году, он был зав. отделом публицистики и очерка. Постепенно Борис Васильевич (ему было тридцать девять) стал играть роль старшего друга (мне – двадцать четыре). Как-то в хорошем подпитии, когда мы бродили по набережной, он предложил звать его по имени и тыкать, но я не решился, буду и в этом повествовании именовать его БВ.

Естественно, началось с совместных винопитий. К тому времени я уже был опытным употребителем спиртного, а БВ принадлежал к числу выпивающих не каждодневно, а загуливающих. Загулы его нельзя назвать запоями, когда было надо, он жёстко себя контролировал.

БВ пытался приохотить меня к охоте, ездили за Волгу на реку Большой Караман, но охотником я так и не стал.

Он был очень близок главному редактору Н.Е. Шундику и страстно желал сделаться его заместителем, которым был тогда Михаил Поликарпович Котов, который, заикаясь, бывало рассказывал, что заикой сделался в детстве, в гражданскую, когда его с дедом вывели на расстрел «белобандиты». При угрюмом лице обладал весьма мягким характером. Как-то заглянул в редакцию в дым пьяный поэт Исай Тобольский, зашёл к Котову. Когда я открыл дверь кабинета, увидел, что Тобольский, как был, в пальто и шляпе набекрень, сидит на коленях маленького щуплого Котова, и рыдает со словами: «Миша, как мне плохо!»

По поводу любви Тобольского к рыданиям, БВ как-то сказал: «А ты заметил, что у Исая ни слезники? только сопли по усам».

Когда Котов умер, Шундик предложил освободившуюся должность Дедюхину, который быстро нашёл себе замену, уговорив обменять квартиру на Саратов Ивана Киреенко из Куйбышева. Но должность замглавного была номенклатурной как по союзписательской, так и по партийной линии. Первая помехой не была: Правление СП РСФСР ставленника Шундика бы утвердило бы без помех, но требовалось утверждение бюро Саратовского обкома партии. Здесь возникали осложнения.

Дедюхин давно и с переменным успехом воевал с руководителем Саратовского отделения СП Палькиным, который, по словам БВ, тоже желал быть заместителем главного редактора, к чему в обкоме относились благожелательно. Да и вообще саратовские совписцы недолюбливали БВ прежде всего за его бедовость. Он часто и вызывающе ссорился, особенно в пьяном виде, играл в карты на деньги по крупной, играл на бегах, был перворазрядником по шахматам. Покупал пачками билеты «Спортлото», заполняя их по какой-то изобретённой системе.

Ни для кого не было секретом, что у него роман с редактором его отдела Ольгой Гладышевой. Но оба были несвободны. Гладышева носила фамилию мужа, весьма авторитетного в Саратове режиссёра документального кино, а Дедюхин женат. Его жена Наталья Высоцкая в то время писала внутренние и печатные рецензии для «Волги», перевела роман украинского писателя Павло Загребельного «С точки зрения вечности». Я видел её только мельком, знал, что у них не вполне нормальный ребёнок, что БВ и прежде был женат и, кажется, не раз. Помню только о браке с Фаворской, как он говорил, из семьи химика-академика. Думаю, что-то присочинял, утверждая, что она принадлежала к клану Фаворских, куда якобы входил и великий график, но биографии не сообщают, что между художником и химиком было родство. К тому же у академика (1860 г.р.) вряд ли могла быть дочь, подходящая по возрасту БВ (1931 г.р.).

Когда БВ понадобился развод, Высоцкая стала жаловаться, на что реакцией стала разборка Дедюхина по партийной линии, затеянная секретарем партбюро СП Владимиром Казаковым.

Организаторам разборки удалось привлечь в комиссию по «делу Дедюхина» его же ставленника Ивана Киреенко. На чём поссорились Иван Васильевич с Борисом Васильевичем, не помню, но БВ всегда был не прочь был задрать, поддеть человека, а белорусский крестьянин Киреенко отличался обидчивостью несостоявшегося писателя.

Я тогда ещё не был членом, будь она неладна, КПСС, и в партсобрании по плану уничтожения Дедюхина не участвовал. По рассказам участников знаю, что одним из главных пунктов обвинения было аморальное отношение БВ к семье. Киреенко, побывавши у подсудимого дома, нарисовал ужасающую картину: запущенная квартира с больным ребенком и безработной женой.

Не знаю, какое вынесли БВ партийное взыскание. Вскоре он, находившийся весь нервный период в загуле, пришел к концу дня в редакцию, зазвал меня и Евграфова (о котором будет дальше) в пустующую комнату, достал бутылку коньяка и стал чокаться рюмкой о толстое сверкающее обручальное кольцо – он получил развод и они с Гладышевой расписались. Рассказывал, как Шундик привёл его к секретарю обкома по пропаганде В.М. Черныху, и тот благожелательно велел упорядочить семейное положение.

Как-то после скандала с публикацией статьи М. Лобанова я с БВ и поссорился. Причина? Помню лишь, как стоял с Палькиным в его кабинете у гигантского окна, а к редакции шёл Дедюхин, и Палькин доверительно поведал мне в деталях, как БВ недавно меня предал. И я, никогда не забывая совет отца «Не доверяй китайской улыбке Палькина», в сказанное всё же поверил. Наверно потому, что знал склонность Дедюхина к интриганству и его повышенное чувство самосохранения в минуты опасности. А тогда события заворачивались так, что кого-то должны были снять с должности – редактора или его заместителя. Спустя время обкомовский работник мне рассказывал, что когда БВ посоветовали добровольно уйти, он якобы поставил условие, чтобы Палькин тоже ушёл. История сомнительная, но как бы то ни было, их обоих сняли с должности. Мне же в этой ситуации ничто не угрожало, и были досадно неприятны интриги вокруг меня. Потом решил, что Дедюхин, недаром что классный шахматист, просчитал и вариант с моим редакторством, чего Палькин конечно не желал, а я никак и вообразить бы не смог.

И всё-таки Палькин был столь убедителен, что тогда я враз решил порвать с БВ. На его недоумения ответил, что он сам должен знать причину моего поступка.

И ещё долгое время я не кланялся с БВ и Гладышевой, которая уже не работала в журнале, но стала членом СП. Спустя не помню какой срок я встретился-таки с БВ за выпивкой и рассказал, как Палькин меня околдовал на его счёт... клеветой ли, и сейчас не знаю: по безнравственности они были два сапога пара.

Шли 90-е годы, Дедюхины, оставив огромную квартиру сыну Гладышевой, перебрались в Хвалынск, где купили дом, и стали писать для какого-то московского издательства книги о русских князьях-государях.

Я воспроизвёл сохранившиеся автографы БВ, но у меня было по крайней мере ещё три его книги, которые я в сердцах выбросил. Это исторический роман «В братстве без обиды», публикацию которого я, будучи завпрозой, провёл в «Волге», преодолев сопротивление Палькина. Ещё роман

«Сейнер» о дальневосточных рыбаках (БВ в своей бурной жизни успел послужить на Сахалине редактором районной газеты) и особо памятную мне повесть «Крэк».

Там рассказывается о молодых наездниках. Дедюхин не только играл на бегах, но и дружил с жокеями, тренерами, ходил в конюшни. На том собрании его обвиняли и в злоупотреблении служебным положением, звучала информация, которую я могу подтвердить: выписывал себе командировки в Мекку лошадников Кисловодск.

Так вот на «Крэке» БВ написал, помню дословно:

Сергей, переступай!
Через что, ты спросишь?
Через четверть века. А ты что подумал?

Поясню надпись. За бутылкой я не раз жаловался БВ, как мне надоело домашнее устройство, двойная опека – жены и родителей, ранние отцовские обязанности, словом отсутствие свободы. Он не раз советовал отринуть сомнения и уйти, *переступить,* по Достоевскому. А в надписи вполне изящно повторил совет и замаскировал смысл, заменив мою проблему моим двадцатипятилетием.

Слово он чувствовал по-настоящему, и это нас роднило. Когда «Крэк» печатался в «Волге» и редактировал его Киреенко, возмущённый Дедюхин призвал меня в судьи. Во фразе «Кобыла мешкотно прошла поворот» Иван исправил *мешкотно* на *мешковато*. «Представляешь! – кричал БВ, – он не слышит разницы!»

Дементьев Вадим

Дементьев Вадим. Сергею Боровикову с радостью дарю сей первый труд. Вад. Дементьев. 7.02.82

На титуле брошюры «Держатели огня» (многонациональная современная советская поэзия). М., Знание, 1982.

Дорогим и сердечным друзьям Сергею и Галине Боровиковым на долгую память. Вад. Дементьев. 7.2.83

На титуле книги «Пламя поэзии». М., Молодая гвардия, 1982.

Дорогим моим верным и прекрасным друзьям – Сергею и Гале Боровиковым, без которых жить трудно и скучно. Сердечно Вад. Дементьев. 1.2. 85

На титуле книги «Расул Гамзатов». М., Сов. Россия, 1984.

Гале и Сергею Боровиковым с надеждой и на лучшее будущее русской литературы.

На титуле книги «Звездный путь. Поэзия Горного Алтая и других сибирских народов: прошлое и настоящее». Горно-Алтайское отделение Алтайского книжного издательства, 1985.

Дорогим братцам Боровиковым – от составителей Вадима и Тани Дементьевых. 5.7.86

На титуле книги «Песня о Земле и Хлебе. Стихи русских и советских поэтов». М., Молодая гвардия, 1986.

Дорогому другу Сергею Боровикову с вечной жалобой на его отсутствие в столице. Сердечно Вад. Дементьев. 7.9.87 Москва

На титуле книги «Нас водила молодость...» Книга литературно-критических статей. М., Молодая гвардия, 1987.

Некоторые москвичи, особенно Семанов, переносили нелюбовь к отцу Вадима Валерию Васильевичу, считая, что сын унаследовал приспособленческие способности. Время показало, что они не так уж и заблуждались.

У Вадима тогда присутствовал довольно редкий комплекс москвича из литературной среды, тяготящегося своей столичностью и занятого поисками самоидентификации вне Москвы. Для Вадима

это была отцовская родина – Вологодчина, и попутно профессиональное тяготение к культуре народов северного Кавказа.

Дружба укрепилась, когда подружились наши жёны. Они были прямо-таки очарованы друг другом. Во всяком случае, Таня Дементьева была для Гали Боровиковой неиссякаемым примером правильности жизни.

Мы были на их свадьбе в ресторане «Националь», где самым ярким был начавшийся запой отца жениха и танцующие под рок-музыку секретари Правления СП РСФСР Викулов и Шундик. Из ресторана провожали новобрачных на Рижский вокзал в свадебное путешествие.

Рижский вокзал причудливо связан ещё с одним общим для нас с Вадимом воспоминанием.

Зимой 1981 года я уезжал из Москвы в Ригу, чтобы руководить по приглашению Дементьева-отца семинаром молодых критиков в Дубултах[1]. Мы запьянствовали с Вадимом, и он поехал провожать меня на поезд с маленьким сыном, едва начавшим ходить. На вокзал прихватили добавки. И, уединившись среди каких-то боковых путей, продолжили. Помню заснеженные рельсы с молчаливыми вагонами, и вдруг женский голос: «Чей ребёнок на путях?» Это был маленький Митя Дементьев, позабытый нетрезвыми отцом и дядей Серёжей.

Дементьев Валерий

Сереже Боровикову – талантливому семинаристу – с добрым чувством Валерий Дементьев. 14.6.77

На титуле книги «Александр Твардовский». Сов. Россия, 1976.

Талантливому «крестнику» моему Сергею Боровикову сердечно Валерий Дементьев, Дубулты, 1981, 4 декабря.

На титуле книги «Грани стиха. О патриотической лирике советских поэтов. Книга для учителей», М., Просвещение, 1979.

Мои воспоминания о Валерии Васильевиче Дементьеве см., как и о В. Васильеве, в очерке «Как я не стал москвичом».

В. Дмитриев

Редакции журнала Вашего с верой в его будущее.
18.07.92. г. Владимир

На обороте непонятной страницы со стихом:

Я знаю страсть: в смятенье жить.
Щемящие лелея звуки...
Но снова этой чистой муки
Нет сил мне, Господи, прости!..
В. Дмитриев.

И фото невразумительного молодого человека, о котором я даже не слышал.

Дудочкин Пётр

С самыми добрыми чувствами коллеге С. Боровикову с тверским приветом. Пётр Дудочкин, 19.1.79

[1]Где-то я уже вспоминал последствие той выпивки: на Рижском вокзале, утром, купив билет, оставил чемодан в камере хранения, а вечером в алкогольном чаду забыл его взять и отправился в Ригу в чем был, без вещей.

На титуле книги «Журчеек». М., изд. «Правда», 1978 (библиотека «Огонек»).

С автором знаком не был, кажется, он писал басни, а широко отметился газетными выступлениями в кампанию борьбы с пьянством, говорили даже, что лозунг «Трезвость норма жизни» придуман им.

Е

Евграфов Валентин

Сергею Григорьевичу очень уважаемому человеку, в качестве «обмена».

На шмуцтитуле книги Николая Румянцева о Герое Советского Союза Сергее Тархове. Гриф «Библиотека допризывника».

Валентин Евграфов – художник книги. Мы с ним много лет работали в «Волге», где он был и художником, и заведующим редакцией, т.е. завхозом, который был и выпускающим.

О его биографии читаем в книге о его однокласснике генерале Борисе Громове: «Валентин Григорьевич – это тот самый художник, который написал картину “Суворовец на салазках”, где изображен Боря Громов во дворе своего старого дома.

Валентин Григорьевич Евграфов – кадет Саратовского суворовского училища первого выпуска (1949). После этого он закончил Львовское пехотное училище и в 1960 году, уже в звании капитана, был демобилизован в связи с сокращением Вооруженных Сил СССР.

Пришлось круто менять жизнь. Валентин Григорьевич сумел подняться на ноги. Стал развивать свое дарование живописца, получил квалификацию, был принят в члены Союза художников.

Его, учитывая необыкновенную сердечную доброту и кротость, как совершенно неконфликтного человека, что в творческой среде встречается крайне редко, избрали секретарем партийной организации саратовского Союза художников».

Да, предельно мягкий человек, ничего армейского. А у художников так долго был партийным секретарём, что при мне грозился во Фрунзенском райкоме: нарочно попаду в вытрезвитель, чтобы переизбрали.

Живописец Валентин Григорьевич был, прямо скажем, неважнецкий, но я разделял его увлечение экслибрисом, вообще нас роднила любовь к графике, а настольной книгой была «Русская графика начала XX века» А.А. Сидорова, учёного и, как теперь оказалось, масона и многолетнего сотрудника НКВД-ОГПУ.

В связи с Евграфовым уместно будет вспомнить тогдашнюю охоту на ведьм, что велась в каждом, думаю, советском коллективе.

Под охотой на ведьм я разумею вечный в те времена вопрос: кто стучит? Им задавались и сотрудники «Волги», не слишком громко обсуждая кандидатуры. При этом как бы предполагалось, что участники обсуждения сами стукачами быть никак не могут, что не исключало другого обсуждения другой группой, где кандидатами в стукачи рассматривались судии первой группы. Под группами прошу понимать не сложившиеся и враждующие объединения сотрудников: для этого коллектив был слишком мал. Просто два, три, максимум четыре, человека сойдясь, чтобы покурить и попить чаю, часто задавали сакраментальный для советских интеллигентов вопрос. Никому в голову не пришло бы сознаться в нехорошем деле, лишь однажды, уже после кончины *Софьи Власьевны*, в разговоре на скользкую тему С. поведал мне и П. о том, как его почти завербовали, во всяком случае были свидания с сотрудником ГБ в гостиничном номере. На эти признания работник того же отдела П., сверстник С., спросил того, не боится ли он разоблачения. С. сказал, что ничего стыдного в его встречах с сотрудником органов не было.

Раз уж задел тему, сошлюсь и на свой опыт. Вскоре после того, как меня взяли на работу в «Волгу» корректором, зашедший в редакцию уже знакомый мне журнальный «куратор» С. предложил выйти прогуляться. Невдалеке стояли его «Жигули», куда он предложил сесть, но с места не тро-

нулся. Я, понятно, напряжённо ожидал начала вербовки, но С. задал неожиданный вопрос: кто на мой взгляд выше как поэт – Симонов или Твардовский. Я сказал, что конечно Твардовский. И в каких-то витиевато-благостных, видимо давно отработанных словах, С. сообщил, что они нуждаются в добросовестной информации о работе редакции. Я с возможным для ситуации и моей натуры возмущением сказал, что доносить на сослуживцев отказываюсь. Усмехнувшись, С. пояснил, что я не так его понял, что никто не ждёт от меня доносов на коллег, просто им не хватает чисто литературных консультаций. На мой вопрос, каких именно, С. сказал, что при надобности он позвонит. И вскоре позвонил. И тогда не понял и сейчас не понимаю, данного мне поручения: выяснить, какие в редакции находятся произведения чувашского писателя Хведера Уяра. Я сказал, что узнаю, и на следующий звонок соврал, что ничего не обнаружил. Сейчас заглянул в Сеть: Уяр был заслуженный писатель, фронтовик, автор многих книг, и намёка на возможную крамолу близко нет. Зачем про него спросили? Но больше заданий не давали. А встреч с С. и сменившим его товарищам было немало, даже с выпивкой, если наши чекисты заставали в редакции застолье.

Не скажу, что в общении с людьми из страшного ведомства я испытывал какие-то особые чувства. Люди как люди. Но смысл их действий бывал непонятен. Однажды уже Б., который был начальником, ведал всеми работниками культуры, принёс мне, уже главному редактору, на отзыв (первый и последний раз) какое-то западное издание прозы Высоцкого – «Роман о девочках». Меня это удивило, ведь Высоцкий никак не был под запретом, уже выходили его диски-гиганты... может, им просто понадобился мой автограф? Но как дисциплинированный коммунист и руководитель идеологической организации написал, что крамолы в текстах нет, а проза Высоцкого несопоставимо ниже его поэзии.

Другой случай говорит об их большом ко мне доверии. После моего участия в работе 19-й партконференции, стало быть, в 89-м году, Б. пригласил меня выступить перед сотрудниками с рассказом о конференции. Вообще в те дни я изведал самочувствие свадебного генерала: не проходило и дня, чтобы меня куда-нибудь не пригласили вступать. Встречался даже с офицерами гарнизона. И вот КГБ. Было довольно много народа. Первым делом я пошутил, что моим слушателям о конференции всё равно известно больше чем мне, на что они довольно заулыбались. И в этой аудитории и в других первым делом спрашивали, как я отношусь к выступлению Ельцина и словам Лигачёва «Борис, ты не прав». Я отвечал, что мне оба не по душе.

Что еще о страшном ведомстве? Кажется, уже вспоминал, как соседка по подъезду вытащила у меня из ящика и принесла туда адресованную мне ксерокопию письма с призывом свергнуть агента ЦРУ и мирового сионизма секретаря ЦК КПСС Александра Яковлева. Принес мне письмо тот же Б., предложив от таких призывов письменно отмежеваться. С его устной помощью я написал, никуда не адресуя, что получил не из почтового ящика (это Б. попытался безуспешно отклонить) уже вскрытое адресованное мне письмо, с которым я не согласен.

Ещё? Ну что ж, продолжу любимую тему тех знакомых саратовцев, которые отважно ругали советский режим, но струхнув после общения с коллегами Б., бывало и закладывали товарищей, как то случилось с Володей К. после разгона их группы саратовских инакомыслящих, когда музыканту Катцу запретили на какое-то время выступать, а доцента-медика Штерна разжаловали из доцентов. Правда, саратовскому КГБ стало неуютно, когда вдруг после всего лишь обыска женщина-врач, кажется, рентгенолог, не помню фамилии, повесилась. Начиналась же та кампания по борьбе с саратовскими диссидентами несерьёзно. Чего стоил фельетон «У позорного столба» в газете «Коммунист», принадлежащий перу заместителя редактора горького пьянчуги В. Пролёткина, который своей суперидейностью поражал даже партийных работников. Помню, как возмущалась секретарь Фрунзенского райкома А.П. Шляхтина очередной публикацией Пролёткина, где тот пригвоздил к очередному позорному столбу кафе, названное, по его мнению, религиозно – «Масленица».

Ладно, возвращаюсь к Евграфову, которого Дедюхин называл мне редакционным стукачом. Но, как говорится в детской присказке, «кто так обзывается, сам так называется». Он столько раз горел (рассказывал, как в ульяновском институте его исключили из комсомола за выпуск газеты «Сперматазодид»), и поднимался, что по советским признакам это считалось одним из признаков приватной службы в органах.

Евсеенко Иван

На добрую память Серёже Боровикову. Подпись – 2-111-84 г.
На титуле книги «Дети войны. Рассказы. Очерки». Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1983.

На добрую память Серёже Боровикову. 2-111-84 г.
На книге «За тридевять земель. Повести», М., Современник, 1983.

Сергею Боровикову с глубоким уважением и благодарностью.
Подпись – 3.06.86
На титуле книги «За семью холмами», Воронеж, Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1986.

С удивлением обнаружил на обороте титула: «Рецензент Сергей Боровиков». В те годы я немало писал «внутряшек» для Приволжского изд-ва и «Современника», но Воронежа, убей Бог, не припоминаю. Жаль, что я там не бывал.

Интересно, что первые две книги, подаренные при знакомстве в Москве адресованы *Серёже*, а третья *Сергею Григорьевичу*.

Евсеенко был настоящим писателем, но не обладал выраженным стилем. Его повести близки прозе Бориса Екимова, но слабее.

Егоренкова Галина

Сергею Боровикову с пожеланием надежды, славы и добра (и министерства...) 22.V. 85.
На титуле книги «Духовная жажда. Современный герой в прозе писателей-горьковчан 70-х начала 80-х годов». Горький, Волго-Вятское кн. изд-во, 1983.

Сергею Боровикову – с признательностью, уважением и пожеланием успехов в творчестве и жизни – подпись, 18.1.88
На титуле книги «Земная основа. Литературно-критические статьи». Горький. Волго-Вятское издательство, 1987.

Я лишь однажды встречался с рано ушедшей из жизни Галей в Горьком. Она производила симпатичное впечатление открытостью и бесшабашным стилем поведения (см. «Мой театр»: Волга, 2018, №1-2).

Ерёмин Александр

Сергею Григорьевичу Боровикову от автора, который долго притворялся учёным и критиком и которому Вы доверчиво присылали на отзыв разные литературоведческие трактаты. Предвижу Ваше разочарование, но – что делать!
С уважением и наилучшими пожеланиями – подпись, 20.IV.1979
На авантитуле неизвестной книги.

Александр Алексеевич Ерёмин – горьковский профессор-литературовед – писал и прозу. Приятный, ироничный, из недолгого общения с ним запомнился со вкусом процитированный Мей:

Графы и графини,
Счастья вам во всём!
Ну, а мне в графине,
И притом в большом.

Есенков Валерий

Сергею Боровикову с глубокой признательностью.
23 апреля 85, подпись
На титуле книги «Отпуск. Роман». Москва, Современник, 1985.

Одну, не помню какую, вещь этого литератора мы опубликовали, но потом... потом была какая-то фабрика по производству однотипных «художественных биографий».

Ж

Жуков Анатолий

Сергею Григорьевичу от автора с добрыми пожеланиями. Б.д.
Надпись на форзаце утраченной книги.-

Прекрасным русским людям Серёже и Гале Боровиковым – с сердечным приветом А. Жуков.
Спасибо, Серёжа, за твою книгу, за память. Я тоже люблю А.Н. Толстого с давних лет.
Приезжайте в гости.
На авантитуле неизвестной книги, на второй стороне фото автора.

Что за Галя? Это моя первая жена, с которой в писательской группе ездили в 1983 году в Швецию-Данию. Кто был в группе? Критик Владимир Огнев с женой, переводчик Михаил Кудимов с женой, критик Юрий Селезнёв с женой, поэтесса Алла Ахундова, а поэт Джим Паттерсон (негритёнок из к-ф «Цирк), прозаики Анатолий Жуков, Борис Ряховский, Владимир Амлинский (руководитель группы) – без жён.

Дорогому Сергею Боровикову – дружески, с надеждой на встречи в Москве. 14.VI – 89 г.
На авантитуле книги «Дом для внука». М.: Известия, 1987.

Я мало знаю прозу Анатолия Жукова, за исключением смешной и злой повести «Безразмерное чудо», которую я, заведуя отделом прозы, хотел напечатать в «Волге», но испугался Палькин.

Сюжет «Безразмерного чуда» строится на том, что рыболов Парфёнька тащит из реки щуку, которой нет конца. И вот, погрузив её головой в водовозку, везут рыбу далеко за пределы села, а она всё не кончается. Подключается районное начальство, создается чрезвычайный штаб. Целое хозяйство поставляет утят на прокорм чудовищу. Приезжает областное телевидение, но оно уже не устраивает местную власть, дозваниваются до ведущих популярных программ ЦТ Сергея Капицы и Юрия Сенкевича. Усилиями СМИ создается образ чудо-богатыря колхозника Парфёньки, московский художник является писать его портрет. На многих машинах везут чудо, милиция зорко охраняет кортеж. Наконец как-то ночью сорокакилометровая рыба исчезает.

Я нашёл сейчас в Сети текст не раз потом опубликованной повести, но там отсутствует памятный мне диалог начальства о том, что делать, когда рыбу дотянут до государственной границы? Поделимся чудом с друзьями из соцлагеря? Неплохо, а вдруг она до территории стран НАТО не закончится?!

Жуков Владимир

Серёже, который мне дорог.
Подпись – 76 г.
На титуле книги «Избранная лирика. Поэмы». Москва, Художественная литература, 1975.

Талантливому и молодому критику и литературоведу Сергею Григорьевичу Боровикову – с ветеранским салютом. Автор.

23 августа 88 г., Иваново

На титуле книги «Стихотворения. Поэмы». Серия «Библиотека советской поэзии», Москва, Художественная литература, 1988.

Владимир Семёнович Жуков был, наверное, самым авторитетным поэтом-фронтовиком из живущих в провинции. Авторитет его слагался и из стихов, где главным был взгляд на войну как «на опасную и трудную работу», а когда поэт вступал в литературу, такая позиция не приветствовалась, «ремаркизм» осуждался. В не меньшей мере причиной была широкая общительность Владимира Семёновича, соединённая с большим обаянием, думаю, его очень любили женщины. А его многолетнее успешное пребывание во главе ивановских писателей сделало его равно уважаемым и Москвой, и провинциальными коллегами.

Жуков Дмитрий

Сергею Боровикову с искренней симпатией. 11.12.80.

На титуле книги «Биография биографии. Размышления о жанре». М., Советская Россия, 1980.

С Дмитрием Анатольевичем Жуковым я встречался в Москве, Коктебеле, Саратове. Будучи последний раз уже в 90-е в Саратове, он позвонил. Меня не было, он попросил жену передать, чтобы я заглянул к нему в т.н. «Особняк», бывшую правительственную гостиницу на углу Волжской и Коммунарной (дом мукомола Шмидта на углу Армянской и Соборной). Я удивился: каким образом этот московский пенсионер, не занимающий никаких постов, остановился в столь престижном помещении? Не знал, что мой знакомый – отец вице-премьера Александра Жукова.

Дмитрий Анатольевич был высок, с военной выправкой, аристократическим манерами. Был известен как автор беллетризованных биографий. Самая интересная из его книг – вымышленное жизнеописание Козьмы Пруткова. До этого занимался переводами американских фантастов Айзека Азимова, Клиффорда Саймака, Роберта Шекли, Гарри Гаррисона. На моей памяти подолгу находился в Югославии, много переводил сербским писателей.

Дописательская биография его загадочна. Вот, из Сети:

«В декабре 1944 года он стал добровольцем, вступившим в ряды Красной Армии. После войны, уже в 1947-м, он окончил Военное училище связи в Киеве. Но на этом Дмитрий Анатольевич не остановился: в 1949 году он поступил в Военный институт иностранных языков. В 1954 году, после получения диплома, его взяли на службу в Генштаб СССР. После зачисления в штаб его отправили на службу за границу. На родину он смог вернуться спустя пять лет службы.

Признав, что он достойный и полезный гражданин государства, Дмитрию Жукову предложили вступить в ряды Коммунистической партии Советского Союза. Он отказался от такого предложения, и Жукову запретили выезжать в командировки за границу СССР».

Очень странно: «Признав, что он полезный и достойный гражданин...» Формулировка исходит из того, что имярек не всегда был достойным и полезным... Коллеги поговаривали, что был Жуков нелегалом, засыпался, исключён из партии и, будучи профессиональным полиглотом, подался в переводчики.

В 70-80-е его книги постоянно долбала партийная печать, что не мешало их регулярному выходу. Помню, как в ЦДЛ он своим сюсюкающим говорком поведал нам с Сашкой Карелиным, как его преследует газета «Правда», но единомышленники поддерживают. И принялся вынимать из карманов один издательский договор, другой, третий, на что я сказал: «Вы, Дмитрий Анатольевич, прямо как Акопян» и Сашка довольно заржал.

Словом, незаурядный был господин, к тому же дворянских кровей.

З

Золотов Василий

Сергею Григорьевичу Боровикову от всего сердца. Подпись – 22 сент. 78 г.
На авантитуле неизвестной книги.

Справился в Сети – жил в Рязани такой писатель с красивой биографией – до войны сидел за похвальные высказывания о Бунине в связи с присуждением ему Нобелевки, фронтовик.
Но я не встречался с ним и никогда не был в Рязани.

Зубавин Владимир

Дорогому-золотому Серёже Боровикову от меня и всего нашего семейства. В память о Володе. Подпись – б.д.
На титуле книги «Последняя операция. Повесть и рассказы». М., Современник, 1986.

С автором я встречался лишь однажды, книгу надписала его жена, с которой я был хорошо знаком. Марьяна Зубавина много лет работала консультантом аппарата Правления СП РСФСР. Володя Зубавин был сыном писателя Бориса Зубавина, работал, если не путаю, в каком-то чуть ли не космическом НИИ.

И

Ивлиев Николай

Дорогому Сергею Григорьевичу Боровикову! С искренней признательностью и самыми добрыми пожеланиями.
Не всё есть свет, где бродит тьма...
Ваш – подпись, 11.05.93 г.

Когда этот гражданин пролезал в кабинет и не сводил с меня умиленного взора, то вызывал у меня неодолимую неприязнь, и, как оказалось, не зря. Едва начались разборки саратовских совписцев с «Волгой», он тиснул, кажется в «Земском обозрении», свой отклик на мою вредительскую, для таких, как он, деятельность. Были уже аналогичные публикации Лёни Иванченко и Васьки Кондрашова, но у этого вышло как-то особенно пакостно.

К

Калашников Сергей

Тёзке и собрату (хоть и с острым критическим уклоном).
Желаю успехов, новых книг, новых премий! Подпись б.д.
На титуле книги «Память. Рассказы». Нижне-Волжское книжное издательство, Волгоград, 1980.

Тёзке Б*оровикову – с теплотой сердечной, в надежде на встречи столь же добрые, как прежде. Успехов с пером и бумагой!*
(А что-то из здешнего впервые божий свет увидело с твоей помощью Спасибо!)
Подпись – б.д.
На титуле книги «Время свадеб. Повесть, рассказы». Нижне-Волжское книжное издательство, Волгоград, 1983.

Дорогому тёзке Сергею Григорьевичу Боровикову с надеждой, быть может и наивной – её не раз обменяться книжками с дружескими автографами. Подпись – б.д.

На титуле книги «Ночь рождения. Повести. Роман», Волгоград, Нижне-Волжское кн. Изд-во, 1985.

Калашникова я знал неплохо, не раз встречался с ним в Астрахани, был в гостях дома и на даче. Когда печатали его хороший военный рассказ «Земеля» уже в подобревшие времена, встретили сопротивление агонизирующей цензуры. Некоторая неловкость была в том, что однажды я не избежал искушения побывать у него на работе. А был Сергей Борисович директором облкниготорга. Особого книжного зуда у меня не было, захапитостью я не страдал, а часто бывая в Москве, имел доступ к Книжной лавке писателей, и всё же несколько книг в Астрахани купил, кажется, второй (зелёный) двухтомник Цветаевой и ещё что-то.

Казаков Борис

Боровикову Сергею продолжателю трудной дороги Боровикова Григория. С лучшими пожеланиями, подпись – 23/XI– 82.

На титуле книги «Блистательный путешественник. (Бор)». М., Металлургия, 1982.

Борис Игнатьевич Казаков – кандидат химических наук, доцент Саратовского педагогического института, писал популяризаторские книги на темы точных наук. Подаренная мне книга рассказывала об химическом элементе Бор.

Был он немолод, давно ходил в редакцию. Никто не хотел им заниматься, его темам сложно найти место в литературном журнале. Ни разу не видел его трезвым. То есть он не был пьян, просто испускал густой водочный аромат.

Казаков Владимир

Сергею Боровикову – первому, благословившему эту повесть в журнале «Волга», на добрую память, подпись – 8.08. 88

На титуле книги «Небо помнит. Повесть-хроника». М., Молодая гвардия, 1988.

Саратовский писатель восстановил доброе имя и великие заслуги Павла Гроховского, советского конструктора, изобретателя и организатора производства парашютной, авиационной и воздушно-десантной техники. Павла Игнатьевича постигла судьба многих талантливых людей – блестящие идеи, упорство и находчивость по внедрению их в РККА, и рядом зависть, интриги, клевета. Итог: расстрел в 1943-м (а то всё сводим к 37-му) и долгие годы забвения. Казаков, сам в прошлом лётчик, прозаик был конечно невеликий, зато очень въедливый собиратель фактического материала по избранной, всегда авиационной, теме.

С Владимиром Борисовичем у меня связано немало воспоминаний. Вот неприятное: в кабинете у Дедюхина, врага Казакова, каким-то образом оказались одновременно они оба, Шундик и я, порываясь уйти, да Дедюхин всё останавливал. Уйти же я собирался, крайне не любя ссор и драк, а тут ссора уже подходила к стадии драки. Предмет конфликта не помню, но зачинщиком несомненно был БВ, которого Шундик не очень агрессивно поддерживал. Я вообще не проронил ни слова, тем неприятнее было то, что Казаков, обведя всех глазами, повторял: «Какие вы все страшные люди!» Дедюхин уже произнёс что-то вроде «Да что на него смотреть!». Все естественно были под градусом. Почему оказались вместе, и примерно не могу вспомнить. Неловкость для меня была и в том, что скандалисты были много меня старше: Шундику около шестидесяти, Казакову и Дедюхину за сорок. О причинах ненависти Дедюхина к Казакову догадываюсь, но умолчу.

Интересно, что Казаков, ставший впоследствии вместо Палькина ответсекретарем писательской организации, был неким оппозиционером в глазах партийной власти, не будучи даже в ма-

лейшей степени привержен либеральным либо каким-то другим вредным идеям. Он был можно сказать, внутрипартийным инакомыслящим: со свойственной ему упёртостью Владимир Борисович ставил идею подлинной, а не мнимой выборности, напоминая, что она никак не противоречит Уставу КПСС. Настаивал на том, чтобы в списки для тайного голосования включалось не то число кандидатов, сколько членов в комитете, а больше. И когда был партийным секретарём СП, проводил свою идею в жизнь, что приводило в ярость райком и обком. Непосредственно стоявшая над нами зав. отделом культуры обкома Зоя Ларионова Казакова спокойно видеть не могла.

Когда я развёлся с женой, что для коммуниста и руководителя было чревато, и те из саратовских совписцев, что меня особенно не любили, начали, как мне рассказывали, выражаясь современно, инициировать импичмент, Казаков и его друг Гришин твёрдо встали на мою защиту.

Карась Ромуальд

Siergieiaz Borovikov
Z prieiazniu
Bialavieza, 5 x 87 r.

Надпись на форзаце книги:
Romuald Karas Dom nad Marycha

Эту книгу в единственное пребывание моё в Польше (см. выше о В. Воронове) подарил киносценарист с булгаковской фамилией.

Кизилов Михаил

Сергею Боровикову – соратнику и другу по работе и жизни, прекрасному человеку, с благодарностью за помощь и поддержку и искренним желанием идти по жизни. Подпись (явно нетрезвой рукой) – 29.09.83

А поддержка и помощь и симпатичному парню Мише Кизилову выразилась в том, что когда ему позарез понадобилась какая-нибудь публикация, я быстро написал за его подписью рецензию не помню на какую книгу, и он напечатал её в журнале «Молодая гвардия». Много лет он был, а заглянувши сейчас в Сеть, узнал, что и поныне является, главным редактором журнала «Смена». Хоть и служил тогда Миша в ЦК ВЛКСМ, в общении приятный был парень, необременительный. Почему-то запомнилось, как столкнулись в кулуарах какого-то съезда СП, и он предложил мне делегатский кейс, но я уже свой получил и от второго отказался. Как сейчас вижу удаляющегося Мишу с тремя кейсами в руках.

Книгин Игорь

Сергею Григорьевичу Боровикову с уважением и самыми добрыми пожеланиями от признательного автора. Подпись – 26 марта 1992 г.

На титуле ужасно отпечатанной на ужасной бумаге книги «Леонид Егорович Оболенский – литературный критик», Издательство Саратовского университета, 1992.

Игорь Анатольевич – доцент на филфаке, очень приятный человек, который не только пишет, но зачем-то и печатает стихи. Аня Сафронова говорила, что у студентов он имел прозвище Обложкин.

Кемоклидзе Герберт

Сергею Боровикову от бывшего от южанина, но давно волжанина, дружески. Подпись – 3.10.85, Ялта

На титуле книги «Детское время. Рассказы». Москва, Современник, 1985.

Почему-то не могу вспомнить никакого общения с автором тогда, в Ялтинском доме творчества. Помню, что когда-то он часто печатался на юмористической 16-й полосе ЛГ, что жил в Ярославле.

Колумб Валентин

Дорогому Сергею на память о приземлении на земле Акпарса – братьев-марийцев. Подпись 3.04.72. Йошкар-Ола.

На титуле книги «Стихи». Авторизованный перевод с марийского В. Кострова, издательство, время и место издания не указано.

Это была первая моя командировка в «Волге». Моя потому что в Йошкар-Олу старшие товарищи не рвались. В зону «Волги» входили четыре автономные республики – Татария, Мордовия, Мари и Калмыкия. Самые тесные связи были с Саранском, м.б. потому, что в Саратовской области, как и в Пензенской, жило много мордвы. Связь с Казанью осложнялась амбициозностью не только татарских, но русских писателей, живущих в Казани, которых там было намного больше, чем в Саратове. В Калмыкию любил ездить только Дедюхин, переводивший прозу Алексея Балакаева. С Мари контактов почти не был. Вот меня и направили в Йошкар-Олу налаживать дружеские связи.

Там я познакомился с некоторыми марийскими писателями, в том числе с народным поэтом Марийской АССР Семёном Вишневским. Когда мы вошли в ресторан гостиницы, Семён остановился у столика, за которым в одиночестве пил пиво угрюмый гражданин, и сказал: «Познакомься, наш главный враг». Это был глава марийской цензуры. В Саратове такая шутка не прокатила бы.

А сблизился я с симпатичнейшим, старше меня, но ещё молодым, поэтом Валентином Христофоровичем Колумбом. Его фамилия в Википедии объясняется так: «Свою необычную фамилию отец поэта (урождённый Декин) получил от сельского учителя, поклонника истории географических открытий». Но мне Валентин рассказывал, что нарёк отца именем великого мореплавателя при крещении пьяный поп, за что-то сердитый на деда.

Мы с милым Валентином переписывались, но больше виделись. А вскоре его не стало. На сайте http://www.marimedia.ru/ читаем:

«В марте 1974 года в секретариате правления Союза писателей РСФСР состоялось обсуждение творчества Валентина Колумба. Его поэзия последних лет получила высокую оценку, и было принято решение рекомендовать издать сборник его избранных произведений в Москве на русском языке. Это вызвало ревностное неодобрение коллег в Йошкар-Оле.

Была устроена тенденциозная ревизия работы редакции журнала «Ончыко», отчет о работе коммуниста В.Х. Колумба был вынесен на обсуждение партийного собрания. Проявив душевную слабость, Колумб пришел на партийное собрание выпившим, что послужило дополнительным поводом для обвинений. Валентину Христофоровичу объявили строгий выговор с занесением в учетную карточку. После собрания он, вновь выпив, где-то пропадал и 8 декабря скончался». Так, это так, что по-русски, что по-марийски. Перелистывая печальные страницы советского прошлого, мы обычно видим палаческую роль двух монстров – КПСС и КГБ. Оно так, и всё же в т.н. творческой среде первыми душителями талантов были коллеги, когда зависть бездарностей лежала в основе политической травли.

А на память о Валентине Колумбе мне остался долголетнежданный сборник Мандельштама в «Библиотеке поэта» (1973). Тогда, при встрече в Йошкар-Оле Валентин сказал мне, что может достать у себя любое редкое издание, и в ответ на мою просьбу прислал Мандельштама, с замечательной в письме оговоркой «Не беспокойся, о себе я тоже позаботился».

А с переводчиком книги Колумба московским поэтом Владимиром Костровым я общался в Пензе в 1985 году. У меня была фотография на сцене клуба какого-то пензенского института: Н. Шундик, В. Костров и я. Были Дни литературы, поездка в Тарханы, пленум Правления СП РСФСР,

встречи, на одной из которых и сделано фото. Кто-то в Пензе сказал тогда про Кострова: «Володя сколько лет как пить бросил, а руки ходуном ходят». И правда, такого тремора я никогда не видел.

Красавин Юрий

Сергею Боровикову с самыми добрыми пожеланиями. Подпись – 28.11. 2007
На титуле книги «Признание в любви стихами и прозой», 2007 г., отпечатано в г. Конаково Тверской обл.

С автором не знаком, печатался ли этот писатель в «Волге», не помню, но в памяти смутно возникает конфликт из-за какого-то его сочинения.

Коновалов Григорий

Серёже Боровикову с дружеским чувством на добрую память.
Подпись – ноябрь 1986
На титуле книги «Былинка в поле». Москва, Молодая гвардия, 1983.

Сергею Григорьевичу Боровикову с отеческой любовью.
Подпись – ноябрь 1986

Раньше Григорий Иванович мне не книг не дарил. А тогда решался вопрос о публикации в «Волге» его очень длинного романа в 50 авторских листов под названием «Воля». Никакого, впрочем, вопроса и не было: автор – местный классик, обком и цензура помаленьку увядали в то расплывчатое время, а главный редактор был лично заинтересован в публикации «Воли». Почему? А потому что поглощён был в конце 1986 года разводом, разменом квартиры, терзаньями о месте будущего проживанья младшего сына, всем тем, что привело в конце следующего года к первому инфаркту.

Какая связь моей небольшой неволи с коноваловской большой «Волей»? Прямая. Мне было не до редакторских дел, состоявших из поисков, чтения, редактуры текстов, прежде всего прозаических, в каждый номер. А тут сразу полсотни листов. Даже если давать по пять листов в номер, что немало, печатание романа растянется на десять месяцев. Оно и растянулось. Я был неплохим редактором и вполне ответственным главным редактором, но тогда «Волю» полностью не прочитал. Подготовкой текста занялся зав. отделом прозы Владимир Серов, для которого большой радостью стало долгое общение к Коноваловым. А Григорий Иванович очень спешил, явно предчувствуя скорый конец. Так оно и произошло, печатать роман начали в январе, а в апреле он умер. Спешка – для меня – выражалась в том, что он требовал при заключении договора не 25% аванс, а полную оплату. А весь гонорар составил 20 тысяч рублей – сумма почти надреальная по тем временам, зарплата врача или инженера за 15 лет. Но я, уверенный, что прокатит, выписал-таки ему эти деньги, а Приволжское издательство, на котором лежало издание нашего журнала, спорить не посмело, хотя такого ещё не бывало. И вот ещё дарственная надпись на двухтомном издании «Воли», сделанная уже рукой Бетти Ефремовны: «Серёже Боровикову с благодарностью за последнюю помощь автору. 5 декабря 1989 г. Коноваловы».

Коробов Владимир

Сергею Боровикову как «товарищу по оружию», человеку дорогому, по духу близкому...
На Суд и сердечную Дружбу.
Подпись – 6 февраля 1978 Москва
На титуле книги «Василий Шукшин. Творчество. Личность». Издательство «Советская Россия», Москва, 1977.

– Боровикову,

саратовскому «разинскому», «алексейтолстовскому» разбойнику челом бьёт вологодский – особливо в этой книжке (а я из Сокола Вологодской губернии, паря) – «ушкуйник»...

Будь здоров, обнимаю. Подпись 4.VII. 80. Москва

На титуле книги «Сергей Викулов. Литературный портрет». Москва, Советская Россия, 1980.

Меж нас он имел прозвище Коробейник, в котором удачно соединились его внешность деревенского парня из кинокомедии и оборотистость. Во втором автографе слова «люблю тебя, голубчик» заимствованы у Олега Михайлова – любимая того присказка.

По тому, как отлична первая скромная надпись от разухабистой второй, можно судить о скорости подъема автора не скажу в творческих, скажу литературных, сферах.

Недавно, кажется, Михайлов, бывший тогда завкритикой в «Нашем современнике», взял к себе в отдел молодого парня, и вот уже Коробов везде и всюду, всё более прибавляя в весе физическом и служебном. Взлёт плохо на нём сказался: не слишком образованный, он делался всё самоувереннее. Помню, как меня покоробило, когда, знакомя с Игорем Дедковым, Коробейник обратился к нему на ты...

Подвела его и страсть к кумиру – Шукшину, о котором он вроде бы успешно, но уж очень легковесно писал. Всем рассказывал, что некролог в «Литературной России» – «Осиротели берёзы Шукшина» написан им. На уровне той красивости так и остался.

В Сети сообщается, что еще был автором книг о Ю. Бондареве и Н. Старшинове, что «в 1994 году по заказу одного из издательств Коробов за четыре месяца пишет продолжение сериала “Дикая Роза”». Далее, что «Литературное дарование соседствовало во Владимире Коробове с желанием издательской деятельности. Так, в постперестроечные годы, когда профессия критика перестала существовать, В.И. Коробов активно участвует в разработке концепции семейного журнала “Очаг” и фактически придумывает “первую в мире” детскую сказочную газету “Жили-были”».

Но в Интернете читаем, что «придумал и наладил выпуск уникальной сказочной газеты “Жили-были”» Николай Машовец. А я и без посторонних источников знаю, слышал от самого Машовца, как он решил помочь жалующемуся на безденежье Коробейнику и привлёк его к своим успешным издательским затеям, да ничего путного из этого не вышло. Так слагаются литературные мифы.

А Володю по-человечески жалко. Кто бы мог, глядя на этого здоровяка, подумать, что не доживёт до 50-ти. Правда, его «здоровость» можно назвать и ожирением. Саша Карелин всерьёз уверял, что одежду Коробейнику шьет жена, потому что таких размеров в продаже не бывает. Он и правда одевался обычно не в рубашки и пиджаки, а какие-то просторные блузы.

Коротаев Виктор

Сергею Григорьевичу Боровикову – на доброе чтение и память от автора – сердечно – подпись 9.IV.87

г. Вологда

На титуле книги «Вечный костёр. Избранное». Москва, Молодая гвардия, 1984.

Появление у меня этой книги не могу объяснить. В Вологде я не бывал, а с автором общался лишь однажды – зимой не помню какого года в Доме творчества Малеевка. Знакомство было мимолётным. Обычная домтворческая выпивка нескольких литераторов. Обсуждался скорый отъезд Коротаева, который собрался идти пешком до ст. Дорохово на электричку, это километров 15, а за окном настоящая зима с морозом и пургой. Все его отговаривали. И тут по какому-то поводу Коротаев вдруг завёл любимую песню вологодских писателей – о злокозненной роли евреев в русской литературе. Бывший за столом московский поэт, фамилию никак не вспомню, очень приятный еврей, стал урезонивать вологжанина: «Витя, зачем тебе это нужно, брось ты эти глупости». Но Витя только отрицательно мотал густейшей черной бородой. Удивительны были и примиряющий тон

москвича, и отнюдь не злобный, хоть и пьяный взгляд Коротаева, словно бы собеседник никак не мог принадлежать к тем, кого он только что поносил. Помню ещё, как глядели в окна на удаляющегося в снежной замяти вологодского поэта.

Козлов Юрий

Уважаемый Сергей Григорьевич!

Примите от автора эту книжицу с самыми искренними и добрыми пожеланиями. И тысячу и извинений за причинённые Вам хлопоты. 4/V-89 г.

С автором, живущим в Тверской области, я не был знаком. К чему относятся его извинения даже примерно не могу вспомнить. Спустя год «Волга» напечатала повесть Козлова «Мраморная пепельница» с моим предисловием, которое я дал, так как был в меньшинстве при обсуждении повести на редколлегии. В. Панову и Н. Шульпиной пришлась не по их дистиллированному редакторскому вкусу принятая автором и блестяще им исполненная жанровая чересполосица. Последнее обстоятельство запечатлелось в противоречии между предисловием и подзаголовком, бывшим моей уступкой коллегам, что не прошло незамеченным*: «Мраморная пепельница» была позже напечатана в журнале «Волга» с пометой «повесть-пародия», хотя редакционное предисловие заканчивалось словами: а, может, это и пародия. Никакая это не пародия! Повесть построена на перебиве времени. <...> В наше «постмодернистское» время прием смешения времени и пространства не только встречается часто, но и стал модным и зачастую вырождается в самоцель, порождая чтиво. Не то у Козлова. Он писал повесть, когда о моде на такого рода фантазию не могло быть и речи». Ю.М. Никишов, Слово о друге.*

Чтобы немного оправдаться, приведу отрывки из своего предисловия:

«Повесть-пародия – к чему это?

Подзаголовок “Мраморной пепельнице” дал не автор, а мы в редакции. Может быть, и напрасно дали.

Жанр пародии измельчал донельзя: вполне диалектический пример перехода количества в качество.

<...> Наша литература очень часто нелитературна, она возникает как бы вне контекста культуры, и измельчание современной пародии тому свидетельство. Пародия – как осмеивание неудачной или нелепой строки, образа, мысли – вот протоптанная, да что там! – заасфальтированная, столбовая дорога современной литературной пародии.

“Мраморная пепельница” больше чем пародия на детективно-революционно-патриотическую литературу, одарившую нас сочинениями многими и многими. Шире – она пародирует стиль мышления. “Мраморная пепельница” моделирует явление, и степень искажения модели определяет отношение к ней автора. Юрий Козлов блестяще показал, как это делается. <...> Задача удалась автору “Мраморной пепельницы” потому, что он пишет свою собственную повесть, вовсе не напоминая в каждой строке: я смеюсь, я пересмешник, я пародист. Нет, он пишет по канонам жанра, лишь сместив их до идиотического невероятия. Но разве мало мы помним страниц и кадров, где невероятие прикидывалось реальностью!

“Мраморная пепельница” – пародия, но одновременно – и повесть».

Корнилов Владимир

Серёже Боровикову с надеждой на добрые чувства и отношения. Подпись – 18.V.81

На титуле книги «Семигорье. Роман». М., Советская Россия, 1980.

О Владимире Григорьевиче Корнилове я знаю лишь общеизвестное: инвалид Великой Отечественной, без обеих ног, много лет руководил провинциальными писательскими организациями в Куйбышеве и Костроме, писал романы. Лично я с ним лишь однажды общался на редколлегии

«Волги». Поражала лёгкость, с какой он передвигался на протезах лишь с палочкой. Роман «Семигорье» печатался в «Волге» в начале 70-х.

Корольков Александр

Сергею Григорьевичу Боровикову – для отдыха от забот. С надеждой на встречи. Подпись, б.д.
На титуле книги «Воспоминания домового». Новосибирское книжное издательство, 1989.

В Сети я нашёл справку об этом новосибирском философе и писателе, но никогда контактов с ним не имел.

Кочетков Виктор

Сергею Боровикову на добрую память от старого «волжанина» Подпись – 7.XII–77.
На титуле книги «Люди и судьбы. (Заметки о современной литературе)». М., Современник, 1977.

Сергею Боровикову, с верой его редакторские и критические способности. Подпись – 14.1.85
Надпись на титуле книги «Стихотворения». М., Современник, 1984.

Надпись на первой из книг напоминает, что Кочетков до моего прихода в «Волгу» был там зав. отделом прозы. Я знал, что у него за плечами были фронт, плен, побег, советский лагерь, и что он был родным братом знаменитого киноактёра Афанасия Кочеткова. Познакомился я с Виктором Ивановичем уже в Москве, в бытность его зам. гл. редактора издательства «Современник», а затем секретарем парткома Московской писательской организации. Про первую книгу не помню, а вторую книгу вручил мне в ЦДЛ, где мы были с Сашей Карелиным вечером дня, когда меня утвердили главным редактором на секретариате СП РСФСР. Виктор Иванович вышел из парткома, который находился рядом с рестораном, и был сильно под газом. Сашка потом удивился: «Разве можно при его должности так нажираться?»

Что ж, пьяницы часто судят других пьяниц.

О том, что Виктор Иванович ценил меня как критика, говорит один эпизод. Работавшая зав. отделом критики журнала «Наш современник», известная в «перестройку» критик Татьяна Иванова, обратилась ко мне с предложением написать статью к 80-летию Шолохова, и сообщила, что это посоветовал ей Кочетков: «Лучше Боровикова никто не сделает». И я сделал экспериментальный текст «Глава “Тихого Дона”». Экспериментального в нём, во-первых было то, что почти половину его объёма занимала полностью воспроизведённая последняя глава 2-й книги романа, а во-вторых то, что имя Шолохова в статье не упоминалось. Правда, при публикации в журнале оно всё же возникло в конце, а в своём сборнике «Разумная душа» (1988), по-прежнему сомневаясь в авторстве, я его убрал.

Семанов прислал мне пародию на мою публикацию, там сообщалось, что С.Боровиков написал статью о романе Л.Н.Толстого «Война и мир», где воспроизводит два из четырёх томов эпопеи.

Краваль Любовь

Дорогой Сергей Григорьевич!
Я Вам признательна за Ваше внимание к моим трудам, для которых Вы находили время и место в Вашем журнале, когда ничто того не находил.
7 мая 1998 г. подпись
P.S. «Я Вас люблю, хоть я бешусь...»
Пушкин.
На авантитуле книги «Рисунки Пушкина как графический дневник» (1997).

Когда я познакомился с Любовью Александровной Краваль, она уже не походила на свой портрет в романе Бори Фаликова «Виданов»:

«Чуть позже подтянулась Любка Шепард. Она была единственной дочкой безмужней бухгалтерши, которая зачала её от заезжего циркача. Тот оставил в наследство диковинную фамилию и неуёмный темперамент, но внешность досталась "бухгалтерская", и Любка страшно мучилась этим несоответствием формы и содержания. Из фатального диссонанса рождались стихи – "коркой скудной, с Конго, с Кубы, сыты пииты по горло, по зубы". Нам стихи нравились, но широкую писательскую общественность раздражали. Любка раздражала ещё больше своих неуёмных стихов. Маленькой женщине с тихой внешностью следовало сочинять что-то пасторальное, у неё и фамилия переводилась соответствующим образом. Правда, об этом безграмотная общественность не ведала, но, видимо, догадывалась обострённым классовым чутьём. Главный поэт области, энергичный еврей с многозначительным псевдонимом Симбирский, прямо ей говорил:

– Поезжали бы вы, Люба, в деревню, учительствовать, дивные есть места в нашей глубинке, и до сих пор никем не воспеты.

Но Любка предпочла засунуть свой педагогический диплом в бабкин сундук и устроиться администратором в гостиницу Театральная. Там мы частенько и собирались, пили чай, читали стишки». (Журнал «Волга», 1998, №9).

Познакомился я с ней в местах не литературных, а в ресторане «Волга», куда она часто захаживала к своей подруге буфетчице Тане Прокофьевой, а я не менее часто стоял у буфетной стойки.

Страстью Краваль был Пушкин. Не вообще Пушкин, а его графика. Я далёк от пушкиноведения, о работах Краваль слышал как хулы, так и похвалы. Не подлежит сомнению её самоотверженная преданность избранному предмету. А в романе Фаликова изображены и другие молодые саратовские поэты, о которых было выше, в примечаниях к книгам Николая Горохова. И ещё один литературный источник можно привлечь, говоря о Л. Краваль.

«*Вспоминаю одну саратовскую даму: она занималась рисунками Пушкина, пытаясь идентифицировать изображение с реальным лицом, мучила своими сочинениями не только Т. Гр., но и Окуджаву, и Натана, который уверял, что кое-что в ее доказательствах ему лично представляется вероятным, но претензии автора были куда выше ее успехов, и хотя и Натан, и Т. Гр. пытались ей помочь, дама все время обижалась, не соглашалась ни с какими замечаниями и засыпала многостраничными посланиями с упреками. Т. Гр. писала ей снова и снова, терпеливо объясняя свою позицию.*

Я невольно сравнивала ее с Ильей Григорьевичем Эренбургом, у которого недолго работала литсекретарем: он был вызывающе высокомерен с курьерами, домработницами, графоманских рукописей вообще не читал (как и собратьев по перу), они в огромных количествах пылились повсюду» (Из комментария Ю. Эйдельман к дневнику Н.Я. Эйдельмана, Москва: Материк, 2003. С 169).

Снисходительное отношение Окуджавы к Любе я берусь объяснить: он пользовался её гостиничными связями, приезжая в наш город не с женой.

Кузин Николай

Сергею Боровикову – на добрую память с самыми дружескими чувствами. Сердечно. Подпись – 13.1.79.

На титуле книги «В синем цехе огня и добра. Поэзия рабочего Урала». Издание 2-е, дополненное и переработанное. М., Современник, 1978.

Дорогому Серёже Боровикову с теплыми дружескими чувствами. Подпись – 8-2-86.

На титуле книги «В мире самого трудного». М., Современник, 1985.

С Колей Кузиным из Свердловска мы познакомились на первом семинаре молодых критиков в Дубулты в 1972 году и больше не встречались. Коротышка с огромной черной бородой, Коля без грима мог бы исполнить роль дядьки Черномора. Приятный был парень, лёгкий на смех. Своим движением в литературе во многом обязан земляку Валентину Сорокину. Когда тот был главным

редактором «Современника», там у Коли двумя, что было редкостью, изданиями вышла книга об уральских поэтах. А когда Сорокин сделался руководителем Высших литературных курсов, Коля становится их слушателем, несмотря на высшее филологическое образование. Видимо те годы в Москве и превратили добродушного уральца в одного из самых оголтелых критиков ура-патриотического лагеря. Коля докатился до статей вроде «Русская кровь» (одна название чего стоит) в газете «Завтра» про такую одиозную фигуру, как главред журнала «Молодая гвардия» Валерий Хатюшин.

Кузьмичёв Иван

Дорогому Сергею Григорьевичу Боровикову с глубочайшим уважением и любовью. Подпись – 8-V-90. Н. Новгород

На авантитуле неизвестной книги.

Иван Кириллович Кузьмичёв – нижегородский литературовед, профессор, с которым я однажды общался в Саратове на редколлегии. Помню, ездили в одной группе в Энгельс на завод «Химволокно». Тогда Палькин завёл в обычай выездные редколлегии как подобие Дней литературы, для чего назвал их Поволжскими конференциями, когда после заседаний были выезды в районы с долгими обильными застольями и подарками. Сам Палькин всегда возглавлял группу, которая ехала на завод Техстекло, где производился хрусталь, и счастливые члены СП за свои исполненные стишки и побрехушки получали высокие хрустальные вазы.

А тогда, в Энгельсе, Иван Кириллович сумел говорить вовсе не о литературе, а о сидящих в зале усталых работницах, а я просидел весь вечер на сцене молча, ещё не умея выступать просто так.

Куняев Станислав

Сергею Григорьевичу Боровикову на добрую память – от Станислава Куняева. 17.4.1980

На титуле книги «Свободная стихия» (Б-ка «О времени и о себе»). М., Современник, 1979.

Сергею Боровикову на добрую память – Ст. Куняев

На титуле книги «Мать сыра земля. Стихи». Москва, Советский писатель, 1988.

Со Станиславом Куняевым я общался несколько раз в Москве на съездах или пленумах. При встречах он говорил: «Здравствуйте, перестраховщик из “Волги”!», подразумевая, что я не напечатал предложенную им антисемитскую статью из страха.

Л

Лазарев Евгений

Дорогому Сергею Боровикову – с лучшими пожеланиями.
Подпись – май, 1989 г. Куйбышев (выездной Пленум).

На шмуцтитуле титуле книги «Шла весна».

Евгений Васильевич Лазарев, Женя, может быть самый лучший человек из писателей, что я встречал. И в его замечательной жене Валентине не было ничего от писательской жены. Моя приятельница Таня Бек, дочь знаменитого Александра Бека, как-то призналась, что ненавидела свою мать за то, что та была писательской женой. С Валей Лазаревой я познакомился в д/т Пицунда, где был вдвоём с младшим сыном. Вскоре выяснилось, что я могу безнаказанно предаваться различным искушениям – рядом с моим пятилетним Данилой была тётя Валя.

С Женей я не слишком часто встречался, осталось от общений с ним ровное тёплое чувство. Писатель он был настоящий. Прошумел в своё время рассказ «Жених и невеста» – о двух стариках,

вынужденных регистрировать свой многолетний «гражданский» брак в сельсовете. Хорошо, что сняли по рассказу фильм, где главные роли исполняли великие мхатовцы Алексей Николаевич Грибов и Анастасия Платоновна Зуева. Лазарев легко, для себя и других необременительно, двадцать пять лет был главой Кубышевского-Самарского СП.

А что писал мало – разве минус? На моей памяти лишь однажды шёл в «Волге» его рассказ. Названия не помню, но помню целые фразы из него, например, как в ресторане к столику героя «подошла рыжая официантка, похожая на вставшую на дыбы пони».

Ланщиков Анатолий

Сергею Боровикову – с самыми добрыми пожеланиями.
Подпись – 1 декабря 1978 г.
На шмуцтитуле неизвестной книги с фото автора.

Только сейчас из интернетовской Циклопедии, где на других сайтах о Ланщикове его биографию почему-то сопровождает фото не его, а Саши Разумихина, узнал, что Анатолий Петрович по рождению мой земляк, саратовец. Какие-то встречи с ним были, но я их не помню. Принадлежал Ланщиков к т.н. «русской партии», но как-то не шумно, не как Любомудров или Куняев.

Лапшин Виктор

Сергею Григорьевичу Боровикову на дружескую память Виктор Лапшин
Сент. 1986 г. Галич
На титуле книги «Воля». М. Современник, 1986.

Сергею Григорьевичу Боровикову на добрую память В. Лапшин
Авг. 1988 г.
На титуле книги «Желание». Ярославль, Верхне-Волжское книжное изд-во, 1988.

Дорогому Сергею Григорьевичу Боровикову с неизменной благодарностью В. Лапшин
24/II 90 г. Галич
На титуле книги «Дума – даль». М., Современник, 1989.

Если бы надо было озаглавить, не написать – о поэзии я писать не умею, лишь озаглавить статью о Викторе Лапшине, то назвал бы её так: «От Дедкова до Куняева». До моего редакторства талантливый галичанин в «Волге» не печатался, а с 1985 года часто, и подборки стихов и поэмы.

Лощиц Юрий

Дорогому Сергею Боровикову на добрую память
Юрий
Октябрь 1984 г.
На титуле книги «Дмитрий Донской». М., Военное изд-во, 1984.

Познакомили нас в Москве, а встречались однажды в Саратове. В своё время на меня хорошее впечатление произвела его книга об Иване Гончарове в ЖЗЛ – редкий случай, когда беллетризация не портила биографию.

Лебедев Павел

С.Г. Боровикову – сердечно.
Подпись – 19-6-85
На авантитуле неизвестной книги.

Павел Фёдорович Лебедев был известен как собиратель фронтового фольклора. Дедюхин както спросил: «А ты не задумывался, где он берёт тексты своих публикаций? Ладно, пусть на фронте, как рассказывает, таскал в противогазной сумке тетрадь с записями песен и поговорок. А сейчас? Война сколько лет как закончилась, а он всё новые и новые обнаруживает. Откуда взялись эти гладкие стишки, из окопа? Да оттуда такая поэзия неслась, что не то, что печатать, а в штрафбат угодить. Наш фольклорист сидит сейчас в библиотеках и архивах, набирает стихи, песни, загадки из армейских и дивизионных многотиражек. То есть весь его якобы солдатский фольклор был создан каким-то журналистом-политруком из "дивизионки"».

Лихоносов Виктор

Боровикову Сергею, разорвавшему последнюю пачку с моими шедеврами, на память о наших встречах!
Подпись 2.IX-82 Краснодар
На титуле книги «Когда же мы встретимся? Роман». М., Современник, 1981.

Здесь я должен разделить личное общение с Виктором Ивановичем и отношение к произведениям писателя Лихоносова.

В общении он был привлекателен, склонен к мягкому юмору, мы хорошо ладили.

А книги его я не любил и не люблю, и не разделял бывшего в 60-е годы у многих интеллигентных читателей восторженного отношения к его повестям. Что мне не нравилось? Да всё. Главным образом поза рассказчика *a la* Паустовский, выдуманный образ задумчивого странника. Но я конечно знал, что его, ещё молодого, оценил сам Твардовский, напечатав в «Новом мир» рассказ «Брянские». И когда познакомился с ним в Коктебеле как-то весной, не мог не испытывать пиететного интереса.

Про встречи как-нибудь в другой раз, а сейчас о том, как Лихоносов стал автором «Волги» против моего мнения.

В то время, когда роман под названием «Когда же мы встретимся?» оказался в редакции, я был завотделом прозы. Его дал Палькину в Москве Олег Михайлов, близко друживший с Лихоносовым. Роман мне не понравился, но главное то, что годом раньше он уже был издан книгой. А я ригористически держался старого журнального обычая не печатать уже опубликованные вещи, что не раз ссорило меня с пишущими людьми. Моя информация подействовала на Палькина, который и без того воспринял переполненный столичными интеллигентами роман кисло. Но тут в дело вступил Дедюхин. Он, как и многие, был падок на знакомства с знаменитостями. Помню, как в приезд в Саратов Олега Михайлова, с которым я уже был дружен, едва я представил ему Дедюхина на балконе ресторана речного вокзала, как тот стал пытаться оттеснить меня, подчёркивая их с Михайловым возрастную близость. Теперь, явно для того, чтобы сблизиться с живым классиком, Дедюхин быстро, как умел, перевербовал Палькина и оттеснил меня, бывшего с Виктором Ивановичем давно на ты, от романа. Тут же безо всякой на то необходимости взял командировку в Тамань. Когда вернулся, «Витенька» не сходил у него с языка. Для приличия он же придумал роману новое название «Где ты? Что с тобой?» Оба названия дурацкие. Плох и сам роман, вялый, с размазанным сюжетом, невнятными героями. Но Дедюхин, причмокивая, повторял: «Золотая птица к нам залетела!»

Луговик Микола

Дорогой Серёжа. Привет Вам и Вашей славной Волге от меня, Украины, Днепра, моей поэзии!
Сердечно автор
Подпись 9.III.92 г.
На титуле книги «Вічне перо. Поезії». Київ, Виавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1986

Я этого Луговика не помню, но раз передаёт привет семье, знакомство могло быть только в доме творчества, в Пицунде или Коктебеле.

Лыкошин Сергей

Дорогой Серёжа! Прими на добрую память от всей души! Обнимаю – Твой Сергей Лыкошин.

На титуле книги «Сердце у нас одно. Заметки читателя». М., Молодая гвардия, 1984. Библиотека журнала ЦК ВЛКСМ.

Когда мой тёзка стал одним руководителей Союза писателей России и общественной фигурой, я удивился. Из нескольких встреч с ним я вынес впечатление как об очень мягком человеке.

Я добросовестно перешерстил сайты, на которых что-то есть о Лыкошине. Восторженностью они похожи как две капли воды.

«Журнал "Молодая гвардия", издательства "Современник" и "Молодая гвардия" всегда будут помнить его вдохновенные труды.

Столь же вдохновенно и беззаветно трудился Сергей Лыкошин и в Союзе писателей России, Сергей Лыкошин был не просто патриотом, а одним из благословенных столпов русского патриотизма, мудрым политиком и борцом, человеком великих помыслов и великих свершений. И потому в последние годы жизни Сергей Артамонович Лыкошин взвалил на свои могучие, богатырские плечи тяжелейшую ношу – возглавил вновь созданную Национально-консервативную партию России, партию русских традиционалистов». В очень длинном списке подписавших обширный некролог Лыкошину почему-то нет Семанова, Михайлова, Чалмаева.

Я не сомневаюсь в человеческих достоинствах и служебных заслугах Серёжи, но: «Имя Сергея Лыкошина уже вошло в состав столпов русской мысли...»

То есть Чаадаев, Хомяков, Достоевский, Страхов, Соловьёв, Розанов, Булгаков, Бердяев, Флоренский, Ильин, Лосев, и... Лыкошин?

Зарапортовались национал-патриоты...

Лукьянов Олег

Сергею Боровикову с благодарностью за доброе отношение к автору этой книги. Подпись – б.д.

На обороте титула книги «Покушение на планету. Фантастические повести и рассказы». Саратов, Приволжское книжное издательство, кооператив «Товарищ», 1989.

Начну с цитаты:

«В книге О. Лукьянова "Покушение на планету" (Саратов, 1989) уже объяснялось подробно, отчего мирная планета Астра вступила на гибельный путь: виноваты были черноглазые пришельцы извне и их потомки, четверо Близнецов, заразившие планету микробами меркантилизма. Это из-за них вспыхнула кровопролитная гражданская война, "гибли миллионы людей, разрушались прекраснейшие храмы, памятники старины", из-за них "рухнули священные родовые законы, веками сохранявшие культуру"; это они "с помощью тайной политики искусно разжигали племенные, национальные и расовые противоречия". И всё – для того, чтобы создать то общество, властью над которым могла бы сколько угодно тешиться кучка пресловутых Близнецов (Мудрецов)... Теплее, теплее... Заговоры, мудрецы, тайное правительство – уже что-то знакомое, уже можно составлять протоколы». Роман Арбитман.

Не знавшие Лукьянова, прочитав эти строки, могут вообразить угрюмого антисемита, поглощённого разоблачением еврейского заговора. Но я до последних его лет знал Олега, жизнерадостного смешливого человека, альпиниста и лодочника, литературно не слишком успешного, но, казалось, не очень этим озабоченного. Рассказов его, которые дважды печатала «Волга», я не читал, и потому, что главные редакторы не всё то читают, что подписывают в печать, и потому, что после юношеского чтения Герберта Уэллса и Жюля Верна, фантастикой не интересовался.

Но с какого-то времени нельзя было не заметить, что Олег, разговаривая и даже смеясь, словно бы какой-то главной своей частью пребывает где угодно, но не в твоём кабинете. Наконец некоторая его странность объяснилась. Последние 7 лет своей жизни О.М. Лукьянов писал свой главный труд «Миф о планетарном космосе», посвященный раздумьям над произведением Д. Андреева «Роза Мира».

В редакции был приверженец русского космизма, Наталья Шульпина, которая считала Лукьянова гением и предприняла попытку упростить и сократить гигантское творение Лукьянова, чтобы убедить нас – меня и остальных, в необходимости публикации. Но её дайджест был ещё тоскливее лукьяновского сочинения.

А потом стало известно, что у Олега опухоль мозга.

Любомудров Марк

Дорогому Сергею Григорьевичу Боровикову на память о замечательном волгаре Фёдоре Волкове. С сердечностью, подпись – 2.IX. 1983

На титуле книги «Фёдор Волков. Биографическая повесть». Ленинград, Детская литература. 1983.

И один в поле воин
Коль по-русски скроен...
Дорогому Сергею Боровикову со всей сердечностью от автора
1/XII 1984

На титуле книги «Размышления после встречи». М., Современник, 1984.

За годы работы в «Волге» и общения с той столичной литературной тусовкой, которую можно обозначить как «патриотическая», немало я встречал антисемитов, но никто по градусу ненависти к евреям не сравнится с Марком Любомудровым. Сужу по единственной, слава Богу, встрече с этим ленинградским театроведом в гостях у Николая Машовца в конце 70-х. За столом речь зашла о «главном вопросе» – евреях в русской истории, культуре в прошлом и настоящем. Выбрав момент, молчащий и на вид молчаливый, Любомудров вскочил, побелев, яростно произнёс: «А я, будь моя воля, в руки шмайсер, и от живота их, от живота!» И показал, как это сделал бы, не хватало только звуков: па-па-па!

Даже Машовец смутился: «Ну, уж вы, Марк Николаевич, что-то чересчур...»

Конечно, настоящий русский интеллигент на моём месте должен был воскликнуть: «Да как вы смеете? Как вы можете?!»

Но я лишь покинул дом, не дожидаясь конца застолья.

Работая над текстом, я обязательно заглядываю в Интернет, когда приступаю к очередному дарителю. Не исключение и Марк Любомудров. Узнал, что посаженный в Ленинградскую консерваторию, он сумел изгнать таких музыкантов, как Юрий Темирканов, а главное, натолкнулся на отрывки из дневников самого героя, и это избавило меня от поисков слов. «Суета владеет мною. Настоящей работой заниматься не остается ни сил, ни времени. Постоянное чувство крайнего изнурения, злобы, ненависти на всё и всех, включая себя. 27 марта 1983».

Ляпин Игорь

Сергею Боровикову с самой искренней человеческой симпатией и глубоким уважением. Игорь Ляпин, 12.07. 86 г.

На титуле книги «Наедине с тобою, жизнь. Стихотворения и поэмы». Современник, Москва, 1985.

Не удержусь, чтобы не процитировать аннотацию: «О высоком гражданском долге, о Родине, о человечности, о бессмертной народной памяти...»

Рецензент книги мой хороший знакомый Евгений Осетров.

С Ляпиным я встречался, насколько помню, лишь однажды, в мае 1989-го в Куйбышеве на выездном пленуме Правления СП РСФСР (см. дарственную надпись Е. Лазарева). Но откуда этот автограф 86-го, не знаю.

Подобно Куняеву, Лыкошину и др., Ляпин активный функционер руководства СП России.

«Ляпин – прекрасный русский человек. И о нём стоит сказать чуть поподробнее. В 1971-м году он пришёл в издательство "Современник". Под крылышком у Прокушева и Сорокина быстро вырос и как крупный поэт-трибун с собственным самобытным лицом и как хваткий организатор. Был выдвинут издательством на учёбу в ВПШ, после которой был распределён по линии партноменклатуры в мощное издательство "Советская Россия" заместителем главного редактора – по всей художественной литературе. Там себя хорошо проявил, и был ЦК партии с подачи "Русской партии" брошен на прорыв – главным редактором на эту самую "Детскую литературу". Три года (1979-1981) он вёл неравную борьбу. Но провести кадровую чистку и привести за собой своих людей ему не дали – руки у него оказались связанными. Он много успел сделать. Но один в поле не воин. Еврейское лобби его постоянно ело поедом, а поддержки сверху было ноль. Он трезво оценил обстановку, понял, что практически один одинёшенек в стане противника, и подал заявление о переходе на творческую работу. Так мы не сумели "обрусить" еврейскую "Детскую литературу" (А. Байгушев).

Его стихи достойны процитированной аннотации. Когда возникала в каком-то московском разговоре фамилия Ляпина, то обязательно вспоминалось, что он зять секретаря Правления СП СССР Сергея Сартакова.

Издал за 25 лет 22 поэтических сборника.

М

Малохаткин Иван

Серёже Боровикову от всего сердца, подпись – 26.10.76 г.

На авантитуле неизвестной книги.

Саратовского поэта я, естественно знал, многократно с ним встречался. Вероятно, лучшее определение для Ивана Ивановича – стихийный. Чаще встречал я поэтов, имитирующих стихийность, а это была подлинно стихийная натура, которая заводила его и взрывником на Чукотку, и в лагерь (о чём пишется «по некоторым обстоятельствам оказался на Урале»), и за водительскую баранку. При бесшабашности натуры обладал он большой физической силой, так что пальцы на руках из-за объёма не могли вполне вжиматься в ладонь. Из легенд о его мощи могу вспомнить, как в общежитии Литинститута на Бутырках, где Малохаткин жил, будучи слушателем ВЛК, показывали выбитый кусок угла коридорной стены. Однажды утром он встретился утром с однокурсником таджикским поэтом Хабибулло Файзулло и спросил: «Как поживает Мирзо Турсун-Заде?» Понять, что оскорбительного в вопросе о Председателе СП Таджикистана, непонятно, но Хабибулло дал Ивану по физиономии и пустился наутёк. Саратовец, догоняя, на повороте размахнулся, но таджик успел увернуться и удар кулачины пришелся на угол стены.

Маркелов Иван

Сергею Боровикову в память о публикации части этого романа – Ив. Маркелов. 22/XI – 89 – г. Саратов.

На шмуцтитуле скорее всего книги «Запасной выход».

Была в Иване гордость, отличавшая его от многих коллег. Хочется сказать, рабочая гордость, хотя за плечами у Ивана не было ни завода, ни фабрики, а была только журналистика. Он был честным журналистом насколько это возможно.

В разговоре с корреспондентом в наши дни Маркелов вспоминает: *«Крамольной была правда. <...> Всё что я увидел собственными глазами – преступное разбазаривание огромных ресурсов, неэффективное управление людьми, кадрами со стороны бездарной и безграмотной чиновничьей бюрократии, – всё это я добросовестно описал в своём произведении. Рукописный вариант повести одобрил Александр Твардовский и немедля собрался её опубликовать в "Новом мире". Однако партийная цензура сделала всё, чтобы повесть свет не увидела... вплоть до конца распада СССР».*

У Ивана Ивановича, на редкость въедливого и смелого журналиста, напрочь отсутствовал дар беллетриста, а он брался писать романы и повести. Это было повальное заболевание провинциальных журналистов – стать писателем. На деле не писателем, а членом Союза писателей. Редко кто сумел, как Иван Васильев и Юрий Черниченко, не соблазниться сочинением «художественной прозы».

Иван Маркелов был сильно хромающим инвалидом, с искалеченной правой, если не ошибаюсь, ногой. Имел почти неизбежную в нашей среде приверженность к алкогольным напиткам, и бывал при этом очень задорен. По этому поводу расскажу, как однажды, приехав в Коктебель, застал там яркие про него истории. Эпизодов было два.

Эпизод первый, возвышенный. Коктебель, как известно, находится в Восточной части Крыма у подножья гор, из которых самая известная Карадаг. И не было лета, чтобы какая-то отчаянная группа обитателей дома творчества писателей, не в силах спуститься с горных высот, рисковала, как минимум, покалечиться. Однажды в Лягушачьей бухте я наблюдал, как обученные люди спускали необученных, но решивших, что лучше гор могут быть только горы, на веревках к воде, ободранных, со сбитыми в кровь руками и ногами, бессмысленно причитающих над своею бедой.

Нашего героя спасали сложнее. Потому что он один из опомнившейся пониже группы писателей-верхолазов забрался повыше, и когда превратился в отца Фёдора, стал орать, моля о спасении. Длилось это, видимо, долго, потому что понадобился вертолет, счёт за который прислали в дирекцию Дома творчества.

Эпизод второй, углубленный.

Многие грешны купанием в шторм, я сам из их числа. А уже проштрафившийся на высоте, Иван полез-таки в море при пяти баллах, а когда начал-тонуть, стал, как и на высоте, орать. Собравшиеся на берегу литераторы, их жёны и дети наблюдали и слушали, пока наконец один из них, что замечательно, не русский, не советский, а югославский, поэт не бросился в воду и не вытащил спасённого, с которого к общему удовольствию волны сдернули плавки.

И тогда соседи по дому творчества, они же коллеги, обратились с требованием к руководству Союза писателей и Литфонда СССР не выделять писателю И.И. Маркелову, город Волгоград, путёвок в Дома творчества.

Марков Сергей

Сергею Боровикову – с уважением от автора
24.1.88 г.
На титуле книги «Надписи. Путешествия». Москва, Молодая гвардия, 1987.

Изучал в Сети завлекательную биографию[1] этого неизвестного мне человека, пока не наткнулся

[1]С 1990 года занимается предпринимательством: галерейный, сувенирный, туристический бизнес. В 1994 году стал основателем и первым главным редактором иллюстрированного журнала «Вояж». С 1995 по 2001-й – издатель и главный редактор журнала Русского Географического общества «Путешественник». Издавал журналы «Витрина», «Поехали!», «Sex-гид», газету «Империя». С 2000 года является руководителем Издательской группы Правительства Москвы «Traveller-Путешественник», выпустившей десятки справочников по столице России. С 2001 года – издатель и главный редактор журнала «Русский Миллио-

на то, что он сын поэта Алексея Маркова и родной брат Катьки Марковой, многолетней любовницы моего друга Саши Карелина. Про отца Катька с гордостью говорила: «Евреи называют папу главным антисемитом Советского Союза». Ни про неё, ни про папу, которого я однажды в Коктебеле послал за наглость подальше, вспоминать не хочется. А с Сергеем Марковым встречи припомнить не могу.

Мельников Евгений

Дорогому Сергею, моему первому доброму умному редактору, от Евгения.
Подпись – 17/111 75 г.
На обороте титула книги «Угол прицела. Повесть». Саратов, Приволж. кн. изд-во, 1975.

Шундик и его зам Дедюхин пришли в восторг от повести молодого ульяновца и поручили мне готовить её к печати. Почему мне, ведь в отделе прозы было два своих редактора, а я пребывал в отделе критики? Скорее всего потому, что с автором мы были ровесники. Женька приезжал в Саратов, где кроме «Волги» было и зональное книжное издательство, к которому относился и Ульяновск. Из тогдашнего общения на меня произвела впечатление реакция молодого писателя на моё предложение зайти в Троицкий собор, мимо которого мы проходили. «А можно?» – почти с ужасом спросил Мельников, и я понял, что есть города ещё дремучее, чем Саратов. Когда заходили в храм, он изо всей мочи старался не озираться.

Марченко Вячеслав

Сергею Боровикову – с самыми добрыми дружескими чувствами.
Переделкино. 01-02-83

Надпись на форзаце книги, которую не помню. У Марченко их было много, и все толстые. Както в разговоре с Семановым я заметил, что книги у Вавы (прозвище Марченко) одинаковы по высоте, ширине и толщине. «Как кубики!» – весело уточнил Сергей Николаевич. Прозвище возникло видимо потому, что Марченко мягко, но очень заметно картавил, выговаривая «в» вместо «л», и «рль» вместо «р». Имя своё он произносил так: Свава.

Знал я этого человека не слишком близко, но общался с ним многократно. Репутация у него была, как нынче говорят, неоднозначная. Она соединяла отношение к нему как писателю, как издательскому чиновнику и как человеку.

Похвал его произведениям я не слышал, но не раз читал. Олег Михайлов, устно отзывавшийся о творчестве друга только юмористически, писал о нём похвально и процитировал Виктора Астафьева, сказавшего с трибуны съезда писателей: «Любить человека, пусть передового, советского, – это не значит заискивать, приседать перед ним. Об этом напоминает нам сегодняшний герой – командир боевого советского крейсера – из лучшей, на мой взгляд, вещи, написанной в последние годы о советской армии, – повести “Год без весны” Вячеслава Марченко». Но тот же Астафьев в том же 1978 году писал С. Викулову: «...рукописи которых похоронили в редакции “Нашего современника” или их поуродовал завравшийся, вконец обнаглевший Марченко».

Послужив на Балтийском флоте, Марченко писал преимущественно о военных моряках. Признаюсь, ни одной книги его я не читал. В общении был человек мягкий, вполне в соответствии со своей округлой фигурой и физиономией. Когда-то по собственному признанию сильно пил, но ко времени нашего общения был в завязке.

нер». В 2005 году стал соучредителем Российского отделения Европейского Клуба охотников Ордена св. Юбера. В мае 2007 года в европейской охотничьей столице Сент-Юбер (Бельгия) был интронизирован (посвящён) в рыцари Ордена св. Юбера – действительные члены Европейского Клуба охотников. С 2006-го по 2009-й возглавлял Российское отделение Клуба. В последние годы много путешествовал по миру и занимался фермерской деятельностью.

Бывал я у него в кабинете заместителя главного редактора издательства «Современник». Однажды был свидетелем его разговора с Юрием Нагибиным. Нагибин просил очередной договор, а Марченко упирался: «Дево в том, Юрльий Марлькович, что у тебя один договорль уже есть...» Когда Нагибин ушёл, Марченко сказал: «Думаешь, зачем ему срльочно договорль понадобився? В Парльиже узнав, что эмигрант старльинную мебевь разпрльдааёт, вот и всповошився».

Я знал его жену, имевшую в литературной среде куда лучшее, чем его, реноме. Виктория Сафронова много лет заведовала отделом критики в журнале «Москва». Была в ней женская привлекательность, несмотря на явное сходство со всем известным отцом, Анатолием Софроновым. И, конечно, не могло не вызывать удивления то, что после Василия Шукшина (не сразу, но всё же) мужем Виктории Анатольевны стал Вава.

Мирнев Владимир

Сергею Боровикову – с приятным чувством знакомства от автора
Подпись – Москва, 25.111 – 75 г.
На титуле книги «Крутой месяц. Повести и рассказы». М., Советский писатель, 1974.

Дорогому Серёже Боровикову с самыми нежными и тёплыми чувствами, товарищу и единомышленнику от автора
Подпись – Москва, 15.IV.78 г.
На титуле книги «Перелётное. Повести и рассказы». Современник. Москва, 1976.

Дорогому Сергею Боровикову – с пожеланиями творческих успехов на благо русской литературы – от автора Вл. Мирнева.
Москва, 25.1.77 года
На титуле книги «Первый приезд. Повести». Москва, Советский писатель, 1977.

Я познакомился с ним в пору моей дружбы с Сашей Карелиным, оба работали в издательстве «Современник», где всегда бурлила междуусобная война сотрудников, самый пик которой это поход Целищева и Панкратова против директора Прокушева и главного редактора Сорокина. Когда я познакомился с Мирневым, он был зав. редакцией русской прозы, секретарём парторганизации и воевал с Владимиром Крупиным, работавшим там же. Мирнев – псевдоним, а фамилию он носил подозрительную для суперрусского издательства – Львовский.

Самое яркое о нём впечатление я, кажется, где-то уже вспоминал. Когда он стал жаловаться, что, дописывая роман, месяца два не выходил из дома, и я сказал: «Вышел бы, прогулялся», он очень серьёзно объяснил: «А если бы под автобус попал... роман бы не закончил».

Машовец Николай

Сергею Боровикову, сотоварищу в прошлом и настоящем, в память о Волге-реке и Волге-журнале, дружески, душевно –
Подпись, 12.6.78
На шмуцтитуле книги «Русло реки народной. О творчестве Г. Коновалова». М., Советский писатель, 1978.

Сергею Боровикову – дружески, с сердечностью, пожеланием удач на жизненной и литературной дорогах.
Подпись – 10.08.79

Сергею Боровикову – сердечно. С земляческими чувствами, с пожелание удач житейских, побед творческих!
Подпись – 2.03.82

Про Колю Машовца я вспоминал не раз, больше всего в очерке «Как я не стал москвичом», да и в этой книге, см. комментарий к Вл. Коробову. С ним у меня были не близкие, но хорошие отношения, однажды с первой женой ночевали у него дома. Дважды он поддержал меня финансово, выпустив в своём издательстве сборники А. Толстого и К. Федина с моими послесловиями и комментариями.

Михайлов Олег

Дорогой Серёга! Наша русская любовь движет миром! С любовью и надеждой – твой...
Подпись – б.д.
На титуле книги «Юрий Бондарев», изд. «Советская Россия», Москва, 1976.

Братец, милый! Как у тебя приятно и мило! Спасибо за то, что в Саратове я чувствую себя тепло! – Твой –
– подпись, б.д.
На авантитуле сборника избранных рассказов Леонида Андреева с его успешной статьей.

Дорогой друг!
Если ты вооружишься микроскопом системы Левши, то обнаружишь на обложке имена писателей, которые подковали эту типографскую блоху, – Сергею Боровикову от автора, которого «Волга» перестала печатать – с юмором –
Подпись, б.д.
На титуле книги «Страницы русского реализма (заметки о русской литературе XX века)». Москва, Современник, 1982.

На добрую память обаятельной Тамаре и старому другу Сергею, –
Подпись, б.д.
На титуле книги «Кутузов», Москва, Военное издательство, 1988.

Остались у меня и книги Михайлова в ЖЗЛ – «Державин», «Куприн», роман «Час разлуки», сборник рассказов «Маленькая Наташа», книги о Бунине «Строгий талант» и «Бунин в жизни и творчестве». Объясню, почему выбросил другие, оставив дарственные автографы, но прежде процитирую письмо Олега ко мне, написанное по поводу его неодобрительной внутренней рецензии на первый вариант моей книги об Алексее Толстом в издательстве «Современник»: «Я пишу много и разно и уже имею право писать плохо, а ты ещё нет...»

Он и правда не дорожил свои пером, позволяя ему вовсе его таланта недостойное. Такова была и его книга о Юрии Бондареве, многостраничные романы которого он устно высмеивал. Но Бондарев был главным его покровителем в союзписательской верхушке.

Олег рассказывал, как узнав, что у него нет дачи, Бондарев недоуменно спросил: «Неужели у вас нет свободных 25-ти тысяч?»

Олег был из преуспевающих столичных литераторов, но даже его поразила полная оторванность литературного генерала от денежных сумм обычной жизни.

Другой сюжет на тему «Бондарев – Михайлов» сочинил злоязыкий Чалмаев. Примерно так: «Сидит, значит, Юрий Васильевич над новым романом. Написал одно сражение, другое, блиндаж, так сказать, юного лейтенанта. А действие происходит, действительно, весною, и понял Юрий Ва-

сильевич, что пора пустить в сюжет любовную струю. Ну, описал, значит, сестричку из медсанбата, там кудряшки, молодую, так сказать, грудь, торчащую под гимнастеркой, первый поцелуй в березовой роще, и застопорился. Забыл, как это происходит. Пытался себя взбодрить, вспомнить что-то, так сказать, из пережитого – ничего не получается. И решил позвонить, действительно, Олегу. Ведь Олег холостяк, личность безответственная, беспартийная, распутством известен. Звонит, делится задумкой, намекает на сексуальный, так сказать подтекст, просит поделиться впечатлениями. "Ты, говорит, небось, вчера с девками безобразничал?" Олег, конечно, до утра в карты играл, а до этого писал весь день, спать хочет, но делать нечего, начинает врать. – Я, говорит, Юрий Васильевич, вчера читал Овидия и Бунина, потом три бутылки шампанского выпил и перевозбудился. – Так, так! – поощряет его Бондарев, – дальше давай. – Ну, поехал я, конечно, к трем вокзалам, блядей искать. Привели мне одну, глаза мертвые, зелёные, страшные, титьки как у козы врозь, и вся черная. Страшно мне стало. Перекрестился я... – Ну, ну! – уже торопит Бондарев, чувствуя вдохновение, – дальше! – Тут какой-то татарин мне сестренку свою подвел. Лет шестнадцати. Маленькая такая, в тюбетейке, курносенькая. Ну, привез я ее домой, а тут Вовка Дробышев идет. Глянул на мою татарочку, и спрашивает ее: «Двоим, говорит, дашь? – и кричит мне: Даст! Олег, беги за водкой!» Тут Юрий Васильевич, действительно, Олега, так сказать, прерывает, чтобы вовсе греховного не услышать, благодарит и кидается к столу: «Военфельдшер Шарафутдинова сразу обратила на себя его внимание особым разрезом ореховых глаз, в каждом из которых он читал...»

Сборник Леонида Андреева с предисловием Михайлова я выбросил потому, что к тому времени у меня было уже несколько книг нелюбимого мной писателя того же состава.

Книгу о русских реалистах начала XX века – Горьком, Бунине, А.Толстом и др. я не оставил потому, что опубликованное там уже было в других книгах Олега, а эта была очередным для заработка дайджестом самого себя, и не только себя, но и, как часто у него, обширнейших цитат.

Роман о Кутузове не оставил, наверное, потому, что тогда у меня уже было другое издание.

Олег Николаевич Михайлов, так страшно окончивший свои дни, был одним из двух главных старших друзей в моей жизни. Первый это Дедюхин. Оба были на 15 лет старше, общение с ними пришлось на годы моего формирования как личности и как литератора. О Дедюхине я написал в этих заметках, о Михайлове уже не раз писал, начиная с рецензий на его книги в 70-е годы, и Бог даст ещё напишу.

Морозова Ирина

С. Боровикову – И. Морозова
Подпись – 22.05.85
На титуле книги «Забота. Стихи». Горький, Волго-Вятское книжное издательство, 1983.

Книга подарена мне, наверное, во время какого-то в Нижнем пленума СП.

Н

Никитин Юрий

Сергею Боровикову – литературному воину за чистоту русского языка от автора – подпись, май 80-го
На титуле книги «Время возвращений». Саратов, Приволжское кн. изд-во, 1980.

Критику Сергею Боровикову с жёстким мнением которого считаюсь и ценю. Автор. Подпись 15.IV.83

На титуле книги «Красных дней утеха. Повести и рассказы». Саратов, Приволжское кн. изд-во, 1983.

С. Боровикову – первоиздателю моих вольных сочинений – дружески от автора – подпись, 17.9.91
На титуле книги «Автопортрет провинциального сочинителя». Саратов, Редакционно-издательский отдел упрполиграфиздата, 1983.

Юрий Никитин, один из честнейших саратовских писателей. Мне не нравятся его первые вещи – летчицкие, не нравятся и последние – охотничье-богоискательские. Он из тех одаренных литераторов, что умеют писать, но не умеют выдумывать. Лучшее он написал не в молодости и не в старости, а посередине, это повесть по воспоминаниям военного детства «Время возвращений». Здесь Никитин во всем выше самого себя других текстов.

Мне стоило больших трудов убедить Палькина её опубликовать в «Волге». А что же ближайший друг автора по жизни и охоте зам. Палькина Дедюхин? Некрасиво повёл себя Борис Васильевич. Напиши Никитин повесть серенькую, средненькую, он несомненно встал бы на её защиту. А здесь была явная удача, такая, что самому БВ и не снилась. Он прямо не выступал против повести друга, а лишь кривился при её обсуждении. Приятель не должен был писать лучше, чем он.

Никитина Евгения

Сергею Григорьевичу – рассказы о родном филфаке.
Подпись – 1.VII.85
На авантитуле забытой мной книги.

Евгения Павловна Никитина – профессор, зав. кафедрой русской литературы СГУ.

О

Оботуров Василий

Сергею Боровикову – с доброй памятью о днях в Переделкино. 24.01.74
На титуле книги «На земле живу. Очерк творчества Сергея Викулова». Северо-Западное книжное изд-во, 1973.

Сергею Боровикову, коллеге, совершенно доброжелательно. Б.д.
На титуле книги «Неповторимое, как чудо. Очерк творчества Александра Яшина». Северо-Западное книжное издательство Архангельск, 1978.

С ним мы бывали на тех же семинарах, никогда не сближались, но мне кажется, что Вася испытывал ко мне ту же симпатию, что и я к нему. Высоченный, угловатый, белёсый, весь северорусский и лицом, и говором.

Овчинников Сергей

«Волгарям» от автора, с уважением подпись 12.05.98
На второй стороне обложки книги «Разговоры с собой».

За годы редакторской работы я встречал многих и разных графоманов, не стану их классифицировать – здесь нужна отдельная работа. Овчинников был из породы тихих.

Он лишь мечтал увидеть своё имя в печати, не помню, чтобы жаловался или требовал. Внешность имел неподходящую для поэта-графомана: немолодой, осанистый мужчина – впору в главбухи или директора школы. Впрочем, может, он и был бухгалтером – не ведаю.

Но когда стало возможным напечатать стихи за свой счёт, он выпустил сборник, не знаю, на каких условиях, договорился с центральным книжным магазином и сидел там целый день за маленьким столиком, на котором лежала стопка его книг, и предлагал мимо шедшим книгу в подарок со своим автографом.

Озерянский Александр

Уважаемому Сергею Григорьевичу Боровикову с наилучшими пожеланиями автор, без подписи, б.д.

На страничке какого-то коллективного сборника. Автор был зам. директора музея Чернышевского.

Осетров Евгений

Сергею Боровикову, украшающему берега Волги своей жизнью, книгами и делами. Евгений Осетров
Москва, январь, 1983 год
На титуле книги «Книга о русской поэзии», М., Советская Россия, 1982.

Про Осетрова я уже писал, только не помню, в каком тексте.

Осипов Василий

Сергею Григорьевичу Боровикову – с искренним уважением, на память, от души – подпись, 1.04.88
На титуле книги «Острова. Повести». Горький, Волго-Вятское кн. изд-во, 1988.

Знаю, что нижегородский писатель, но никаких общений с ним не помню.

Очирова Татьяна

Сергею Боровикову – грозному критику, взыскательному редактору с трепетом. Подпись 12.12.1980
На титуле книги «Николай Дамдинов. Литературный портрет». Москва, Советская Россия, 1980.

«Очирова Татьяна Норповна (1954–1995) – критик. Её отец был известным бурятским литературоведом и переводчиком. Она окончила филфак Московского пединститута и потом один год отработала в редакции журнала "Байкал". Затем её приняли в аспирантуру Московского университета, по окончании которой молодую исследовательницу взяли в Институт мировой литературы им. А. М., Горького.

В 90-е годы Очирова работала над докторской диссертацией о евразийстве. Из-за постоянного безденежья она вынуждена была сдавать свою квартиру чужим людям. В 1995 году её из-за этой квартиры убили».

Печальная справка. А воспоминания мои о Тане Очировой весёлые.

Дело давнее, расскажу. Мы познакомились зимой, правильно, восьмидесятого года в Малеевке, на семинаре молодых критиков России, куда я приехал уже не молодым критиком, но еще и не

руководителем семинара, а вольным наблюдателем, взяв командировку от журнала «Волга», где я заведовал отделом критики. Из семинаристов помню двух Володей, друзей Куницына и Коробова, провокатора Сергея Плеханова, Вадима Дементьева, ну и Таню Очирову. Руководил семинаром, естественно, Валерий Васильевич Дементьев.

И внешне Таня была хороша, с азиатским лицом и стройной фигурой, и вела себя эпатажно. Познакомились вечером почему-то в биллиардной, наверное, семинаристы там наладились выпивать, и вдруг она предложила: «Хочешь, на столе станцую?» Я не ответил, а она куда-то упорхнула, но я, по мере употребления напитков, о ней не забывал. И в конце концов, у кого-то узнав или увидев, в какую комнату она заходила, ночью, уже при погашенном на ночь в коридоре свете, постучался. Из-за двери вопрос: «Володя?» Затем: «Вадик?» Тут здравые начала во мне победили, и я отправился восвояси. А спустя известный срок мой друг Карелин рассказывает чудесную историю о том, как недавно Таня позвала в гости Коробейника. Накрыт стол, до которых он был большой охотник. То да сё, выпивают и закусывают, и вдруг Таня говорит: «А сейчас я тебе что покажу». И хлопает в ладоши, и растворяются двери, и бурятские женщины чуть ли не под звуки бубна выносят завернутого в восточные ткани младенца. «Это твой сын», – говорит Таня.

Всё это Карелин рассказывал со слов Володи Куницына, который на зов исхитрившегося позвонить ему друга приехал и через какой-то срок высвободил.

О происшедшем я слышал не только от Карелина, тогда уже пустили шутку насчёт сына полка, и что в отцы следует определить Валерия Васильевича, но главное, что историю подтвердил и сам Дементьев, строго-настрого наказав, чтобы на следующих семинарах ни одной бабы не было.

П

Палькин Николай

Сергею Боровикову – новых удач и открытий на литературных дорогах. Искренне Н. Палькин. 10 марта 1981

На титуле книги «Избранное». Саратов, Приволжское кн. изд-во, 1981.

Сергею Боровикову от чистого сердца! Н. Палькин 23.02.83

На авантитуле неизвестной книги.

Сергею Боровикову – долгих и добрых вёрст в жизни и литературе. Н. Палькин. 5.03.87.

На титуле книги «Вёрсты. Поэмы». Саратов, Приволжское. Кн. из-во, 1987.

О Палькине я, кажется, уже написал всё, что помнил, в том числе и в этом тексте.

Панферова Века

Сергей Григорьевич, на добрую память о герое этой книги Федоре Панферове, подпись, б.д.

На титуле книги «Федор Панферов – мой отец. Очень личные воспоминания». Москва, Русское слово, 1996.

Века Фёдоровна была из породы очень активных наследниц. Искренне полагала, что весь белый свет, или по крайней мере его литературная часть, обязан содействовать ей в приумножении славы её забываемого отца. Ненавидела Коптяеву.

Панюшкин Сергей

Сергею Григорьевичу Боровикову искренне. С уважением Панюшкин, Липецк, б.д.

На обороте титула книги «Лебедь белая. Стихи». Воронеж, Центрально-Чернозёмное кн. изд-во, 1984.

Глубокоуважаемому Сергею Григорьевичу Боровикову от автора. Подпись – 7 окт. 1986, Липецк
На титуле книги «Лебедия. Стихи», М., Советский писатель, 1986.

Посмотрел: старый был писатель, фронтовик, много книг. В «Волге» вроде не печатался, со мной не знаком...

Плебейский Освальд

Боровикову Сергею Григорьевичу. Благодарю за хорошие дела и добрые письма. Награду тоже. (Помните: «За лучшую публикацию года!»)
Эта – первая. До – были только пинки.
Сейчас, правда, многое изменилось.
Ещё раз благодарю. Искренне Ваш, подпись, б.д.
На авантитуле неизвестной книги.

Фронтовик, доброволец. Инвалид, орден Славы. Когда учился в челябинском педагогическом институте, организовал литературное студенческое общество «Снежное вино», в 1946 г. всех членов «Снежного вина» арестовали и приговорили к 10 годам лишения свободы.

Ни при Шундике, ни при Палькине этого жившего в Волгограде поэта с диковинными именем и фамилией «Волга» не печатала. Писал он фронтовые стихи, жёсткие. Знаком я с ним не был.

Петелин Виктор

Дорогому Сергею Боровикову – с пожеланием творческих успехов, новых книг. С искренней симпатией Виктор Петелин.
Сент. 76 г.
На авантитуле неизвестной книги.

Дорогому Сергею Григорьевичу Боровикову – с добрыми чувствами и наилучшими пожеланиями, подпись – 16 мая 1980.
На титуле книги «Судьба художника. Очерк жизни и творчества А.Н. Толстого». Ордена Красного Знамени Военное издательство Министерства обороны, Москва, 1979.

Об этом деятеле я не раз писал, больше не хочу.

Плеханов Сергей

Сергею Боровикову с душевной симпатией, 6.VI.1985
На книге С. Максимова «Куль хлеба и его похождения» (Подготовка текста и примеч. С. Плеханова). М., Молодая гвардия, 1985.

О единственной неприятной встрече с автором примечаний я уже вспоминал.

Политов Виктор

Сергей! Костры затухают и разгораются, но мог ведь и совсем затухнуть.
С самыми добрыми пожеланиями! Автор. Подпись, 2.03.86 г. Саратов.
На титуле книги «У затухающих костров. Повести». М., Современник, 1984.

Сергею Боровикову! Редактору «Волги», для которой пишу я долго, долго. Боюсь, что воды утечёт слишком много, пока доберусь до последнего слона.

Сергей, от души.
Подпись, 28.12.88 г.
х. Берёзки. Дом.
На титуле книги «К Большой Медведице. Повести и рассказы», М., Современник, 1988.

Общаться с Политовым было нелегко, не уважать его было невозможно.

В те годы молодые провинциальные писатели были не прочь создавать о себе мнение *a la* Сергей Есенин – словно бы они и в самом деле «без причал», только редко кто из них был на деле чужд социальной приспособляемости. Диковатый загульно-рыбацкий образ жизни Политова был не только наиболее возможным для его натуры, но кажется единственно возможным. Выше, вспоминая Ивана Малохаткина, я писал о стихийности натуры, что однако не мешало Ивану Ивановичу хотеть и уметь добиваться житейских благ. Не то Политов.

Виктору помогали с публикациями Виктор Астафьев и Евгений Носов, вообще не было какого-то всеобщего неприятия, отторжения, непечатания. Виктор словно бы сам отторгался от налаженных другими путей успеха. И меня не удивило его самоубийство.

Когда я вспоминаю немногие общения с ним, обязательно на память приходит наше возвращение со съезда российских писателей. В Москве Виктор запил. Он не был, не мог быть делегатом (саратовские коллеги не выбрали бы), но то, что все мы ехали вместе с Зоей Ларионовой, говорит о съезде, где она присутствовала как зав. отделом обкома (на союзные съезды ездил секретарь ОК). Так вот в вагоне за тяжко страдавшим Политовым ухаживала она. И в моей памяти как-то соединились непутёвый писатель и благополучная чиновница.

Поскрёбышев Олег

Сергею Григорьевичу Боровикову – в память о добром знакомстве, с хорошими пожеланиями. Подпись 9.12.85
На титуле книги «Посох. Стихи». Москва, Советская Россия, 1985.

Знаю, что Поскрёбышев был главным русским поэтом Удмуртии. В литературах национальных АССР кроме классика титульной национальности должен был быть и местный классик русскоязычной прозы или поэзии.

Пырков Владимир

Сергею Боровикову с дружеским пожеланием больших творческих вершин от автора 12.VI.80 г.
На титуле книги «Материнская речь. Стихи». Саратов, Приволжское кн. издательство, 1980.

Сергею Боровикову от автора с пожеланием всегда сохранить незамутнённым по-детски свежий, зоркий мудрый взор художника, ценителя, навсегда удивленного красотой человека.
Подпись, 24.V–82 г. г. Саратов
На авантитуле неизвестной книги.

Уважаемому Сергею Григорьевичу с глубоким уважением и пожеланием больших творческих озарений.
Подпись 31.XII–86 г.
На авантитуле неизвестной книги.

Странно, но я почти ничего не могу рассказать про этого хорошего человека, с которым не одно десятилетие проработал в журнале «Волга». Разве что припомню случай, про который он редко и чуть выпивши, что бывало не менее редко, рассказывал. Был Пырков рыбаком, каких раньше называли заядлыми, а теперь страстными. И совершенно не обладал тем, что якобы присуще по-

этическим натурам, т.е. готовностью к мгновенным приключениям, в том числе и любовным. А вокруг поэтессы...

Слово-то, однако, какое гнусное, порочное! Словом, допекла его как-то одна барышня или барыня, стал он сдаваться, и решился на свидание. Жил он тогда в Ульяновске и часто отлучался из дома на рыбалку. И на этот раз взял как обычно, рюкзак, снасти и проч. А по дороге к назначенному месту его всё больше одолевали беспокойство и тоска, пока, наконец, он не пересел на автобус, который шёл к Волге.

Позднин Евгений

На добрую и долгую память от автора. Подпись – 4.04.94

На титуле книги «И.К. Кузьмичёв. К 70-летию со дня рождения. Указатель литературы». Нижний Новгород, 1993.

Е.Н. Позднина знаю лишь заочно, у меня есть очень интересная его книга «Друзья молодого Горького» (1990) с предисловием И.К. Кузьмичёва.

Прокушев Юрий

Сергею Боровикову – как единодуму и нашей доброй смене. Дерзай! Подпись, Малеевка, 1980 г.

На титуле книги «Сергей Есенин. Образ. Стихи. Эпоха». Московский рабочий, 1975.

Юрий Львович был образцом литературного деляги, обладающего всеми чиновничьими способностями, за исключением литературных. А связал свою, изначально комсомольскую, карьеру с литературой, и самое ужасное, что для своего чиновно-литературного продвижения избрал Сергея Есенина. То, что он напечатал, не подлежит даже юмору.

А каково это «Дерзай!»?

Прянишников Алексей

Сергею Григорьевичу Боровикову – с надеждой на творческую дружбу.
18. III.1988

На титуле книги «Алексей Прянишников. Когда человеку лучше. Повести и рассказы». Москва, Советский писатель 1987.

Не знаком с автором. В Интернете про него ничего нет. А на обороте титула сообщается про богатую биографию автора, который был старателем в колымской артели.

Р

Рашковский Леонид

Милым Гале и Сергею Боровиковым в память о встрече о Коктебеле с добрыми пожеланиями. 18-IX-72.

Надпись на титуле книги «Пускай не умирают звёзды». Издательство «Беларусь», Минск, 1966.

Надпись сделана рукой словно бы пьяного, но автор был не пьян, а очень болен рассеянным склерозом, пребывал в инвалидной коляске. Тогда мне книги ещё дарили редко – я второй год работал в журнале и в первый отпуск поехал с первой женой и четырёхлетним сыном в Крым, продав для этого мотоцикл «Ява-250».

Ракушин Фёдор

Сергею Григорьевичу Боровикову – на добрую память и самыми лучшими пожеланиями. Пензяк. Подпись, 17.4.86 г. Саратов
На титуле книги «Царь-ягода. Стихи». М., Современник, 1983.

Кроме того определения, каким он закончил надпись, ничего не знаю.

Рахманин Борис

Сергею Григорьевичу Боровикову – с надеждой на продолжение знакомства, начавшегося в ЦДЛ – увы! – но... богу виднее.
Подпись, сент. 1990
На титуле журнала «Московский вестник», №2, 1990.

Намёк в автографе оправдан: я вовсе не помню знакомства.

Роя Инара

Сергею Григорьевичу в год веселых надежд и честных сердец – с уважением. Инара Роя. VI.88. Рига
На титуле книги «Знойная дорога. Стихи, поэмы». Перевод с латышского. Советский писатель. Москва, 1987.

Почему латышская поэтесса прислала мне свой сборник? Вероятно, потому, что она печаталась в «Волге» при Шундике, а при Палькине и Благове не печаталась.

С

Самсонов Юрий

Сергею Григорьевичу Боровикову – от автора с любовью и надеждой. Подпись – б.д.
То ли на шмуце, то ли ещё на какой странице с рисунком на обороте неизвестной книги какого-то кустарного производства.

Дорогому Сергею Григорьевичу Боровикову –
Огни Вашей «Волги» не только осветили дорогу моей совсем уж было заблудшей творческой судьбы, но и согрели в труднейшую минуту...

Врезается «Волга» в житейские льды –
А время пугает, петляет следы...
...Не страшно журналу
В любой «ураган»,
Когда у штурвала такой капитан!

Сердечное Вам за всё спасибо. Подпись б.д.
На титуле книги «Я в деревне живу... Стихи». Саратов, Приволжское книжное издательство, 1988.

Писателю и редактору любимого журнала «Волга» Сергею Григорьевичу Боровикову – от автора с любовью и надеждой.
Подпись, б.д.
На титуле книги «Поминальные колокола. Стихи». Москва – село Синодское, 1990.

«Юрий Борисович Самсонов родился 7 мая 1939 года в селе Новый Кряжим (ныне Махалино) Пензенской области в крестьянской семье. Учился на филологическом факультете Пензенского педагогического института, но не окончил его. Работал сварщиком в колхозах и совхозах Пензенской области. Юрий Борисович – единственный член союза писателей России, живший в селе и никогда его не покидавший».

«Почивалин такое давление на меня создал: ни РСТ, ни вздохнуть. А почему невзлюбил, не знаю».

Но в 1986 г. выдающегося жаждал нашей области Горбачева зебра в Фонд культуры.

Может быть, это своими именами, но почти сразу, учитывая производственный цикл журнала, Ю. Б. в nepali «Волга».

– Неожиданно в «Волга» непальский целую подборку моих шоу, да ещё и grail Prey журнала «За лучшее произведение года», – говорит поэт.

И вот в село Sends Шемышейского района, где в это время обретался Ю. Б., пришло письмо. Писал поэт блог из Ульяновской. Один поэт, Penn, имеющий определенный вес в советской литературе, писал другому poet:

«Я очень portals, протест в № 2 «Волга» подборку твоих шоу, и понял, что «Волга» ещё не обмелела, не паруса. <...> Письмо было отправлено 18 мая 1986 г. Чико И поддержало Ю. Б., к тому времени уже отчаявшегося. Уже решившего навсегда покончить с позе. (С сайта «Парк Берлин»)

Этот странный текст, полный невразумительных замен русских слов на непонятноязычные, содержит тем не менее информацию, которую поясню.

Невзлюбивший Самсонова Николай Почивалин – главный в те годы пензенский писатель, много издающийся в Москве. Человек был заносчивый, козыряющий своей формальной беспартийностью и агрессивной партийностью книг. Его печатал в «Волге» Шундик. Помню, как я в первый год работы в редакции меня в очередном романе пензяка поразил перепев чеховского пассажа: «Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству». Но это у Чехова сарказм, а по Почивалину человек, изменивший жене, способен предать Родину.

Фразу «Но в 1986 г. выдающегося жаждал нашей области Горбачева зебра в Фонд культуры» надо перевести так: легендарного Георга Мясникова, второго секретаря Пензенского обкома сделали заместителем председателя созданного Фонда культуры.

Не место здесь перечислять обширные заслуги Георга Васильевича, которого я немного знал, хочу лишь процитировать его дневник.

«1980 14 февраля. Заехали на ферму с. Алексеевка с-за "Кулясовский". Жуткая картина: транспортеры порвались, водопровод не работает, воду таскают ведрами, бабы выгребают навоз лопатами. В углу конюшни на корточках сидит обалдевший мордвин. Глаза открыты, но он ничего не воспринимает и не понимает. Бригадир говорит, что в магазин привезли примусную жидкость по 64 коп. за бутылку. Мужики ее пьют и обалдевают.

Заехали в магазин. Есть эта жидкость, крестьяне ее зовут "Огонек". Крепость 75 , синяя. Кроме жидкости в магазине – водка и черствый хлеб, да [консервы] "Завтрак туриста". Мыла нет, соли нет, курева нет. Пустые полки. И кто-то придумал называть все это «развитым социализмом». <...> Он – чем больше "развивается", тем больнее народу икается.

15 апреля. <...> гуляем четыре майских дня и три дня Победы. Жуть какая-то! Опять первую декаду страна, где "всего не хватает", будет находиться в хмельном разгуле, и никто ничего сделать не может, а наверху и не хочет. <...>

20 мая. Подумал: только русские могут так – сломать храм, возведенный на деньги, добытые потом и кровью народа, взорвать его и на месте алтаря поставить памятник Карлу Марксу».

Повторяю: это дневник 2-го секретаря обкома.

Вернёмся к Самсонову. Мы действительно тогда поддержали уже почти затравленного поэта из пензенского села. И годовую премию дали. Мы, т.е. я и Пырков, оценили самобытно-странный,

чуть юродивый, скомороший талант Самсонова и после публикации в «Волге» прожали в Приволжском книжном издательстве его сборник. Я рад, что в моей редакторской службе была эта страница.

Сахаров Всеволод

Молодому критику Сергею Боровикову от такого же.
Подпись – 5.IX.80 г.
На авантитуле неизвестной книги.

Сергею Боровикову с благодарностью за память и поддержку и с пожеланием стать поскорее москвичом.
Сева Сахаров.
19.VII.85 г. Москва
На титуле книги «Дела человеческие. О литературе классической и современной». М., Современник, 1985.

Севу Сахарова я не любил, думаю, он меня тоже. Познакомились мы в 1971 году в Дубултах на семинаре. За какую поддержку благодарит, не знаю – в «Волге» он вроде бы не печатался. Почему-то я был на банкете по случае защиты им кандидатской диссертации в кабинете ресторана «Прага». Из того события помню лишь, как спускавшийся рядом по лестнице вдоль бесконечных зеркал Семанов, выйдя, вытащил прихваченную со стола бутылку вина и стал пить из горлышка прямо в виду Арбатской площади.

Селезнёв Пётр

Сергею Григорьевич Боровикову глубоким уважением. Пётр. Подпись – 9.XI.82, Сталинград.
На титуле книги «Южный крест. Роман в двух книгах». М., Современник, 1982.

Знаю только, что был такой прозаик в Волгограде.

Семанов Сергей

Серёже Боровикову с любовью.
Подпись, 24 дек. 1977.
На титуле книги «“Тихий Дон” – Литература и история», М., Современник, 1977.

Дорогой Серёжа, откуда всё пошло, вы узнаете из правдивых воспоминаний на с. 38, 40.
Ваш – подпись,
Memento racis!
На титуле книги «Великие уроки». М., Правда, 1979.

Историю моего знакомства, дружбы и расхождения с Сергеем Николаевичем Семановым надо писать отдельно. Сейчас поясню лишь латинский призыв, что по-русски означает: «Помни о раках!»

Дело в том, что он любил нестандартные блюда – в Малеевке стрелял из мелкашки воробьев и варил их в белом вине, однажды угощал медвежатиной и т.д. Раков же любил до самозабвения, а узнав, что у нас, в Саратовском Заволжье их ловится немеряно, стал изводить меня просьбами прислать раков, что я так не исполнил.

Семёнова Светлана

Сергею Григорьевичу Боровикову – с глубоким уважением и чувством симпатии. Удач Вам в столь многосторонней, важной деятельности! Семёнова С. 10.XII-87

На титуле книги «Валентин Распутин». М., Советская Россия, 1987.

Я не был знаком со Светланой Семёновой, свою книгу она мне прислала возможно потому, что «Волга» печатала тексты её мужа Георгия Гачева. Они были мне не слишком по сердцу, но я часто одобрял к печати то, что мне не нравилось, но цену чему я понимал.

Главным поклонником Гачева был в редакции Валера Володин, и его сочинения шли по отделу прозы.

Семёнов Владимир

Дорогому Серёже Боровикову – товарищу и соратнику по общему делу. Подпись – 19.IV.1978
На авантитуле неизвестной книги.

Почти нечего мне о нём сказать, настолько неприметный он был. Работал в журнале «Молодая гвардия», редко публиковался, в общении... да не знаю, что сказать, тоже ничем не выделялся.

Серов Владимир

Сергею Григорьевичу с благодарностью за поддержку и взаимопонимание. С удовольствием вспоминая годы совместной работы.
Автор, подпись, 28.03.88
На авантитуле неизвестной книги.

Сергею Григорьевичу Боровикову – на самую дальнюю полку, подальше от графов с уважением автор.
Подпись, 8.02.89
На титуле книги «Запасная», Саратов. Приволжское книжное издательство, 1989.

Психологический портрет Владимира Николаевича я однажды уже создал где-то «В русском жанре». Из того, что он написал, я помню интересную повесть «Выборная должность», которую мы печатали, интересную содержанием – самочувствие, ощущения, мысли, страдания молодого рабочего, выбранного в завком.

«Графы» в надписи намекают на мою книгу об Алексее Толстом.

Сердюк Виталий

Сергею Григорьевичу – с самыми добрыми чувствами и оскоминой от собственного выступления на юбилее «Волги», но, как говорится, кто прошлое вспомянет...
Счастья и творческих успехов на всех фронтах. Подпись – 29.X.86
На титуле книги «Репортаж о чёрном ветре и людском милосердии». Москва, Советская Россия, 1986.

Виталий Сердюк был ответсеком у писателей Иваново после Владимира Жукова. Изданный в столице очерк под другим названием, которого не помню, был впервые напечатан в «Волге». Речь там шла о невиданном смерче, обрушившимся на Ивановскую область летом 1984 года. Ещё царила цензура, а масштабы катастрофы скрывали, и было много придирок к тексту.

А вот о каком-то выступлении Сердюка, более того, о самом юбилейном заседании, ничего не помню.

В 1986 году нашему журналу исполнилось 20 лет, но отмечать юбилей мне строго-настрого запретили: горбачевские причуды. По старому бы времени и заседание редколлегии, и городской торжественный вечер, и орденок главному редактору и медали старейшим, и банкет во всю иванов-

скую. Но была лишь редколлегия, о которой как уже сказал, ничего не помню, и много позже самодельный банкет в ресторане «Россия», где из гостей был только верный друг редакции директор полиграфкомбината, Филяс, остальные не явились, уже запуганные лигачёвскими репрессиями за любые общественные застолья.

Сидоренко Юрий

Сергею Боровикову, первому моему рецензенту! С самыми добрыми чувствами, с пожеланием здоровья, нержавеющей остроты мысли и слова, творческих удач!
От автора, подпись, 25-V-82
На авантитуле книги «Уравнение с одним неизвестным». Саратов, Приволжское книжное издательство, 1982.

Но на обороте титула первой книги автора обозначен не я, а Г. Езерская и О. Гладышева. Я много написал внутряшек и о многих забыл, но к писаниям Юры в недолгий период его работы в «Волге» ещё при Шундике относился отрицательно и, если бы получил его рассказы на отзыв, зарубил бы.

Скатов Николай

Сергею Григорьевичу Боровикову – с уважением, симпатией, с пожеланием всего доброго. Подпись – 17.02.84.
На авантитуле неизвестной книги.

С профессором и директором Пушкинского Дома Николаем Николаевичем Скатовым меня в Пицунде познакомил Сашка Карелин. Выпивали и даже купались ночью голые на пляже соседнего пансионата газеты «Правда», где вокруг плескалось немало молоденьких купальщиц.

Сергею Григорьевичу Боровикову – с большим уважением и самыми добрыми пожеланиями.
Подпись, 12.06.86
На титуле книги «Некрасов. Современники и продолжатели. Очерки». Москва, Советская Россия, 1986.

Со второй книгой связан эпизод с моим дурным воспитанием. Книга пришла по почте, и надпись была не мне, а известному воронежскому краеведу Олегу Ласунскому. Я, всё же предварительно подумавши, не придумал ничего лучше, чем вернуть книгу автору в Питер. А спустя короткое время был пристыжен, получив от Ласунского книгу, подаренную мне, с предложением обменяться.

Сиротин Борис

С.Г. Боровикову, земляку-волжанину. Радостей Вам!
Подпись, 3 августа 89 г. Самара.

Сергею Григорьевичу Боровикову – привет с самарских берегов!
Да не иссякнет Волга наша!
Подпись, 3 августа 89
На авантитулах неизвестных книг.

С автором я не встречался, помню лишь как в разговорах некоторых коллег этого поэта, пишущего вполне патриотические стихи, обращалось внимание на его не вполне патриотическое отчество Зиновьевич.

Скорняков Алексей

Уважаемому Сергею Григорьевичу Боровикову на добрую память от автора.
На титуле книги «Прощаться не будем. Повесть». Саратов, Приволжское книжное издательство, 1991

Единственный в Интернете саратовец с такими именем-фамилией – вратарь футбольной команды «Сокол». Он ли написал «остросюжетную повесть, посвящённую сложным проблемам современной молодёжи», не ведаю.

Селезнёв Юрий

Сергею Боровикову, человеку, критику, на общее дело, с уважением. Сердечно, Ю. Селезнёв. 7.10.78
На титуле книги «Созидающая память», М., Изд. «Правда» (б-ка «Огонёк), 1978.

Он стал культовой фигурой, мне даже неловко, вспоминая его, называть как при жизни – Юрой.
Близки мы не были, и если бы вычерчивать линию наших отношений, она бы во многом зависела от третьих лиц.

Скалон Андрей

Сергею Боровикову с глубокой благодарностью за добрые слова об этой книжке. Мне кажется, что мы находимся в одной важной части воззрений, самой важной. И ею надо дорожить в этой мелкой и склочной литературной жизни.
Андрей Скалон.
29 июня 1980 г. Москва.
На титуле книги «На бугре. Рассказ. Повесть. Роман». Современник, 1978.

Жаль, что выпало из оборота имя этого талантливого писателя, повесть которого «Живые деньги» расхвалил в рецензии Василий Шукшин.

Соколов Геннадий

Критику Сергею Боровикову – с уважением к его творчеству. Подпись – б.д.
На титуле книги «Журавль небесный». Саратов, Приволжское книжное издательство, 1986.

Ну что, был в саратовской писательско-журналистской тусовке незлобивый человек, которого все от мала до велика величали Генкой.

Смирнов Анатолий

Сергею Григорьевичу Боровикову дружески расположенный составитель с уважением.
Подпись, янв. 1980
На обороте титула книги «Н.Г. Чернышевский. Письма без адреса». М., Современник» 1979.

С ним дружил Карелин, и меня познакомил. За глаза мы его называли Профессор. Роднило его с Сашкой не только то, что один издавал другого, но и большая любовь к застолью, несколько даже удивительная для столь почтенного господина. Было в Анатолии Филипповиче бесовское обаяние, в хитрых глазках сквозь очки, ухмылке, бородке. Карелин утверждал, что входил Профессор в круг референтов Брежнева и потому имел наверху большой вес. Во всяком случае, именит был наш не-

редкий собутыльник. В перестройку с его подачи и с его комментариями стали переиздавать «Историю Государства Российского» Карамзина.

Смирнов Виктор

Дорогому Сергею Боровикову
Сергею Боровикову – талантливому. Доброму, отзывчивому.
Виктор Смирнов 13 мая 1980 г. Смоленск
Надписано на шмуцтитуле неизвестной книги.

Сергею Боровикову, давнему другу моему, первому сказавшему доброе слово о моей первой книжке. Успехов твоему таланту, Серёжа!
Виктор Смирнов 3 мая 1983 г. Смоленск.
На титуле книги «Осиновый огонь». Московский рабочий, 1982.

Сергею Боровикову – добра, удач в деле сплочения русских литературных сил!
Виктор Смирнов 16 июля 90 г. Смоленск

Правды в этих словах только то, что я написал о сборнике его. Это было в 1973 году. Заголовком рецензии была строка из стихотворения Смирнова «Ближе всех мне, конечно, Есенин...» Саму рецензию не помню, там речь шла не только о нём, но и о менее одарённых эпигонах Сергея Александровича, которых на Руси было пруд пруди. Другом, тем более давним, я ему не был. Однажды на каком-то союзписательском сборище нас познакомили, и больше никогда я его не видел. Мог ли предвидеть, во что превратится автор понравившихся мне непосредственностью строк? Вот отрывки из письма В. Смирнова 86-го года.

«Дорогой Серёжа!
Обидел ты меня, шибко обидел.
Милый мой, мне давно не 17 лет, чтобы радовать меня печатанием "обрывков из отрывков". Нет, Серёжа, позорить мои седины – тебе не к лицу. Ты ведь первый, помнится, приветствовал моё появление на поэтическом небосклоне!»

Какую же я нанёс обиду смоленскому поэту? Да что там обиду: «наносишь раны русскому поэту», «иметь дело с людьми, держащими кровавые топоры в руках...»

А просто у зав. отделом поэзии «Волги» Владимира Пыркова и меня, «хватает совести отобрать три стишка» для публикации.

За две недели до этого письма прислал упрёки вроде бы добродушные, в стихах:

И гадаю горько:
Будет ли привет?
Что с моей подборкой?
Выйдет или нет?

Жуткие мыслишки:
Не успел прочесть...
А моим детишкам
Нечего поесть.

Кашей или пловом
Их бы угостить.
Вам смешно с Пырковым,
Мне – по-волчьи выть.

Я, конечно, ответил обиженному смолянину, и он прислал дополнительные обвинения и даже причину, что мало взяли стихов: «какие дьявольские силы подсказали тебе это – не ведаю...»

Сделавшись на 25 лет руководителем смоленского СПР, он учредил премию Твардовского и сам же её получил, затеял войну с крупным филологом, профессором Смоленского университета Вадимом Баевским и дочерьми Твардовского, которые далеко не всех награждённых премией считали достойными имени великого отца. Да и как их не понять, если хозяева премии докатились до присуждения её в 2002 году роману Леонида Корнюшина «Прозрение и надежды», напечатанному в «Волге» ещё в 70-е годы. Тогда я пытался убедить Н. Палькина отказаться от публикации бездарного сочинения, но ему и зав. отделом прозы В. Васильеву пришёлся по душе агрессивный «патриотический» настрой изделия Корнюшина.

Смирнов Виталий

Дорогому Сергею Григорьевичу – дружески
Подпись 17.02.97
На титуле книги «По следам времени. Из истории писательской организации Царицына-Волгограда». Волгоград, 1996.

Виталий Борисович был выпускник Саратовского филфака, много писал и печатался, не принадлежа ни к каким группировкам.

Соколов Борис

Сергею Боровикову – Борис Соколов. Просто так. г. Куйбышев, 19.03.87
На авантитуле неизвестной книги.

Этот поэт прославился в Куйбышеве двумя нехитрыми строчками:

Иные Россией клянутся,
А сами Россию клянут!

Он читал их столько раз, сколько я его слышал, а это, разумеется, в тысячи раз меньше, чем общее число его выступлений.

Был он малого роста, крепко сбитый, естественно, пьющий, и при должности – руководил местным издательством.

Споров Борис

С.Г. Боровикову на добрую память – и «Живице». С уважением Пермь – 10.XI – 87 г.
На титуле книг «Антонов огонь. Повести. Рассказы». Москва, Советский писатель, 1987.

«...до публикации в журнале “Волга” первой книги моего романа. Кстати, сразу же ее разнесли, причем разнесли по-страшному. Первый и второй номер журнала вышли, а потом – перерыв, а конец уже весь оборванный: все про религию вырезали, даже упоминание о Боге вырезали. Кстати, я сейчас занимаюсь тем, что этот текст восстанавливаю. <...> Хотя у меня в журнале “Волга” и вымарывали кое-что, но ведь первая часть ранее была уже опубликована!» – вспоминал Борис Споров.

Однажды в связи с публикацией романа он приезжал в Саратов. Я тогда был зав. отделом прозы, готовил текст к печати. За Борисом Фёдоровичем ощущался большой и тяжкий жизненный опыт и сила. А цензура действительно порезвилась в последней части публикации. Сравнимое с публикацией «Живицы» зверство я могу вспомнить ещё в двух случаях: с романом Бориса Екимова

«Родительский дом» в том же году, и воспоминаниями Алексея Солоницына из Самары о брате киноактере Анатолии Солоницыне годом ранее. Споров и Екимов сердились, а Алексей вёл себя мирно, меня не винил, а можно было и озвереть от категорического запрета просто на упоминание имени Андрея Тарковского. Я уже был закалён годами журнальной работы, но здесь и меня, только что ставшего главным редактором, отчаяние до слез охватывало: как можно, рассказывая об исполнителе роли Рублёва, обойти гениального постановщика фильма!

Стрекач Владимир

Сергею Григорьевичу Боровикову от автора, желаю доброго здоровья на поприще руководства «Волгой».
Подпись – б.д.
На авантитуле неизвестной книги.

Сергею Боровикову от автора. Читай, старик, и будь справедлив, не обижусь. Подпись – б.д.
На авантитуле неизвестной книги.

Сергею Боровикову от автора. Дай бог тебе удач и большого везенья.
Подпись, б.д.
На авантитуле неизвестной книги.

Сергею Боровикову с пожеланиями удач, успеха и, дай бог, чтобы не раз пришлось мне дарить тебе книги.
Подпись – б.д.
На авантитуле неизвестной книги.

Сергею Боровикову с добрыми пожеланиями от автора.
Саковец-Стрекач.
22.X – 82 г.
На авантитуле неизвестной книги.

У Владимира Стрекача были все шансы стать одним из ведущих писателей Саратова, писал он на разные темы, много и складно. Но он поздно начал, и едва лет в пятьдесят раскрутился, грянули новые времена, и даже состоявшимся совписцам пришлось не сладко, а с разных сторон наступали новые имена, жанры, стили, свободы и вообще новые литературные поколения.

Влада Саковец – жена Стрекача, такая же, как он, писательница.

Сухов Фёдор

Сергею Боровикову – с благодарностью от старого сотрудника «Волги» ушкуйника Фёдор Сухова.
22 декабря 1985 с. Красный Осёлок.
На авантитуле неизвестной книги.

Сергею Григорьевичу Боровикову – благодарно Фёдор Сухов. 1 ноября 1989. С. Красный Осёлок.

Я не был знаком с Фёдором Григорьевичем. О его ушкуйничестве слышал какие-то легенды, но кажется они сводились в основном к его неожиданным и скорым женитьбам на молодых поэтессах.

Т

Таганов Леонид

Сергею Григорьевичу Боровикову с доброй памятью.
Подпись. 1.VIII– 94 г.
На титуле книги «Прости мою ночную душу...» Книга об Анне Барковой. Областное книжное издательство «Талка», Иваново, 1993.

Хоть мы и были одновременно зачислены в молодые критики, никто из нас, семинаристов, Лёней его не называл, настолько он был старше и солиднее. Его большая заслуга в возвращении в литературу стихов Анны Барковой, женщины большого таланта, силы и потрясающих даже для тех времён испытаний.
«В конце 1934 г. её арестовывают в первый раз и заключают на пять лет в Карлаг (1935–1939), в 1940–1947 гг. она живёт под административным надзором в Калуге, где в 1947 г. её арестовывают повторно и на этот раз заключают в лагерь в Инту, где она находится до 1956 г. 13 ноября 1957 года, несмотря на "оттепель", её арестовывают в третий раз (как и прежде, по обвинению в антисоветской агитации) и заключают в мордовский лагерь».
Когда впервые мы готовили её подборку, помню, как вздрогнул, прочитав:

Загорелись кровавые звёзды
На смирившихся башнях Кремля.

В Иваново студентом Таганова был прославившийся впоследствии так рано ушедший Александр Агеев.

Трофимов Жорес

Дорогому Сергею Григорьевичу – дружески, с пожеланием творческих успехов. Подпись. 5.XII.84

Уважаемому Сергею Григорьевичу с дружескими чувствами. Подпись. 14.XI.86
На титуле книги «Казанская сходка». Москва, Молодая гвардия, 1986.

Уважаемому Сергею Григорьевичу от преданного... Подпись. 16.12.88 г. Ульяновск.
На титле книги «Самарские университеты». Москва, Молодая гвардия, 1988.

Уважаемому Сергею Григорьевичу на память о публикации в №5 за 1987 год в «Волге» сокращённого варианта этой книги.
Подпись 16.12.88
На авантитуле неизвестной книги.

Этот разбитной ульяновский татарин не раз бывал в «Волге», где его всегда печатали: писал складно на беспроигрышную тему детства и юности Владимира Ильича.

Тяпугина Наталья

Дорогому Сергею Григорьевичу на память о делах давно минувших дней с надеждой на их продолжение. Б.д.
На титуле не типографского, а принтерного типа книги «Роман Ф.М., Достоевского "Идиот". Опыт интерпретации». Издательство Саратовского педагогического института, 1995.

Надпись мне непонятна. Каких делах? Если речь о её немногих публикациях в «Волге», то они были уже при дружившем с ней Бирюлине. Ничего про Тяпугину не знаю, кроме того, что служит доцентом или профессором в Академии права и ничего не смыслит в Достоевском.

У

Ударов Николай

Дорогому Серёже Боровикову в память о нашем семинаре на VI Всесоюзном совещании в 1975 году и о нашем творческом сотрудничестве в «Волге»! Николай Ударов (Николай Сотников). Это мой псевдоним Н. Ударов. 19-VIII – 1984 г.

На титуле книги «Месяц май. Первая книга стихов». Лениздат, 1984.

Колю Сотникова и Николаем-то назвать неловко, настолько инфантилен, мягок, щупл. При этом служил в наисложнейшей ленинградской писательской организации на каких-то невысоких, но существенных должностях. А так как служил долго и справлялся, значит не так уж был слаб, как выглядел.

Удин Яша

Сергею Григорьевичу Боровикову с пожеланием крепкого здоровья и постоянных творческих удач, – с благодарностью Я.Удин (Маджинян). 10.03.89.

На титуле книги «Это нелёгкое начало». Саратов. Приволжское книжное издательство, 1989.

Сергею Григорьевичу Боровикову. Что можно пожелать главному редактору? – наверное, чтоб наши опусы не набили оскомину. И здоровья. Конечно, здоровья.

Подпись, конец лета 1991 г.

На титуле книги «Под старой грушей. Рассказы». Москва, Современник, 1990.

Славный парень, по-настоящему одаренный, хотя в слове и проскальзывало, что русский не родной его язык. Родом он был из Нагорного Карабаха. К сожалению, по горячности и неразборчивости очень уж увлекся союзписательскими делишками и разборками.

Ф

Филатов Александр

Дорогой «Волге». Благословившей на Поэзию, с благодарностью за сотрудничество.

Подпись, 4.03.90, п. Тоцкое-2

На титуле книги «Что будет завтра? Стихи». Челябинск, Южно-Уральское книжное издательство, 1989.

Ничего не могу сказать.

Финк Лев

Сергею Боровикову на добрую память о нашем долгом знакомстве с самыми добрыми пожеланиями.

Подпись, 19.VII.86.

На титуле книги «Живая память. Статьи о литературе и театре». Куйбышевское книжное издательство, 1985.

Лев Адольфович был первым, кто печатно обратил внимание на мою публикацию, притом всего лишь у меня третью, в «Волге» в 1972 году – рецензию на книгу Шукшина «Земляки». Тогда вышел первый номер только что созданного журнала «Литературное обозрение», вокруг которого было немало разговоров. Это был первый журнал злободневной литературной критики в отличие от «Воплей», которые склонялись к академическому литературоведению. Наши семинары молодых критиков и «Литературное обозрение» были следствием постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике». Про новый журнал говорили, там будет до 50-ти рецензий в номере, что у Юрия Суровцева, главного редактора, особые права и что платить там будут за критику по высшей ставке 400 рублей за авторский лист. И вот журнал наконец вышел, большеформатный, хорошо отпечатанный на отличной бумаге, и в номере, среди прочего, обзор журнальных рецензий Льва Финка, где весьма похвально и пространно оценивается моя рецензия на сборник Василия Шукшина «Земляки».

Реакция в Саратове была сильнее, чем моя собственная. Бугаенко, Палькин, естественно Шундик поздравляли, а «Литературное обозрение» прислало мне на рецензирование костромской коллективный сборник. А тут и семинары молодых критиков начались, и вскоре сделался я одним из двух перспективных вместе с раньше меня начавшим печататься и раньше поступившим на работу в «Волгу» Колей Машовцом.

Чалмаев Виктор

Дорогому Серёже Боровикову – тоже творцу своей судьбы. Ещё не сотворённой и на одну половину с пожеланием восходящего движения, моцартовской лёгкости в сочетании с привычным даром пересмешника – автор и книги и «Волги» В. Чалмаев.

Подпись, 3-VII-83 г.

На титуле книги «Сотворение судьбы. Творческий путь П. Проскурина. Монография (к этом слову приписано: диссертация – реферат и т.п). Москва, издательство «Советский писатель», 1983.

Дорогому Серёже Боровикову – «На утре памяти неверной я вспоминаю» – беспечное веселье Коктебеля и Красноармейской улицы –

– да светит это утро. В. Чалмаев. 13.XI– 89.

На титуле книги «Андрей Платонов. К сокровенному человеку». Москва, Советский писатель, 1989.

О Викторе Андреевиче Чалмаеве у меня много есть чего вспомнить и много писем его сохранилось, и как-нибудь напишу отдельно о нём и наших отношениях.

Чернов Юрий

Сергею Григорьевичу Боровикову – дружески.

Подпись – 10.1-87

На авантитуле неизвестной книги.

О Юрии Михайловиче Чернове см. в моем тексте «Как я не стал москвичом».

Чернышевская Вера

Сергею Григорьевичу Боровикову с уважением и добрыми пожеланиями от дочери автора. Подпись – 9.VII – 87 г.

На титуле книги Н.М. Чернышевской «Н.Г. Чернышевский в моей жизни». Саратов, Приволжское книжное издательство, 1985.

«Сенсационная новость: правнучка Чернышевского – живая достопримечательность нашего города – выбросилась с 12 этажа квартиры родственников Муренина – секретаря обкома. Почему, как – неизвестно. Дело расследовала местная прокуратура и уже закрыла – самоубийство. Ей было 63. Она жила в музее прадеда, до этого там произошла серия загадочных краж, о которых газеты писали в шутливом тоне.

И тут мне вспомнились многочисленные заметки в местных газетах той поры (1991 год), где описывалась ожесточённая борьба Веры Самсоновны с Галиной Мурениной за право видеть музей Чернышевского таким, каким им хотелось его видеть. Суть разногласий была в том, что правнучка хотела сохранить прежний интеллигентный дух и уклад музея, а Муренина стремилась его как-то модернизировать, перестраивать в стиле нового времени, устраивала там всякие выставки-продажи, которые Вере Самсоновне казались кощунством и приводили в ужас и негодование (в частности, там были какие-то фигурки и презервативы с изображением чертей, над которыми долго изгалялась пресса).

Когда неравная война (Муренина была не только директором музея, но и родной сестрой всесильного секретаря обкома) достигла своего пика, правнучка Чернышевского покончила с собой в квартире Мурениных, выбросившись с их 12 этажа. Это случилось 17 июня 1991 года). «Из дневника перестроечных лет» саратовской поэтессы Натальи Кравченко. https://www.liveinternet.ru/users/4514961/post290079768/

Я жил тогда по соседству с этим жутким – и высотой среди лачуг, и чудовищной, словно бы какого-то заводского помещения, архитектурой, и многолетней запущенностью, и своими обитателями – строился он на партийные деньги издательства «Коммунист» для партработников невысокого звена, – домом.

О причинах гибели правнучки великого демократа гадать не стану, но она не производила впечатления чересчур задумавшейся дамы. В Вере Самсоновне куда заметнее сквозила непритязательная бабистость с готовностью к мгновенному смеху. А что касается Мурениных, что брата, что сестру, более неприятные физиономии, не помню, встречал ли в жизни.

Шадрин Адихан

Сергею Боровикову в память о дружеских встречах. С пожеланиями больших творческих успехов.
Подпись – 7-1-77 г. Астрахань

На титуле книги «Лизавета. Повести». Волгоград, Нижне-Волжское книжное издательство, 1976.

Сергею Боровикову – давнему другу с пожеланием самого доброго в жизни.
Подпись, б.д.

На титуле книги «Старая дорога. Повести. Рассказы» М., Советская Россия, 1985.

Дорогому другу – волжанину Сергею Боровикову – с любовью. На дружбу. Адихан Шадрин.
24.X.86 г. Москва, гост. «Россия».

На титуле книги «Понизовье – судьба моя. Повести и рассказы». Волгоград, Нижне-Волжское книжное издательство, 1986.

Дорогому Сергею Григорьевичу Боровикову – с благодарностью, ибо у истоков рождения была наша «Волга».
Здоровья, счастья, успехов.
Дружески Адихан Шадрин. 1.11.88 г.

На титуле книги «Смута». М., Современник, 1988.

С ним поссорил меня Валера Володин. Адихан прислал новый роман, который я внимательно просмотрел летом, когда гостил у него в Станье[1], а сейчас, осенью, попал в больницу, и Володин, сидящий на прозе, не дожидаясь моего выхода на работу, завернул рукопись с не слишком уважительным письмом. Не знаю и сейчас, только ли по небрежности, точнее пренебрежению ко всему, что не его пера, особенно профессиональных писателей, произвёл он эту операцию, на которую Шадрин смертельно обиделся. Володин не знал или не хотел знать, что Адихан Измайлович старейший, с редакторства Шундика, член журнальной редколлегии, каких я почти не оставил, и что мы с ним в приятельских отношениях. Напрасно я писал Адихану извинительные письма с просьбой вновь прислать роман. Ответом мне было молчание.

Ценность сочинений астраханца была в их фактуре. Столько Волги, воды и тростника, рыбы и рыбаков, закатов и костров, цветов и запахов, в то время почитай уже и не бывало в литературе.

Впрочем, Шадрин брал и достаточно для того времени рискованные темы. Повесть «Лизавета» 1976) – о дезертире. На сайте, посвящённом писателю, читаем: «Шадрин посылал повесть в журнал "Волга", редактор которого посоветовал перестроить сюжет таким образом, чтобы дезертир исправился. Разумеется, автор делать этого не стал». Редактором тогда был Палькин.

Несмотря на грубоватую беллетризацию сюжета, ходульность многих героев, слабую интеллектуальную составляющую, тексты, написанные Шадриным, журнал под названием «Волга» был обязан печатать: это была проза, насыщенная нашей рекой.

Шамшурин Валерий

Доброму моему товарищу и соратнику Сергею Боровикову сердечно Валерий Шамшурин. 20 мая 81 г., Саратов.

На титуле книги «Волжские пристани. Стихи, поэма». Горький, Волго-Вятское книжное издательство, 1981.

Дорогому моему товарищу Сергею Боровикову со всей сердечностью Валерий Шамшурин. 12.11.85

На титуле книги «Кудрина: стихи». Москва, Современник, 1984.

Сергею Боровикову – сердцем Валерий Шамшурин.
27.6.86. Москва. Кремль.

На титуле книги «Часовая гора. Стихотворения». М., Молодая гвардия, 1986.

Славному редактору «Волги» и моему товарищу Сергею Боровикову сердечно – первый ком соли.
3 октября 89, Нижний Новгород.

На авантитуле, судя по надписи, первой книги прозы.

О встречах с Валерой Шамшуриным я всегда вспоминаю с улыбкой, хотя ничего особенного в них – в Москве, Саратове, Нижнем, и не было. Просто это был, надеюсь и остался таким, на редкость необременительный, м.б. точнее сказать, необременяющий других, человек, что большая редкость в писательской среде.

Шевченко Михаил

Эта книга – для Вас,
Серёжа.

[1]Село Станья – в 60 км от Астрахани. Находится на полуострове, который образован протоками Рытый банк и Кулагинский банк. Обе эти протоки берут свое начало из реки Кизань. Также рядом с поселком протекают протока Никитинский банк и река Каныча. Добраться до села Станья можно только при помощи лодок или катеров.

Не Тарас.
Но Шевченко тоже.

На добрые воспоминания о славных семинарских днях начала июля 1982 в Астрахани.
Подпись – на авантитуле неизвестной книги.

Это был секретарь Правления СП РСФСР по работе с молодыми, а в Астрахани собрали молодых писателей кажется не всего Поволжья, а только Нижнего – то есть Саратова, Волгограда и Астрахани. Михаил Петрович был славным дядькой, но отношение к нему было в лучшем случае снисходительное: слишком мал был его литературный вес в сравнении с другими секретарями, слишком долго он, многолетний консультант Правления, шёл к секретарской должности.

Ширяева Галина

Гале, Сергею и Денису Боровиковым с одним-единственным пожеланием – ослепительного неба над головой.
Подпись, январь 1982 г.
На авантитуле неизвестной книги.

Галина Даниловна Ширяева, когда я начал работать в «Волге» корректором, заведовала отделом прозы. Она была довольно успешной писательницей, особенно когда начинала в 50-е годы. Помню, школьником смотрел в ТЮЗе спектакль «Валя и Валька» (пьесы М., Рощина ещё не было!) по её повести. В Саратове тогда одновременно сошлись три писательницы, пишущие для детей: Валентина Мухина-Петринская, Екатерина Рязанова и Галина Ширяева. И время от времени они по две объединялись против третьей. Всё же, кажется, чаще против наиболее успешной Петринской, тематика книг которой – путешествия, приключения, открытия – была далека от пионерско-комсомольско-школьной вотчины Рязановой, на которую временно покусилась начинающая Ширяева.

Ширяеву, женщину по жизни одинокую, разделяло: с Рязановой муж-еврей, с Петринской – лагерное прошлое Валентины Михайловны.

О последнем разделе расскажу один эпизод. Был юбилей Победы. Какой? 20 лет в 1965 году, меня ещё там не стояло, 40 лет в 1985 году, я уже был главным редактором, стало быть, 30 лет в 1975 году. Накануне 9 мая в писательской организации состоялось торжественное собрание. Были ещё бодры старые фронтовики Бугаенко, Тобольский, Боровиков. Делал доклад ответственный секретарь Юрий Никитин, и доклад прервался скандалом. Когда Никитин, перечтя заслуги фронтовиков, обратился к сидящей в первом ряду Мухиной-Петринской: «И поваленные вами, Валентина Михайловна, таёжные сосны участвовали в великой Победе».

Ширяева, густо залившись краской, вскочила и закричала: «Никитин, вы оскорбили память моего погибшего отца, уравняв его с лагерниками!»

К скандалам на собраниях все привыкли, но тут возмутились. Помню, Виктор Сафронов заметил ей: «Решения двадцатого съезда, Галина Даниловна, ещё никто не отменял». Бывшая на собрании Зоя Ларионова даже пересела к Петринской.

А потом было продолжение. Сначала, м.б. уже на следующий день, я стал свидетелем такой сцены. Ширяева бурно вошла в редакцию и распахнув дверь отдела прозы, кинула в сидящего за столом завотделом Сафронова книгу: «Возвращаю ваш подарок!» Это была его книга с дарственной ей надписью.

А на очередном собрании с криком бросилась к Никитину, потрясая перед его лицом какой-то бумагой. Оказалось, что это была похоронная на её отца.

А писала она, конечно, лучше обеих соперниц, неплохо, но очень уж аккуратно, даже прилежно.

Шошин Владислав

Сергею Григорьевичу Боровикову с искренней признательностью. Подпись, 1976.
На авантитуле неизвестной книги.

Уж скорее я должен быть признателен этому ленинградскому критику, еще до меня проложившему не яркую, но постоянную дорогу в журнал, в чем никакой моей заслуги не было. А вот он, работая в журнале «Аврора», способствовал появлению там в 1972 голу нескольких моих литературных пародий.

Штейнберг Инна

Сергею Григорьевичу Боровикову на добрую память от автора.
Подпись, б.д.
На авантитуле неизвестной книги.

Помню лишь, что в какие-то годы она была в объединении молодых писателей при всё той же «Заре молодежи», которым много лет руководил Иван Корнилов. В «Волге», по-моему, никогда не печаталась.

Шульпин Иван

Сергею Боровикову от Шульпина Ивана с возрастающим с каждым днём уважением – это верно. Подпись – б.д.
На авантитуле неизвестной книги.

Сергею Боровикову, величайшему критику с самыми добрыми чувствами автор.
Подпись, Саратов, 1975.
На титуле книги «Уклад. Рассказы и повести». Приволжское книжное издательство, Саратов, 1975.

Иван Шульпин был самым одаренным из тогдашних «молодых». Вскоре после «Уклада» я написал о его прозе, проницательно выделив её живописные качества и опасное самолюбование.

За долгие годы после «Уклада» Иван почти ничего не написал, к старости занявшись вполне серенькими вспоминательными стихами, которые мы в «Волге» однажды напечатали.

В его вызывающем уважение на фоне скорописи коллег молчании я вижу две причины. Одну повыше – большую требовательность к слову, страх перед неудачей. Вторую пониже – прирождённую лень.

Шундик Николай

Да пусть всегда и везде сопутствует вам, дорогая Галя, и тебе, дорогой Сергей, Волшебный олень. Обнимаю
Подпись. 31. 1 85 г.

Говорить, что Николай Елисеевич Шундик сыграл в моей жизни большую роль, излишне. Под его началом прошли первые пять моих журнальных лет. Я не раз вспоминал его и с ним связанное, в том числе и в этом тексте, ещё вспомню.

Ярочкин Борис

Сергею Боровикову от всего сердца и больших удач.
Подпись, Астрахань 25.XI – 81 г.

На титуле книги «Огненная купель. Роман». Нижне-Волжское книжное издательство, Волгоград 1981.

Боровикову Сергею Григорьевичу на память о пицундских встречах. Подпись, Пицунда. 5.08.86 г.
На титуле книги «В полымя. Роман». Нижне-Волжское книжное издательство, Волгоград. 1985.

С этим астраханским прозаиком познакомились в его дивном городе. Но дальше знакомства и мимолётных, вроде пицундской, встреч, отношений не было, в «Волге» он не печатался.

Авторство утрачено

Уважаемому Сергею Григорьевичу Боровикову с глубоким уважением и пожеланием больших творческих озарений – подпись
31. XII – 86 г.
Надпись неизвестного автора на авантитуле неизвестной книги.

***

Хисепле
Сергей
Григорьевича
ыра
сывлах
сунса – автор
(подпись)
10.X.79
Какой язык? Предполагаю, что чувашский. Больше ничего не предполагаю.

***

Сергею Григорьевичу Боровикову на добрую (нрзб)
Подпись 24/III– 77
На форзаце неизвестной книги.

***

«Волга» обещала дать отзыв об этой книге.
С уважением М В...
11 июля 1989 г.
г. Саратов

На форзаце голубой краской напечатано «Как кузнец соседа подковал». В Сети есть сборник мордовских сказок под таким названием, из двух авторов М., Втулкин... похоже, это он, но я не знаю никакого Втулкина и никогда, даже приятелям, не обещал заранее рецензий, это было у меня твёрдое правило.

***

Знатоку советской литературы от скромного её почитателя. Подпись – б.д.
На авантитуле неизвестной книги.

***

Сергею Боровикову, моему единомышленнику с верой в будущее сотрудничество с глубоким уважением.

Подпись нрзб, первая буква О, 5.03.87(или 1)

Неприятная надпись, соединяющая единомыслие с незнакомцем и просьбу печатать. Скорее всего, кто-нибудь из тех, кто ошивался вокруг лидеров «русской партии».

***

Сергею Григорьевичу от души! Автор.

Подпись нрзб, первая буква С.

27/VII – 88, Ижевск.

Я никогда не был в Ижевске, у меня там единственный знакомый – замечательный человек Саша Шкляев, который в начале 70-х был, как и я, молодым критиком, а потом главным редактором журнала «Молот» и председателем правления Союза писателей Удмуртии.

***

Сергею Григорьевичу Боровикову – главному редактору журнала «Волга»

Если место найдётся на полке
И время книжонку прочесть,
Буду очень признателен «Волге»
За её откровенность и честь!
С уважением и любовью.

Подпись нрзб, первая буква П, июль 1988 г., Саратов

На авантитуле неизвестной книги неизвестного автора.

***

Глубокоуважаемому Сергею Григорьевичу Боровикову – на добрую память от автора.

Сердечно, подпись, 15.05. 1990 Казань

На авантитуле неизвестной книги неизвестного автора.

Заключение

Последний раз мне было стыдно за это действие в 2013 году в городе Коломне, в очень хорошей гостинице «Меридиан. Арбат». Почему «Арбат» понятно: Арбатская улица спускается к воде, утыкаясь в эту гостиницу, почему «Меридиан» – не ведаю. Здание стоит у берега (я снаружи даже подумал, что оно – плавучий дебаркадер) прямо в воде, и мимо окон очень быстро – не как в столице – протекает Москва-река, стремясь к скорому слиянию с Окой.

Я у входа на сходни вручил, а м.б. и всучил толстенную книгу «Двадцать два» Вениамину Борисовичу Смехову и прочитал на его лице тоску, дополненную вопросом: «Роман?» Но я бы не сделал этого, так как много раз бывал жертвой дарителей книг, но сам Смехов развязал мне руки, ранее попросив в музее Вен ички Ерофеева надписать ему журнал «Околоколомна» с моим текстом, потом надписал мне свою книгу «Золотой век Таганки»... Правда, его книга в мягкой обложке, а не в переплете, как у меня, и в ней меньше 200 страниц против моего кирпича в 600...

Дарители:

1. Адрианов Юрий
2. Антипьев Николай
3. Арясов Игорь
4. Асанов Леонид
5. Баженов Георгий
6. Баимов Роберт
7. Батурина Татьяна
8. Бердинских Виктор
9. Бирюлин Виктор
10. Блинов Геннадий
11. Богатырёв Вениамин
12. Бойко Владимир
13. Болкунов Иван
14. Болкунов Николай
15. Борзунов Семён
16. Бугаенко Павел
17. Будаков Виктор
18. Булгин Павел
19. Буханцов Николай
20. Вардугин Владимир
21. Васильев Владимир
22. Винникова Ида
23. Воронов Василий
24. Гамазина Фаина
25. Гнутов Александр
26. Горн Виктор
27. Горохов Николай
28. Горшенин Алексей
29. Гришин Владимир
30. Данильченко Анатолий
31. Дворянсков Владимир
32. Дедюхин Борис
33. Дементьев Вадим
34. Дементьев Валерий
35. Дмитриев В.
36. Дудочкин Пётр
37. Евграфов Валентин
38. Евсеенко Иван
39. Егоренкова Галина
40. Ерёмин Александр
41. Есенков Валерий
42. Жуков Анатолий
43. Жуков Владимир
44. Жуков Дмитрий
45. Золотов Василий
46. Зубавин Владимир
47. Ивлиев Николай
48. Казаков Борис
49. Казаков Владимир
50. Калашников Сергей
51. Карась Ромуальд
52. Кемоклидзе Герберт
53. Кизилов Михаил
54. Книгин Игорь
55. Козлов Юрий
56. Колумб
57. Коновалов Григорий
58. Корнилов Владимир
59. Коробов Владимир
60. Корольков Александр
61. Коротаев Виктор
62. Кочетков Виктор
63. Краваль Любовь
64. Красавин Юрий
65. Кузин Николай
66. Кузьмичёв Иван
67. Куняев Станислав
68. Лазарев Евгений
69. Ланщиков Анатолий
70. Лапшин Виктор
71. Лебедев Павел
72. Лихоносов Виктор
73. Лощиц Юрий
74. Луговик Микола
75. Лукьянов Олег
76. Лыкошин Сергей
77. Любомудров Марк
78. Ляпин Игорь
79. Малохаткин Иван
80. Маркелов Иван
81. Марков Сергей
82. Марченко Вячеслав
83. Машовец Николай
84. Мельников Евгений
85. Мирнев Владимир
86. Михайлов Олег
87. Морозова Ирина
88. Никитин Юрий
89. Никитина Евгения
90. Оботуров Василий
91. Овчинников Сергей
92. Озерянский Александр
93. Осетров Евгений
94. Осипов Василий
95. Очирова Татьяна
96. Палькин Николай
97. Панфёрова Века
98. Петелин Виктор
99. Плебейский Освальд
100. Плеханов Сергей
101. Позднин Евгений
102. Политов Виктор
103. Поскрёбышев Олег
104. Прокушев Юрий
105. Прянишников Алексей
106. Пырков Владимир
107. Ракушин Фёдор
108. Рахманин Борис
109. Роя Инара
110. Сазонов Алексей
111. Саркисян Вячеслав
112. Сафронов Виктор
113. Сахаров Всеволод
114. Селезнёв Юрий
115. Семанов Сергей
116. Семёнов Владимир
117. Серов Владимир
118. Скорняков Александр
119. Смирнов Анатолий
120. Смирнов Виктор
121. Соколов Борис
122. Споров Борис
123. Сухов Фёдор
124. Тяпугина Наталья
125. Ударов Николай
126. Удин Яша
127. Филатов Александр
128. Финк Лев
129. Чалмаев Виктор
130. Чернов Юрий
131. Чернышевская Вера
132. Шадрин Адихан
133. Шамшурин Валерий
134. Шевченко Михаил
135. Ширяева Галина
136. Шошин Владислав
137. Штейнберг Инна
138. Шульпин Иван
139. Шундик Николай
140. Ярочкин Борис

Виталий ВЛАДИМИРОВ

«МЕЖДУ ГРЯЗЬЮ И ЧУДОМ»

Публикация, вступительная статья Георгия Квантришвили

Виталий Иванович Владимиров родился 6 февраля 1969 года. Был сиротой с прогрессирующими хроническими заболеваниями, приведшими к инвалидности. Болезни, отсутствие родственной поддержки, образ жизни, несовместимый с материальным благополучием и бытовой обустроенностью – к раннему финалу жизни поэт летел, отпустив тормоза. Ни лечение в психиатрической клинике, ни послушничество в монастыре преждевременного ухода предотвратить оказались, увы, не в состоянии.

Ещё в 80-х сирота-инвалид получил социальное жилье – квартиру на улице Урицкого, дом № 4 в г. Куйбышеве (Самаре). В 90-х выживал, меняя жильё на худший вариант с доплатой (первый переезд был в соседний дом по той же улице, № 6). Наихудший вариант оказался деревней, в которой В. Владимиров был убит. Информация о гибели не была проверена и подтверждена, но обросла множеством деталей: от орудия убийства (топор), до причин (то ли нежелание вносить доплату за очередной размен, то ли, наоборот, желание завладеть уже выплаченной доплатой). Дата гибели и место захоронения неизвестны. Последние встречи с ещё живым поэтом относятся, предположительно, к 1996-му году. Местом трагедии чаще других называется село Кротовка Кинель-Черкасского района Самарской области.

Первым кругом литературного общения поэта стала «Молодая Волга», литобъединение при газете «Волжский Комсомолец», возглавляемое А.Г. Ардатовым. Но более плодотворным для поэта стало дружеское общение в среде молодых литераторов, в той или иной степени связанных со студией «Факел» при ДК 4-го ГПЗ, руководимой Ю.Б. Орлицким.

Самые ранние из ныне известных стихов датированы 1986-м годом. Продуктивный период поэта относится к 1990-1991 годам. Ранние стихи несут все признаки именно что «ранних». Позднее творчество осложнялось социально-бытовыми и психофизиологическими проблемами и постепенно сошло на нет ещё до физической гибели.

Среди посмертных публикаций стоит отметить подборку из 10-ти стихотворений «Едем со скоростью тьмы» в журнале «Дети Ра» № 5 (9) за 2005 г., и публикацию 11-ти стихотворений (больше половины не совпадает с предыдущей публикацией) во 2-м томе 2-томника «Русские стихи 1950–2000 годов. Антология (первое приближение)» – М.: Летний сад, 2010. Предлагаемая подборка составлена из стихов, не вошедших в эти публикации. Пять стихотворений на мортальную тему из неё в 2011-м году, впрочем, размещались в самиздат-сборнике «Восстание Макабристов-I» самарской ОТГ «Веселье ЕбиниZера», и девять – в 2017-м г. в мемориальной публикации 6-го номера самарского журнала «Литсреда».

Пацан

В трамвае как-то ехал я,
смотрю в окно – бежит пацан
в спортивной форме. Мы его,
конечно, скоро обогнали.

И я подумал: во спортсмен! –
пацан-то (так тепло подумал).
И даже захотел я сам
с трамвая спрыгнуть, все забыть,
и лишь бежать, бежать вперед,
навстречу солнцу и ветрам...
Без всякой цели. Просто так.
Но вот и остановка... Я
смотрю: в трамвай заходит он –
пацан-то...

***

А может, мне подружиться с твоей мамой?
Пускай она будет тебя отсылать ко мне,
Когда к ней припрется хахаль за этим самым.
А мы в это время с тобою наедине
Займемся... Учить нас некому. Сами с усами.
А может, мы знаем больше, чем твоя мать?..
Скажи, как мне лучше подъехать к твоей маме,
Скажи, с чего начать...

***

Перед уходом взглянул на часы –
без четверти двадцать два.
О чем бы еще заговорить? –
обо всем уже переговорено.
А как не хочется уходить...
Без десяти двадцать два.
Но уходить надо...

***

Мы одни в пустой квартире.
Отчего ж не пошалить? –
Раз и, два и, три, четыре...
Я иду тебя любить!..

***

Прикосновенья легких рук
К спине – мороз по коже.
Я вовлечен в игру,
Азартную до дрожи.
Мне нравится играть с тобой.
И потому я скрою,
Что увлечен игрой
Сильнее, чем тобою.

17.8.90.

***

Утро. Светло.
Мое чело
Причалит
нечаянно
к твоему челу
печальному.
Прощание.

***

Голос твой, и мимику, и жесты
часто повторяю неосознанно,
не задумываясь над тем, а к месту
ли все это? Да и не поздно ли?

Все равно меня не увидишь ты –
значит, мой талант не оценишь ты.
А фотографию порвешь и выкинешь,
как не представляющую ценности.

***

Пожалей меня, киска...
Пусть даже это будет похоже на то,
Как жалеют пассажиры машинистов
После столкновения поездов.

Разве тебе не жалко, котенок,
Наш разбившийся вдребезги состав,
Который я вел на ощупь, в потемках,
По незнакомым местам.

И вот – приехали. Что тут скажешь?
Может, и хотелось бы дальше, но...
Ты через недельку пожалей меня так же,
Как сейчас. Хорошо?

***

Память моя – как заширканная пластинка,
А ночь – как иголка старого патефона,
Извлекающая один и тот же мотивчик,
Надоедливый, как долгая трель телефона.

На одном месте зациклилась моя память –
Как я припадаю губами к твоему телу,

Свежему, как листочки в начале мая
На тополе. Но какое мне до него дело?

Тополь радует глаз своей новизною
Раз в год хотя бы. А ты же – как комета Галлея...
Дай Бог нам встретиться следующей весною...
Если пластинка моя до весны уцелеет...

О панцирях

У каждой черепахи есть свой панцирь.
похожий на панцирь другой черепахи.
Он защищает ее
от проливного дождя,
от испепеляющего солнца...
И у человека есть свой панцирь...
Но не у каждого...
Панцирь защищает человека
от других людей.
У кого-то он тверд,
как панцирь старой черепахи.
У кого-то – мягок,
как панцирь новорожденной черепахи.
А кто-то живет без панциря...
Как, они еще живы?

***

Ограда.
Крест.
Холм.
Гроб.
Труп.
ЯД!

17.7.90.

***

Летом, сидя на опушке,
я услышал, как кукушка
принялась себе о чем-то куковать...
– Сколько лет еще осталось мне? Раз... Два...
Вдруг умолкла,
поперхнувшись чем-то там.
– Сколько-сколько? – не поверил я ушам.
...И не верь ты никому,
а сруби свой крест,

и сиди себе кукуй,
пока не надоест.

***

Снова буду ходить по комнате,
подобно вечному шаху,
так, что лампочка лопнет со смеху,
а пол намокнет со страху.
Снова буду скользить подошвами,
боясь потерять равновесие.
Да весы уж давно поломаны,
на часах их гирьки повесились.
И часы заходили: «Вот-так, вот-так...»,
как и я, в опустевшей комнате...
Снова что-то со мною не так, не так.
Только что – не понять, не вспомнить...

***

Вчера из-за новой кепки
меня обозвали шпионом...
Сегодня (из-за нее же) –
дедушкой Лениным...
Упаси меня Бог
проводить аналогии –
сколько людей,
столько и мнений.

***

Если господь улыбнется – отпустит мне жизнь долгую,
Если все будет не хуже, чем у других –
Если кирпич не сорвется вдруг на мою голову,
Или же чей-нибудь нож не воткнется под дых;

И если не угожу я в стихийное бедствие,
То на старости лет, все прелести жизни вкусив,
Вдруг пойму, что меня ждет лишь тихое сумасшествие –
На громкое просто уже не останется сил.

Дайте мне пистолет!

Я ни разу не видел, как убивают людей
(или других животных),
и, видимо, не увижу до собственной смерти,
если сам не убью..

Дайте же, дайте, дайте мне пистолет!!!
А когда я увижу чьи-нибудь смертные муки
(если дадут пистолет),
то, видимо, испытаю чувство восторга,
доселе неизвестное мне...
Так дайте же, дайте же, дайте мне пистолет!!!
А если понравится мне роль простого убийцы,
и кончатся вдруг патроны,
то что же я буду делать? – наверно, повешусь,
оставив благие дела...
Так дайте же, дайте же, дайте побольше патронов!
Куда же, к черту! – мне рано еще умирать!..

1.5.90.

***

Мальчик, любивший кукол
С длинными волосами,
Крутит небесный купол
С солнечными часами.

Волосы черной ночью
Льются ему на плечи...
Я не поставил точку...
Лучше поставить свечку.

***

В грязной стране
живут грязные люди,
в грязных жилищах
едят грязную пищу
и мечтают о чуде
во сне...

А проснувшись, опять – в грязь,
но не обращают внимания,
(привычка – вторая натура –
дура!)
Я им не ищу оправдания.
Я хочу отыскать связь
между грязью и чудом

Август-сентябрь 1990 г.

Михаил БАРУ

ПИСЬМО БЫВШЕГО КНЯЗЯ

Михайлов

Правду говоря, никто не знает, когда был основан Михайлов – маленький уездный городок в Рязанской губернии, через который протекает маленькая уездная речка Проня, через которую в конце девятнадцатого века был перекинут такой же маленький уездный мост, по которому с тех пор с одного берега на другой каждый день ходят и ходят михайловцы, живущие в маленьких уездных домиках, с маленькими уездными палисадниками, собаками, кошками и мышками вот уже...

Одни историки говорят, что наверняка ручаться можно только за середину шестнадцатого века, когда по указу Ивана Грозного князья Воротынский и Головин поставили крепость Михайлов на высоком берегу Прони. Другие историки говорят, что год рождения Михайлова можно отодвинуть в прошлое еще на триста с лишним лет. В 1238 году Михайлов, как и другие рязанские города, был дотла сожжен и разграблен войском Батыя, о чем имеется запись в Воскресенской летописи. Правда, у историков нет уверенности в том, что упоминается именно тот Михайлов. За год до сожжения часть жителей городов Белгорода и Ижеславца, уцелевших от набега татаро-монголов, объединилась и основала Михайлов[1], а уж через год снова явился Батый со своими головорезами и снова... До конца четырнадцатого века то пепелище, которое было Михайловым, называлось Михайловским полем. Михайловские краеведы утверждают, что можно отодвинуть год рождения Михайлова еще дальше в прошлое. Существовал, говорят они, в двенадцатом веке южнее нынешнего Михайлова, ближе к истокам Дона, город Кир-Михайлов, который был стерт с лица земли татарами, но жители его не стерлись, не разбежались по полям и лесам, не стали сельскими жителями, а в организованном порядке пришли на место нынешнего Михайлова и там снова стали жить как горожане. Третьи историки на основании археологических данных утверждают, что еще в конце одиннадцатого века на территории современного Михайлова было поселение вятичей. Одно или несколько. И не только вятичей, но и мещеры. По крайней мере, домонгольских городищ на территории района не меньше трех[2]. Если копать еще глубже, то обнаружится стоянка первобытного человека. Если год рождения не отодвинуть, а просто отставить в сторону, то выяснится, что первым поселением на месте современного Михайлова была колония пластинчатых кораллов *Stromatopora*, жившая еще в силурийском море, которое плескалось в этих краях четыреста с лишним миллионов лет назад. Колония, как утверждают палеонтологи, погибла от нашествия, а вернее, наплыва кораллового долгоносика. Правда, документов, как говорят все те же палеонтологи, от колонии не осталось. Несколько минерализованных скелетов и все.

Тех силурийских кораллов увы, не сохранилось. Зато от доисторических времен дошли до нас десяток аммонитов, белемнитов, мамонтовый бивень и череп шерстистого носорога, выловленные местными ребятишками в Проне[3]. Бивень мамонта нашли еще в доисторические, то есть в советские времена, и потому просто притащили в музей, а вот череп носорога нашли уже в новые и пытались музею продать, но узнав, что денег у музея нет и не обещают, подумали, почесали затылки, походили по местному рынку и... оставили в музее даром.

Теперь, когда мы окончательно запутались в многочисленных версиях появления Михайлова, вернемся к тому, который поставили по указу Ивана Грозного. Строго говоря, город, в нашем понимании этого слова, там уже был. То есть какая-то горсть избушек была рассыпана вокруг да около Голубой горы. Паслись вокруг этих избушек коровы с козами, росла на огородах капуста с горохом и на заборах сушились крестьянские рубахи и порты. Воскресенская летопись уже в 1506 году упоминает Михайлов, а в 1534 году Михайлов упоминается в связи тем, что в нескольких километрах от

этого поселения произошло сражение между крымскими татарами под водительством Сахиб-Гирея и московскими полками под командой князей Пупкова и Гатева. К счастью, татары были наголову разбиты, а то пришлось бы михайловцам снова разбегаться по лесам, которые тогда еще в тех краях были. Еще через двенадцать лет о Михайлове говорится уже как об укрепленном пункте. Это уже эмбрион крепости, которую начали строить в 1551 году князья Воротынский и Головин, ставшие первыми Михайловскими воеводами[4].

В Разрядных книгах того времени об основании Михайлова написано «Того же году, месяца авъгуста, поставлен на Проне на реке Михайлов город; а ставили его воеводы князь Александр Иановичъ Воротынской да Михайло Петров сын Головин. А как ставили город и учали место чистити, где поставити церковь соборная архангела Михаила, и тут обрели на том месте, где олтарю стояти, образ архангела Михаила древнее письмо, ничем не вредим, обложен серебром. И царь и великий князь и митрополит Макарей по тот образ посылали священников, и встретя его честно и пев малебны, и отпустил на то место в тот храм, где явился, и о сем Богу хвала воздаша». После обретения иконы архистратига Михаила количество вариантов названия города, понятное дело, сократилось до одного.

Теперь, в самом центре города, на Соборной горе, на гранитном постаменте стоит огромный, около пяти метров в высоту, бронзовый Архангел Михаил. Первая соборная Михайловская церковь не сохранилась, поскольку была деревянной. На ее месте через какое-то время построили новую деревянную, потом, в восемнадцатом веке, каменную, а в девятнадцатом веке ее перестроили, превратив в величественный городской собор с часами на колокольне, в котором и хранилась запись об обретении иконы. В тридцать пятом году собор разрушили и руины разобрали. На месте собора построили школу, здание которой со временем пришло в негодность. Школу сносить не стали – так и стоит она мертвая на вершине Соборной горы с заколоченными горбылем окнами уже лет десять или даже двадцать, а перед ней стенд на железных ножках, на котором написано, что раньше здесь была соборная церковь. И неподалеку от стенда, в кустах, поставили и освятили крест в память о соборной церкви. Денег, понятное дело, на восстановление храма нет[5].

Архангельские крылья уже в восемнадцатом веке попали на городской герб. Логично было бы не ограничиваться крыльями, а поместить на герб всего Архистратига Михаила, поскольку он является небесным покровителем города, но весь Архистратиг был уже занят к тому времени Киевом, у которого на гербе... Еще и с мечом. Поэтому даже тот архангел Михаил, который украшает собой Соборную площадь, стоит с копьем без всякого меча и с киевским ничего общего не имеет.

Михайлов, как только родился – так сразу и пошел на военную службу городом засечной черты, оборонявшим Московское государство от набегов ногайцев и крымских татар, которые в те времена набегали без выходных, праздников и даже перерывов на обед. Уже через полтора десятка лет в Михайлове жили казаки, набранные следующими, после Воротынского и Головина, воеводами – Федором Салтыковым и Михаилом Репниным из тех людей, которые землю не пахали, никаким ремеслом... Проще говоря, из людей бедовых. Еще до того, как началась Смута, водил этих городских казаков михайловский воевода Иван Дашков усмирять непокорных кабардинских князей. Ну, и грабить, конечно. В воспитательных, так сказать, целях.

Через тридцать три года после основания Михайлова началась Смута, в которой михайловцы приняли самое живейшее участие. Не потому, что хотели, а потому, что уклониться было никак невозможно. В 1612 году город захватил атаман Заруцкий со своими казаками. В обозе у мятежного атамана была Марина Мнишек и ее малолетний сын Иван, прижитый от Тушинского вора. Мятежный атаман решил, что из Михайлова он будет грозить Москве, и уже влез на крепостную стену и даже простер на северо-запад указательный палец, но... передумал, ограничился банальным грабежом и ускакал дальше, ведомый своей несчастливой звездой, а в городе оставил двух воевод с частью своего отряда. Видимо часть была небольшая, поскольку как только Заруцкий покинул город, горожане подняли восстание, воевод и казаков посадили в тюрьму, послали в Зарайск и Рязань за помощью и, чтобы уж совсем снять с себя все подозрения в пособничестве врагу, отправили в Москву челобитную, в которой, понятное дело, били челом и просили у нового царя Михаила Романова принять их присягу на верность.

Через шесть лет, в августе 1618 года, польский королевич Владислав пошел с войском на Москву, а его союзник, гетман Сагайдачный, с двадцатью тысячами своих запорожских казаков осадил

Михайлов. Десять дней длилась осада[6]. Запорожцы сожгли почти все слободы, разорили посад, но город взять не смогли. Так и ушли не солоно хлебавши. На этом военная служба Михайлова закончилась. Вернее, в ней наступил перерыв на триста с лишним лет до декабря сорок первого года. В память о героической осаде нынешние михайловцы поставили на Соборной горе памятный камень с привинченной к нему гранитной плитой, на которой выбили «Русским воинам и горожанам участникам героической десятидневной обороны в августе 1618 года от славных потомков». Если бы это был памятник, который поставила власть, то мы не преминули бы сказать, что у славных потомков с надписью вышел в некотором роде конфуз, но, поскольку памятник был поставлен на народные деньги, то...

Между нами говоря, я бы и не писал о надписи, но надо же чем-то заполнить этот временной промежуток между уходом Сагайдачного и началом восемнадцатого века, в течение которого в Михайлове ничего не происходило. Пушки и пищали понемногу приходили в негодность. Их списывали. Ядрами от фальконетов пригнетали квашеную капусту в бочках. Свинцовые пули шли на грузила для удочек. Крепость, конечно, еще какое-то время сохраняла свой грозный вид, но стратегическое ее значение с каждым годом становилось все меньше и меньше. На вид Михайлов, если отставить в сторону крепость, больше напоминал село. Посадские церкви были деревянными, избы топились по-черному, а в окнах стекол не было. Хорошо, если вставляли слюду. Бóльшая часть михайловцев смотрела на мир сквозь высушенные бычьи пузыри. Бóльшая часть михайловцев из тех, которые были городовыми казаками, стрельцами и пушкарями, стала жить так, как живут военные в отставке – копаются в огороде, ходят на охоту и рыбалку. Тем более что в те времена Проня была куда богаче рыбой, чем сейчас. Даже в середине девятнадцатого века, как сообщает нам справочник «Материалы для географии и статистики России по Рязанской губернии, собранные офицерами Генерального штаба», в Проне стерлядей было не меньше, чем судаков и щук, а судаков и щук было видимо-невидимо. Что уж говорить о семнадцатом веке. Тогда, как написано в одной грамоте времен Алексея Михайловича, крестьяне подати платили стерлядями, судаками, щуками и лещами.

Между прочим, в этом же статистическом сборнике, в разделе «Историческое исследование о древних могилах, курганах, городищах, развалинах и прочем и о связанных с ними народных преданиях и местных сказаниях» написано следующее о предании времен Алексея Михайловича: «В двадцати пяти верстах от Михайлова находится село Киркино; там сохранился изустный рассказ, что царица Наталья родилась в нем и что знаменитый боярин Матвеев, проезжая случайно через Киркино, видел плачущую девицу и полюбопытствовал узнать о причине ея слез. Услышав, что причиною печали была насильственная смерть ея девки, добрый боярин взял ее к себе на воспитание в Москву». Это была Наталья Кирилловна Нарышкина, которой потом было суждено сделаться супругою царя Алексея Михайловича и матерью Петра Великого. В селе Киркино говорят и ныне: «если бъ не удавилась девка в нашем селе, не быть бы на свете Петру». Местные жители даже показывали придорожный камень, на котором сидела и пролилвала в три ручья слезы Наталья Нарышкина. Даже предлагали купить за умеренные деньги пузырек с ее... Нет, не предлагали. Это я увлекся. Да и как не увлечься... Так и вижу я на этом месте тех, кого писатели-фантасты называют попаданцами. Вытаскивают они из петли крепостную девку Нарышкиных, Наталья Кирилловна не плачет, боярин Матвеев проезжает мимо и... Не знаю, как насчет строительства Петербурга и войны со шведами, а лес в Рязанской губернии на строительство флота наверное не извели бы.

Ну, да вернемся из параллельного в наш, перпендикулярный мир, с Петром Великим. К одиннадцатому году его правления, то есть к началу восемнадцатого века в михайловской крепости осталась всего одна пушка из двадцати. Что же до самой крепости, то она упоминается как еще существующая (хотя бы и частично) в книге обер-секретаря Сената Ивана Кирилова «Цветущее состояние всероссийского государства, в каковое начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий», вышедшей в 1727 году. «Михайлов, город деревянной, рубленой; в нем 2 башни проезжие... стоит при реке Проне, от Переяславля Рязанского расстоянием в 50 верстах».

В достаточном количестве имелись еще городовые и полковые казаки, в которых теперь не было нужды. Петр Первый частью их переселил в низовья Дона, а большей частью перевел на службу в полки нового строя, где они стали служить драгунами, рейтарами, мушкетерами и гусарами. Неко-

торым пришлось перековать мечи на орала – их власти сделали пашенными солдатами, и они стали пахать землю, которую с таким упорством защищали. В восемнадцатом веке Михайлов стал уездным городом. Сначала Переяславль-Рязанской провинции Московской губернии, потом Рязанского наместничества и уже в конце века – уездным городом Рязанской губернии. В 1779 году Екатерина Великая утвердила городской герб, а через год и план города. К тому времени никаких стен уже не осталось, а следы земляной крепости были едва видны. Проживало в городе шестьсот мужчин и чуть больше женщин. Из них три с половиной сотни купцов, торговавших хлебом и мелочным щепетильным товаром – булавками, иголками, гребешками и прочей галантереей. Заводов не было. Одна только фабрика, на которой ткали шелковые платки. Знаем мы эти фабрики в захолустных уездных городах. Если взять всех ее работников, да прибавить к ним собаку, охранявшую сарай, в котором эта фабрика ютилась, да двух ее щенков, то как раз хватит пальцев одной руки, чтобы их всех сосчитать. Да, вот еще. Леса в окрестностях Михайлова тогда уже не было. Вырубили.

По екатерининскому плану в городе, который имел квадратную форму со стороной примерно в девятьсот метров, должно было быть тридцать кварталов. Самое удивительное, что эта планировка до сих пор сохранилась. В Михайлове времен Екатерины почти все дома были деревянными. Только один обывательский дом был каменным. Из казенных строений – каменный дом уездного казначейства. Проще говоря – податная изба. Вот она-то и дожила до наших дней. Самое старое административное здание в городе. Построили его в начале восемнадцатого века. Оно и барочное и древнерусское одновременно. Оно одновременно и памятник федерального значения, и заколоченное, и запущенное, и заросшее со всех сторон крапивой и кустами бузины. Экскурсовод сказал мне, что внутри оно еще хуже, чем снаружи. Сразу за избой была когда-то долговая яма. Мне стало интересно – что там внутри, и я захотел... – Даже и не думайте, – предостерегла меня экскурсовод.

Собственно говоря, о восемнадцатом веке в истории Михайлова больше и рассказывать нечего. Не рассказывать же о том, как росли репа и капуста в огородах михайловцев. К царскому столу их не поставляли. Шелковые платки местного производства тоже оставались в Михайлове. Есть, правда, еще Михайловский уезд и в этом уезде... Тут надо зайти издалека. Был у Екатерины Великой фаворит – Александр Петрович Ермолов. Не генерал среди фаворитов вроде Потемкина или Орлова, а, можно сказать, рядовой. Даже не однофамилец знаменитого покорителя Кавказа. Особенных талантов не выказал. Жаден до милостей не был, родственников своих во все дворцовые щели не совал. В случае продержался недолго – чуть более года, однако же удален от двора генерал-майором и владельцем четырех тысяч душ. Зимой жил в Москве, на Тверской, а летом в селе Красном Михайловского уезда, в собственной усадьбе. Усадьбу эту Ермолову проектировал не кто-нибудь, а сам Баженов[7]. Была она выстроена в готическом стиле. Искусствоведы называют ее рязанским Царицыном. Говорят, что даже кирпич для усадьбы в Красном взяли с царского стола – из неиспользованных кирпичных запасов, предназначавшихся для так и не построенного Большого Кремлевского дворца. Надо сказать, что искусствоведы восторгаются большей частью тем, что было когда-то. Теперь от всей этой неимоверной красоты остался лишь скотный двор, но и он удивительно хорош. Правда, осмотреть его можно только снаружи и только издали. Внутри прекрасно отреставрированного скотного двора теперь помещается мужской скит, принадлежащий московскому Сретенскому монастырю. Все огорожено, везде охрана. К скиту время от времени подъезжают большие и черные японские внедорожники, из них выходят большие люди в черном и исчезают за оградой. Туристов там не жалуют. Даже михайловский исторический музей не смог упросить скитское начальство разрешить своим сотрудникам осмотреть и обмерить здания внутри усадьбы.

Впрочем, я не только и не столько об усадьбе, сколько о ее владельце. Ермолов, хотя и родственников своих на хлебные места не устраивал, все же покровительствовал одному человеку. И даже упросил императрицу назначить этого человека тамбовским губернатором. Звали этого человека – Гаврила Романович Державин. Может статься, что именно для этого и готовила Ермолова судьба – быть просителем за поэта. Последний владелец усадьбы, генерал Жилинский, утверждал, что Екатерина была в усадьбе проездом. Останавливалась в маленькой комнате с альковом, в мезонине, куда вела потайная лестница. Может быть, именно в этой комнате за бархатным, с кистями, пологом алькова Ермолов уговаривал императрицу назначить Державина тамбовским губернатором... или не

в этой. Может, она и вовсе не проезжала через Красное. Может, все это происходило в другой комнате с другим альковом, которая находилась не в Красном, а в Петербурге. Скорее всего и усадьбу построили уже тогда, когда Державина из Тамбова отозвали, как теперь говорят, в связи с утратой доверия. Ну и пусть. В конце концов, никто нам не мешает думать, что судьба державинского губернаторства решалась в селе Красное Михайловского уезда.

Вернемся, однако, в Михайлов, в котором уже наступил девятнадцатый век. Так и тянет написать, что в девятнадцатом в Михайлове было то же самое, что и в восемнадцатом – репа с капустой продолжали расти, хлебом, иголками и булавками продолжали торговать, а на михайловских шелковых платках появился новый узор – полосочки узенькие-узенькие, какие только может представить воображение человеческое, фон голубой и через полоску все глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки... Ну и что, что пестро. Михайловцам и проезжающим нравилось. Михайлов, доложу я вам, не Москва и даже не Рязань, в которых издалека видны достопримечательности и выдающиеся ученые и промышленники под руку с полководцами ходят от одного шедевра архитектуры до другого и при этом совершают открытия, покоряют моря и что ни день ведут полки в атаку. А потому вооружимся увеличительным стеклом и под ним увидим, что Михайлов в первой половине девятнадцатого века... как был захолустьем, так и остался. Если чем он и прославился, то лишь жестокостью уездных помещиков вроде князей Гагариных, князя Волконского, графа Толстого, умудрившегося за свою записку, в которой он увещевал Александра Второго не отменять крепостного права, получить личный выговор от императора. Был еще некто Измайлов, владевший в уезде семью селами с двумя тысячами душ. Он мог провинившемуся крестьянину на шею надеть железный ошейник весом до восьми килограмм. Надеть, к примеру, на год. Этот садист попал в историю русской литературы навсегда. Променял он как-то своему соседу, помещику Щебякину на четырех породистых щенков повара, конюха, камердинера и кучера. Правду говоря, в те времена такие обмены были обычным делом, но на беду Измайлова вблизи его усадьбы у своего друга помещика Бегичева гостил Александр Сергеевич Грибоедов, который как раз писал всем известную комедию... Короче говоря, нет такого у нас человека, который не проклинал бы в детстве жестокого самодура Измайлова, когда учил наизусть, поминутно заглядывая в книгу, монолог Чацкого, в котором тот Нестор негодяев знатных, толпою окруженный слуг; усердствуя, они в часы вина и драки и честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг на них он выменял борзые три собаки...

Быть хуже Измайлова было трудно. Практически невозможно, но князь Гагарин был. Одного крестьянина за провинность он повесил, а сына его за недосмотр за щенками посадил на цепь, долго держал на морозе, а потом избил до смерти. Тут впору вспоминать уже не Грибоедова, но Достоевского, с его генералом из «Братьев Карамазовых», который затравил собаками крепостного мальчика за то, что тот зашиб камнем ногу его любимой собаке. Между прочим, Достоевский пишет: «Был тогда в начале столетия один генерал...». Случай с крепостными Гагарина был аккурат в одиннадцатом году позапрошлого века. Будь я филолог, который занимается Достоевским, я бы эти два факта связал бы покрепче веревочкой. Впрочем, наверняка филологи уже написали на этот предмет статью и даже не одну.

Неудивительно, что перед самой отменой крепостного права крестьяне в уезде стали громить усадьбы и убивать помещиков[8]. Да еще пошел слух, что те, кто запишется в ополчение, чтобы воевать в Крыму с Англией, получит волю. Неграмотные крестьяне, не умея понять, что во всем виновата Англия, уже собирались идти с дубинами и топорами в Рязань, с требованием показать им царский манифест о воле. Разбираться в Михайлов приехал рязанский вице-губернатор, которым в те поры был Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Уездное начальство с перепугу создало комиссию по разбору дел о крестьянских волнениях, и три дня эта комиссия заседала вместе с вице-губернатором, который пытался убедить местные власти, что не только крестьяне виноваты, но и помещики... Не убедил. Кончилось тем, что дела постановили передать стряпчему на расследование. С тем вице-губернатор и отбыл в Рязань писать очередную главу глуповской истории, на которую у него набралось достаточно материала.

Крестьянам пришлось долго ждать, чтобы отомстить. Последний из князей Гагариных, владевший имениями в Михайловском уезде, успел умереть своей смертью в 1916 году. Бывшие гагаринские

крестьяне зимой выкинули из родового склепа его тело и бросили обратно только с наступлением тепла.

С торговлей хлебом, иголками и булавками все обстояло не так благополучно, как хотелось бы. Торговля, конечно, шла, шла... да и поехала мимо Михайлова по железной дороге. И пока в 1898 году дорога не прошла рядом с городом, торговля и промышленность в нем не развивалась. Стоило только Михайлову приобщиться к цивилизации – так сразу в нем появились купцы и промышленники. Что удивительно – почти все они были братьями. Не вообще – вообще они друг другу палец в рот не положили бы, – а между собой. Братья Борины владели парфюмерно-галантерейным магазином, братья Бабкины держали рыбоконсервный магазин с холодильником, братья Городенцевы имели посудохозяйственный магазин, братья Метелицыны торговали обувью, братья Малинковские торговали мануфактурой, братья Гунцевы торговали москательными товарами, братья Цыбулины продавали фрукты, пирожные и вино, братья Масленниковы торговали всем, чем придется – обувью, обоями, лаками, красками, посудой и одеждой, братья Пановы имели бакалейный магазин и продуктовые склады, братья Дунины содержали трактир и постоялый двор. И только купчиха Кавказская владела трактиром и гостиницей для приезжих одна, без сестры или хотя бы брата.

Еще с 1737 года работала в уезде полотняная фабрика помещика Секирина. К середине девятнадцатого века на ней трудилось полторы сотни человек. Она не пережила отмены крепостного права и отсутствия дешевой рабочей силы. Среди Михайловских предприятий эта полотняная фабрика слыла индустриальным гигантом. За ней шли небольшие винокуренные и крахмальные заводы, а за заводами уж совеем неразличимые невооруженным глазом маслобойки, шерстобитки, валяльни и просорушки. В 1906 году по всему уезду было около двух сотен предприятий. На них работало шестьсот с небольшим рабочих. Если поделить количество рабочих на количество предприятий... Выпускали они продукции на двести тысяч рублей. В самом городе Михайлове было тридцать семь предприятий, на которых работало семьдесят семь человек. Тут даже и делить неловко количество рабочих на количество предприятий. Нарабатывали они в год на пятнадцать тысяч рублей. На каждого рабочего приходилось примерно по двести рублей продукции в год[9]. В ценах того времени это была цена рояля. Кстати, о роялях. Их в Михайлове вряд ли было много, если вообще были, но вот пианино тех времен до сих пор стоит в местном историческом музее. Оно как раз выпуска начала века и принадлежало местной учительнице музыке – Марии Васильевне Ушаковой. Его подарили музею московские родственники Марии Васильевны, которая известна не только тем, что умела открыть в девятнадцатом году в Михайлове первую государственную музыкальную школу, но и тем, что ей самой давал уроки музыки Сергей Васильевич Рахманинов. И как раз на этом инструменте им случалось играть в четыре руки. Пианино отреставрировали, повесили над ним портрет великого композитора, и теперь каждый раз, когда в музей приходят дети... уследить за ними невозможно.

Но мы отвлеклись от михайловской промышленности. У нас остались еще народные промыслы. Понятное дело, что плели лапти. Кто их тогда не плел, но вот плетение на продажу плетней, да простит мне читатель эту тавтологию, встречалось не так часто. Их плели крестьяне для продажи в городе. Был и вовсе экзотический промысел – собирали золу от сжигания соломы и везли продавать ее на близлежащие стекольные заводы. В конце девятнадцатого века в Михайлове и уезде получил распространение кружевной промысел. К началу первой мировой войны в уезде работало до десяти тысяч кружевниц.

Михайловские кружева начались так, как у нас начинается многое – с несчастья. В 1878 году Михайловский уезд охватили пожары. Погорельцев было огромное количество. Местная помещица Казначеева, думая, как помочь их горю, и зная о том, что крестьянки любят украшать свою одежду вышивкой, закупила все, что нужно для вышивки, раздала работу желающим и... через четыре года работы михайловских крестьянок были показаны на Всероссийской выставке в Москве и награждены, а еще через четыре года в Михайловском уезде, в селе Подлесное, была открыта первая в России художественная школа вышивания и кружевоплетения.

Михайловские кружева плетут из цветных ниток. Нигде в России не плетут цветных кружев. То есть отдельные кружевницы, конечно, плетут, но как народный промысел цветные кружева существуют только в Михайлове. Михайловские кружева сложные. Сложнее вологодских или елецких.

Я посмотрел не один и не два фильма о михайловских кружевницах, прежде чем до меня дошло, что нет совершенно никакого смысла стараться уследить за движением рук кружевниц – все равно не уследишь и не поймешь, как они это делают. Просто надо понять, что это волшебство. Взять к примеру количество коклюшек. В Вологде или Ельце плетут кружево с помощью всего восьми пар коклюшек, а в Михайлове одновременно могут использовать до шестидесяти пар. Деревянные коклюшки при кружевоплетении издают негромкие звуки, напоминающие музыку сфер в ее деревянном варианте. Разница между музыкой вологодских и михайловских кружев примерно такая же, как между школьным этюдом Черни и ноктюрном Шопена[10]. Кружевные скатерти, сплетенные михайловскими кружевницами, позволить себе может, увы, не каждый. Стоить она будет от тридцати до шестидесяти тысяч рублей... Не каждые покупают, конечно. Выживать, правда, приходится за счет простых серийных заказов. Турист, если случится ему проехать через Михайлов, и не просто проехать, а зайти в магазин при строчевышивальной фабрике «Труженица», купит что-нибудь простое вроде вышитого полотенца или салфетки. Период расцвета, когда на фабрике работало до полутора тысяч человек, давно миновал. Теперь их едва сорок. Приезжают иностранцы. Посмотрят, посмотрят, купят кружевную салфетку и... уезжают.

Вернемся, однако, в девятнадцатый век. И все же работы на всех не хватало. Больше трети взрослого населения занималась отходничеством. Уходили, в основном, в Москву – кухарками, извозчиками, фабричными рабочими, дворниками, кирпичниками, конопатчиками и чернорабочими. Были и те, кто уезжал на круглогодичную, а не сезонную работу. На московских бойнях работали на забое и разделке туш две сотни крестьян из села Печерниковские выселки Михайловского уезда. Вообще говоря, миграции отходников были в те времена довольно затейливыми. К примеру, зимой в Михайловском уезде появлялись артели отходников из Тверской губернии. Тамошние крестьяне были большие мастера валять валенки. Приезжали они в Михайлов или в уезд, снимали избу и валяли там валенки для всей округи[11]. В это же самое время из уезда уходили отходники других профессий. Были в Михайловском уезде деревни, традиционно поставлявшие стекольщиков. Последние шли не только в Москву, но добирались даже и до Кавказа, и до Урала. Шли они и в Петербург, а по пути вполне могли вставлять стекла в Тверской губернии – в самой Твери, в Торжке или в Вышнем Волочке. Теперь все проще – садятся на автобусы и едут в Рязань или Москву на заработки. Мест в автобусах хватает – по сравнению с тем тринадцатым годом в нашем семнадцатом году крестьян и горожан, то есть жителей Михайлова и района, стало почти в пять раз меньше. Мужчины в возрасте работают охранниками, женщины – парикмахерами, продавцами, медсестрами и домработницами. Те, кто помоложе, идут в бухгалтеры и в менеджеры по продажам всего, что продается. Говорят, что есть даже несколько удачников, которые смогли устроиться на работу врачами в Москве.

Перед тем как перейти к известным событиям семнадцатого года, надо все же ~~поднять тост~~ сказать несколько слов об ирригации и народном образовании. Поскольку ирригации в Михайлове не было никакой, то сразу перейдем к народному образованию. Первая школа появилась в Михайлове еще при Екатерине Алексеевне в 1787 году и называлась малым народным училищем с двухлетним курсом. Самое удивительное то, что михайловцы своих детей учить не хотели. Не хотели и в школу не отдавали. Даже на два года. Мало-помалу школа хирела, и буквально за три года количество учащихся в ней сократилось в два раза – с пятидесяти мальчиков до двадцати пяти. Училась одна девочка, но она была лишь исключением из правил. Прошло более полувека, и в Михайлове... все равно одна школа, в которой всего сорок четыре ученика, и все мальчики – в основном дети почетных граждан, купцов и мещан. Школы в уезде стали появляться с сороковых годов девятнадцатого века. В 1866 году в уезде было двадцать семь школ. Кто в них только не преподавал – и попы, и поповские жены, и грамотные мещане, и отставной солдат, и недоучившийся семинарист, и такой же недоучившийся студент. Сами школы были под стать учителям – церковные сторожки, частные избы, доски и поленья вместо парт. Михайловское земство, которое, казалось бы, должно... денег на просвещение давать поначалу не хотело. Ну, не давало бы молча, и ладно. Так нет же – оно выпустило в 1869 году постановление, в котором писало: «Народ еще не нуждается в просвещении, не чувствует необходимости его, а раз так, то предоставим все это грядущему будущему с упованием, что провидение ведущее человечество прогрессивно к своим целям,

даст народу нашему почувствовать потребность образования». С тех пор прошло полторы сотни лет, а вопросы к провидению так и остались...

Ну, хватит о народном образовании, тем более что новые школы все же открывались и к семнадцатому году в Михайлове и уезде были и городские, и приходские училища, женское двуклассное приходское училище и даже женская гимназия, для которой городская управа купила в девятьсот третьем году дом у виноторговца Шевцова за одиннадцать тысяч рублей. Правда, через восемь лет после ее открытия часть отцов города решила, что это неудачное вложение капиталов, поскольку дом Михайлову прибыли не приносит и хорошо бы в нем устроить что-нибудь этакое, что приносит пусть и не очень большой, но постоянный доход...

Заканчивая разговор о девятнадцатом веке в истории Михайлова, нельзя не упомянуть о самом главном, на мой взгляд, событии, произошедшем в Михайловском уезде в девятнадцатом веке. В 1884 году, в деревне Шанчерово, родился Василий Иванович Агапкин, написавший «Прощание славянки». Когда в Михайлове или в Михайловском районе родится еще один Лев Толстой, или Дмитрий Менделеев, или космонавт, первым вступивший на Марс – вот тогда мы и будем, говоря о Михайлове, вспоминать прежде всего о... Впрочем, и тогда первым вспомним «Прощание славянки».

Ну, а теперь оставим, наконец, девятнадцатый век... Нет, задержимся ненадолго. Буквально за год до рождения Агапкина в селе Плахино Михайловского уезда родился еще один известный композитор – Александр Васильевич Александров. Тот самый, который организовал и долгое время руководил ансамблем песни и пляски Советской Армии. Тот самый, который написал музыку и к «Священной войне», и к гимну партии большевиков, и к гимну Советского Союза и, как оказалось, к гимну России тоже. Тот самый, который за двадцать лет до гимна написал поэму для хора, оркестра, органа и солистов «Христос воскресе», «Величание» Николаю Чудотворцу, восемь песнопений Всенощного бдения, шесть литургических песнопений... Не знаю, как вы, а я бы и тогда первым вспомнил «Прощание славянки».

Вот теперь уж точно оставим девятнадцатый век, народное образование и расскажем о Михайловской пожарной команде, созданной в девятьсот первом году. Вернее, о Михайловском городском пожарном обществе добровольцев. Это теперь трудно понять – почему такие общества создавались добровольцами[12]. Наверное потому, что только у нас спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Так было и в Михайлове. Первоначально в обществе, которое было создано по инициативе агента земского страхования Тимофеева при активном участии двух его знакомых, было двадцать шесть действительных членов и пятьдесят четыре члена-корреспондента, которые назывались «охотниками». Действительные члены общества собрали на организацию обоза довольно крупную по тем временам сумму в пятьсот рублей, построили депо, закупили специальные телеги, конскую сбрую и бочки для воды. Только через три года появились лошади, пожарные насосы и шланги для подачи воды. К весне девятьсот восьмого года все было готово к тушению пожаров и... тут случилось большое наводнение. Вода в тихой и спокойной Проне поднялась на семь метров. Лед уперся в единственный городской мост, и торговая площадь была затоплена. Пожарные бросились помогать и смогли за трое суток без сна и отдыха спасти большое количество взрослых, детей и домашних животных. Мало того, они за свой счет организовали пункты питания для тех, кто оказался в плену у наводнения, и на лодках развозили еду по затопленным улицам. Тут уж власти не могли не отметить героизма пожарных и наградили одного из самых активных членов пожарной команды похвальным отзывом от имени императрицы Александры Федоровны. Правда, третьей степени. Тут уж руководство губернии и Михайловское земство раскрыло городскому пожарному обществу свои объятья, и оно получило в свое распоряжение два автомобиля с современными ручными насосами. Окрыленные пожарные под началом своего командира Бурмина засадили участок между соборной церковью и пожарным депо деревьями и кустарниками, которые через несколько лет разрослись и превратили это место в красивый сад. В саду поставили палатки, в которых продавались пирожные, бутерброды, фруктовая вода, квас и чай. Остается только добавить, что сам государь император, узнав о Михайловском саду и бутербродах с квасом, пожаловал членов пожарной команды генера... нет, не пожаловал, но благодарные михайловцы с тех самых пор называют этот сад «Бурминкой». Несколько лет назад городской администрации пришла охота переустроить в этом саду все по-своему. Спилили

деревья, поставили новые фонари и скамейки, посадили саженцы елок, засеяли все новой травой, поставили узорную чугунную оградку и велели называть сквер Октябрьским. Михайловцы, мягко говоря, опечалились. Деревья, конечно, не вернуть, но называется это место аборигенами только Бурминкой. И будет называться.

Бурмина в двадцать пятом году забрали с повышением в Рязань, как забрали туда же городского архитектора Антона Бантле, построившего мост через Проню, по которому и по сей день ходят михайловцы из одной части города в другую. Бантле был михайловским Шехтелем и Кекушевым вместе взятыми. По его проекту в городе построили к столетию победы над французами здание Земской управы. На углу дома можно видеть что-то вроде картуша, в котором красивыми цифрами написан год постройки. Потом Земскую управу в этом доме сменил Уком ВКП(б) и Исполком Совета рабочих и крестьянских депутатов. Под цифрой с годом постройки висит мраморная мемориальная доска, рассказывающая о том, что в девятнадцатом году в этом здании перед партийным и советским активом выступал еще не всесоюзный староста, но уже Калинин, проезжавший через Михайлов на агитационном инструкторском поезде «Октябрьская революция»[13]. Перед этим Михаил Иванович обещал на митинге Михайловским трудящимся «устроить сады, построить прекрасные учебные заведения, сделать все это для всего народа, чтобы народ мог наслаждаться собственным трудом». Народ, собравшийся на митинге, так далеко в сады и прекрасные учебные заведения не заглядывал. Он предпочел бы насладиться отсутствием войны, продразверстки и присутствием дров, керосина, соли, хлеба и... Впрочем от двенадцатого года до девятнадцатого огромное расстояние в несколько световых лет, в которые уложились разгромы помещичьих усадеб, роспуск и упразднение Михайловской земской управы, организация Михайловского совета народных комиссаров, голод, роспуск совета народных комиссаров, гражданская война, тиф, комбеды, расстрелы царских офицеров, голод, созыв Михайловского съезда советов, восстание крестьян Михайловского уезда против новой власти[14], расстрел руководителей восстания, организация Михайловского совета рабочих и крестьянских депутатов, продразверстка, открытие в восемнадцатом году в городе учительской семинарии, регулярный вывоз эшелонами хлеба, картофеля, коров с овцами в Москву и организация в девятнадцатом году первой детской государственной школы. Зимой двадцатого года конфисковали три тысячи крестьянских подвод для вывоза торфа для Москвы и Егорьевска, а зимой двадцать четвертого года по постановлению ЦИК об укрупнении уездов Михайловский уезд упразднили. Через год решили укрупнять волости. Укрупнили, и часть волостей велено было отдать Рязани, которая стала уездным городом, а часть соседнему Скопину. Отдали, и Михайлов превратился в заштатный город Скопинского уезда. Этим дело не ограничилось. Через четыре года, в двадцать девятом, ЦИК решил создать в Московской области десять округов. Михайлов вошел вместе со своим районом в Рязанский округ. Михайловские власти не успели выдохнуть, как округа ликвидировали, создали тринадцать новых районов, и большая часть Михайловского района вошла в Чапаевский. После этого Москва успокоилась на пять лет. Видимо в ЦИК так изрисовали все карты областей непрерывно перекраиваемых округов и районов, что разобрать на них уже ничего было нельзя. Все уже успокоились и почти привыкли быть чапаевцами, как в тридцать пятом году неутомимый ЦИК принял постановление о том, что вместо старой сети районов будет новая, и в новой будет Михайловский район. Еще через два года, в тридцать седьмом, из состава Московской области вывели Тульскую и Рязанскую области, в которой уже был новенький с иголочки старый Михайловский район.

Вернемся, однако, из тридцать седьмого в двадцать седьмой год. В сентябре того года бывшие крестьяне князя Волконского, проживавшие в селах бывшего Михайловского уезда Малинки и Лужки, получили от бывшего барина из Франции письмо, в котором он писал, что от родового имения, отобранного у него десять лет назад и принадлежавшего еще его прадеду, деду и отцу, он никогда не отрекался и отрекаться не собирается. Близится, писал князь, исполнение десятилетия захвата. «Прав на мое имущество за его захватчиками, кто бы они ни были, я никогда никаких не признавал и не собираюсь признавать. И таких доходов от сего имущества за все время захвата ни с кого я взыскивать не намерен и никаких платежей по нему за то же время никому не намерен производить. Сказанное имение со всем его инвентарем всегда готов принять обратно в свое распоряжение, как скоро установится опять христианская власть в нашем пострадавшем Отечестве». Ну, и на всякий

случай добавлял в конце письма, что все его братья в добром здравии, потомство имеют, и ежели самого князя не станет, то наследники свои права непременно заявят. Еще и населению волости пожелал всего доброго. Как это письмо из Франции добралось до Лужков и Малинок – ума не приложу. Отослал ли князь его по почте, надписав по-французски «Крестьянам от князя Волконского», или перевез его чрез границу какой-нибудь неприметный человек в потертом и аккуратно заплатанном сюртуке с выправкой военного...

Ответное письмо ~~запорожцев турецкому султану~~ крестьян, о котором тогда же в газете «Рабочий клич» было написано, что оно отправлено во Францию, пересказывать грех – его можно только процитировать. «Зачитав письмо бывшего князя, паразита Волконского, мы, граждане с. Малинок, с негодованием отмечаем, что есть еще остатки негодяев и эксплуататоров, скитающихся в буржуазных государствах и имеющих надежду на возврат своих земель и имущества, заявляем, что земля, которую используем, принадлежит не вам, негодяям Волконским, а нам, трудящимся. Мы не допустим того, чтобы к нам пришли опять те, которые сметены Октябрьской революцией, поэтому ты, негодяй Волконский, и не мечтай взять у нас землю и нами распоряжаться. Мы, граждане с. Малинок, еще до сих пор не забыли ваши нагайки и дубинки, которые ходили по нашим трудовым плечам, мы до сих пор ярко помним твои гнусные похождения, они остервененьем стоят перед нашими глазами. Все твои законы на твою собственность, перечисленные в твоем письме, мы сожгли в наших печах десять лет тому назад. Близок тот час, когда мы совместно с рабочими и крестьянами, угнетаемыми буржуазией, которая тебя приняла, выгоним тебя и оттуда и не дадим тебе места нигде на земле. И если кто из твоих сообщников вздумает посягнуть на наш Октябрь, тот разобьет свой лоб об наши мозолистые крестьянские руки. Напоминание кстати. Заслушав и обсудив твое письмо, адресованное на имя граждан с. Лужков, отвечаем, что ваше имение и ваша земля, на которой десятки, сотни лет проливали пот и кровь крестьяне с. Лужков, честно распределена между нами пролетарским государством. На ней мы трудимся десять лет и ничуть не помышляем вам возвратить ее. То, что было твое, теперь – наше. За это мы будем бороться со всеми, кто только чуть подумает об этом. Еще считаем своим долгом напомнить вам о том, что мы совершили большую ошибку, выпустив вас из Советской страны. Проклятие тебе, князь, шлет общее собрание граждан с. Лужков. Мы же будем стремиться на наших полях строить новое общество, новые порядки, которые, надо заметить вам, за десять лет коренным образом изменились»[15]. Вот так ярко помнили крестьяне гнусные похождения Волконского, которые «остервененьем стояли перед их глазами».

Кстати, об обещании михайловских крестьян взять князя за горло во Франции. Теорию перманентной революции к двадцать седьмому году в Москве уже успели осудить, но в Михайлов и тем более в район, в села Малинки и Лужки об этом никто и не думал сообщать, а потому михайловцы продолжали в нее верить и дали по вере своей обет установить в городе Михайлове на площади Ленина памятник, но не простой, а символизирующий торжественное шествие коммунистических идей по планете. Работу поручили местному художнику Николаю Васильевичу Ушакову. Власти дали разрешение, поскольку Ушаков в свое время закончил Строгановское училище. Правда, по классу живописи. Проект памятника представлял собой затейливый пьедестал с колоннами, шарами и ступеньками, на котором покоился огромный земной шар с коричневыми материками, голубыми океанами и ярко-красным Советским Союзом. Увенчивала земной шар фигура вождя мирового пролетариата с протянутой рукой. В тридцать третьем году, когда за такой памятник уже могли дать по шапке, он был торжественно открыт. К счастью, никто не тронул ни Ушакова, ни тех, кто утверждал проект. По шапке досталось только Ленину. Как мне рассказывал один михайловский пенсионер, в семидесятых годах, в год, когда были сильные морозы, кто-то из остряков-самоучек нахлобучил дедушке старых треух на лысину. Михайловский Ленин по какой-то причине был изваян без кепки. Даже в руках не было ни одной. Понятное дело, что немедленно было приказано шапку снять, а как снять, если Ильич забрался на самый полюс большого шара пяти метров в диаметре. Еще и обледенелого. Каким-то образом все же шапку сняли, а в начале восьмидесятых шар из-под вождя убрали, перенесли монумент на самый простой пьедестал и устроили вокруг него трибуну, чтобы начальству было удобнее говорить речь перед собравшимся на демонстрацию народом. Как только переставили, так разу и произошла, по словам того же пенсионера, другая история. Аккурат на майские празд-

ники. Праздничные колонны проходят мимо трибун, начальство кричит соответствующие случаю кричалки, а народ, вместо того чтобы отвечать слава КПСС или ура... помирает со смеху потому, что на многострадальной ленинской лысине сидит ворона с обломком батона и самозабвенно его клюет.

Между нами говоря, я подозреваю, что пенсионер обе эти истории выдумал из головы. Нет, наверное, в нашей, до сих пор советской стране такого города, в котором с памятником Ленину не был связан какой-либо анекдот. Чем же хуже остальных Михайлов...

Предвоенный Михайлов немногим отличался от предреволюционного – те же немощеные, пыльные летом и непролазные в межсезонье улицы, те же дома и то же отсутствие электричества, те же керосиновые лампы. Зато появились громкоговорители на столбах, из которых новая власть напрямую обращалась к каждому, радиоприемники, из которых она делала то же самое, и стадион. Стадион стадионом, а кулачные бои, на которые сходились михайловские мужики и приезжавшие к ним в город побиться крестьяне из уезда, продолжались до самой коллективизации. В марте тридцать третьего в Михайлове состоялся первый районный слет колхозников-ударников. Ударникам выдавали для заметок красные блокноты с портретом Сталина и в буфете кормили бесплатными бутербродами с копченой колбасой и наливали пахнущий клопами коньяк. Ударники докладывали о том, что в колхозе «Новая жизнь» корова по кличке Чародейка дала за год почти четыре тонны молока, а свинья Большая из совхоза «Помозовский» за год умудрилась родить двадцать семь поросят. Поросята поросятами, а артель кружевниц «Труженица» плела такие затейливые кружева, что покупали их и в Штатах, и в Англии и в Германии. Правда, только до тридцать седьмого года.

Осенью сорок первого года истекли те триста двадцать три года, которые прошли со времен осады города Сагайдачным и были отпущены Михайлову на мирное житье. В октябре началась эвакуация. Вывозили в тыл хлеб, скот, оборудование, архивы и специалистов с семьями. Под падающими бомбами рыли противотанковые рвы, окопы и траншеи. Сформировали истребительный батальон, а в ноябре стали формировать партизанские отряды. Двадцать третьего ноября стало известно, что немецкие танки уже в полусотне километров от города, а утром следующего дня они уже входили в Михайлов. Оккупация продлилась тринадцать дней. К утру седьмого декабря части десятой армии немцев из города выбили. Михайлов, как и соседний Скопин, был одним из первых освобожденных городов. Его освободили в самом начале наступления под Москвой[16]. Как сказал в сорок втором Черчилль по поводу разгрома англичанами африканского корпуса Роммеля: «Это еще не конец. Это даже не начало конца. Но, вероятно, это конец начала».

Боевые действия для Михайлова кончились, а война продолжалась еще три с половиной года. Артель кружевниц шила солдатское белье, телогрейки и ватные штаны. Цементный завод всю войну с перерывом на две недели оккупации делал железобетонные корпуса авиационных бомб для учебных полигонов. Их понаделали столько, что после войны из уже ненужных макетов бомб какой-то рукастый местный житель выстроил сарай.

Тут надобно отступить несколько назад, чтобы рассказать о Михайловском цементном заводе. Я понимаю, конечно, что цементный завод – это не оперный театр, но в Михайлове не было оперного театра. Его нет даже в самой Рязани. Поэтому придется вам слушать про цементный завод. История его началась больше ста лет назад. Московский купец, промышленник, инженер и фабрикант Яков Ильич Ганкин в 1899 году купил имение у сына графа Дмитрия Андреевича Толстого. Того самого Дмитрия Андреевича, который увещевал Александра Второго не отменять крепостного права. Сын Толстого был, как сказали бы мы теперь, не очень крепкий хозяйственник. Правду говоря, он был бесхозяйственник, а потому имение продал Ганкину. Тот купил имение только для того, чтобы перепродать, но вдруг обнаружилось, что в нем имеются большие запасы камня и глины. Ганкин нанял экспертов, и те сказали ему, что здесь можно организовать цементный завод – здешнего камня и глин хватит на два с половиной миллиарда пудов цемента. Когда Ганкину сообщили эту цифру, он, не медля ни минуты, стал организовывать акционерное общество портланд-цементного завода. Московские банки дали ссуду, Николай Второй дал разрешение на строительство завода, и в четырнадцатом году были выпущены первые двадцать семь тысяч тонн цемента, а рабочие завода сделали первые уверенные шаги на тернистом, но недолгом пути к получению силикоза легких. Первая мировая война только подстегнула производство цемента. В начале двадцатых годов из михайловского цемента

была построена Каширская ГРЭС – первая по плану ГОЭЛРО. Первая очередь московского метро была построена на михайловском портланд-цементе. Из этого цемента в шестидесятых годах была построена Асуанская плотина в Египте и олимпийские стадионы в Москве. К тому времени завод уже производил почти два миллиона тонн цемента. Завод и сейчас работает. Он умирал в девяностые, был банкротом, но был куплен другими хозяевами, выжил и стал основанием преогромного холдинга... Что же до Якова Ильича Ганкина – инженера, промышленника и фабриканта, – то он в двадцатом сел на пароход и уехал из Крыма и из России навсегда.

Каширская ГРЭС была построена в двадцать втором году, за три года до его смерти. На момент своей постройки она была второй по мощности электростанцией в Европе. О ней писали во всех газетах. Читал ли их Ганкин? Знал ли, из какого цемента построено это чудо техники? Он умер в Германии и был похоронен в Берлине на православном кладбище Тегель в возрасте шестидесяти пяти лет. Могила его не сохранилась.

Оперный театр в Михайлове так и не построили. И никакой другой театр тоже не построили. Ну и черт с ними. Воображаю себе михайловский театр драмы и комедии, который каждый год открывал бы сезон спектаклем по роману Гладкова «Цемент». Власти еще и заказали бы кому-нибудь из московских композиторов оперу на эту тему. Денег бы при этом пропало... Нет, уж лучше художественная самодеятельность, духовой оркестр и хор ветеранов труда.

Цементным заводом мы, пожалуй, ограничим обзор михайловской промышленности. Конечно, я мог бы рассказать вам о знаменитом на всю область михайловском комбинате хлебопродуктов, который кроме муки и хлеба выпускает комбикорм для северных оленей, но вы ведь не захотите про это читать, правда? А на самом деле это страшно интересно – почему в Рязанской области для северных оленей... Почему не сушеные грибы и орехи для сибирских белок или курево для медведей... Ладно. Обещал не рассказывать – так и не буду[17].

Если найти в Михайлове проводника и проехать с ним по дороге на Рязань двенадцать километров, свернуть у села Хавертово вправо, проехать по хорошей грунтовой дороге километра три мимо огромной заброшенной церкви во имя Иоанна Богослова, потом еще столько же по плохой грунтовой дороге, то можно приехать на городище. Туристов туда не возят. Там тихо и пустынно. Городище окружают три ряда оборонительных валов и рвов. На оплывших, но еще хорошо сохранившихся валах и внутри них растет ковыль и какие-то мелкие желтые цветы, занесенные в Красную книгу. Туда иногда приходят и приезжают черные копатели с металлоискателями и уходят с наконечниками стрел, коваными гвоздями, крестиками и... Проводник рассказал только про наконечники, гвозди и крестики. Про все остальное он не захотел рассказывать. Расспрашивать-то его было можно, но ответов... Иногда черных копателей ловят и металлоискатели отбирают, но чаще не ловят. В линии валов, опоясывающих городище, видны два проема, в которых были ворота. Когда через эти ворота с гиканьем и свистом ворвались ордынцы, размахивая своими кривыми саблями – никто не знает. Как назывался этот городок – тоже никто не знает[18]. Сколько дней или часов его жители продержались, когда пришла Орда... К счастью, сюда не приходят и археологи, которые наверняка нашли бы все скелеты и датировали бы их радиоуглеродным методом, а значит можно преспокойно себе думать, что в самый разгар осады, когда задымились подожженные татарами дубовые стены, когда вода во рву покраснела от крови, когда воздух над крепостью был разорван криками на мелкие лоскутки... спустился прямо городскую площадь воздушный корабль, забрал всех оставшихся в живых, включая кошек с собаками, и улетел туда, где хорошо. Хорошо потому, что нас нет.

---

[1] Основали город на Голубой горе. Так ее называют из-за того, что мае, в пору цветения незабудок, она издалека кажется голубоватой. Вернее, казалась. Теперь на ней незабудок мало, но от такого красивого названия отказываться жалко.

[2] Одно из этих городищ расположено в Михайловском районе неподалеку от села Ижеславль. Во времена нашествия Батыя на этом месте существовал город Ижеславец, о разорении которого татаро-монголами упоминается в «Повести о разорении Рязани Батыем». Местные жители верят, что часть города, в которой стояла церковь, татары не успели взять штурмом – она вместе с последними защитниками ушла на дно Прони. Тогда Проня была глубокой и судоходной. Сейчас, может, ничего

не получилось бы, а тогда... С тех самых пор в Великий Пост и на Пасху слышен со дна Прони колокольный звон. Ну, может, жители и не верят, но рассказывают проезжающим и местным краеведам, которые пишут об этом в своих книжках. Осталось только оперу написать про этот рязанский град Китеж.

[3] Проня – тихая и мелкая речка, которая точно специально здесь протекает для шумного купания детей, стирки белья, тихого катания на лодках с девушками и для того, чтобы наш брат мог сказать жене, теще и собаке, что завтра рано утром он идет на рыбалку и чтобы к обеду его не ждали. Одни краеведы утверждают, что название реки произошло от языческого бога славян Проно, которого отождествляют с Перуном, а другие говорят, что Проня – это всего лишь уменьшительно-ласкательное от имени Прохор. Наверное, в незапамятные времена река была бурной и стремительной и уважительно звалась Прохором, а потом, когда утихла, обмелела и заросла по берегам камышом... Сами выбирайте ту версию, которая вам больше нравится.

[4] Если уж совсем быть точным, то основание города могло быть связано не со строительством заново, а с капитальным ремонтом или модернизацией уже существующих стен и башен. Приехали Воротынский с Головиным, приказали стены нарастить, сделать их толще, расставить по ним пушки, выстроить новую церковь, найти икону и назвать город Михайловым, но... мы не будем придерживаться такой версии. Уж больно она прозаическая.

[5] Да и как его восстанавливать, если земля под руинами школы принадлежит частному владельцу. Кто и как умудрился продать большой участок земли в центре города частному лицу, я так и не смог узнать. Узнал только, что городская администрация регулярно обещает землю эту выкупить и начать восстанавливать соборную церковь. Обещанного, как известно, ждут не один год и даже не два.

[6] Оброняли крепость площадью в два футбольных поля. Не пятачок, конечно, но и не рубль. Даже не полтинник.

[7] Правду говоря, авторство Баженова лишь одна из наиболее вероятных версий. Архитектором могли быть и Кваренги, и Фельтен, и Казаков.

[8] Надо сказать, что Михайловские помещики понимали, что живут на бочке с порохом, и потому содержали личную охрану из чеченцев, дагестанцев и черкесов, которых они набирали из ссыльных уголовников – большей частью тех, кто попал у себя дома на Кавказе под суд за воровство, разбой или кровную месть. Крестьяне испытывали к этим людям, мягко говоря, неприязнь и хотели насильственным путем уменьшить их количество, но удавалось это им плохо, поскольку дети гор всегда были вооружены и по одному не ходили.

[9] Шутки шутками, а до семнадцатого года в Михайлове была улица Миллионная. Как в Москве или как в Санкт-Петербурге. Тогда улицы просто так не называли.

[10] Если честно, то в Балахне кружевницы используют до трехсот пар коклюшек. Это уже и не ноктюрн, а концерт для фортепиано с оркестром, но... все равно цветные кружева есть только в Михайлове. В Балахне они однотонные.

[11] Самое удивительное, что в соседнем Пронском уезде тоже были бродячие артели валяльщиков. Впрочем, может быть, они валяли валенки с галошами и таким образом занимали свою особенную нишу на рынке валенок, не пересекаясь с тверскими валяльщиками.

[12] А может, добровольцам просто хотелось покрасоваться в сверкающих медных касках с брандспойтами наперевес, промчаться как ветер по сонным михайловским улицам, пугая кур, индюков и зазевавшихся барышень, и трубить, трубить в серебряный рожок сигнал пожарной тревоги.

[13] Настольная модель этого поезда, собранная в шестьдесят девятом году членами кружка художественного моделирования Михайловской школы-интерната, теперь украшает собой городской исторический музей. Все там сделано на совесть, и даже можно прочесть надпись «Да здравствует пожар мировой революции» на командирском вагоне. Жаль только, что нет фигурки Калинина. Пусть бы крошечной, пусть бы из какого-нибудь желудя в кепке с ошкуренным обломком спички, изображающим палку, с которой ходил председатель ВЦИК.

[14] Писал я этот очерк и думал, что михайловские крестьяне, как и все тогдашние крестьяне, сначала с удовольствием громили помещичьи усадьбы, радостно приветствовали большевиков, разгоняли земские управы, разрушали церкви... а через год-полтора сопротивлялись продразверстке,

поднимали восстания, убивали большевиков и ненавидели советскую власть. К чему я пишу об этих давно известных фактах. А вот к чему. В процессе написания этого очерка я пользовался книгой михайловского краеведа Юрия Бучнева «Сказание о земле Михайловской». Судя по страницам, описывающим установление Советской власти в Михайлове, любил он ее беззаветно. Через два десятка страниц, когда речь пошла о продразверстке, о раскулачивании, о репрессиях, об уничтоженных храмах, Юрий Васильевич сделал поворот на сто восемьдесят градусов и стал любимую власть ругательски ругать. Был бы он жив... все равно не стал бы спрашивать у него, почему. Умом, как известно, Россию не понять. Даже задним.

[15] Цит. по кн.: Ю. Бучнев. Сказание о земле Михайловской. Рязань: Изд-во Ряз. обл. тип., 2008. С. 140-141.

[16] Михайлов освободили вторым. Скопин освободили на восемь дней раньше, в ходе оборонительных боев, а Михайлов освободили первым в ходе общего наступления, которое началось пятого декабря. Не то чтобы скопинцы и михайловцы поссорились из-за того, чей город освободили первым, но отношения между ними...

Константин Симонов, бывший в тех местах как раз седьмого декабря, писал: «...Михайлов был первым городом, взятым на этом направлении десятой армией генерала Голикова... Никогда не забуду этого радостного чувства, с которым я въезжал в Михайлов. Этот город, таким, каким он был в то утро, стал для меня первым явным свидетелем разгрома немцев. Маленький городок был буквально забит машинами, танками и броневиками, целыми и изуродованными. Грузовики, штабные машины, автобусы стояли в каждом дворе. Мотоциклы и велосипеды валялись сотнями. У дорог и в снежных полях вокруг города торчали десятки брошенных орудий. А машин, пожалуй, было не менее тысячи. Город был сильно разбит артиллерией, многие дома сожжены или разрушены бомбами. Михайлов, как нам сказали, был обойден с двух сторон и взят в жестоком бою. Именно этим объяснялось большое количество брошенной немецкой техники». Это Симонов писал в «Записках молодого человека». А вот отрывок из «Живых и мертвых»: «...Городок был маленький, в мирное время, услышав его название, наверное, переспрашивали и вспоминали: где это? Не то под Москвой, не то на Волге... Но сейчас, в начале декабря сорок первого года, его имя гремело, как музыка. Город, отбитый у немцев! К этому еще не привыкли. Его взяли после короткого ночного боя два полка... Городок и его окрестности были забиты брошенными немецкими машинами».

[17] Вообще, в Михайлове и районе не так, чтобы много достопримечательностей*. Местные краеведы даже их, грешным делом, выдумывают. Один из основателей Михайловского исторического музея Ю.В. Бучнев в своей книжке пишет о котлетах, которые, по его словам, изобрел крепостной повар графа Строганова и которые до самой революции подавали в Московском купеческом клубе под фирменным названием «котлеты по-михайловски». Бешеной пользовались популярностью. От этих котлет, как утверждает краевед, и пошли киевские котлеты, которые к Киеву никакого отношения не имеют. Ну, написал бы, что не имеют, и остановился, но Юрий Васильевич продолжает: «Подавая однажды котлеты, приготовленные по михайловской технологии, правительственной делегации во главе Хрущевым в 1948 году, повара киевского ресторана назвали их «котлетами по-киевски»... Эти добрые и не совсем добрые хлопцы с Украины потихонечку, как сегодня наш российский газ – приворовывали еще и вкусное». Стал я сомневаться в том, что киевские котлеты имеют рязанское происхождение. Стал искать и нашел не у кого-нибудь, а у Вильяма Похлебкина вот такую цитату: «Единственным реликтом, “памятником” и кулинарным достижением “новорусского” ресторана остались в истории “ново-михайловские котлеты”, названные так по имени Михайловского дворца, расположенного поблизости». Понятное дело, что петербургские краеведы вряд ли прочтут книгу Бучнева и станут уличать автора в том, что он, мягко говоря, написал неправду, но ведь у этой книги был рецензент – профессор Акульшин, заведующий кафедрой отечественной истории Рязанского педагогического университета. И консультант был. Хоть и не доктор исторических наук, как Акульшин, но все же кандидат. Тоже не случайный прохожий, а заведующий кафедрой истории Рязанского института культуры по фамилии Чекурин. Юрия Васильевича Бучнева, увы, уже нет на этом свете. Ему даже не написать письмо, которое начинается с трех, всем известных, русских слов и одного восклицательного знака.

---

*Конечно, можно и пионерские организации, сохранившиеся в нескольких сельских школах Михайловского района, назвать достопримечательностями, но... Вот если бы стрельцы еще жили в Стрелецкой слободе... Куда там – не только стрельцов, но и слободы-то не осталось.

[18] Городище называют Жокинским по названию село Жокино, которое ближе других сел к нему расположено.

Котельнич

Начинать рассказ о Котельниче нужно с места и времени его основания. Если начинать с места и времени его основания – значит, надо начинать... В том-то и дело, что никто толком и не знает, когда и где он был основан. То есть приблизительно, конечно, знают место. Еще более приблизительно знают время... Короче говоря, надо начинать с упорного, не затихающего многие годы спора между историками и краеведами о месте и времени основания маленького райцентра в Кировской области.

Если опираться только на русские летописные источники, то Котельнич в первый раз упоминается под 1459 годом. Упомянут по самому обычному в те времена поводу – шло войско московского князя Василия Второго воевать город Вятку, а по пути взяло Котельнич. Осадили, взяли штурмом, разграбили, сожгли, записали в летопись – все честь по чести. Стало быть, Котельничу сегодня пятьсот пятьдесят восемь лет прописью. Через сорок два года можно праздновать шестисотлетие. Так говорит одна часть краеведов с историками. Та, у которой на каждый чих есть ссылка на какую-нибудь летопись с тремя вислыми печатями и подписями трех летописцев, заверенными у монастырского нотариуса, или на статью в ученом историческом журнале. Есть и другая часть, которая ссылается на «Повесть о стране Вятской» – литературный памятник конца семнадцатого или начала восемнадцатого века, в которым черным по белому написано, что Котельнич был основан в 1181 году новгородскими ушкуйниками. И не на голом месте, между прочим, основан! Стоял де до непрошенного визита в те места новгородских разбойников тихий марийский городок Кокшаров. Вот его-то ушкуйники взяли штурмом, разграбили, сожгли и... в новгородскую летопись не записали. В «Повести о земле Вятской», которой серьезные историки не доверяют, по этому поводу сказано «...и начаша ко граду приступати, и в другой день изъ града того жители побежаху, инии же граду врата отвориша, возвещающее граждане Новгородцемъ, что им показася ко граду приступающее неисчетное воинство. И тако Божиею помощию той Кокшаров град взяша и обладаша...».

Скорее всего, ушкуйники и в Новгород-то не возвратились. Остались в Кокшарове и стали его переустраивать на свой новгородский лад в Котельнич. Или не стали переустраивать, а просто переименовали в Котельнич и стали жить. Их товарищи по набегам основали неподалеку от Котельнича городок Никулицын, а уж потом они все вместе основали Вятку, которая потом стала Хлыновым, которая потом снова стала Вяткой, которой потом приказали называться Кировым. Если вычесть из нынешнего года год основания Котельнича новгородскими ушкуйниками, то получится, что ему уже восемьсот тридцать лет прописью. Еще чуть-чуть – и был бы старше Москвы. Через двадцать лет можно было бы праздновать восемьсот пятидесятилетие, если бы... его уже не отпраздновали в девяносто третьем году. Какие-то краеведы нашли, что марийский городок Кокшаров был известен с 1143 года. (Москва! Умолкни и бледней!) Эти самые краеведы и уговорили администрацию города устроить праздник. И устроили, и веселились, и катались на каруселях, и ели пряники, и покрасили какой-нибудь старинный купеческий дом вместо того, чтобы поменять ему протекающую крышу, и заасфальтировали дорожки возле здания администрации, и отпечатали в местной типографии большим в районном масштабе тиражом сборник краеведческих статей, в которых утверждалось, что Котельничу в девяносто третьем году исполняется ровно... Время было такое – девяностые. Тогда любой праздник... Ну, да мы не о девяностых. Теперь, как сказали мне в тамошнем краеведческом музее, уже и не найти того, кто уговорил администрацию праздновать.

Другой краевед, решивший найти, откуда же взялся 1143 год в истории Котельнича, выяснил, что известный историк академик Тихомиров в своей монографии «Древнерусские города» упоминает именно под 1143 годом Котельнич, но... не тот, что стоит у впадения реки Моломы в Вятку, а тот, что в двухстах километрах к юго-западу от Киева. Открыл другой краевед этот неизвестный городской администрации факт через семь лет после того, как уже все отпраздновали. Третий краевед...

Оставим третьего краеведа. Поговорим о месте, на котором возник Котельнич. Археологи, пока краеведы и историки спорят, а горожане празднуют юбилей, которого не было, нашли в окрестностях нынешнего Котельнича как минимум четыре городища и ни одного паспорта, в котором была бы точно указана прописка и национальность аборигена. Все эти городища располагались друг возле друга, на протяжении девяти километров по высокому, обрывистому берегу реки Вятки неподалеку от впадения в нее реки Моломы. Стоит только начать выяснять – которое из этих городищ дало начало Котельничу... как тотчас же появится и третий и четвертый краеведы с остро заточенными аргументами наперевес. Сначала предки котельничан жили на одном городище, которое называлось Ковровское, а потом, по соображениям безопасности (других соображений в те времена почти и не было), перенесли все нажитое непосильным трудом ниже по течению Вятки на семь километров – в городище под названием Котельническое. Правду говоря, никаких следов марийского Кокшарова археологи ни на Ковровском, ни на Котельническом городище не обнаружили. Было еще два городища – Скорняковское и Шабалинское, но там тоже не нашли ничего типично марийского – только самые обычные наконечники стрел, гвозди, нательные крестики, бусины, глиняные грузила, тверские медные монеты, пряслица, креслица, гуслица и все то, что обычно находят в средневековых славянских городищах. Мало того, в тех местах не обнаружилось даже топонимов, которые напоминали бы название Кокшаров. Реки Какша, Кокшага и Кокша, которые можно было бы... но, нет. Они протекают куда южнее. Если прислушаться к тому, что говорят пятые и шестые краеведы, то больше похожая на ручей речка Котлянка, которая и сейчас впадает в Вятку неподалеку от железнодорожного моста, и была той самой марийской речкой Кокшер, название которой жители городища превратили в Котлянку. Протекает она по огромному оврагу. Иными словами по котловине, по котлу. В «Повести о стране Вятской» так прямо и написано: «Снизу Вятки реки от Кокшарова городка названном по реке Кокшаре». От названия Котлянки, стало быть, и произошло название города. Есть, правда, еще одна версия происхождения названия. Шли-де русские войска брать приступом Вятку, да по пути сделали привал в Кокшарове. Ну, не привал, а штурм, но сейчас не об этом. После штурма был по расписанию обед. Обед принесли в котлах и потому... Эту версию даже и рассматривать не будем. Хватит с нас и предыдущих.

Выходит так, что Котельнич около двухсот или более лет пребывал в эмбриональном состоянии в виде поселка, а точнее городища городского типа, поскольку даже в 1390 году, в «Списке русских городов, дальних и ближних» Котельнича не было – то ли жителей в нем было мало, то ли частокол вокруг городка был не так част, то ли проплывающие мимо него по реке Вятке московские переписчики не могли заметить горсть домиков на высоком берегу. Есть еще и седьмые краеведы, которые предполагают, что Котельнич был сначала основан пришедшими с Севера славянами, потом захвачен марийцами, потом снова отбит славянами, которым открыли ворота марийцы, знавшие русский язык... но про них мы не станем говорить, чтобы не наводить тень на и без того уже запутанный донельзя плетень. Скажем только, что и по сей день котельничские краеведы и историки между собой договориться не могут и разбились на два непримиримых лагеря. Одни не доверяют «Повести о земле Вятской», и Котельнич у них молодой город, которому и шестисот лет нет, а другие доверяют и... Представляю себе празднование шестисотлетия Котельнича – одна колонна с цветами и транспарантами, на которых написано «Шестьсот лет любимому Котельничу», а вторая... Чуть не забыл. С шестисотлетием все тоже не так просто. Есть два варианта его празднования. Первый – считая от 1459 года, а второй – от 1433 года, поскольку историки нашли, что под этим годом есть упоминания о Котельниче в духовных грамотах Галицких князей. То ли он был в 1433 году уже городом, то ли просто маленькой сторожевой крепостцой... Поэтому в колонне, которая будет праздновать шестисотлетие Котельнича, надо предусмотреть хотя бы несколько шеренг для тех, кто...

В 2014 году отпраздновали пятисот пятидесяти пятилетие со времени первого упоминания Котельнича в летописях. Если считать с 1459 года. И дата вроде круглая, состоящая из одних пятерок, и надежность ее не вызывает сомнений, а... праздничного настроения не было. Хотелось легендарности, былинности даже, а тут... Ну, пусть они сами разбираются, а мы пойдем дальше.

После того как Котельнич попал в русскую летопись, ему осталось только попасть под власть Москвы. Конечно, он еще успел какое-то время принадлежать галицким князьям, котельничане успели сходить под их водительством в набег на Великий Устюг, принять участие в походе на татар, на Волжскую Булгарию и даже за компанию с вятчанами набежать на новгородские владения в Двинской земле. Что и говорить, за компанию с вятчанами котельничане потрепали нервы Москве так, что мало ей не показалось. Шесть раз целовали крест Москве на верность и шесть раз нарушали целование. Дружили с князем Дмитрием Шемякой против Великого князя Московского Василия Второго... но уже в 1468 году они вместе с москвичами двинулись на татар. Через десять лет татары под командой хана Ибрагима пришли с ответным визитом недоброй воли, но хорошо укрепленный Котельнич взять не смогли. Правду говоря, и сейчас, когда смотришь со стороны реки на сорокаметровые обрывы, сложенные из красноватой глины, думаешь, что лучше с аборигенами не связываться, а плыть по Вятке дальше. В те неспокойные времена Котельнич располагался на узком мысе, который с трех сторон окружали глубокие, до пятнадцати метров глубиной, овраги.

Военных задач у города было две – защищать северные земли Москвы от без устали набегающих татар по реке Моломе на Великий Устюг и быть пунктом сбора части русских войск во время походов на Казань. Ну и, конечно, самим котельничанам (в те времена их называли котелянами) вменялось в обязанность идти на Казань вместе с остальными. Они и ходили, правда, не очень охотно, поскольку понимали, что после похода на Казань к ним заявятся татары. В 1469 году вятчане и котельничане даже до Казани не дошли, узнав, что татары идут к Вятке. Быстро вернулись и пообещали Казанскому хану, наставившему на них свои кривые татарские сабли, держать нейтралитет. Когда через год в Котельнич прибыло на судах войско московского царя и «начаша вятчанам глаголати речью великого князя, чтобы пошли с ними на казанского царя, они же рекоша к ним: “Изневолил нас царь и право свое есмя дали ему, что нам не помогати царю на великого князя, ни великому князю на царя”». Недолго, правда, продержался вятский нейтралитет. Через год дружинники из Котельнича в составе вятских взяли и разграбили дочиста Сарай, прихватя с собой сарайских княгинь.

При такой богатой на военные походы жизни, нужно было уметь защищаться. В Котельниче не просто сделали толще и выше стены, но на подступах к городу, на территории двух городищ, построили еще две небольших крепости. С высоты крепости на Скорняковском городище Вятка просматривалась километров на десять. Можно было успеть зажечь сигнальный костер, надеть кольчугу, шлем с бармицей и крикнуть подплывающим татарам в рупор из ладоней какие-нибудь обидные слова, которым они сами нас и научили. В 1478 году татары хоть и приступили к Котельничу, а взять его не смогли. Между прочим, ширина городских стен, представлявших собой деревянные клети, плотно забитые глиной, составляла в те времена от двух до пяти метров.

Со всем тем не утихала борьба между вятскими и московскими. В 1485 году вятские снова отказались идти в поход на Казань, а через год усугубили свой отказ грабительским набегом на Великий Устюг. В конце июля 1489 года к Котельничу подошло и подплыло по Вятке соединенное войско москвичей, вологжан, тверитян, двинян, белозерцев и даже татар. Неизвестно – пришлось ли им брать штурмом Котельнич или он сдался без боя, но через четыре дня шестьдесят четыре тысячи войска ушло брать Хлынов (Вятку) и взяло его (ее). Уже в сентябре вятчане и котельничане, как говорится, добровольно и с охотою писались в слуги Великому князю Московскому.

При Иване Грозном котельничане проявляли чудеса героизма в войне с Казанью. В 1542 году под Котельничем был разбит наголову четырехтысячный татарский отряд, возвращавшийся (точно так же, как возвращались когда-то сами котельничане) после набега на Великий Устюг. Братья Тит и Каша Мартьяновы так отличились в двух казанских походах, что их наградили почетными грамотами, которые выдали в Москве. В те времена почетные грамоты выглядели гораздо скромнее, чем те, которые выдавали при Советской власти. Ни портрета царя, ни двуглавых орлов на фоне Кремля, а только и было написано, что Тит и Каша «казанскую службу с нашими воеводами служили зим и

лет по вся годы» и за это пожалованы в Котельническом уезде землями – Титу остров и озеро между Вяткой и Моломой, а Каше был дан на оброк луг ниже по течению Котельнича, плюс кое-какие озера, плюс бортный лес, плюс звериные ямы. Наградили лугом и еще одного котельничанина Петра Сухово, но уже за взятие Казани.

После того как Казань была взята, Котельнич свое военное значение потерял. Наместниками сюда назначали «охудавших детей боярских». Один из этих наместников, боярский сын третьей статьи из Вязьмы Григорий Третьяков, так охудал, что помер не доезжая места своего кормления. Как было не завестись при этакой власти в дремучих вятских лесах лихим людям? Они и завелись, и так расплодились, и так стали донимать жителей Котельнича, Хлынова и близлежащих городов и сел, что те били челом Ивану Васильевичу. Писали, что «...на посаде в станах и волостях многие села и деревни разбойники разбивают, и животы твои губят, и крадут и убивают людей до смерти; а иные многие люди у тебя[1] в городе и на посаде разбойников у себя держат... а ко иным людям разбойники приезжают и разбойную рухлядь к ним привозят». Царь меры принял – дал вятским городам специальную губную грамоту, по которой можно было для ведения разбойных дел выбирать от трех до четырех особых земских голов из числа тех, что «грамоте умеют и пригожи», а тем головам помогать должны старосты, десятские и «лучшие люди». И эти самые головы имели право делать обыски, при дознании бить кнутом и казнить разбойников.

Еще во времена отца Ивана Грозного, великого князя Василия Третьего, Котельнич приобрел такую известность, что его, наряду с другими вятскими городами, упоминает в своих «Записках о Московии» Сигизмунд Герберштейн. Написал, правда, что Котельнич находится всего в восьми милях от Хлынова (Вятки) на реке Rhechitza, которая впадает в Вятку. Еще и на карте своей поместил город Chotelnicz у самого подножия Уральских гор. И не в восьми, и не на реке Rhechitza, и не у подножия Уральских гор, и, в конце концов, не Chotelnicz, если уж переводить с немецкого на русский, но пусть хотя бы так, чем вообще никак. Герберштейн еще и описал те места как болотистые, бесплодные и служащие прибежищем для беглых рабов. Впрочем, как сообщает Герберштейн, в тех болотистых и бесплодных местах изобилие белок, зверей и меда.

Пожалуй, это все, что можно сообщить о шестнадцатом веке в истории Котельнича. Разве только можно добавить, что к концу этого века Котельнич стал уездным центром, в котором проживало немногим более четырех сотен человек в семи десятках дворов. Вот эти четыре с лишним сотни человек во главе с городовым приказчиком Дементьевым, попом Харитоном и уржумским стрельцом Салцовым, бог весть как оказавшимся в Котельниче, осенью 1606 года и перешли на сторону первого Самозванца. Зачинщики беспорядков «вора учали величать, который называется царевичем Дмитрием, что он Москву взял, а с ним пришло многое множество людей, и на кабаке за него чаши пили». Городской староста Митька Куршаков попытался прекратить этот пьяный мятеж и арестовать главарей, но успеха не имел. Не имел успеха и проходивший через Котельнич в Москву отряд пермских ратников. Более того, часть ратников примкнула к сторонникам Лжедмитрия. К зиме, однако, все по неизвестной причине успокоилось. То ли дрова надо было колоть, то ли вино в кабаке выпили до дна, но кончилось все тем, что котельничане поддержали Василия Шуйского. Через три года Котельнич не поддержал сторонников Тушинского вора, захвативших соседние Яранск и Санчурск. Плохо пришлось Котельничу – он был взят штурмом, а один из организаторов его обороны, стрелецкий сотник Захар Панов, был посажен на кол[2]. Вятский воевода князь Ухтомский, не в силах справиться с мятежниками сам, отправил письмо с просьбой о помощи в Пермь, в котором писал, что «Государевы изменники и воры... сели в Котельниче, а из Котельнича во все городки пишут воровством всяческим, чтоб им всю Вятскую землю прельстить и к вору привесть». К декабрю 1609 года Ухтомский все же смог освободить город от сторонников второго Лжедмитрия и привести котельничан к присяге Василию Шуйскому. Может, кого-то и посадили на кол за все учиненные безобразия...

Как только Смутное время закончилось, Котельнич, который и раньше-то не процветал, снова начал приходить в упадок. По количеству дворов он оказался самым маленьким городом Вятского края – в Котельниче их было в десять раз меньше, чем в Хлынове. Всего шесть с небольшим десятков дворов и почти сорок опустевших. Мало того, Котельнич еще и попал в должники к казне – в 1616 году за ним числилось шестьдесят семь рублей долгу с пустых земельных участков и рыбных ловель,

что по тем временам было довольно крупной суммой. Население разорялось и налоги Москва понизила, но из-за неурожая двадцатого и двадцать первого годов снова повысила. Дошло до того, что сильно обедневшие котельничане стали меньше пить и казна в 1621 году недобрала кабацких денег по той причине, что «питухов на кабаке перед прошлым годом было мало и хлеб прежнего был дороже».

К 1629 году количество тягловых дворов сократилось с сорока до двадцати пяти. Общий доход в казну от города упал с тридцати восьми до тридцати трех рублей, двадцать шесть дворов стояли пустыми, но... оброчные доходы с города и уезда, которые брались подушно, возросли с девяносто девяти до полутора сотен рублей. Все эти цифры невообразимо скучны для тех, кто в них ничего не понимает, но для тех, кто понимает, они говорят о том, что горожане стали мало-помалу не столько богатеть, сколько вылезать из беспросветной нищеты и... богатеть. Ставили они мельницы, организовывали рыболовецкие артели и ловили рыбу на расстоянии до девяносто пяти верст ниже по течению Вятки от Котельнича[3], занимались бортничеством, разрабатывали месторождение железной руды и торговали. Торговые люди из Котельнича добирались до Великого Устюга и даже до Архангельска. Взять, к примеру, Ермолу Моисеева. В сентябре 1652 года он «Приплыл с Вятки на плотишке, гребцов два человека. Явил товару продать: воску шесть пудов, меду тридцать пудов. Цена обоему шестьдесят рублей». Это ведь написать просто – приплыл на плоту из Котельнича в Великий Устюг, а на самом деле... комарья и мошки на этой Вятке видимо-невидимо, медведи и сами не спят и никому спать не дают. Особенно тем, которые плывут продавать тридцать пудов меда. Разбойники за каждой сосной притаиться могут. Это ведь полтонны меда и воску надо втроем на плот затащить, да потом грести против течения по Моломе, потом по течению по реке Юг, да не везде вода, а где ее нет – так и волоком... Были, однако, и те, кто в Великом Устюге только дух переводил и плыл со своим товаром дальше по Сухоне и Северной Двине до самого Архангельска.

Так получилось, что через Котельнич проходил из Хлынова (Вятки) торговый путь не только на Великий Устюг и далее на Архангельск, но и на Галич, Кострому, Ярославль и Москву. Если двигаться на юг, то можно было доехать до Нижнего и Владимира. Ну, а если плыть по реке Вятке на восток, то можно было добраться и до Соли Камской. Котельнич стоял на перекрестье всех этих торговых путей. Рано или поздно здесь должна была возникнуть ярмарка. Она и возникла во второй половине семнадцатого века и стала почти на триста лет «градообразующим предприятием» для Котельнича. Назвали ее Алексеевской по имени преподобного Алексия, человека Божия. Скорее всего его культ утвердился в городе и уезде после эпидемии моровой язвы в 1607 году. Алексий почитался как защитник от эпидемий и болезней. По другой версии (а как же без другой версии)... Собственно, это даже и не версия, а предание. Так вот, по преданию царь Алексей Михайлович подарил Котельничу на день открытия ярмарки (или на день своего ангела) икону Алексия, человека Божия. Записей по этому поводу не сохранилось в царских архивах никаких, но, скорее всего, без царя тут не обошлось. Открытие ярмарки планировалось на март – в самый строгий у православных Великий Пост. Тут уж без разрешения московского начальства вряд ли обошлось. Между прочим, как минимум, до середины девятнадцатого века на ярмарке только торговали. Никаких каруселей, кабаков, медведей с балалайками и азартных игр в кости и карты. Правда, потом... Не будем, однако, забегать вперед.

Ко времени открытия ярмарки Котельнич перестал быть вымирающим городом с полунищими жителями. По переписи 1654 года в нем уже было почти полторы сотни посадских и десяток церковных дворов, что в пять раз больше, чем четверть века назад. Городская жизнь и имущественные отношения между горожанами усложнились. Участки земли отдавались в залог, продавались и покупались. Самыми крупными землевладельцами в Котельниче были потомки Петра Сухово, награжденного Иваном Грозным землей еще за участие в победоносном Казанском походе. Внук Петра Яковлевича, а затем и правнук, смогли к этому лугу прибавить части других лугов. После того как правнук Сухово скончался, его жена и дети продали все земельные владения за огромную по тем временам сумму в семьсот десять рублей... какому-то шустрому москвичу[4], который немедленно заложил покупку Вятскому архиерейскому дому. Земельные наделы потомков братьев Мартьяновых, полученные ими за беспорочную службу в нескольких Казанских походах, были разделены и перешли к другим владельцам. К приобретению земельных наделов присоединились местные монастыри,

развернувшие в крае бурную хозяйственную деятельность. Короче говоря, жизнь в Котельниче била ключом до самого 1658 года. В этом году в Котельнич пришла моровая язва. Спустя двадцать лет после эпидемии количество дворов с полутора сотен уменьшилось в два с половиной раза. Умерло 162 человека. Мужчин в городе осталось 158. Пустых дворов и дворовых мест в Котельниче было больше, чем после Смуты. Появились нищие. В маленьком Котельниче их было всего девять. В большинстве своем это были женщины. Девять семей котельничан просто убежали из города от такой жизни. В довершение ко всем напастям власти усилили, как сказали бы теперь, налоговое бремя. Мало того, что жители посада платили тягло и оброк за пашню, так еще и ямские и таможенные сборы, так еще и специальный сбор для выкупа русских пленных. Выкупали их главным образом у крымских татар. Была еще одна, местная вятская повинность. Необходимо было снабжать хлебом уральское Верхотурье. Грузить хлеб, толокно и крупу на лодки и сначала по Вятке, а потом на подводах везти за три девять земель в Верхотурье. И везли, пока в 1689 году власти не смилостивились и не разрешили заменить эту натуральную повинность денежной. Просто перекинуть деньги со счета Котельнича на счет Верхотурья было нельзя. Их тоже надо было везти в Верхотурье.

И все же Котельнич рос и развивался. Самое удивительное, что сильно обветшавший и потерявший все свое военное значение кремль не развалился окончательно и не был растащен горожанами по бревнышку, как это происходило сплошь и рядом в подобных случаях в других русских городах, а был отремонтирован и получил с трех сторон новые стены и башни. Кремль по-прежнему был военной крепостью, и в нем в 1676 году по «росписи» было шесть пудов пороху, четыре с лишним пуда свинца, большое количество пищалей и ядер к ним. Появился на посаде и первый кабак, называвшийся «кружечного двора казенный погреб». Во главе исполнительной власти в городе должен был стоять выборный городничий. Выбирать его должны были жители Котельнича. Я говорю «должен был» и «должны были» потому, что никакой выборности, понятное дело, и в помине не было. Городничего назначал вятский воевода по своему усмотрению «из дворянских детей и из подьячих для своих взятков», а уж эти дворянские дети и подьячие для своих взятков пускались во все тяжкие. И так они умудрились утеснить котельничан, так бессовестно брали взятки, что горожане написали челобитную царевичам Ивану и Петру Алексеевичам. Те живо откликнулись, и в июне 1682 года права граждан по выбору городничего и подьячих были восстановлены специальной грамотой, в которой указывалось, что выбирать им велено только того, кого они «всем миром излюбят», а подьячим без «мирских зарученных выборов... быть никому не велеть».

В 1686 году Котельнич, которому разрешили избирать излюбленных всем миром городничих и подьячих, Котельнич с новыми крепостными стенами и башнями, запасами пороха и свинца, с пищалями, кабаком, приказной избой, Троицкой, Алексеевской и Николаевской церквями взял... да и сгорел дотла. Поскольку военного значения кремль уже не имел, то его восстанавливать не стали.

В 1718 году Котельнич был приписан в составе Вятской провинции к Сибирской губернии. Не как город, но как пригород. Не в том смысле, что пригород какого-то другого города, а в том, что для города он не вышел... Всем и не вышел – ни количеством жителей, ни количеством домов, ни промыслами, ни ремесленниками, ни мануфактурами. Соседние Орлов, Слободской, Кунгур и, понятное дело, Хлынов, вышли, а Котельнич... Впрочем, как и во всех больших городах, в маленьком Котельниче была учреждена ратуша и выбран бургомистр, который сначала подчинялся главному магистрату Петербурга, а потом магистрату Хлынова. Новых сборов и податей стало столько... На устройство Петербурга, Ревельского порта и Ладожского канала и на генеральный провиант войск денег дай. На морской провиант тоже дай. Про рекрутов и говорить нечего. Конскую, во всех смыслах этого прилагательного, пошлину заплати, а еще банный сбор, а в довершение всего на содержание Котельнича и соседних городов был поставлен Ингерманландский полк. Начались недоимки. Начали выборных людей, ответственных за сбор податей, публично бить батогами перед съезжей избой и ссылать на вечное поселение в Азов. Начали опечатывать лавки и открывать только после полного расчета города по долгам. Начал Котельнич вместе со всей Вятской провинцией хиреть. Ну, да ему было не привыкать хиреть. Чай, не в первый раз. Кроме двух церквей был он весь, как и прежде, деревянным. По переписи 1717 года в городе было сорок пять дворов, а в них всего сто семьдесят жителей. В середине семнадцатого века дворов в Котельниче было в три раза больше. В 1744 году

мужчин в городе проживало 198 человек. Ровно на сорок человек больше, чем в 1658 году. Конечно, статус уездного города, дарованный Котельничу при Екатерине, герб в виде золотого котла на зеленом геральдическом поле, регулярная планировка[5], городничий с годовым окладом в триста рублей, трехгласная дума, земский суд во главе с капитаном-исправником, регулярный план, квартальные надзиратели, квартальные поручики, доктор с годовым окладом в триста рублей, лекари, подлекари, лекарские ученики, городовой магистрат, сиротский и словесные суды, ратманы, трубочисты, подрядчики для содержания и зажигания фонарей, вывоза нечистот и, наконец, специальный столб для прибивания объявлений способствовали много к украшению города, но если бы не ярмарка...[6]

Поначалу, еще в конце семнадцатого века, она длилась всего три дня. Более всего торговали на ней зерном, льном и холстом. Готовой одеждой за отсутствием портных тогда торговать было некому. В Котельниче ремесленников почти не было[7], а в соседних городах были и серебряники, и медники, и мыльники, и кожевенники, и красильщики, и кузнецы, и шорники. Вот их-то продукция на ярмарке и продавалась. Кроме того, на ярмарке торговали лошадьми вятской породы – маленькими, мохнатыми и чрезвычайно выносливыми. Лошадки эти могли везти по двадцать пять и больше пудов груза по семь часов кряду и работали по двадцать пять лет. К началу девятнадцатого века привозилось их на ярмарку до полутора тысяч голов, а в середине века уже в два раза больше. Лошади были таким ходким, во всех смыслах этого слова, товаром, что покупатели приезжали за несколько дней до начала ярмарки и раскупали лучших заранее. Значительная часть этих лошадей продавалась в Московскую, Нижегородскую и Казанскую губернии. Специальными правилами было запрещено испытывать купленных лошадей на улицах Котельнича. Для этого отводился песчаный берег Вятки против города. К тому времени на ярмарку, которая длилась уже десять дней вместо трех, съезжались не только из окрестных сел и деревень, но из Москвы, Нижнего, Костромы, Ярославля, Уфы, Могилева, Курска, Астрахани, Казани и Устюжны. Сотни лавок торговали сукном, парчой, ситцем, коленкором, золотом, серебром, кожами, мехами, москательными товарами, посудой, чаем, сахаром, соленой и вяленой рыбой, мукой, коноплей, льняным маслом, рожью, домашней птицей, яйцами, сушеными грибами и ягодами. В 1832 году на ярмарку привозили даже хрусталь и бриллианты, правда, торговля ими шла не очень успешно – купили только треть из привезенного.

Все же, событиями Алексеевской ярмарки, которая, хоть и была главным событием в жизни города, но шла не дольше трех недель, жизнь города не ограничивалась. Война двенадцатого года до Котельнича дошла в виде правительственного указа о народном ополчении. От Котельнича было двадцать добровольцев. Формировали это ополчение в Вятке и Уржуме. В первых числа ноября двенадцатого года, когда Наполеон уже отступал по старой Смоленской дороге, первую партию вятских ополченцев отправили... в Казань. Там пришлось ополченцев, одетых в армяки и шаровары серого сукна, доучивать, довооружать и обмундировывать. Параллельно в Котельниче был сформирован отряд земской милиции. Собрали и шестьсот рублей на нужды обороны. Объединенные Казанское и Вятское ополчения, состоявшие из пяти пеших и двух конных сотен, на российский театр военных действий дойти не успели, но в Европе отличились при взятии Гамбурга, Виттенберга, Торгау и осаде Магдебурга. Французов жители Котельнича все же увидели, но уже в качестве пленных. Жили они в городе и уезде до 1816 года. После этого те, кто не умер от ран и болезней, смогли вернуться на родину. Захотели, правда, не все.

В сентябре 1843 года по сенатскому указу Алексеевская ярмарка поучила статус государственной. Теперь для ее подготовки создавали ярмарочный комитет. Первого марта, после торжественного молебна на площади перед Троицким собором, поднимали городовой флаг и по улицам Котельнича отправлялся ходить барабанщик, который барабанным боем оповещал всех о начале торговли. Население города на время ярмарки, которая длилась уже три недели, увеличивалось порой в десять раз. В двух старых деревянных гостиных дворах было триста тридцать торговых лавок, но всех желающих они вместить не могли. Построили новый каменный гостиный двор по проекту петербургских архитекторов. Купцы останавливались в гостиницах и на квартирах местных жителей. Хитрые купцы умудрялись и закупать и продавать свой товар по месту своего временного жительства[8]. Это позволяло им уклоняться от платежей в городской бюджет. Гласный городской думы, призванный следить за этими архиплутами, протобестиями и надувайлами морскими мог хоть разорваться на

тысячу частей – и все равно не мог с ними ничего сделать. Комиссия, ходя по одной стороне торгового ряда с проверкой, должна была иметь множество глаз, чтобы заметить, как купленные разрешения на торговлю переходят из проверенной части в непроверенную. Не говоря о возах, которые просто переезжали с места на место. Даже торговые палатки исхитрялись торговать без оплаченных разрешений. Каждый день на ярмарке толклось от девяти до тринадцати тысяч покупателей, которые одновременно были и продавцами. Ситуация усугублялась тем, что каждый купец хотел торговать на том месте, где ему было удобно. К примеру, во фруктовом ряду были лавки с посудой и мелкой галантереей, а там, где должна была быть посуда, продавали... да все что угодно. Между продавцами из-за мест часто возникали споры, переходившие в драки[9]. Плана, который определял бы количество продавцов в ряду или длину и ширину балаганов за двести лет, которые прошли со времени основания ярмарки, не составили. Полиция в драки не вмешивалась. У нее, как и у городских властей, был забот полон рот. Надо было обложить дополнительными поборами купцов, утаить часть собранных налогов, уменьшить в бумагах реальный оборот ярмарочных торгов[10]. Жалобы купцов на поборы и утеснения местных властей были так настойчивы, что в 1858 году на ярмарку прибыл вятский губернатор, обошел всех торговцев и с каждым поговорил. Та ярмарка надолго запомнилась купцам. Вот что они писали в благодарственном письме губернатору: «Никогда еще не было для нас такой спокойной и благоприятной ярмарки; мы торговали, как бы отдыхая, – не было ни кляуз, ни притеснений. Искренне благодарим такого справедливого и внимательного начальника губернии к торговому сословию. Его превосходительство Николай Михайлович Муравьев своим личным присутствием осчастливил нашу торговлю».

Со временем, после того как традиционный русский национальный костюм стал уходить в прошлое, на ярмарке появилось готовое платье. Оно было отечественного производства, но русские купцы, понимая про своего покупателя даже то, чего он сам про себя не понимал... на подкладке, к примеру, картузов писали французскими буквами фамилию русского фабриканта из Москвы, Казани или Нижнего. Покупателю, конечно, клялись в том, что картуз заграничный и сейчас из французских магазинов. И надпись показывали – самую что ни на есть французскую.

И ведь что удивительно – покупали все эти головные уборы на ярмарке преимущественно крестьяне и мещане Вятской губернии. Модные московские магазины на Кузнецком мосту не приезжали сюда оптом закупать картузы. Крестьянам-то с мещанами зачем французские буквы на подкладке... [11]

С шапками были свои хитрости. Шапку с околышем из нутрии, не моргнув глазом, выдавали за бобровую и вместо полтинника продавали ее за два или три рубля. Обвесить в те времена было куда больше возможностей. Достаточно было начать торговлю затемно и фонарь поставить чуть дальше, чем нужно, от весов... Особенно удобны для этих целей были безмены. В середине девятнадцатого века власти их даже запретили использовать в торговле, но... в Вятке, как говорит пословица, свои порядки. Где те власти, которые запретили, а где продавцы... Безмены, случается, используют и сейчас[12].

Со второй половины позапрошлого века на ярмарке перестали соблюдать запрет на различные увеселения, и мгновенно город наводнили бродячие фокусники, борцы, клоуны, актеры и карточные шулера. Работало два кукольных театра, гастролировал Нижегородский ярмарочный театр, приезжал цирк Дурова со своей знаменитой мышиной железной дорогой, два зверинца с верблюдами, обезьянами, ослами, лисицами и непременными медведями, а еще два постоянно действующих электротеатра, карусель, акробатические представления, трактиры, пивные, бильярд и три дома терпимости. По количеству девиц легкого поведения, которых в городе было зарегистрировано два с лишним десятка, Котельнич занимал второе место в губернии и уступал только Вятке.

Один из местных домов терпимости на улице Урицкого мне показали. От него остались только стены, на которых висят две мемориальных таблички. Одна из них свидетельствует о том, что здесь в прошлом веке с двадцать седьмого по семьдесят третий год жил и работал писатель Леонид Николаевич Рахманов, а вторая о том, что почти в это же время здесь жил Скурихин Анатолий Васильевич – один из основоположников советской фотожурналистики и создателей фотолетописи Советского Союза. Неподалеку от этого полуразрушенного дома стоит хорошо сохранившийся дом дореволюционной постройки, в котором теперь размещается детский сад «Вишенка». Там, в те времена, когда

дом терпимости работал круглосуточно и без выходных, находилось полицейское управление. Местный краевед Олег Александрович Зайцев уверил меня в том, что оба эти здания были соединены подземным ходом. Был, по словам Зайцева, и еще один подземный ход, который соединял полицейское управление со стоящей на соседней улице женской гимназией. – Не может быть! – воскликнул я, – чтобы в женской гимназии... – Гимназистки... – со значением сказал Олег Александрович и... замолчал. И многозначительно поднял указательный палец вверх. – Ну, если только к двоечницам выпускных классов, – сдался я.

Оставим гимназисток и вернемся к ярмарке. Одни из самых больших оборотов на ней были у тех, кто торговал рожью, ячменем и овсом, урожаи которых были традиционно высоки в южных районах Вятской губернии. Котельнич издавна славился своими мельницами – водяными, ветряными и паровыми. К середине девятнадцатого века в уезде работала пятьдесят одна мельница. Во всей остальной губернии только семь. В 1867 году их было уже около двух тысяч[13] и перемалывали они в год до шести миллионов пудов зерна. Размол стоил две копейки за пуд. Чуть более пяти миллионов пудов муки уходило на продовольствие уезда, некоторое количество шло на винокурение, а сотни тысяч пудов муки увозили в Архангельский порт для торговли с Бельгией, Англией и Голландией. Одними из самых крупных в Котельниче торговцев хлебом и крупами были купцы первой гильдии Кардаковы. Производимые на их заводах овсяная крупа и толокно шли на экспорт в Европу. Из поставляемой в Англию крупы «Русский геркулес», которую делали из сортового овса, англичане в конце девятнадцатого века и в начале двадцатого каждое утро варили себе овсянку. Старая картонная пачка «Русского геркулеса», стоящая в краеведческом музее под стеклом, украшена медалями различных выставок, как этикетка коллекционного шампанского. Тут тебе и Большая золотая медаль с выставки в Брюсселе, и Большая серебряная медаль министерства финансов, и еще штук пять самых разных. Способ приготовления описан всего на трех языках – на русском, английском и французском. Тут бы надо сделать вывод насчет... Сами сделаете. Его и ребенок сделает.

Уж раз зашла речь об английском завтраке, то надо будет сказать и о яйцах, которые отправлял в Англию из Котельнича купец Колбин. Свежие яйца из Котельнича в Англию. Через Архангельск. Еще до того, как Котельнич и Архангельск связала железная дорога. Их покупали у местных крестьян специально обученные люди – яичники[14]. Обмазывали золой, чтобы предотвратить их преждевременную порчу, укладывали в специальные ящики с соломой, грузили на телеги, и выносливые вятские лошадки везли их в Архангельск, там их грузили на суда и везли в Соединенное Королевство[15]. Обратно из Архангельска купцы везли виноградное вино, треску, свежую и соленую сельдь, семгу, ворвань, сахар и все то, что можно купить в Европе за деньги, вырученные от продажи муки, леса, льна, овса, ячменя и яиц. К примеру, английские швейные машинки, которые в Котельниче были не мене популярны, чем «Зингер», или немецкие гладильные катки для глаженья прямого белья. Такой каток – большой, неподъемный, с шестеренками и колесами, которые наверняка любили крутить дети, сейчас украшает экспозицию городского краеведческого музея.

В 1862 году учитель уездного училища Илья Егорович Глушков в этнографическом сборнике Русского географического общества «Топографическо-статистическое описание города Котельнича» представил портрет своего земляка середины века: «Роста они большею частью среднего, телосложения мужчины и женщины крепкого, волосы темнорусые... В одежде заметна некоторая чистота и щеголеватость. Пожилые люди по старому еще обычаю носят длинные суконные сюртуки и чепаны[16], жилеты прямые с глухим воротником и брюки, опущенные в голенища сапогов... Но нынешнее поколение одевается далеко не так. Богатые купцы для себя и своих стали выписывать из столиц различные дорогие предметы роскоши, о которых лет десять тому назад старики, конечно, не могли и подумать иначе как о вещах разорительных и ненужных. Молодые купчихи одеваются в самые модные костюмы, необходимою принадлежностью их туалета уже считаются бриллиантовые кольца, брошки, серьги и фермуары; в зимнее время можно нередко видеть на них бархатные платья и бархатные салопы на лучших лисьих мехах». Как трогательна эта «некоторая чистота и щеголеватость»!

Все эти фермуары, бархатные платья и салопы на лисьем меху вовсе не для красного словца были написаны Глушковым. Так оно и было на самом деле. В городском общественном банке, который организовал неутомимый Михаил Иванович Кардаков[17] и который внес половину его двадцатиты-

сячного уставного капитала, ежегодные поступления на лицевые счета котельничан за тринадцать лет с 1868 года по 1881 год выросли почти в четыре раза и составили чуть более ста тысяч рублей.

При всем богатстве Алексеевской ярмарки, обороты которой в отдельные годы достигали нескольких миллионов рублей, сам Котельнич отнюдь не процветал и в промышленном отношении был почти не развит. Конечно, были в городе и уезде кожевенные и винокуренные заводы, кирпичные сараи (именно сараи, а не фабрики) Кардаковых, табачная, папиросная и сигарная фабрики купца Князева, лесопилки, сургучный завод мещанина Вершинина, несколько свечных заводиков, каждый размером с небольшую светелку, и все то, что обычно было в русских уездных городах девятнадцатого века, но... было это все в таком количестве, что к концу века в производстве было занято всего десять процентов населения[18]. Доходило до смешного – класть печи, выполнять плотницкие работы и лудить медную посуду приезжали в Котельнич мещане из соседнего Орлова. В городе нельзя было найти хорошего мебельного мастера. Да и кому, спрашивается, придет охота заниматься производством, если гораздо проще заработать на сдаче комнат внаем купцам, приехавшим на ярмарку. Кстати, о купцах. Богатых купцов первой гильдии в Котельниче было всего два семейства – Кардаковых и Зыриных. Этих можно было назвать еще и промышленниками. Всем остальным купцам по своим оборотам до Кардаковых и Зыриных было как до... Более всего в Котельниче было мелких розничных торговцев. В соседних городах Вятской губернии купечество было куда многочисленнее и богаче. В 1870 году по количеству купцов первой гильдии Котельнич среди городов Вятской губернии занимал последнее место.

За вторую половину девятнадцатого века площадь города приросла совсем немного – с 1, 2 кв. км до 1,8 кв. км. в девятьсот двенадцатом году. На этой, по нынешним меркам микроскопической площади проживало 4600 человек. На ней, кроме, собственно, домов горожан стояли мужская и женская гимназии, одно женское и два мужских училища, ремесленная школа, три церковно-приходских училища, дурно устроенная больница, в которой не хватало коек, врачей, акушерок и медикаментов, городской сад, купеческий клуб, у входа которого стояли бронзовые львы, привезенные из Англии, городской Троицкий собор, несколько церквей, здание городской думы, земской управы, одна публичная библиотека, три публичных дома, кабаки, лавки и почта[19]. Четыре тысячи шестьсот горожан были объединены в самые различные сообщества. Никаких, конечно, партий кадетов с эсерами в Котельниче и в помине не было, но зато был комитет Красного Креста, попечительство о народной трезвости, общественное собрание, музыкальный литературно-драматический кружок, общество правильной охоты, кружок рыболовов, пожарное, образовательное и благотворительное общества, отделение Союза русского народа и несколько, как говорят микробиологи и инфекционисты, единичных в поле зрения марксистов.

Строго говоря, первые марксисты появились в Котельниче незадолго до конца девятнадцатого века. Они были первыми не только в Котельниче, но и в России. Вернее, был, поскольку он был всего один – Николай Евграфович Федосеев, написавший летом 1888 года в Котельниче статью «О взимании недоимок в Котельническом уезде». На лето пламенный революционер приезжал отдыхать к маме – купчихе первой гильдии Зыриной. Кто бы помнил эту работу о недоимках и самого Федосеева, если бы марксистский кружок, который он организовал в Казани, не посещал будущий вождь мирового пролетариата. С Лениным Федосеев по миллиону разных причин так и не встретился, но интенсивно переписывался. Вся эта организация марксистских кружков в Поволжье и переписка с Лениным довела Федосеева сначала до тюрьмы, потом до ссылки в Сибирь, а потом и до самоубийства в 1898 году. Через год после его смерти в Котельниче появилась первая марксистская группа, которой руководила ссыльная Елена Крумзе – сосланная из Петербурга в Котельнич по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Она долго в Котельниче не задержалась и в 1901 году уехала в Вологодскую губернию, по месту ссылки мужа, но кружок остался и... через четыре года в Котельниче забастовала спичечная фабрика Зубаревых. Забастовка была экономической, требования скромными, но баловства со спичками хозяева не потерпели и всех зачинщиков уволили. Еще через год большевистские прокламации были не только расклеены по всему городу, но даже брошены в почтовый ящик уездному исправнику. Во время чтения царского манифеста 17 октября пятого года собралась толпа в триста человек у здания земской управы, требовали упразднить полицию, пели

Марсельезу, ходили по улицам, у здания местной тюрьмы кричали «Свободу преступникам», призывали арестантов бить стекла, но при виде воинского патруля немедленно разбежались.

Несмотря на забастовки, кружок марксистов, волнения крестьян в уезде и прокламации, которые распространяли даже гимназисты, город жил своей жизнью и не переставал развиваться, чтобы успеть к тринадцатому году выйти на те показатели, которые советские экономисты еще долго будут сравнивать с... Они бы и сейчас сравнивали, если бы Советский Союз не приказал долго жить. В самом начале двадцатого века через Котельнич прошла железная дорога, которая шла из Перми в Вятку, из Вятки в Вологду, а из Вологды в Петербург. То есть сначала-то она могла и вовсе пройти через соседний Орлов, но в результате долгой, упорной подковерной борьбы, в которой Орлов поддерживала Вятка, поскольку по предварительному плану дорога должна была пройти через Орлов, Кологрив и Чухлому... Короче говоря, после того как котельничане, дошедшие в своих настойчивых просьбах до министерств путей сообщения и финансов, всех, от кого зависело принятие решения, убедили, уговорили, умаслили и подмазали, дорога прошла через Котельнич, а Орлов... до сих пор простить Котельничу этого не может. Строительство дороги закончилось в девятьсот пятом году, а вот мост чрез Вятку у Котельнича сдали в эксплуатацию только через четыре года. Все четыре года поезда шли по временному деревянному мосту, но и по временному из Петербурга в Вятку и обратно каждый день проходило четыре поезда, а по субботам и воскресеньям два дополнительных. Увы, железная дорога привела к снижению оборотов Алексеевской ярмарки, но при этом общий торговый оборот самого Котельнича вырос к тринадцатому году до пяти миллионов рублей, что было больше оборотов ярмарки почти в двадцать пять раз. Местные острословы тогда говорили, что до открытия железной дороги в Котельниче яйца стоили гривенник, а баба – рубль. После открытия – баба гривенник, а яйца – рубль. Шутка, мягко говоря..., но ~~и Котельнич и не Петербург~~ экономические реалии того времени отражала. Наверное.

Перед самой первой мировой Котельнич, наконец, созрел для проведения в городе водопровода. Дозрел-то он, конечно, раньше – разговоры о том, что водопровод городу необходим, велись уже больше тридцати лет, но в июле девятьсот двенадцатого года произошла его закладка, а в ноябре того же года он заработал. Денег на строительство не хватало – пришлось взять ссуды у губернского и уездного земства и еще часть денег была дана по решению Николая Второго. Воду для водопровода брали из Вятки и фильтровали ее через американские фильтры. Жителям города выдали специальные металлические жетоны, и они могли по этим жетонам покупать воду из специальных водоразборных будок. Сто ведер стоили тридцать копеек. Водопроводные трубы были деревянными, из лиственницы, и потому не гнили и не зарастали ржавчиной. Эти деревянные трубы нет-нет да и находят коммунальщики при ремонте водопроводных сетей. Отрезок трубы, который нашли семь лет назад, теперь украшает витрину краеведческого музея. Некоторые котельничане, как сказали мне в музее, убеждены, что часть труб городской водопроводной сети до сих пор... но нынешнее водопроводное руководство это решительно отрицает. Как бы там ни было, а водопровод исправно служил городу весь двадцатый век.

Кроме водопроводной в Котельниче была телефонная сеть, но только у тех, кто мог себе позволить такое дорогостоящее удовольствие. Из улиц, замощенных камнем, нельзя было составить не только сеть, но даже и авоську. Из шестнадцати километров городских улиц было замощено только три километра улицы Московской. Редкие керосиновые фонари освещали заросшие травой... Впрочем, нет. Не заросшие. Местные жители выпускали на них пастись скот, и тот не токмо ощипывал траву у домов, но и, бродя по городу, объедал дочиста все зеленые насаждения. Городская дума еще в 1892 году даже принимала специальное постановление «О недопустимости скота бродить по городу Котельничу». Бродячий скот задерживала полиция, о таковом задержании делались публичные объявления по городу и уезду, владельцев скота штрафовали, штрафовали и... ничего не помогало.

Первая мировая началась для Котельнича прибытием эшелонов с резервистами для отправки на фронт. Набралось их около шести тысяч, кормили их плохо, и шестого июля четырнадцатого года они стали громить лавки, магазины и склады. Много не успели разгромить – подоспела полиция, убила десять человек, дюжину ранила и порядок навела. Несмотря на порядок, обыватель был напуган. В длинной череде последующих испугов это был лишь первый. Из котельничан укомплектовали

пехотный полк и развернули в городе несколько госпиталей. Испуг прошел и перешел в патриотический подъем – заказали икону «Знамение августовской победы 18 сентября 1914 года», дежурили в больницах возле раненых, устраивали им концерты и покупали для них продукты. Последние к семнадцатому году подорожали за три года войны в три с половиной раза.

Февральскую революцию встретили восторженно. Духовые оркестры играли «Варшавянку», «Отречемся от старого мира» и «Смело товарищи в ногу». Отрекались и смело ходили по улицам в ногу с красными бантами на груди. Власть между тем как была в руках городской думы – так в них и оставалась. В апреле образовался Совет рабочих и солдатских депутатов, но... сидел тихо и не высовывался. Сторонников Совета в городе было очень мало. Гласные думы Бабинцев и Куршаков организовали отряд самообороны, и в Котельниче все было тихо вплоть до ноября. В ноябре большевики начали агитацию среди рабочих и в воинском гарнизоне. Агитация шла плохо. Все же, была организована группа в тридцать активистов, которая провела подпольное собрание и потребовала восьмичасовой рабочий день, выборов рабочих комитетов на предприятиях, организации союза металлистов, союза кожевенников и кружка изучения устава партии большевиков. Власть, в планы которой организация кружка по изучению большевистского устава не входила, активистов арестовала. В ответ большевики... В ответ власти... Так продолжалось до шестого декабря. В этот день на железнодорожную станцию «Котельнич» прибыл состав с летучим отрядом из шестидесяти балтийских матросов. Оказывается, рабочие спичечной фабрики собрали денег и отправили в Петроград гонца за помощью.

Помощь приехала, окружила город, штурмом взяла штаб самообороны, арестовала уездного комиссара, изъяла в ходе обысков по всему городу сотни винтовок и гранат. На следующий день большевики объявили о создании временного революционного комитета и передаче ему всей власти в городе и уезде. Само собой, ни городская дума, ни гласные уездного земства новой власти не признали. Более того, в местной прессе началась кампания по дискредитации большевиков, которая продолжалась почти две недели. Через десять дней думу распустили, гласных арестовали, а для управления городом выбрали комиссию во главе с солдатом, поскольку все кухарки в ужасе попрятались и еще не были готовы управлять государством.

Население новую власть не поддержало. Купцы закрыли лавки, а чиновники перестали ходить на работу. Еще и левые эсеры, у которых в уездном совете, в отличие от большевиков, было большинство, взяли и все деньги из местного отделения госбанка спрятали в тайнике. Да и с какой, спрашивается, радости, поддерживать новую власть, которая уже через месяц своего правления начала отбирать у своих граждан продовольствие и отправлять его в Петроград. В январе восемнадцатого в столицу отправилось десять вагонов зерна и двести голов скота. Через два месяца состоятельных граждан Котельнича обложили контрибуцией в триста тысяч рублей. Деньги каждый из списка состоятельных граждан должен был внести в казначейство в трехдневный срок. Балтийские матросы, которые в Котельниче занимались реквизициями и взыскивали налоги, на своем штабе вывесили черный флаг с надписью «Анархия – мать порядка». Начались ежедневные обыски и расстрелы. Обыватель уже не был напуган – он просто умирал от страха. Надо сказать, что не только обыватель боялся балтийских матросов – новая власть их тоже побаивалась. Так побаивалась, что послала в Петроград гонца за помощью, чтобы утихомирить ту помощь, которую прислали в прошлый раз.

Новая помощь представляла собой десант из четырнадцати петроградских коммунистов. Их лидер Удалов опирался на штыки отряда Красной гвардии. В марте, на третьем съезде Советов... эсеры заблокировали все решения большевиков и избрали своего председателя. Съезд строго спросил у командира балтийских матросов Журбы, куда он дел средства, полученные от населения, которое обложил чрезвычайным налогом. Журба не стал уходить от ответа – он просто пообещал установить в зале пулеметы и всех делегатов... Уж как удалось его уговорить не делать этого – не знаю. Может, объявили перерыв в прениях и все пошли пить чай с баранками в буфет, а может, и не чай, а коньяк из старых, дореволюционных купеческих запасов. В результате за перегибы, самоуправство, самовластие, неподчинение Совету рабочих и крестьянских депутатов Журбу... не тронули, но арестовали его заместителя, председателя Временного революционного комитета и уездного совета большевиков, а также его секретаря. В том же месяце Журбу попыталась утихомирить чрезвычайная

следственная комиссия Уральского совета, но в ответ на предложение сдать оружие тот предложил взорвать Котельнич. Все же, после переговоров, отряд согласился покинуть город и, к громадному облегчению всех котельничан, укатил вместе со своим командиром в Петроград для подтверждения своих полномочий. Ходили упорные слухи, что вместе с Журбой укатили в Петроград экспроприированные у бывших экспроприаторов золото и драгоценности[20].

Отъезд балтийцев ненадолго разрядил обстановку – начиналась гражданская война. В мае на станцию прибыла взрывчатка на имя владельца аптеки Федорова. То есть прибыла не взрывчатка, а подозрительный груз, про который бдительные железнодорожники сообщили местным чекистам. Ящики вскрыли, сопровождающих груз расстреляли, дом Федорова взяли штурмом и самого Федорова тоже расстреляли. В июне в город под видом мешочников прибыла группа белых офицеров. Они хотели отбить у большевиков семью Николая Второго, которую по их данным должны были перевезти в Котельнич в связи с тем, что на Екатеринбург наступали части Колчака. Освобожденную царскую семью предполагалось на катерах доставить в Архангельск. Не успели офицеры... В июле большевики решили поставить большую кровавую точку в политической борьбе с левыми эсерами, разоружили штаб левых эсеров и расстреляли лидеров. В сентябре в Котельниче, окруженном крестьянскими восстаниями в волостях со всех сторон, начался красный террор. Были расстреляны председатель уездного совета народных судей, урядник, исправник, пристав, земский начальник, два учителя и владелец чугунно-литейного завода. За контрреволюционную агитацию был расстрелян не кто-нибудь, а первый председатель Совета рабочих депутатов. Революция не то чтобы пожирала своих детей – она жрала всех подряд. И все это на фоне непрекращающейся продразверстки, к которой добавилась национализация. К маю восемнадцатого года национализировали спичечную фабрику, чугунолитейный завод, механические мастерские, гостиницы, столовые, чайные и даже железнодорожный буфет. Крупяной завод и все имущество купцов Кардаковых были национализированы еще в семнадцатом. Сначала завод передали на хранение последнему и теперь уже бывшему владельцу. Потом Петр Кардаков работал на этом заводе мастером-инструктором, потом заведовал артелью инвалидов «Геркулес». Именно так – артелью инвалидов «Геркулес». Потом стал «лишенцем», потом уехал с семьей на Урал, потом завод от небрежения рабочих сгорел.

И все же. В двадцатом году построили городскую электростанцию, а через год начался НЭП, ожили кустари, полумертвая частная торговля и кооператоры. В двадцать третьем вновь открылась Алексеевская ярмарка, и ее оборот за два года вырос с полумиллиона до почти миллиона уже советских рублей. К двадцать пятому закончили строить железную дорогу на Нижний, а утром двадцать шестого мая двадцать шестого года деревянный Котельнич загорелся и горел до тех пор, пока две третьих города не выгорело. Конечно, сначала думали, что быстро потушат, конечно, пожарных не оказалось на месте, конечно, дул сильный ветер, который перенес искры на склад пакли и льна, конечно, в тот день, как на грех, часть льняной кудели подсушивали на крыше... Центр города горел так, что по улицам валялись сгоревшие заживо поросята, куры и гуси. У сгоревшего рыбного склада ели жареную рыбу, от бакалейного склада по мостовой текли ручьи расплавленного сахара и те, кто пошустрее, наматывали на палки быстро застывающие сахарные комья. Впрочем, большей части котельничан было не до сладкого – в ужасе бежали они к Вятке, чтобы спастись на плотах, бывших у берега, но даже и плоты приходилось время от времени поливать водой, поскольку они то и дело загорались от страшного жара. Люди стояли по горло в воде. К вечеру выгорело восемьдесят процентов общественных зданий и полторы сотни частных домов, две церкви и городской собор. Погибло семь человек, и семь тысяч стались без крова. В одной из центральных газет писали: «С холма, где стоит уцелевшая от огня больница, Котельнич напоминает раскопки древнегреческого города, погибшего от стихии тысячи лет назад».

Поначалу хотели оставить Котельнич поселком, но уездные власти сумели доказать губернским, что город нужно восстановить. И стали восстанавливать. Помощь приходила из разных городов. Из Тулы пришел вагон муки, из Твери пять тысяч рублей, из соседнего Яранска четыре тысячи пудов хлеба. Говорили, что даже английские докеры из пролетарской солидарности собрали триста тысяч фунтов и послали их в Котельнич. То ли дошли они, то ли нет... Несмотря на то что восстанавливали город изо всех сил, всех сил не хватало. На стройках было много беспорядка, чертежи на постройку

домов не давались и, как писали в отчете местного ОГПУ: «Технический состав объясняет производителям работ план работ словесно...». Воображаю эти словесные многоэтажные планы... Ну, и воровство стройматериалов со кладов тоже никто не отменял. Жили так скученно, что на каждого жителя приходилось лишь два квадратных метра жилой площади. Только через шесть лет население города по численности сравнялось с допожарным.

НЭП, как и все хорошее, быстро кончился. Алексеевскую ярмарку закрыли навсегда. Горожан, которые сдавали комнаты тем, кто приезжал на ярмарку, за нетрудовые, по советским понятиям, заработки просто лишили избирательных прав. Сделали, как тогда говорили, «лишенцами». Попасть в лишенцы во второй половине двадцатых было легко. Даже слишком легко. К примеру, за частную торговлю, за нетрудовые доходы, за использование наемного труда, за принадлежность к религиозному культу, за службу в полиции, за то, что ты жена, или муж, или сын, или дочь, или отец, или мать лишенца. К тридцатому году частной торговли в Котельниче почти не осталось. Сразу поднялись цены. Да и за свои деньги нужно было простоять ночь в очереди у магазина, чтобы попытаться купить пару галош, которую уже ставшие советскими продавцы успели продать знакомым. Горожане стали писать жалобы[21], а власть стала складывать их под сукно. Началась обычная советская жизнь с ее лозунгами, митингами, партийными собраниями и чистками, репрессиями, доносами, облигациями государственного займа, которые можно было добровольно и с охотой купить[22], но никак нельзя продать, ссылками и голодом.

В тридцать четвертом, когда «порядок при Сталине» по шкале твердости достиг почти невозможных величин, в горторге обнаружилась сорокатысячная растрата. Котельнич и вообще не был в передовиках – план по покупке облигаций регулярно не выполнялся, несмотря на грозные окрики городского и областного начальства, несмотря на бесчисленные резолюции партийных и беспартийных собраний, которые клеймили позором механический завод, промкомбинат, Союзы транспортников, строителей, промкомбинат и психиатрическую лечебницу, поскольку именно эти организации не выполнили... опозорили... поставили на черную доску...

Периодически власти устраивали чистки госаппарата и предприятий. Проходили собрания, на которых работники предприятий, замордованные бьющей ключом общественной жизнью... изо всех сил отмалчивались. Были, конечно, и те, кто «сигнализировал». К примеру, газета «Деревенская жизнь» во время одной из чисток писала: «Аптека является убежищем для всех чуждых и классово враждебных элементов. Не пора ли удалить семью живоглотов?» Впрочем, это был еще только двадцать девятый год – могли вычистить с работы, из партии, наложить взыскание или оштрафовать, пусть и на крупную сумму. В тридцать седьмом люди начали исчезать. В тихом захолустном Котельниче было арестовано невиданное количество японских и эстонских шпионов, троцкистов и членов кулацко-диверсионных групп. В тридцать седьмом репрессировали пятьдесят человек, а в тридцать восьмом тридцать девять. Расстреляли тридцать одного и двадцать семь отправили в лагеря на разные сроки.

И все же. В тридцатые запустили кирпичный и лесопильный заводы, фабрики стройдеталей и трикотажную, МТС, открыли амбулаторию, среднюю школу, стадион, баню, педагогический техникум, детскую больницу, медицинское училище и музыкальную школу. Планы были грандиозные – построить новую электростанцию, работающую на торфе, два машиностроительных завода, железную дорогу до Йошкар-Олы, новый вокзал, комбинат по переработке льна, но... в тридцать четвертом образовался Кировский край, и стали развивать Киров. Удалось только закрыть и разобрать на кирпичи Предтеченскую церковь и Троицкий собор.

И все же. Жить стало лучше, стало веселее. Помните два квадратных метра жилой площади, которые приходились на котельничанина после пожара двадцать шестого года? Через десять лет эти два квадратных метра превратились почти в три. И вот еще что. Год за годом в Котельническом городском Совете рабочих и красноармейских депутатов уменьшалось количество рабочих и кухарок, способных управлять государством. Если в двадцать седьмом году домохозяек было одиннадцать, а рабочих от станка десять, то в тридцать девятом домохозяек не было вовсе, а рабочих осталось всего трое. Все остальные депутатские места были отданы избирателями служащим. Не всеми, конечно, избирателями. При всей обязательности хождения на выборы половина котельничан, име-

ющих право голоса, умудрялась не принимать участия в народном волеизъявлении. И это при том, что в буфетах при избирательных участках всегда было пиво, пирожки с повидлом и бутерброды с копченой колбасой.

На этом краткий обзор довоенной жизни Котельнича можно было бы и закончить, если бы не одно событие. В тридцать третьем году в Котельнич приехал из Казани гидрогеолог Сергей Георгиевич Каштанов. Искал он в районе Котельнича по заданию Камстроя подземные резервуары воды, поскольку водопровод, сработанный еще в двенадцатом году, стал не справляться с задачами, которые ставил перед ним городской Совет рабочих и красноармейских депутатов, а также районный комитет партии. Источники воды он нашел – это были ключи, которые били под высоким берегом Вятки. Вода, правда, была со слишком большим содержанием солей кальция и для водопровода не годилась. Пока Каштанов искал воду, загорал и купался, он, совершенно случайно, в месте, которое называлось Соколиной горой, нашел кости древних ящеров пермского периода. О своих находках он написал письмо в Москву, в Палеонтологический институт Академии наук и небольшое сообщение в журнала «Природа», в котором предположил, что нашел останки пермских рептилий – парейазавров[23]. На следующий год в Котельнич приехала экспедиция московских палеонтологов под руководством А.П. Гартман-Вейнберг, которая сумела найти возле Соколиной горы два полных скелета и два черепа парейазавров. Эти парейазавры были размером с годовалого бегемота или большую свинью – мирные и растительноядные. Бродили они по пермским полям, болотам и теплому мелководью, задумчиво жевали травянистые папоротники, сигиллярии и все то, что можно было жевать в пермском периоде. На партсобраниях друг друга не ели, облигаций государственного займа их никто покупать не заставлял, на митинги они не ходили и резолюций не принимали. И умирали от вполне естественных причин – то сожрет их какой-нибудь хищный и клыкастый горгонопс, то залезут они ненароком в глинистое болото и там утонут, да при этом станут кричать, и тут прибежит на крики горгонопс, съест их и тоже утонет... но так, чтобы друг друга лишить прав или, не приведи Господь, отправить валить араукарии с саговниками – этого и в мыслях никогда не было. Если бы жителю предвоенного Котельнича предложили переселиться в теплый, без зимних морозов, пермский период, да разрешили бы под огород взять столько земли, сколько... но вернемся в предвоенный Котельнич.

Война приближалась к городу заранее. Поначалу-то и заметно ее не было – только стало больше военных эшелонов, проходивших через железнодорожную станцию на Запад, только в сороковом открыли военный госпиталь, только появилась в Котельниче в мае сорок первого переселенная с Украины летная школа, только заняли городское футбольное поле учебными самолетами, только усилились перебои с продуктами, только за опоздание на работу можно было получить срок.

С началом войны вырыли щели возле домов, ввели светомаскировку. Не то чтобы немец с первого дня войны бомбил Котельнич, а просто в середине октября сорок первого караул у моста через Вятку обнаружил в небе неизвестный самолет, который пролетел и был таков. Думали разведчик. Пока думали – он и улетел. Секретарь райкома доложил, как и положено, в Кировский обком. Еще раньше, в июне, постовой охраны того же моста увидел человека, который зарисовывал мост за пределами охранной зоны. Думали – шпион. Пока думали, пока докладывали по команде – он и скрылся. Искали даже с собаками – не помогло.

Начиная с июля сорок первого в городе стали размещать эвакуированных из северо-западных областей – Псковской, Новгородской и Ленинградской. Только детских учреждений в Котельнич эвакуировали восемнадцать. Население Котельнича росло не по дням, а по эшелонам. Уезжали на фронт мужчины и приезжали дети, старики и женщины. Развернули четыре эвакогоспиталя на три с половиной тысячи коек и стали жить военной жизнью – работать без выходных, получать по карточкам хлеб, голодать, получать в столовой мучную подболтку – пять грамм муки на стакан кипятку, ремонтировать танки, шить гимнастерки, вскапывать клумбы и малопроезжие улицы под картошку, капусту и свеклу. Не хватало всего. Снятым кровельным железом с дровяных сараев крыли крышу эвакогоспиталя, открученные в жилых домах водопроводные краны устанавливали в дом, где разместилась эвакуированная психиатрическая лечебница, электропроводку из районной библиотеки, дома культуры, аптеки и пивного склада сняли и поставили в здания, занятые школами и общежитиями. К тем, у кого было больше трех квадратных метров жилой площади на человека, по решению

горсовета могли подселять не обеспеченных жилплощадью граждан. Собирали грибы и ягоды для нужд Красной армии и валили лес. Норма – сто кубометров на человека. Отвезут тебя в тайгу на месяц или два или три – и ты его валишь[24].

Со второй половины сорок четвертого года эвакуированные понемногу стали уезжать домой, и население Котельнича сократилось почти на треть – с тридцати двух до двадцати двух тысяч. В сорок девятом запустили небольшой маслозаводик, а за ним и черепичный. Во всем остальном... Даже к шестидесятому году на каждого горожанина приходилось по четыре квадратных метра жилой площади. Нет, что-то, конечно, делалось. В пятьдесят втором директор одной из школ писал в газете «Ударник», что необходимо отобрать у улицы Ленина ее название и приискать ему, то есть названию, более приличную улицу. Уж больно та, что есть, нехороша – и коротка, и кончается тупиком, и проходит через мусорную свалку. Улица Кирова ничуть не лучше. Идет по оврагу, кривая и... тоже упирается в тупик.

В сорок восьмом и сорок девятом годах в Котельнич приехала еще одна палеонтологическая экспедиция. Руководил ей ученик Ивана Ефремова. Результаты были удивительными – одиннадцать полных скелетов пермских рептилий. К ученику приезжал в гости учитель. Именно там, в Котельниче, задумал он новую науку о закономерностях образования процессов захоронения ископаемых остатков организмов и назвал ее тафономией. Конечно, тут хорошо бы добавить, что там же, в Котельниче, задумал Иван Антонович романы «Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы» и «Таис Афинская», но... чего не было – того не было. Правду говоря, и насчет тафономии есть сомнения, но... вернемся в послевоенный Котельнич, который в шестьдесят третьем году повысили в статусе – из города районного подчинения сделали городом областного.

В связи с этим уже через год заасфальтировали главную улицу – Советскую, замостили булыжником еще несколько улиц, высадили семь тысяч деревьев, кустарников и понастроили грандиозных планов по развитию города. Мечтали о строительстве завода тяжелого машиностроения с тремя тысячами рабочих и завода радиоэлектроники с четырьмя тысячами рабочих, мечтали о... Короче говоря, все вышло точно так же, как и с довоенными планами построить железную дорогу до Йошкар-Олы, новый вокзал и комбинат по переработке льна. Ну и ладно. Зато работала мебельная, трикотажная, швейная и кондитерские фабрики, маслосырзавод... Кстати, о маслосырзаводе. Он и сейчас работает. Правда, владельцы его находятся уже не в Котельниче, но колбасный сыр он делает прекрасный. Я не читал о том, что он хороший, и мне не рассказывали аборигены об этом – я просто его купил в магазине при заводе и попробовал. Сразу вспомнилось детство, длинная очередь в молочный отдел гастронома, ворох серой оберточной бумаги на весах, которой и вообще не жалели, но особенно не жалели тогда, когда с другой стороны прилавка стоял ребенок...

Из грандиозного удалась только постройка элеватора. Его начали строить на высоком берегу Вятки еще в пятьдесят третьем году. Думали, что по реке будут подплывать к элеватору баржи с зерном и по специально прорытому подземному тоннелю это зерно в вагонетках будут поднимать к элеватору, который отстоит от берега метров на сто. И построили. И элеватор, и тоннель и даже, кажется, завезли вагонетки. Вот только потом оказалось, что никто зерно возить в Котельнич не собирается. Тем более на баржах. Тем более по сильно обмелевшей Вятке, на которой давно нет никакого судоходства. Теперь от заброшенного элеватора и особенно от подземного туннеля нужно отгонять любителей лазить там, где этого делать не следует. Впрочем, никто никого не отгоняет, и при желании...

К семидесятым годам трудами палеонтологических экспедиций из Москвы стало ясно, что по количеству окаменелых останков парейазавров на душу населения Котельнич занимает едва ли не первое место в мире. К тому времени Котельническое местонахождение окаменелых останков пермских ящеров решением Кировского облисполкома было утверждено в качестве палеонтологического памятника природы федерального значения. В девяностом году в Котельниче даже начал поводить раскопки московский палеонтологический кооператив «Каменный цветок», который создал предприимчивый московский палеонтолог Дмитрий

Сумин – сотрудник Палеонтологического института еще советской Академии наук. И тут пошли находки одна интереснее другой. Оказалось, что под Котельничем кладбище не только парейазавров, но и множества останков других, более мелких ящеров и даже предков млекопитающих. Нашли, к примеру, небольших, размером с кошку, длиннохвостых рептилий, которые, скорее всего, жили на деревьях и были чем-то вроде обезьян пермского периода. Они еще откладывали яйца, но уже были теплокровными. Назвали их суминиями. Ну, понятно почему, хотя в Вятском палеонтологическом музее мне говорили, что нашел скелеты суминий человек с совсем другой фамилией, но его тоже не обидели. Нашли дицинодонтов – ужасных на лицо клыкастых ящеров и добрых внутри, поскольку зубов у них не было и перетирали они свою растительную пищу деснами, а клыками лишь разрыхляли... Впрочем, суть не в клыках, а в том, что большое количество всех этих палеонтологических редкостей было вывезено кооперативом «Каменный цветок» на специализированные палеонтологические аукционы в Германии и Соединенных Штатах. Тогда же, в девяностых, на Шереметьевской таможне у частного лица конфисковали два черепа парейазавра, которые вернули Палеонтологическому институту, а вот котельническому музею этих черепов, по словам знающих людей, не видать, как.... Так и лежит в музее под стеклом настоящий окаменелый скелет парейазавра с приставленным к нему муляжом черепа. Муляж, правда, искусно сделан. Редкий экскурсант отличит его от настоящего[25]. Четыре года кооператив «Каменный цветок» вел раскопки в Котельниче. И все эти четыре года окаменелые останки парейазавров, суминий и дицинодонтов...

И все же. Один из скелетов парейазавров, тщательно препарированный, привезли в Котельнич на выставку из Палеонтологического института. Выставка вызвала такой интерес у местных жителей, что энтузиастами было решено организовать в городе палеонтологический музей. Среди этих энтузиастов был... Дмитрий Сумин. Вы думали, у нас тут черно-белое кино... Нет, цветное. Вторым энтузиастом, которого, собственно, и можно считать создателем музея, был Альберт Хлюпин, принимавший самое деятельное участие в раскопках и препарировании экспонатов. Он и был первым директором этого музея. У музея оказалась трудная судьба. Первые годы он висел на тонкой ниточке энтузиазма, потом ниточку районные власти обрезали и пришлось временно переехать в Киров, потом вернуться в Котельнич, потом музей окуклился и стал бабочкой в Кирове, а в Котельниче ~~осталась высохшая шкурка~~ остался филиал, который совершенно не нужен районной администрации, которая выселила его за неуплату аренды, которую она от собственной жадности повышала, повышала... Теперь музей живет в подвале жилого дома, который отдала ему с барского плеча городская администрация. Там не так уж и плохо, но очень сыро и экспонаты начинают разрушаться, а потому срочно нужны деньги на специальные осушительные приборы, которых ни у районной, ни у городской администрации... Впрочем, рассказом о трудной судьбе российского провинциального музея можно удивить разве что иностранца.

В 2012 году в Котельниче открылся «Парк пермского периода», представляющий собой восемнадцать огромных муляжей мезозойских динозавров из стеклопластика, сделанных в Китае на заказ и расставленных по берегам протекающей через город речки Балакиревицы. Внимательный читатель спросит – а какое, собственно, отношение имеют мезозойские чудовища к пермским парейазаврам и дицинодонтам? Да никакого и не имеют. Просто турист к пермским ящерам вряд ли не пойдет – уж очень они не авантажные. Ни циклопических размеров, ни острых зубов в три ряда... Парейазавры еще размером со свинью, а какие-нибудь перплексизавры и вовсе не больше обычной крысы. Ну кто, спрашивается, на таких пойдет смотреть... Другое дело, что сначала в парке планировались динозавры, а потом, как обещал губернатор, строительство палеонтологического музея, в котором эти пермские ящеры будут представлены непременно, а потом... губернатора посадили, и кроме динозавров никого в парке нет. Зато они страшно рычат из спрятанных в них динамиков, и посетителей, особенно детских, от них за уши не оттащишь.

Градообразующего предприятия в Котельниче во времена Советского Союза так и не построили. Может, это и хорошо, а не то разорилось бы оно в перестроечные времена и лежало бы теперь в руинах, а его бывшие рабочие разъезжались бы по разным городам в поисках заработка. В Котельниче, конечно, космических ракет и истребителей пятого поколения не производят, зато крышки для консервирования, пластмассовые сиденья для унитазов, теплые пижамы, трусы, плавленый сыр, детский гематоген и деревообрабатывающие станки отменного качества. А какие местная швейная фабрика шьет куртки и пальто... Их почти в Котельниче и не продают – сразу везут в Москву, а уж там за ними очередь стоит. Короче говоря, если у вас нет теплой пижамы, износились трусы или пальто, сломалось сиденье унитаза, нечем закрыть банки с вареньями и соленьями, дети хотят гематоген и плавленый сыр, а двор завален необработанной древесиной – приезжайте в Котельнич, не пожалеете. Какие здесь делают рубительные машины и брусующие станки... ~~пальчики отрежешь~~. Не говоря о станках продольной распиловки.

Если все же вам не нужны ни крышки, ни пижамы, ни брусующие станки – все равно приезжайте. Заведующая палеонтологическим музеем Наталья Спицына, если с ней договориться заранее, посадит вас в свою машину и отвезет на берег Вятки – в то самое место, где находят останки настоящих пермских ящеров. Даст вам крошечный совок[26], чтобы вы не копнули слишком глубоко, кисточку, и вы, весь искусанный комарами и мошкой, перепачканный с ног до головы красной глиной, будете там счастливы, воображая себя знаменитым палеонтологом и героем парка пермского периода, пока вас не увезут обратно.

Уже уходя из палеонтологического музея я купил два магнитика – на одном была изображена панорама Котельнича с неработающим элеватором, а на втором – динозавр, которых в этих местах никогда не было[27].

И последнее. Неподалеку от места, где находят останки парейазавров, на высоком берегу Вятки, есть круги. Не просто круги, а, как мне рассказывали местные жители, круги, оставшиеся от приземления инопланетян. Понятное дело, что теперь они заросли репейником, крапивой, лебедой и сорной травой, но если знать, где приложить к ним, например, ладонь или другую часть тела, то можно почувствовать тепло. В этих местах и снег быстрее тает, и земляника если вырастет, то всегда слаще, чем в других, обычных местах. Не мудрено, что здесь устраивают свои слеты уфологи. Тогда, когда у них ремиссия, конечно, а не в периоды обострений.

---

[1] Умели тогда писать челобитные – и «животы твои», и «у тебя в городе». Теперь написали бы «животы наши» и «у нас в городе» и получили бы ничего не значащую отписку, а то и по шапке от тех разбойников, на которых жаловались. Вроде бы и разница лишь в местоимении, а результат от челобитных тогдашних и нынешних совершенно разный.

[2] У сотника Панова был помощник – вятский посадский человек Путило Рязанцев, которому удалось избежать казни. В 1613 году Рязанцев был избран вятчанами делегатом на Земский собор. Его подпись стояла под решением об избрании Михаила Романова на царство. В разных источниках о Путиле Рязанцеве сказано по-разному – то он житель Вятки, посланный князем Ухтомским вместе с Захаром Пановым организовывать оборону Котельнича, то котельничанин. Поскольку мы говорим о Котельниче, то пусть будет котельничанином. Тем более, что он подписывал бумагу об избрании первого Романова на царство.

[3] Рыба в те далекие времена в Вятке была. Ловили и стерлядь, и осетра, и белугу, а уж щук, судаков и окуней было бессчетно. Тут бы надо добавить, что теперь от былого разнообразия... ан нет. С тех пор, как промышленность наша большей частью легла и не встает, рыбы в Вятке и Моломе стало куда больше, чем в советские времена. Местные жители мне рассказывали, что есть и стерлядь, и осетр, а уж щук, судаков и окуней... Сами-то они, конечно, ни стерлядей, ни осетров не ловят, поскольку запрещено, но видели, как другие рассказывали про третьих, что те наловили стерлядок... Кстати, о советских временах. В начале шестидесятых местная рыболовецкая артель выловила неводом белугу весом в сто двадцать килограммов и длиной два с половиной метра. Не успели рыбаки... Ничего не успели. Кто-то куда-то сообщил, мгновенно нагрянула рыбинспекция, оштрафовала

артель на тридцать рублей, белугу конфисковала и отдала на съедение в городской туберкулезный диспансер. Может, конечно, и не отдала, но в предании говорится о туберкулезном диспансере.

4 Почти четыреста лет прошло с тех пор. Насчет принадлежащих москвичам лугов и полей вокруг Котельнича ничего сказать не могу, а вот что касается заводов и фабрик... Для того чтобы это узнать, нет нужды устраивать специальный розыск. Достаточно лишь спросить аборигена, кому принадлежит... и он, даже не дослушав, с уверенностью ответит – все скупили москвичи. Такой же ответ вы получите, если спросите жителя Гороховца или Мурома, Галича или Кинешмы, Углича или... Да где угодно спросите. И нельзя сказать, что аборигены кругом ошибаются...

5 Что касается планировки, то она более всего похожа на планировку Нью-Йорка. Вытянутые вдоль Вятки улицы Котельнича пересекают поперечные. Продольные улицы местные жители называли по номерам – Первая, Вторая, Третья и Четвертая. В советское время этим котельническим авеню были даны, конечно, урицкие, свердловские, октябрьские и первомайские названия.

6 К концу восемнадцатого века население Котельнича выросло до тысячи человек. Мужчин, правда, было на полторы сотни меньше, чем женщин, зато среди них уже было полтора десятка купцов третьей гильдии с капиталом более тридцати тысяч рублей. Правда, молодых купцов, возрастом до тридцати лет, было всего трое. Все остальные были куда старше. Всего в Котельниче проживало 237 семей. Конечно, каждую собаку в городе в то время было знать уже нельзя, но мучительно вспоминать, где ты ее видел еще, можно.

В Котельниче, коль скоро он стал уездным городом, открылась почтовая экспедиция и малое народное училище, в котором училось три десятка учеников. Не Бог весть какое событие, но упомянуть о нем стоит, поскольку среди этих тридцати были три первые в вятской губернии девочки – купеческая дочь Александра Глушкова, дочь чиновника Федосья Щепина и дочь мещанина Анна Глушкова. Какие они были... Была ли Александра непоседливой хохотушкой, Анна тихой, субтильной плаксой, а Федосья полной, в перетяжках, жующей на уроках тайком от учителя пряник? Задавалась ли купеческая дочь или дочь чиновника ей не давала спуску? Дергали мальчики всех трех за косички или боялись? Кто им чинил перья? Вызывали ли их родителей в школу, если девочки плохо учились? Говорили ли их мужья потом, что толку от этого образования нет ровно никакого... Впрочем, может быть, какая-нибудь Федосья так и не вышла замуж. Не захотела идти за грубого и неотесанного стряпчего казенной палаты или заседателя уездного суда, у которого в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, шныряющими под ногами. Уж как ее родители ни уговаривали, как ни ругали, и даже мало не поколотили, а она ни за что. Угрожала им утопиться в Вятке. Они и отступились. Как ни войдут к ней в комнату – она сидит и не вяжет чулки, не вышивает бисером кошелек, а только читает что-нибудь чувствительное вроде «Манон Леско» или «Бедной Лизы» и носом, распухшим от слез, шмыгает. Так всю жизнь в девках и просидела.

7 Сами по себе Котельнич и уезд имели, что называется, задержки в развитии и были одними из самых бедных в Вятской губернии. Не было ни в городе, ни в уезде ни фабрик, ни заводов, ни местных промыслов. На весь город была одна кузница да в уезде еще шесть. Кроме земледелия и рыболовства похвастаться было нечем. Впрочем, женщины вязали кушаки, а мужчины упражнялись в вязании рыболовных снастей. В огородах выращивали самые обычные овощи вроде лука с капустой, свеклы и чеснока. Садов не было. Да и какие, если честно, в тех северных местах сады. Какие вишни со сливами выдержат сорокаградусные морозы зимой. Все, что можно из пропитания, вещей и орудий труда старались купить на ярмарках – как на Алексеевской, так и на еженедельных, местных. Часть котельничан и вовсе уходила на заработки в Нижний, Петербург и Астрахань.

8 Котельнич во время ярмарки напоминал советский Крым летом. Обыватели сдавали комнаты, углы и чуланы. За комнату платили от пяти до двадцати рублей на весь период ярмарки, а суточный постой мог обойтись и в пятачок. В 1870 году в Котельниче было 334 дома и за постой жители города выручили три тысячи рублей. Теперь, в 2017 году, номер в гостинице Котельнича стоит от тысячи до двух тысяч в сутки. Если принять, что нынешний рубль легче рубля 1870 года приблизительно в тысячу триста раз, то пятачок это всего шестьдесят пять рублей. Определенно это топчан в чулане. Другое дело 20 рублей за двадцать дней. Как раз по тысяче триста нынешних рублей в день. Правда,

ярмарки той уж давно в Котельниче нет. То есть ее пытаются возрождать, но... на сдаче комнат приезжим купцам тут не нажиться.

[9] Да и как тут не подраться, если бутылка водки стоила всего двугривенный, а вообще за время ярмарки ее выпивалось до девяти тысяч литров на общую сумму в три тысячи двести рублей. Горожане за постой всех гостей ярмарки выручали меньше.

[10] От трети до половины уменьшались обороты ярмарки, как выяснилось в результате проверки отчетов ярмарочного комитета. В 1882 году на отчете уездного исправника об оборотах ярмарки, предварительно перепроверенном и, скорее всего, предварительно подмазанным секретарем губернского статистического комитета, губернатор написал: «Вранье!... Направить на исправление!» Направили, исправили и по результатам исправления исправник вынужден был выложить из кармана триста рублей, которые уже считал своими. Только после этого отчет был принят и подписан губернатором.

[11] «За исключением небольшого числа чиновников и купцов, все остальное серо, все с бородою, все в лаптях» – так описал Алексеевскую ярмарку в середине девятнадцатого века чиновник для особых поручений при вятском губернаторе Яков Алфеевский.

[12] На ярмарке выбирали не только лошадей, но и невест. Конечно, палатки с невестами никакой не было, а просто будущие свекры и особенно свекрови присматривались к девушкам, торгующим с возов и прилавков всякой всячиной. Девушки тоже об этом догадывались и одевались не просто так, а разряжались, что называется, в пух и прах. Заведующая местным палеонтологическим музеем рассказывала мне, что ее прабабушку присмотрела будущая свекровь как раз на ярмарке. Девушка была из зажиточной семьи, у ее родителей была мельница. Оделась она на ярмарку прилично случаю. Одеться прилично случаю значило под верхнюю юбку надеть то ли четыре, то ли пять нижних юбок, да так, чтобы зубчатые их края выглядывали ровно на столько, сколько нужно, чтобы их сосчитать. Чем больше юбок – тем богаче и лучше невеста. Стоит, стало быть, прабабушка заведующей палеонтологическим музеем и чувствует, как за ее спиной кто-то трогает края ее нижних юбок и шепчет... Обернулась она, чтобы со всего размаху... и увидела пожилую женщину, которая улыбнулась смущенно и растворилась в толпе. Через неделю или две после окончания ярмарки пожаловали к родителям прабабушки сваты. Выдали прабабушку за парня из такой же зажиточной семьи, но любила-то она совсем другого, бедного... Было это за несколько лет до семнадцатого года. Потом, когда пришли прабабушкину семью раскулачивать, то кроме лошадей с коровами забрали в колхоз и расписные санки, в которых прабабушку везли венчаться. С того дня, как санки забрали, прабабушка в уме-то и повредилась. Не то чтобы совсем, но... Помнила, однако, как лошади, не знавшие, что они колхозные, за недосмотром убегали из колхоза домой. Прибегут к дому, положат морду на забор и смотрят...

[13] Если рассказ о Котельниче попытаться уместить в два предложения, то эти два предложения несомненно будут двумя поговорками. На местном диалекте они будут звучать так: «В Котельниче три мельничи: водянича, паровича да ветрянича»* и «В Вятке – калачи по пятке, в Орлове – по корове, в Котельниче – по мельниче».

---

*Если быть до конца честными, то надо сказать, что в соседнем Яранском уезде мельниц было на тысячу с лишним больше, но они с названием города никак не рифмовались, а потому три мельничи в Котельниче и никак иначе.

[14] Газета «Вятская речь» в 1912 году писала о происшествии, имевшем место быть на Алексеевской ярмарке: «Саврас-яичник в три вечера просадил в карты около двух тысяч рублей». Не садился бы ты, Саврас, за стол с шулерами...

[15] Когда в семнадцатом году началось то, что началось, Колбин, вслед за яйцами, эмигрировал в Англию, где жил, жил, да и умер, оставив наследство своей, оставшейся в Советском Союзе, родне. В музее мне рассказывали, что из завещанных Колбиным фунтов стерлингов, родственники, конечно, не увидели ни копеечки, но вместо них власти выдали им валютные чеки из «Березки», которые они ездили отоваривать в столицу и о которых весь Котельнич говорил еще очень долго.

Не один Колбин после семнадцатого года оказался в Англии. Туда же уехал и Яков Зубарев, продававший англичанам лен и холст.

[16] Чепан – старинный длиннополый крестьянский кафтан.

[17] О Михаиле Ивановиче Кардакове Вятские «Губернские ведомости» писали: «Имя М.И. Кардакова пользуется большой известностью в России и заграницею, оно особенно знакомо тем, что с ним соединяется мысль о самом благодетельном и энергичном общественном деятеле». Русские купцы и промышленники, конечно, не мамонты и не динозавры, чтобы мечтать об их клонировании, но нет-нет да и...

[18] Заводики эти конкуренции не выдерживали даже внутри губернии и часто разорялись. Остались от их производственной деятельности лишь воспоминания. Одно из таких овеществленных воспоминаний стоит в краеведческом музее и представляет собой пустую бутылку из-под игристого малинового кваса, произведенного в «Заведении ягодных и фруктовых вод А.А. Бабинцева». Вкус у этого кваса был до того хорош и до того игрист... Кажется, что даже все шампанские пузырьки в нем были одного размера. Сам-то я его не пробовал, но экскурсовод в музее, которому тоже не довелось его попробовать, так убедительно его хвалил... Вообще говоря, котельнические квасы, пиво, вино и водки поставлялись во многие города Вятской, Вологодской, Казанской, Костромской и Архангельской губерний. Качество у них было хорошее, но хорошее качество было не только у них, а цена... Короче говоря, к началу двадцатого века о винокурении в Котельниче и уезде можно было говорить только в прошедшем времени.

[19] О почте, вернее, о марках земской почты, надо сказать отдельно. В Котельниче марки земской почты были особенными. У них был специальный отрывной, на зубчиках, купон, который отрывали или отрезали при наклеивании на письмо. На купоне проставляли номер, число, месяц, год и подпись приемщика письма. Ничего, в сущности, особенного. Дело в том, что в Российской империи такие талоны были у марок всего лишь двух уездов – Задонского и Котельнического. Первых марок Котельнического уезда с неотрезанным купоном выпуска 1870 года неизвестно ни одной. Даже знаменитая Британская Гвиана по сравнению с этими марками просто плюнуть и приклеить. Целых марок котельнической земской почты не было даже в коллекции покойного сэра Джона Вильсона, который был известным на весь мир коллекционером земских марок России и хранителем коллекции почтовых марок английских королей. Правду говоря, вся эта затея с земскими почтовыми марками в Котельническом уезде не оправдала надежд. Марок покупали мало, потому что частных писем было мало. Кроме того, надо было вести длинную и скучную переписку с волостными правлениями по поводу пересылки почтовых денег. Котельническая земская управа смогла убедить земское собрание в том, что овчинка выделки не стоит и частные письма можно доставлять бесплатно – земство от этого не разорится. Кончилось тем, что в 1872 году знаки земской почтовой оплаты были отменены, и с этого момента ценность земских почтовых марок Котельнического уезда стала неуклонно повышаться. Если бы предводителем уездного дворянства в те годы в Котельниче был человек с наклонностями Ипполита Матвеевича Воробьянинова...

[20] По другим сведениям, уехать в Петроград смог только Журба – его отряд разоружили по постановлению следственной комиссии Уральского областного Совета. Беспечных матросов взяли ночью прямо в тех вагонах, в которых они и жили. Сопротивления они не оказали. Куда их потом увезли – неизвестно.

[21] Городская газета «Ударник» публиковала жалобы трудящихся. Вот несколько жалоб образца тридцать первого года: «В буфете на станции Котельнич форменная обдираловка. За стакан кипяченой воды без сахара берут тридцать копеек». Помните тридцать копеек за сто ведер воды при помещиках и капиталистах? Правда, там были другие копейки. Или вот еще «В сплавной конторе Митин и Ларионов выдают взрослым манную крупу, а детям – ничего кроме мороженного луку. Бухгалтер Сунцов получает белую муку не только на живых, но и на умерших родственников, несмотря на упрёки рабочих, это остаётся безнаказанным».

[22] Газета «Ударник» публикует письма тех, кто на облигации государственного займа подписался, и настоятельно предлагает подписаться другим. «Получая зарплату 60 рублей в месяц, подписываюсь на заём на сумму 200 рублей. Вызываю последовать моему примеру начальника оргадмотдела

Туленина, его заместителя Совалкова, работников прокуратуры – Филатова и Солоницына и члена правления горпо Ердякова. Агент угрозыска Парфёнов». Как хотите, но это похоже не на вызов, а настоящую угрозу. Тем более, что пишет это агент местного угрозыска Парфенов.

Вернуть эти облигации государству и получить обратно свои, даже в случае крайней нужды, было сложно. Нужно было писать письмо с просьбой в комиссию содействия госкредиту. Вот эти письма, с описанием бедственного положения, в котором очутился человек, поверивший государству на слово, газета «Ударник» не печатала. В лучшем случае государство разрешало продать себе лишь небольшую часть своих же обещаний – иногда треть, а иногда и не больше четверти. Еще и называло тех, кто просил вернуть свое, оппортунистами.

[23] Каштанов писал, что у черепов, которые он нашел, треугольная форма. Когда я в палеонтологическом музее Котельнича увидел скелет парейазавра и его реконструкцию, то сразу вспомнил описание древней рептилии в любимом с детства рассказе Ивана Ефремова «Тень минувшего»: «... из-под фиолетовых грибов, скрывая тело в их гуще, выступала широкая параболическая голова, покрытая слизистой лиловато-бурой кожей. Огромные выпуклые глаза смотрели прямо на Никитина, бессмысленно, непреклонно и злобно. Крупные зубы выступали из нижней челюсти, обнажаясь во впадинах края морды».

[24] В июле сорок второго в Котельнич приезжал Евгений Шварц собирать материалы для пьесы о детских домах, в которых жили эвакуированные дети из Ленинграда. В Котельниче был такой детский дом, но там жили совсем дошкольные малыши, а Шварцу нужны были дети постарше, и он нашел их в других местах Кировской области, но писатель Леонид Рахманов, к которому приезжал в гости Шварц, написал, что именно о местном детском доме Шварц написал пьесу «Далекий край». И правильно написал. Я бы на его месте поступил точно так же. И еще в Котельниче говорят, что Шварц именно там стал работать над пьесой «Дракон», которую на самом деле написал в Сталинабаде. И правильно говорят. Я бы на их месте говорил тоже самое.

[25] Все это оказалось довольно темным делом, поскольку в Вятском палеонтологическом музее мне сказали одно, в Котельническом филиале... тоже одно, а вот бывший сотрудник кооператива «Каменный цветок» сказал, понятное дело, другое и даже третье, уверив меня, что все было совершенно законно и все документы, если их, конечно, найти, оформлены надлежащим образом. По крайней мере, соответствующие организации, которые все же интересовались деятельностью кооператива в те годы, не нашли в документах ничего. Кто бы сомневался. В девяностые годы у нас так умели правильно оформлять документы, что теперь можно только позавидовать этим умельцам.

[26] Кстати, о крошечном совке. Для детей в музее есть огромный ящик с песком, на дне которого зарыт ископаемый скелет. Детям дают совки, кисточки и... Неугомонная заведующая филиалом ходит даже в детские сады, чтобы рассказывать детям о палеонтологии и происхождении жизни на Земле. В наше время, когда о происхождении жизни детям стали в школах рассказывать такое... и такие... это дорогого стоит.

[26] Хорошо бы смотрелся набор магнитиков с разными датами основания Котельнича – 1181, 1433, 1459... Шли бы нарасхват.

Юлия ПОДЛУБНОВА

И В КАРМАНЕ ТРУП ГАГАРИНА

Ия Кива. Подальше от рая: стихотворения. – Киев: Каяла, 2018. – 86 с.

Во первых строках хочу поздравить всех нас: запрос на болевую поэзию, обозначившийся последние несколько лет преимущественно в феминистской литературной среде (Лида Юсупова, Оксана Васякина, Дарья Серенко), преодолел узкие социокультурные рамки и транслируется во вне. По крайней мере, Ия Кива, стоящая в литературе особняком, или стоявшая – до этой книги, снабженной предисловием Геннадия Каневского и послесловием Елены Дорогавцевой, переместилась в условном поэтическом спектре ближе к феминизму и практикуемой им документальной поэзии, хотя ее болевые темы и сопутствующие им художественные решения – все равно наособицу.

Кива стремительно развивается и обильно публикуется. Кива превращает поэзию в политическое высказывание, но при том мучительно определяет свои множественные уязвимости, одновременно определяясь через них. Кива каталогизирует травмы, отчасти рационально, предопределяя, что сработает, вызовет отклик. Зная, что травматический опыт, каким бы тяжелым он ни был, для поэта – это благо. Травма и боль, на самом деле, – такой же материал, как любая практика или переживание, и здесь имеет значение то, как поэт работает с ними, и что в итоге получается, поскольку текст предполагает, скорее, преодоление травмы, изживание ее, но не фиксацию в раз и навсегда заданных границах. Правы критики, указывающие в качестве предшественников Ии Кивы «болевых» Елену Фанайлову и Аллу Горбунову – именно женскую линию болевой поэзии. Я бы еще куда-то между ними вписала Анну Русс.

Итак, Ия Кива живет в Киеве, до 2014 года жила на Донбассе. Это поэт с непростой семейной и личной историей, которая в ее текстах последовательно становится фактом литературы.

я живу между Бабьим Яром и
Сырецким концлагерем
каждый день, возвращаясь домой
дорогою смерти
я оказываюсь в довоенном Бердичеве

там прадедушка Янкель и
прабабушка Блюма
говорят, работают и живут на идиш...

Историческая память травматична, но она оттеняет травматизм настоящего. Есть ли у вас в кране горячая война? Ответ: «в здешних краях считается противоестественным / если война не течет по трубам / в каждый дом / в каждую глотку». И дело даже не в военной тематике, она отнюдь не доминирующая у Кивы, и не в автобиографическом письме в пейзажах и интерьерах войны – вспомним куда более прямолинейную книгу Игоря Бобырева «Все знают, что во время войны в мою квартиру попал снаряд», но в том, как прошлое отражается в настоящем (а настоящее словно бы ошеломленно пятится в прошлое), как индивидуальное и семейное растворяется в коллективном, как человек – уже и не человек, а часть коллективного тела и общей истории. Границы действительности размываются, и существует ли он, сам человек, а если существует, то среди живых или среди мертвых, в реале, в виртуале? «Человек человеку – онлайн / человек человеку – чат». Война в таком случае лишь обостряет ощущение тотальной неопределенности, пограничья.

смотри же смотри же
пальцы до крови стертые
но это не наши мертвые ты говоришь
это ихние мертвые ты говоришь
и опять попадаешь туда
то есть опять не туда попадаешь
думаешь господи как тут темно
что ж они все на одно лицо
наши и ихние

ихние наши и наши ихние
ихние ихние и наши наши

Кажется, что в «Подальше от рая» рагнарек, обещанный Кивой в одном из текстов, уже наступил и перемешал все, что невозможно: слова, культуры, родственные связи, насилие над женщинами, множественные идентичности, авторское «мы», интертекст, интернет, постсоветские пространства, нелинейное письмо, почти репортажный документализм.

как убили отца
снилось я в окружении
вывороченных деревьев
мутной воды

подступающей к самой пятке балкона
второго этажа
шаг и обнимет сепия

и ведь красиво
как у Тарковского

Но где-то на руинах, обломках и осколках языка, точнее языков, вырастает тщательно взращиваемое высказывание. Поэтическое? Так может ли быть поэзия после Освенцима? В духе этой книги: после освенцима и еще раз после освенцима.

Ия Кива – поэт самого широкого инструментария: автобиографическое в ее текстах сочетается с внеличностым, почти фольклорным, поиски идентичности, опоры – с повсеместной трангрессивностью, прямое лирическое высказывание – с трансляцией многочисленных голосов, болевые прорывы – с приговской иронией, классическая музыка – с обсценной лексикой, русский язык – с украинским, идиш, английским. Все так, но при том поэзия Кивы удивительно целостна и узнаваема – как по каким-то знакам и обмолвкам узнается ощущение тотального поражения.

я вдруг вспомню, что на улице лето, сяду
в обычный поезд,
заплету в волосы ленты тихой нежности
и любви
и уеду в Одессу глядеть на длинное
пенное море,
где меня никто не узнает, потому
что там все чужое,
потому что о шум прибоя разбивается
шум тоски,
и песок мое тело укроет от прошлого
и успокоит,
и я буду, наконец, счастлива,
стлива, сча, ли...

Сергей ТРУНЕВ

В РИТМЕ ВАЛЬСА

Роман Михеенков. Упражнения на развитие беглости. – М.: Издательство «Э», 1918. – 256 с. – (Живая проза. Произведения современных российских писателей).

Перед нами сборник рассказов, каждый из которых одновременно маркирован названием какого-либо музыкального жанра. Если доверять мнению критиков – то это очень удачный авторский ход. Я совершенно не разбираюсь в музыке, но, кажется, смогу отличить частушку от регтайма. Так вот, с прозой Романа Михеенкова это не вполне происходит. По-существу, если читать внимательно и от корки до корки, то можно почувствовать, что игра в жанры не удалась. Вопрос в том, а была ли она нужна? Необходимо ли было отдавать текст всецело под власть музыкального ритма? На мой взгляд – нет. Если автор умеет писать, то постмодернистская стилистическая полифония ему ни к чему. А Михеенков писать умеет. Кажется, он даже сознательно избегнул радикальной игры ради сохранения собственной стилистики, стилистического единства книги.

Тут следует упомянуть о густо разбросанных по текстам своеобразных перлах, заметных даже неискушенному ныряльщику. Возможно, точность формулировок производна от журналистского ремесла, с коим автор не понаслышке знаком. Но какая разница, если перед нами возникают, например, такие замечательные фрагменты: «В отделе кадров с подозрением повертели в руках диплом консерватории и взяли на испытательный срок. Я даже не смог обидеться. Когда вся страна продает и покупа-

ет дипломы, проверить их подлинность можно только в бою. Да и что такое диплом в 1992 году? Он годился только для почесывания в труднодоступных местах» (с. 13). Думаю, все, кто получил диплом в этом году (плюс-минус два года), захотел бы суметь так написать.

Любопытен также баланс между фантазией и реальностью, бережно сохраняемый автором. Тексты о консерваторско-дворовом детстве (что в реальности вполне соединимо) и перестроечного пошива братках органично соединяются с фантазиями о Прометее или возвращении эмигранта в послевоенную (надо полагать, постсовременную) Россию. Страшное перемежается смешным, а на выходе получается трогательное, нежное, ностальгическое. А это как раз то, что подкупает и принципиально не может оставить равнодушным.

В немалой степени этому способствует один вопрос, традиционный для русской классики и отчетливо звучащий в книге. Вопрос о том, что есть российская интеллигенция, какова ее историческая миссия и, следовательно, судьба. Здесь Михеенков также колеблется, отчего и занимает выжидательную позицию, оставаясь вне «классовой борьбы» персонажей и по мере возможности помогая... всем: «Клара и Роза – соседки по коммуналке со второго этажа – последние сорок лет, что я их наблюдал, жили классовой борьбой. Клара – внучка одного из Трубецких и Роза – внучка дворника. Помогая то одной, то другой вбить гвоздь, ввернуть лампочку или принести пакет молока из магазина, я периодически оказывался в их квартире» (с. 144-145). Попутно отметив авторский стеб над именами коммунальных оппозиционерок, отметим также, что сам он (точнее, его герой), вероятно, вполне согласился бы носить фамилию Каратаев. В целом, авторская социально-политическая позиция могла бы звучать следующим образом: «Подавитесь. Только оставьте меня в покое. Не трогайте меня» (с. 149).

Второй значимой фобией «Михеенкова» (помимо боязни открытого вмешательства во что бы то ни было) является отчетливо выраженный страх перед государством и/или теми, кто его представляет. При этом страх, помноженный на презрение: «В нашей семье никогда не было и не могло быть государственных чиновников. Кроме того, родители передали мне по наследству страх перед государством и ненависть ко всему, что с ним связано» (с. 151). Ну, это тоже классика – попытаться спрятаться от царских пашей, от их всевидящего глаза и соответственных ушей или, написав «Философические письма», стать первым официальным сумасшедшим всея Руси.

Наконец, в текстах присутствует и моральная авторская самооценка. С одной стороны, налицо мальчик «из приличной семьи», выросший в образованного, культурного и алкоголезависимого (что предполагается предыдущими пунктами) мужчину но, с другой, мягкотелый интеллигент, продающий свои литературные, музыкальные тексты и даже «корпоративные» фантазии власть и/или деньги предержащим. И когда интеллигент в упор встречается с человеческим счастьем, в качестве итога возникает: «В какой-то момент я побоялся захлебнуться их нежностью и переключился на мэра, что незамедлительно позволило вернуться в привычное состояние – ощутить себя полным говном» (с. 194). Без комментариев.

Если резюмировать сказанное, то проза Романа Михеенкова легко и непринужденно кружится вокруг вечных вопросов русской литературы, увлекая читающего единым ритмом – ритмом вальса. И можно было бы маркировать всю книгу жанром «вальса на прощанье», если бы она не была столь хороша и приятна, и если бы это название уже не было запатентовано одним известным прозаиком. Надеюсь, мы не прощаемся.

Алексей ГОЛИЦЫН

ИСТОРИЯ АРЕСТА ХУДОЖНИКА ИВАНА ЩЕГЛОВА

От редакции: Нынешняя публикация – еще одна страница к биографии Ивана Щеглова *(1882–1962), одного из немногих «честных художников, не пятнающих себя конъюнктурой» – о нем на страницах «Волги» много и увлеченно рассказывал Вячеслав Лопатин, знакомый с ним лично и записавший истории – его и о нем. В частности, история с письмом в «Детгиз» подробно излагается здесь: Волга, 2008, №1, http://magazines.russ.ru/volga/2008/1/l010.html.*

Небольшой фрагмент из вышеупомянутой публикации:

«Рассказывает Щеглов о пребывании в лагере, где-то в Аткарском районе Саратовской области. Большое пространство огорожено глухим высоким деревянным забором. Внутри под летним солнышком, кучками и в одиночку сидят, ходят люди – минутка такая, когда его вызывают "без вещей": примета плохая – на расстрел выводят "без вещей".

А никогда не говорят – куда ведут, зачем везут?

Едут долго – машина без окон. Всю дорогу в дырочку смотрит. Узнает саратовский вокзал – в Саратов привезли.

Два конвоира с винтовками – выводят: коридоры, люди гражданские, некоторые в белых халатах.

Комната, очередь. Сажают на стул – один рядом, другой конвоир у двери: люди в его сторону боятся смотреть.

Иван Никитич тоже боится – радоваться: неужели не расстрел? Заводят в комнату. Один конвоир снаружи остался, другой у стола пакет передает.

Медсестра нагнулась, будто что-то поправляет, а сама шепчет – Иван Никитич, не бойтесь, жалуйтесь на здоровье – вас выпустят. –

"Выпустили" не сразу – три года и восемь месяцев "отсидел".

Где были и что видели – забудьте! – такое напутствие.

Этот эпизод рассказал сначала Щеглов, позже та самая медсестра – оказалась женой художника Ткаченко Василия Кузьмича».

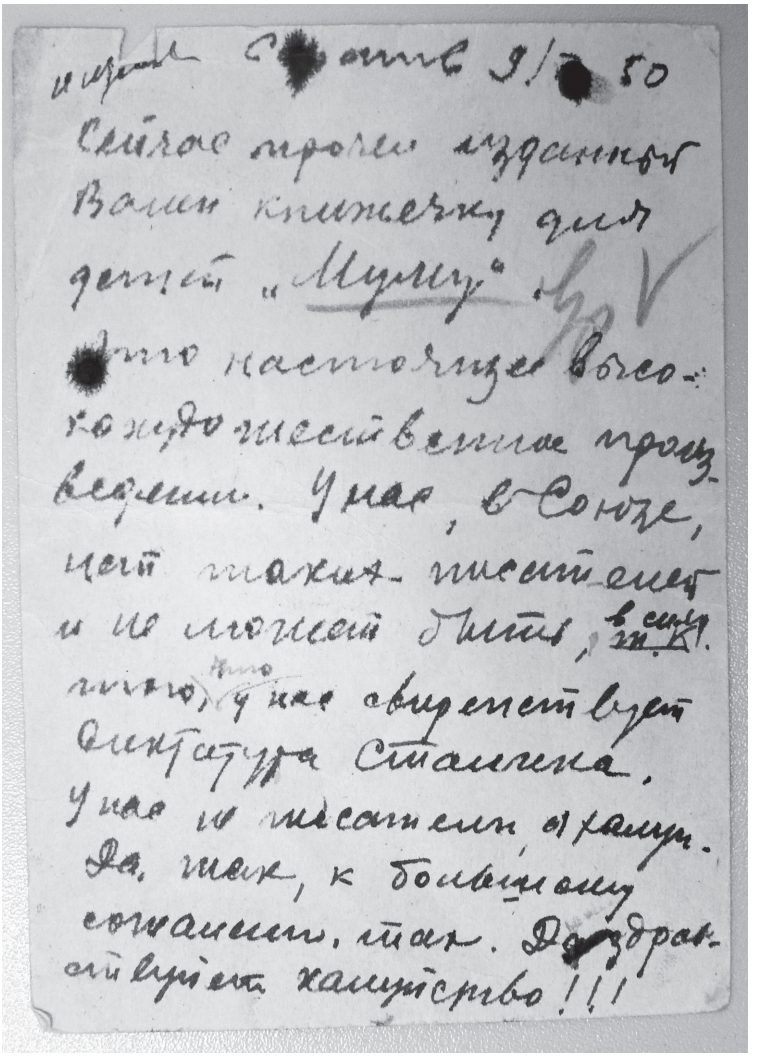
В апреле 1950 года в московское издательство «Детгиз» поступила почтовая открытка без подписи и обратного адреса.

Саратов 9/4 50

Сейчас прочел изданную Вами книжечку для детей «Муму». Это настоящее высокохудожественное произведение. У нас, в Союзе, нет таких писателей и не может быть, в силу того, что у нас свирепствует диктатура Сталина. У нас не писатели, а холуи. Да, так, к большому сожалению, так. Да здравствует холуйство!!!

Анонимное письмо подобного содержания не могло остаться без внимания компетентных органов, которые начали поиски автора крамольных строк. Розыск длился полгода, и 11

ноября отдел «Д» МГБ СССР на основании графической экспертизы подтвердил, что открытка написана саратовским художником Иваном Щегловым. По неизвестной причине преподаватель Саратовского художественного училища был арестован только 18 февраля 1951 года. В постановлении на арест было сказано, что «в открытом письме Щеглов излагает гнусную клевету на демократические принципы Советского государственного строя и пытается дискредитировать одного из руководителей ЦК ВКП(б) и Советского правительства».



В уголовном деле №828, заведенном УМГБ по Саратовской области, нет никаких данных о том, каким образом следствию удалось выйти на злоумышленника. Предположу, что Иван Щеглов, получивший еще в 1933 году условный срок за антисоветскую деятельность, все это

время находился под негласным надзором и числился в списках подозрительных лиц. Вероятно, художника подвело еще и то обстоятельство, что открытку он опустил в почтовый ящик, висевший на углу здания облисполкома по адресу: ул. Советская, 44, а сам проживал буквально напротив, в доме №43. Поэтому вычислить «клеветника» можно было и по почтовому штемпелю.

Экспертам-графологам для сравнения была представлена автобиография Ивана Щеглова, написанная 5 сентября 1946 года:

Я являюсь сын железнодорожного рабочего. Родился в г. Пензе 1882 года 13 апреля.

После смерти отца я семилетнего возраста был перевезен в Саратов и определен в приют для детей сирот – «Киновия», в котором получил первоначальное образование. В детском доме я пробыл до 12 лет.

В 1905 году я поступил в быв. Боголюбовское рисовальное училище и окончил его в 1918 году.

На выставках картин в Саратове я участвовал с 1908 года.

Допросы Ивана Щеглова длились более двух месяцев, все это время следователь пытался заставить художника признаться в том, что антисоветской агитацией он занимался на постоянной основе и групповым способом. Но ни коллеги по художественному училищу, ни соседи по дому не смогли дать порочащие Щеглова сведения. Даже руководство СХУ выдало педагогу характеристику, в которой единственным сомнительным пунктом было «снисходительное отношение педагога Щеглова к ученикам».

Тем не менее, 4 мая 1951 года Саратовский областной суд приговорил Ивана Щеглова к 10 годам лишения свободы с поражением в избирательных правах сроком на три года. Также суд постановил лишить Щеглова медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Не помогло и признание Щеглова как художника, чьи картины закупали, среди прочих, и Радищевский музей, и Государственный фонд, и Третьяковская галерея.

На момент вынесения приговора Ивану Никитовичу Щеглову было 70 лет, и судья Анюшин, народные заседатели Антареев и Холина, а также прокурор Хилько не могли не сознавать, что из лагеря художник уже не выйдет.

Но Щеглову повезло. В 1953 году умер Сталин, политических заключенных стали понемногу выпускать, и 31 марта 1955 года постановлением Президиума Верховного суда РСФСР дело по обвинению Щеглова Ивана Никитовича было прекращено, а сам он досрочно освобожден.

Вернувшись в Саратов, Щеглов написал заявление в областной суд, где просил вернуть ему медаль за доблестный труд во время войны, чистый паспорт, комнату на улице Советской, пенсию за 3 года и 8 месяцев, проведенных в лагере, и главное – «восстановить на работу в Саратовское художественное училище в качестве педагога по специальным предметам, в котором я работал около 28 лет безупречно».

Контакты:

Анна Сафронова *(гл. редактор, проза)*: safronova-volga21@yandex.ru
Алексей Александров *(зам. гл. редактора, поэзия, критика*): alexandrov-volga21@yandex.ru
Алексей Голицын *(документальные исследования)*: agolitzin@yandex.ru
Олег Рогов *(архивные публикации, критика)*: rgv@mail.ru
Алексей Слаповский *(проза)*

Сайт журнала: http://volga-magazine.ru/

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
http://magazines.russ.ru/volga/

Подписано в печать 27 августа 2018 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.